

ЮРИЙ ПАВЛОВ

КРИТИКА  
XX – XXI ВЕКОВ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ,  
СТАТЬИ, РЕЦЕНЗИИ

Москва  
Литературная Россия  
2010

УДК  
ББК  
П

ПАВЛОВ Юрий Михайлович

КРИТИКА XX – XXI ВЕКОВ: ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ,  
СТАТЬИ, РЕЦЕНЗИИ. – М.: Литературная Россия, 2010. – 304 с.

Один из самых заметных критиков нашего времени Юрий Павлов известен своим неожиданным взглядом на современную русскую литературу. Статьи его яркие, полемичны и всегда вызывают бурную дискуссию. По сути, Павлов создал южнорусскую школу критической мысли.

В книгу «Критика XX – XXI веков» вошли литературные портреты Василия Розанова, Вадима Кожинова, Михаила Лобанова, Игоря Дедкова, Игоря Золотусского, Владимира Лакшина, Юрия Селезнёва, Владимира Бондаренко, а также статьи и рецензии последних лет.

© ПАВЛОВ Ю.М., 2010

ISBN 978-5-7809-0135-8

ВАСИЛИЙ РОЗАНОВ:  
«ЧЕЛОВЕК-СОЛО»

В.Розанов, с юности горячий поклонник Ф.Достоевского, а с середины жизни – и К.Леонтьева, попытался в своём мировоззрении и творчестве объять, объединить два противоположных подхода к любви, личности, национальному сознанию, литературе. Уникальность В.Розанова как явления русской мысли осознавали ещё наиболее прозорливые его современники. Так, М.Гершензон в письме к В.Розанову от 12 апреля 1913 года высказал предположение: «Когда будут перечислять те 8 или 10 русских книг, в которых выразилась самая сущность русского духа, не миновать будет назвать «Опавшие листья» вместе с «Уединённым» («Новый мир», 1991, №3). Почти через пятьдесят лет в этом же ключе М.Бахтин дал совет молодым учёным ИМЛИ В.Кожинуву, С.Бочарову, Г.Гачеву: «Читайте Розанова». Действительно, любой серьёзный разговор о литературе, истории, России немыслим без В.Розанова.

Общеизвестна способность Василия Васильевича, по его точному определению, «говорить слишком»: гиперболизировать явления, черты для того, чтобы наглядно показать их сущность. Не менее известно «непостоянство» В.Розанова... Учитывая эти особенности мышления критика, попытаемся найти постоянные и переменные величины в его творчестве.

В статье «Н.Н.Страхов, его личность и деятельность» В.Розанов называет религию самой важной областью в жизни человека (Розанов В. Литературные изгнанники. Воспоминания. Письма. – М., 2000). Эту мысль философ повторяет в «Уединённом»: «Знаете ли Вы, что религия есть самое важное, самое первое, самое нужное?» (Розанов В. Сочинения. – М., 1990). Если систематизировать разные высказывания В.Розанова по данному вопросу, сняв при этом некоторую терминологическую путаницу, то станет очевидным: мыслитель – пусть не всегда последовательно – различает подлинную религиозность и высокомерную «религиозность». Первая в «Опавших листьях» определяется через церковное чувство, которое «смиренно, просто, народно, общечеловечно» (Розанов В. Мысли о литературе. – М., 1989), оно не стремится «поправить» русскую Церковь. Высокомерная же «религиозность» начинается с «допросов Православия», с желания реформировать Церковь, она присуща умам «едким, подвижным, мелочным» (Розанов В. Сочинения. – М., 1990).

В «Опавших листьях», «Уединённом» в «вершинных» своих суждениях В.Розанов в духе православной патристики определяет место Церкви в жизни личности и русского народа: «Церковь – это «все мы»; Церковь – «я со всеми» и «мы все с Богом»; «Кто любит народ русский – не может не любить Церкви. Потому что народ и его Церковь – одно. И только у русских это – одно»; «Церковь научила всех людей молиться. <...> Без духовенства – погиб народ. Духовенство блюдёт его душу».

Как видим, Розанов характеризует Церковь через соборность (хотя это понятие и не называется), а «русскость» определяет через воцерковленность личности, подходя вплотную к известному высказыванию Ф.Достоевского: русский значит православный. С таких позиций оцениваются мыслителем культуры, народы, человек, творчество писателей, литературные персонажи.

В «Опавших листьях» по отношению к смерти («культ смерти» является для В.Розанова одним из важнейших критериев оценки личности, начиная с «Сумерек просвещения») выделяются две культуры – религиозно-церковная и светски-позитивистская. Первая, национально идентифицируется как русская, вторая – как нерусская, европейская. Светски-европейское отношение к усопшему – вставание – В.Розанов называет лошадиным, а участников такого действа, в свойственной ему манере, именует ослами. В церковно-русском отношении, выраженном в погребальных обрядах, песнопениях, чтениях, сказаниях, мыслитель видит проявление любви и «безбрежного

уважения к человеку». При этом констатируется наличие в России обеих культур, которые многие «правые» сегодня называют русской и русскоязычной.

Исходя из собственного опыта, В.Розанов в «Уединённом» говорит о том, как две культуры – церковная, русская и светская, русскоязычная – по-разному относятся и к «инакомыслящим»: «О доброте нашего духовенства: сколь я им корост засыпал за воротник. Но между тем кто знал меня, да и из незнавших многие, относились, «отвергая мои идеи», враждуя с ними в печати и устно, – не только добро ко мне, но и любяще. <...>

И везде – деликатность, везде – тонкость: после такой моей страшной вражды к ним и совершенно непереносимых обвинений. Но светские: какими они ругательствами <...> меня осыпали, едва я проводил рукою «против шерсти» их партии. Из этого я усмотрел, до чего церковь теплее светской жизни <...>: сердечнее, душевнее, примиреннее, прощающее <...>». Этот пример – лишнее и убедительное подтверждение разного отношения к человеку в данных культурах, которое В.Розановым никак не определяется. Я же в первом случае вижу проявление христианского гуманизма, во втором – гуманизма идейно, социально ограниченного.

В работах мыслителя предельно мало теоретических размышлений о личности. Преобладают «частные» характеристики себя, конкретных людей, литературных персонажей, из которых, конечно, «общие» представления, воззрения автора выстраиваются. Так, в «Уединённом» В.Розанов говорит о себе, Буслаеве, Тихонравове, Ключевском, С.М.Соловьёве следующее: «В конце концов Бог – моя жизнь. Я только живу для Него, через Него. Вне Бога – меня нет»; «Люди верующие, религиозные, люди, благочестивой жизни в самом лучшем смысле – в спокойно-русском. <...> Нет сомнения, что будь они «безверные», – они не были бы ни так благородны, ни так деятельны». Таким образом, В.Розанов определяет личность через Бога, вера в которого – обязательное условие, источник человеческих добродетелей. Перед нами не антропоцентричная, а богоцентричная модель мира, с чёткой иерархией ценностей, в которой только верующий человек наиболее приближен, соличностен Создателю. Отсюда и такая формула в «Уединённом»: «Религиозный человек выше мудрого, выше поэта, выше победителя, оратора. «Кто молится» – победит всех, и святые будут победителями мира».

Любой человек реализует себя в национально-инонациональном мире. Суть и соотношение русского и нерусского, еврейского прежде всего, – одна из центральных проблем в творчестве В.Розанова.

Критик неоднократно выражал опасение, что русские исчезнут из истории, потеряют, переменят своё лицо в результате деятельности двух сил. Первая из них – «левая опричнина», космополиты, ненавистники России.

В «Опавших листьях» В.Розанов рассказывает о впечатлении, которое на него, провинциала, произвело знакомство с Петербургом. Провинциала, находящегося в плену «левых» представлений о либеральной и социал-демократической оппозиции, о «несчастных» щедринных, михайловских и т.д. Мыслитель с удивлением увидел: цензура, «как кислотой, выедавшая» из книг «православие, самодержавие, народность» (то, что, добавим, являло и являет концентрат «русскости»), не пропустившая его статью «О монархии», покровительствовала оппозиционным изданиям.

В.Розанов пришёл к выводу, что либеральные «Русские ведомости» есть реальная сила, неофициальная власть, служебный департамент, повышающий в чинах, а «левая опричнина» завладела всей Россией и плещет «купоросом в лицо каждому, кто не примкнёт «к оппозиции с сёмгой», к «оппозиции с Кутлером на 6-тысячной пенсии».

Непримкнувшими, как известно, были славянофилы, почвенники – магистральное, собственно русское направление отечественной литературы и национальной мысли, оказавшееся на обочине российской жизни. Вот только некоторые факты, взятые из работ В.Розанова, которые свидетельствуют об этом и о соотношении русских и русскоязычных сил.

В статье «Один из «стаи славной» мыслитель говорит, что книги К.Аксакова отсутствуют в библиотеках и читальнях, а сроки между изданием трудов славянофилов – двадцать пять, пятьдесят лет (Розанов В. Собрание сочинений. О писательстве и писателях. – М., 1995). В работе «К 50-летию кончины Ап.А.Григорьева» В.Розанов называет его самым глубокомысленным критиком и констатирует: блестящий автор «выброшен» из русской литературы и поставлен «вне чтения» Добролюбовым, Чернышевским, Писаревым и другими «господствующими корифеями» – «нашим кабачком» (Там же).

В.Розанов не раз упоминает о том, что Н.Страхову, кроме «Русского вестника» и «Нового времени», печататься было негде из-за его любви к России («Вопросы литературы», 1989, № 10). Ещё более печальна судьба К.Леонтьева, о которой Василий Васильевич в статьях («Неузнанный феномен», «Памяти усопших», «О Константине Леонтьеве») и письмах говорит, в частности, так: Леонтьева «казнила и погребала» журналистика потому, что он не отрёкся от России и не побегал за немецко-еврейской социал-демократией» (Там же). В одной из последних, во многом итоговой, публикаций «С вершины тысячелетней пирамиды» автор называет писателей данного направления «праведниками земли русской», «растоптанным алтарём» (Розанов В. Сочинения. – М., 1990).

Русскоязычные силы, по Розанову, есть порождение интеллигенции. Она, создающая общественное мнение, обвиняется им в том, что переменялся образ русского человека: «профессоришки» воспитывают ненависть к России и русским, воспитывают нигилистов, революционеров и прочих обезбоженных личностей.

Как последнюю, крайнюю меру спасения России В.Розанов предлагает следующую: «Пока не передавят интеллигенцию – России нельзя жить. Её надо просто передавить. Убить» (Розанов В. Собрание сочинений. Мимолётное. – М., 1994). Когда же двухэтапная катастрофа произошла, Василий Васильевич в 1918 году в статье «С вершины тысячелетней пирамиды» назвал интеллигенцию главным виновником гибели русского царства. В конце концов интеллигенция выполнила ту роль, которая ей отводилась по сценарию «исторического еврейства», определённого мыслителем ещё в «Мимолётном»: «Передушить русских русскими же «руками».

Долгое время В.Розанов не мог преодолеть комплекс Белинского, одного из главных идеологов и идиологов русскоязычной интеллигенции. Он создал свой миф о «первом русском критике», наделил его такими качествами, каких не было, или, если и были, то не в такой степени и концентрации. Например, в статье «Три момента в развитии русской критики» первый момент определяется как эстетический и целиком связывается с именем Белинского, деятельность которого оценивается преимущественно положительно, в сущности, так: «С величайшей чуткостью к красоте, какой обладал Белинский, с чуткостью к ней именно в единичном, индивидуальном, быть может, нераздельна некоторая слабость в теоретических обобщениях – и это было причиной, почему до конца жизни он не установил никакого общего мерила для прекрасного <...>» (Розанов В. Сочинения. – М., 1990).

Трудно согласиться с такой оценкой Белинского, ибо его вклад – отнюдь не положительный – в развитие русской критики состоял в том, что он заложил основы вульгарно-социологического подхода к личности и литературе вообще. Напомню, что Белинский в своей «главной» работе «Сочинения Александра Пушкина» оценивает человека, образы «Евгения Онегина» и любые персонажи, исходя из следующего теоретического постулата: «Зло скрывается не в человеке, но в обществе...» (Белинский В. Собр. соч.: В 9 т. – Т.9. – М., 1981). Отсюда и то, что критик лишает личность качеств субъекта – творца себя, общества, истории. Отсюда и те многочисленные нелепости, мимо которых проходит В.Розанов. Поясню сказанное на примере. В работе «Сочинения Александра Пушкина» В.Белинский называет Татьяну Ларину «нравственным эмбрионом» за её женскую добродетель, за её верность мужу. Возмущение и точная

оценка Достоевского в «Пушкине» – это русский ответ западнику Белинскому: «Это она-то эмбрион, это после письма-то её к Онегину! <... > Пусть она вышла за него с отчаяния, но теперь он её муж, и измена её покроет его позором, стыдом и убьёт его. А разве может человек основать своё счастье на несчастье другого?» (Достоевский Ф. Полн. собр. соч.: В 30 т. – Т.26. – М., 1984).

В суждениях Белинского о Татьяне Лариной нет ничего случайно-наносного, они – проекция вполне общих представлений о прекрасном – женском и человеческом. «Мерило» этих представлений, вопреки утверждению В.Розанова, у Белинского, конечно, было. В подтверждение и в продолжение темы «нравственного эмбриона» приведём ряд высказываний из писем критика, содержащихся в девятом томе собрания сочинений. Эти высказывания не требуют комментариев: «Лучшее, что есть в жизни – это пир во время чумы и террор, ибо в них есть упоение, и самоё отчаяние, самая скорбь похожи на оргию, где гроб и обезглавленный труп – не более, как орнаменты торжественной залы»; «А брак – что это такое? Это установление антропофагов, людоедов, патагонов и готтентотов, оправданное религиею и гегелевскою философию. Я должен всю жизнь любить одну женщину, тогда как я не могу любить её больше году». Свой идеал В.Белинский находит во Франции, где «брак есть договор, скреплённый судебным местом, а не церковью; там с любовницами живут как с жёнами, и общество уважает любовницу наравне с жёнами. Великий народ!».

В.Розанов не раз характеризовал семью, брак как духовное, религиозное единение, растворение, самопожертвование мужчины и женщины. Одним же из главных критериев состоятельности человека являются дети. Через семью и детей В.Розанов пытался понять жизнь – и свою, и Пушкина, и литературных персонажей. Так, в статье «Ещё о смерти Пушкина», отталкиваясь от известной сцены из «Евгения Онегина», он заявляет: «...Когда идёт жена, – и я спрашиваю: а где же дети?» (Розанов В. Мысли о литературе. – М., 1989). При верном – общетеоретическом – послы В.Розанов явно не понял замысла А.Пушкина: бездетная Татьяна, не изменяющая мужу, это вдвойне порядочная женщина, жена.

Когда Василий Васильевич оценивает Белинского на фоне Добролюбова, Писарева, Чернышевского, Герцена (которых он не жалует и называет преимущественно «негодаями», «палачами», «мазуриками», «политическими пустозвонами» и т.д.), мыслитель отмечает и невыдуманные достоинства и заслуги критика. Когда Розанов сравнивает Белинского с серьёзными авторами, то картина меняется, и критик занимает подобающее ему – скромное – место: «...В сравнении с этой всеобщей мыслью (мыслью Н.Страхова. – Ю.П.) всё, написанное Белинским, мне показалось незначительным, бледным» (Розанов В. Собрание сочинений. О писательстве и писателях. – М., 1995).

К тому же высокие оценки Белинскому, которые давал неоднократно «ранний» и «срединный» В.Розанов, в статье 1914 года «Белинский и Достоевский» перечёркивается одной фразой: «При необыкновенной живости, при кажущейся (курсив мой – Ю.П.) почти гениальности Белинский был несколько туп...» (Там же). Далее следует исключительно точная характеристика «неистового Виссариона». Сравнивая критика с Достоевским, В.Розанов называет его неполно-природным человеком и поясняет, ссылаясь на Дарвина, «ублюдок», «неправильно рождённый человек». И как одно из следствий – отсутствие у Белинского способности созидать, строить из себя, «нищенство» духа, придающее русским идейным скитаниям «что-то дьявольское».

Василий Васильевич, определявший культуру и личность через «культы»: семьи, дома, народа, Родины, Бога, с таких позиций оценивает и Белинского в этой статье. Он – один из родоначальников интеллигентской семьи-содружества без традиционного быта, семьи, дома. Отсюда «полное непонимание Белинским народной, простонародной жизни, деревенской жизни, сельской жизни». К сожалению, эти и подобные им оценки В.Розанов не иллюстрирует высказываниями критика. Когда такая работа будет проделана, тогда мы получим реальное представление об уровне и качестве «классических творений» Белинского.

Василий Васильевич, лишь в конце жизни освободившийся из-под «гнёта» «неистового Виссариона», говорит в данной статье то, о чём откровенно признавался сам критик в письмах к друзьям-западникам и что наглядно проявилось в его работах. Через социализм Белинского транслируются его антинародные, антинациональные, космополитические чувства и представления. Наиболее же жёстко «существо» Белинского определяется в следующих словах: «Совершенное отсутствие в нём чувства России, отсутствие чувства русской истории». И как своеобразный итог размышлений Розанова о Белинском – фраза из статьи 1918 года «С вершины тысячелетней пирамиды»: «Прополз как клоп по литературе, кого-то покусал обличительно <...>» (Розанов В. Сочинения. – М., 1990).

В статьях «Три момента в развитии русской критики», «В.Г. Белинский (К 100-летию со дня рождения)», «Белинский и Достоевский», «О Достоевском», «И.В. Киреевский и Герцен», «Поминки по славянофильству и славянофилам», «Возврат к Пушкину», а также в вышеназванных и не названных публикациях В.Розанов часто точно, порой исчерпывающе точно, характеризует отдельных представителей западников и славянофилов и оба направления в целом.

Вторая сила, которая, по мнению мыслителя, угрожает существованию русских и русской литературы – это евреи. Их неистовую и масштабную революционность В.Розанов оценивает и как измену своему еврейскому «я», и как деятельность антирусскую. Ещё больше автора беспокоит возможность и последствия прививки еврейского «черенка» к стволу русской культуры и литературы.

Например, несмотря на то, что В.Розанов в своей «Записке» называет М.Гершензона «лучшим историком литературы за 1903-1916 гг.» («Новый мир», 1991, № 3), он в то же время боится, что критик своими писаниями привнесёт в русскую душу неуничтожимую «закваску обрезания», в результате чего русские через пятьдесят лет «пожиждовеют» (письмо М.Гершензону от «середины августа» 1909 года // «Новый мир», 1991, № 3). Это предположение – своеобразная иллюстрация опасения, высказанного В.Розановым ранее: «Боюсь, что евреи заберут историю русской литературы и русскую критику ещё прочнее, чем банки» (письмо М.Гершензону от «середины августа» 1909 года // «Новый мир», 1991, № 3).

М.Гершензон, представитель во многом иного подхода к проблеме, в письме от 18 января 1912 года, по сути, признаёт правоту розановской версии о «закваске обрезания»: «Я не скрываю от себя, что мой еврейский дух вносит через моё писательство инородный элемент в русское сознание» (Там же). Более того, М.Гершензон считает, что его случай – не частность, а общая закономерность: «иначе не может быть». Однако, в отличие от В.Розанова, он утверждает: участие евреев в литературной жизни не представляет для русских опасности. И вот почему.

Во-первых, на существование больших и сильных народов не способны повлиять даже крупные исторические события, типа войны 1812 года, не говоря уже о вмешательстве евреев, немцев и т.д. Не способны повлиять, ибо существование это глубоко самобытно и неотвратимо.

Во-вторых, сама модель соотношения русского и нерусского начал не даёт поводов для опасений, подобных розановским. Русский народный организм – доменная печь, в которой всё инородное сгорает полностью, либо ускоряя выплавку металла, либо улучшая его. Поэтому и в русской литературе инородная примесь положительно влияет на её качество, ибо «еврей или латыш позволяют увидеть явление с неожиданной для общества стороны».

Укажу на одно явное противоречие в красивой версии М.Гершензона. Если инородный элемент сгорает полностью, то откуда в таком случае берётся взгляд с нерусской «неожиданной» стороны?

Несмотря на всё сказанное, перспективу исчезновения любого народа вообще М.Гершензон не отрицает. Это может произойти в двух случаях. Первый – в результате

величайших завоеваний, вроде древних. Второй – «посторонняя примесь может стать опасной для народа, только если она количественно подавляет его, как это случилось по завоевании Англии норманнами».

Нельзя не заметить, что завоевание может быть не только вооружённым: победа «левой опричнины», о которой шла речь, и есть победа гуннов от литературы, культуры. Во-вторых, кто и как определяет неопасный процент «посторонней примеси»? Ведь если верить, а мы не можем не верить, Ф.Достоевскому, А.Чехову, В.Розанову, А.Куприну, А.Блоку и многим другим, этот процент был, мягко говоря, впечатляющий как в конце XIX века, так и в начале XX. В-третьих, «посторонняя примесь» характеризуется М.Гершензоном лишь количественно. О качестве – факторе, играющем не меньшую роль, – скажу кратко на примере статей самого М.Гершензона.

Его еврейство, его русскоязычность проявляются прежде всего в отношении к Православию и русским. В «Исторических записках», характеризуя воззрения И.Киреевского, М.Гершензон говорит об ошибке, затемняющей, искажающей основную мысль философа. Показательно и не случайно, что эта ошибка, по мнению автора, обусловлена «пристрастиями» известного славянофила к Православию и к русским как национальности (Гершензон М. Избранное. Образы прошлого. – Т.3. – Москва-Иерусалим, 2000). То есть неприятие «лучшим историком литературы» взглядов И.Киреевского происходит по главным «позициям», поэтому авторы, подобные М.Гершензону, всегда и только русскоязычные...

Духовная «посторонняя примесь» проявляется и в суждениях критика о «жизненном деле» Н.Гоголя. М.Гершензон утверждает, что разногласия В.Белинского и Н.Гоголя, вызванные «Выбранными местами из переписки с друзьями», есть миф. Эта книга проникнута «духом общественности, как никакая другая на русском языке». Религиозному, сотериологическому мышлению Н.Гоголя М.Гершензон приписывает качества противоположной, эвдемонической, культуры: «Его мышление насквозь практично и утилитарно, и именно в общественном смысле».

И как следствие – произвольные суждения о великом писателе, по иному, правда, произвольные, чем у В.Розанова. Приведём одно из них: «Итак, Гоголь во всяком случае стоит на той же почве, что Белинский: оба они исповедуют исключительный общественный идеализм, всецело поглощающий личность; оба признают единственной разумной целью всякого индивидуального бытия – не личное счастье, не наслаждение красотой, не самочинное личное развитие до высшего типа силы и святости, а выработку некоторых идеальных форм общественной жизни <...> При внимательном рассмотрении <...> конечные идеалы Гоголя и Белинского, в общем довольно смутные, несравненно больше совпадают, чем это кажется на первый взгляд».

Н.Страхов в 1890 году в письме к тому же В.Розанову куда более точно высказался о В.Белинском, его сторонниках и последователях: «Добролюбов действительно звал к общественной деятельности, но именно к революции, к разрушению, к осуществлению социализма, к тому же, к чему звали полоумный Чернышевский и совершенно зелёный Писарев. Все они исповедывали нигилизм, и начало этой проповеди непременно нужно указать в Белинском, в последнем его периоде» (Розанов В. Литературные изгнанники. Воспоминания. Письма. – М., 2000).

В статье «Возле «русской идеи»...» Розановым даётся иная трактовка этой идеи, в одном «пункте» (жизнестойкость), совпадающая с видением М.Гершензона. Автор статьи на разном материале, литературном и историческом, проверяет идею Бисмарка (и не только его) о «женственности» русских и в конце концов не соглашается с ним в оценке этого качества. В «женственности» В.Розанов видит не слабость, а силу русских, так при этом мотивируя свою точку зрения: «муж, положим, «глава»; но – на «шее», от которой и зависит «поворот головы» (Розанов В. Сочинения. – М., 1990). Поэтому даже при внешнем подчинении, «победителями» в конце концов выходят русские, внутренне овладевшие подчинителями.



Более того, В.Розанов высказывает мысль о невозможности русскому отказаться от своего «я» даже тогда, когда речь идёт о западничестве в разных вариантах: социализме или перемене веры. Остановившись на последнем явлении, ссылаясь на русских католиков Волконских, Гагарина, Мартынова, автор утверждает, что они сохранили свою душу, усваивая лишь форму другого. Нерусские же по происхождению (Даль, Востоков, Грот, Шейн и т.д.), «отдаваясь, отрекаются от своей сущности, происходит «перемена внутреннего идеала».

В.Розанов, идя своим путём в рассуждениях о «русской идее», по сути, приходит к выводам М.Гершензона. Правда, судьба «инородцев» видится ими по-разному. Если М.Гершензон говорит о сохранении своего еврейского «я» и явление добровольной «отдачи» не рассматривает вообще, то для В.Розанова этот вариант отношений русского и нерусского начал является определяющим. В результате выигрывают обе стороны: «Почему Даль, чиновник в петербургском департаменте и лютеранин, стал собирать пословицы, поговорки и, наконец, весь «живой говор» Руси? Почему Шейн всю жизнь пробродил по сёлам и деревням, собирая самые напевы, самые мотивы бытовых, свадебных, похоронных песен? Он, талмудист-еврей?! Отчего Гершензон в Москве с такой любовью реставрирует всю старую литературную Русь? «Женская душа» и немножко «туфля» (должно быть, тоже не мужского покроя) везде прососались, отнюдь не разрушая мужских ихних «форм», мужского «тела», но паче его укрепляя и расцветивая. Решительно, они работают по формам, по приёмам лучше русских <...> Но работают в русском духе, для русских целей. Работают в точности и полно русскую работу».

В размышлениях В.Розанова и М.Гершензона о русском и нерусском началах имеются, на мой взгляд, уязвимые места, которые «затемняют» предмет исследования. Во-первых, у В.Розанова недостаточно чётко прописан культурный статус Шейна, Даля, Гершензона и других «инородцев». Они, с точки зрения мыслителя, русские по духу и нерусские по форме.

Формула настолько уязвима с точки зрения «теории», что и говорить об этом нет смысла. Формула уязвима и с точки зрения «практики»: как, например, быть с М.Гершензоном, к какой литературе его относить? Если идти вслед за статьёй В.Розанова, то к русской по духу и еврейской по форме; если следовать за высказываниями В.Розанова и М.Гершензона из их переписки, то – к еврейской.

Во-вторых, В.Даль, который по мысли, языку, духу называл себя русским, и М.Гершензон, который говорил о своём еврействе, стоят в одном ряду у В.Розанова как равнодуховные, единокультурные личности, что свидетельствует о несовершенстве «системы».

В-третьих, М.Гершензон даже не рассматривает феномен «второго рождения», как, например, в случае с В.Далем, а В.Розанов останавливается на полпути, выдвигая неудачную идею синтеза «женской» души и «мужской» формы. Странно, что в «мужские» народы у Розанова попали и евреи. Их, как и русских, традиционно относят к народам с преобладающим женским началом.

В-четвёртых, у В.Розанова и М.Гершензона нет чётко прописанных критериев «русскости». Чаще всего культурно-литературная принадлежность определяется по крови, что, естественно, не выдерживает никакой критики и о чём есть смысл сказать подробнее.

Показательно следующее признание В.Розанова из статьи «Среди иноязычных (Д.С.Мережковский)»: первое впечатление о Мережковском как об иностранце возникает от его внешнего вида. Характерен для логики автора и дальнейший ход мысли: «Я, хотя и ничего не знал о его роде-племени – но не усомнился заключить, что, так или иначе, в его жилах течёт не ч и с т о р у с с к а я к р о в ь (разрядка моя. – Ю.П.) <...> И здесь лежит большая доля причины, почему он так туго прививается на родине, и так ходко, легко прививается на Западе» (Розанов В. Собрание сочинений. О писательстве и писателях. – М., 1995).

«Иноязычность», «иностранство» Д.Мережковского подтверждается Розановым и по другим параметрам: незнание русской жизни, отсутствие национальных тем и национального склада души, связи с Россией. В результате писатель получает следующую прописку: «международный воляпюк». То есть через уязвимый фактор крови и через продуктивные вышеназванные критерии В.Розанов определяет Д.Мережковского, если использовать современную терминологию, как русскоязычного автора.

Данный случай – счастливое исключение, ибо фактор крови не повлиял на точность диагноза. Чаще всего у В.Розанова (как и всех, кто пользуется подобной «методологией») наблюдается иная картина, как, например, в статье «М.Горький и о чём у него «есть сомнения», а в чём он «глубоко убеждён...».

А.Пешков, начинающий писатель, характеризуется в данной работе как человек скромный, «с душою и некоторым талантом». Однако его «пером» вскоре воспользовались «лысые радикалы и полупараличные революционеры», поэтому М.Горький вскоре умер. Умер, если исходить из контекста, как русский человек и русский художник. В результате возникает версия о двух Горьких: Горький лица и Горький личности, маски.

Выступление писателя против инсценировки «Бесов», оценка мировой войны – это проявление «второго» Горького. Его В.Розанов характеризует, в частности, так: «Не русская душа говорит. В сущности говорит вовсе не Максим Горький. Последний – подменился, заменился. Гениальная нация в создании подделок – одна. Это говорит «местечко» Париж, где проживают «русские Моисеева закона». Их гортанный, самоуверенный, наглый «на оба полушария» говор, тон <...> Бедный Максим Горький. Где ты, бесхарактерный русский человек? <...> Лёг на чужой воз, – и везут тебя, переодетого в чужое платье, по чужим местам, по чужим дорожкам» (Розанов В. Собрание сочинений. О писательстве и писателях. – М., 1995).

Мысль о подобном захвате транслировалась В.Розановым и ранее: «Максим Горький – по-моему – прекрасный человек, но «захваченный» социалистишками и жидишками» (Письма В.Розанова к М.Горькому // «Вопросы литературы», 1989, № 10).

Правда, если следовать логике статьи «Возле «русской идеи»...», то такой захват русской «женственной души» в принципе невозможен. Думаю, в случае с М.Горьким, и не только с ним, речь должна идти не о захвате, подмене, использовании и т.д., а о полюбовном, добровольном союзе. Ведь ещё до встречи с «социалистишками и жидишками» в понимании таких определяющих русское сознание вопросов, как отношение к Богу, крестьянству, России, он был их единомышленником, был духовно нерусским. Розанов же, беря во внимание фактор крови, предполагает какую-то изначальную человеческую и писательскую «русскость» М.Горького. Это принципиальное заблуждение делает невозможным продуктивный разговор о личности, творчестве писателя, о русской и русскоязычной литературе вообще.

Довольно частое желание «пощупать шкуру» М.Горького вызвано разными причинами, в том числе и определённым духовным созвучием, которое наиболее чётко проявилось у Розанова в последнее десятилетие жизни. Оно было ознаменовано непоследовательным юдофильством-русофобством. Вот только некоторые юдофильские высказывания В.Розанова из писем к М.Гершензону 1912-1913 годов: «Конечно, евреи умнее (ибо исторически старше) русских и имеют великое воспитание деликатных чувств, деликатных методов жизни – от Талмуда, от законов Моисея, да и оттого, что всё дурное и слабое там выбито погромами, начатыми в Испании, где не было Суворина, и в Запорожской Сечи, где не читали «Новое время»; «... Я знаю это еврейское, что они культурнее и во многих отношениях исторически-аристократичнее русских и вообще европейцев»; «Вообще в юдаизме, в его гордом и не колеблющемся «Я», есть общечеловеческое достоинство, общечеловеческая истина, не истина «2+2=4», а какого-то невыразимого величия и достоинства духа, кроткого в унижении, вдруг ласкового в победе...»; «... Я люблю «гетто жидовское», их вечный гам, сутолоку, руготню <...> и

очень не уважаю тех строк Пушкина, которые он наврал в «Скупом рыцаре» <...>, «добрее и яснее» жидёнка нет никого на свете, что это – самая на свете человеческая нация, с сердцем, открытым всякому добру, с сердцем, «запрещённым» ко всякому злу. И ещё верно, что они спасут и Россию <...>» («Новый мир», 1991, № 3).

Сложной, многогранной, неисчерпаемой еврейско-иудейской темы коснёмся лишь настолько, насколько этого требует сам материал, сошлёмся при этом на мнение не менее авторитетных знатоков вопроса, чем В.Розанов. Думается, мыслитель явно идеализирует евреев, их историю, их священные книги. Вот что, например, пишет о русско-еврейских отношениях Ф.Достоевский в статье «Еврейский вопрос»: «... Нет в нашем простонародье предвзятой, априорной, тупой, религиозной какой-нибудь ненависти к еврею, вроде: «Иуда, дескать, Христа продал». Если и услышишь это от ребятишек или пьяных, то весь народ смотрит на еврея <...> без всякой предвзятой ненависти. Я пятьдесят лет видел это. Мне даже случалось жить с народом, в массе народа, в одних казармах, спать на одних нарах. Там было несколько евреев – и никто не презирал их, никто не исключал их, не гнал их. Когда они молились (а евреи молятся с криком, надевая особое платье), то никто не находил этого странным, не мешал им и не смеялся над ними <...> И что же, вот эти-то евреи чуждались во многом русских, не хотели есть с ними, смотрели чуть не свысока (и это где же? в остроге!) и вообще выражали гадливость и брезгливость к русскому, к «коренному» народу. То же самое и в солдатских казармах, и везде по всей России <...>» (Достоевский Ф. Собр. соч.: В 30 т. – Т.25. – Л., 1983).

Показательно предположение, которое высказывает Ф.Достоевский: что могло быть, если бы, выражаясь современным языком, евреи были «титულიной» нацией, а русские – национальным меньшинством. Это предположение также вступает в «конфликт» с розановским мифом о самой человеческой нации на свете: «... Во что обратились бы у них русские и как бы они их третировали? Дали бы они им сравняться с собою в правах? Дали бы им молиться среди них свободно? Не обратили бы прямо в рабов? Хуже того: не содрали ли бы кожу совсем? Не избили бы дотла, до окончательного истребления, как дельвали они с чужими народностями в старину, в древнюю свою историю?»

Примеры из древней истории Ф.Достоевский не приводит, это делает В.Шульгин в известной книге «Что Нам в Них не нравится...» (СПб., 1993). Он, рассуждая о русском погроме в XX веке и о погроме вообще, утверждает, что первый известный в истории погром устроили евреи, и он отмечается ими до сих пор как национальный праздник. Ссылаясь на Библию, цитируя 9-ую главу из «Книги Эсфирь», В.Шульгин оценивает и сами события, и многовековое празднование их с позиций христианского гуманизма: «Евреи, как известно, свято чтут поведение кровожадной Эсфири и мстительного Мардохея, который только «покушение амановцев» <...> наказал казнью 75 тысяч человек <...> И это массовое уничтожение людей, этот настоящий погром персов, а также других народностей <...> считается деянием героическим и священным.

Пусть религиозные евреи, празднующие Пурим, не представляют себе реально, что они празднуют; не сознают, что их ежегодный пир происходит на столах, кои подпирают человеческие кости, на скатертях, залитых человеческой кровью».

Понятно, что любить тот или иной народ никому не запрещается. Трудно в связи с В.Розановым определить другое: как его восторг от священных иудейских книг совмещается с их человеконенавистническим духом?..

Многие авторы склонны рассматривать предсмертное обращение В. Розанова «К евреям» как итог его размышлений на данную тему, как признание собственной «антисемитской» неправоты. И к такому выводу данное письмо, казалось бы, подталкивает: «Благородную и великую нацию еврейскую я мысленно благословляю и прошу у неё прощения за все мои прегрешения и никогда ничего дурного ей не желаю <...>» («Литературная учёба», 1990, № 1).

Сей документ – это прежде и больше всего тактический ход бессильного умирающего человека, заботящегося о собственной семье. Письмо, продиктованное В.

Розановым неделей раньше, нашу версию подтверждает. В «Моей предсмертной воле» мысль о торжестве Израиля соседствует с просьбой к еврейской общине обеспечить благополучное существование семье за счёт издания его – Розанова – сочинений.

Конечно, письмо пронизывает и раскаяние, самосуд, то русское начало, которое так точно не раз характеризовал В. Кожин, в первую очередь, в статье «И назовёт меня всяк сущий в ней язык...» («Наш современник», 1981, № 11). У евреев, по В. Розанову, эта черта отсутствует, о чём мыслитель говорил неоднократно: «Мне печально, что столько умных евреев, столько гениальных евреев, наконец, скептических евреев, усомнившихся и в Христе и в Талмуде, ни однажды не заподозрили: «да уж нет ли огня возле дыма? Нет ли в самом деле чего-то мучительного от нас для народов, начиная от Египта <...>. И вот, что они никогда даже не подняли этого вопроса, кажется мне, простите, бесчестным» (Письмо В.Розанова Г.Рочко без даты // «Новый мир», 1996, № 3); «Навязчивость евреев и вечное их самовосхваление и вседозволенность – отвратительны» (Розанов В. Собрание сочинений. Мимолётное. – М., 1994); «Вот этой оглядки на себя, этих скорбных путей покаяния, которые проходили все европейские народы, у евреев никогда не было. Никогда» (Там же).

Самосуд у русских, о чём также справедливо писал В. Кожин, нередко переходит в сверхсамосуд, в то, что Ф. Достоевский называл самооплёвыванием. Данное качество довольно часто проявляется в работах В.Розанова. В таких случаях он в оценке русских и евреев применяет методу двойных стандартов, и стороной «потерпевшей», самооплётанной оказываются русские. Например, свою начинающуюся ненависть к соплеменникам автор «Уединённого» мотивирует, в частности, так: «Эти заспанные лица, неметённые комнаты, немощённые улицы» (Розанов В. Сочинения. – М., 1990).

Если согласимся с В. Розановым и примем «заспанность» как данность, опустив при этом вопросы и возражения, то логически естественно будет переадресовать мыслителю его же в данном случае уместные слова, с поправкой, конечно, на предмет изображения: «Мёртвым взглядом посмотрел Гоголь на жизнь и мёртвые души увидел он в ней». Допустим, прав Василий Васильевич и в отношении неметённых комнат, тогда где последовательность: почему неопрятность евреев, на что указывают авторы разных национальностей, вызывает у мыслителя иную реакцию – симпатию, как в случае с женой М. Гершензона.

А.Блок, которого В.Розанов беспощадно и чаще несправедливо критиковал, в этом отношении был более свободен от стереотипов в суждениях о «грязи» разных народов. Приведу высказывание поэта из писем к матери от 25 июня 1909 года, 2 августа 1911 года и дневниковую запись от 19 октября 1911 года: «Общий тип итальянца – бессмысленное и добродушное лицо обезьянки, пронзительно свистящие губы, руки, засунутые в карманы всегда расстёгнутых штанов. Итальянский город почти всегда есть неопрятный ватер-клозет <...>»; «... И неотъемлемое качество французов <...> – невыносимая грязь, прежде всего – физическая, а потом и душевная»; «И потому – у кого смеет повернуться язык, чтобы сказать хулу на Гесю или подобную ей несчастную жидовку, которая, сидя в грязной комнате <...>, живя с грязным жидом <...>».

Общеизвестно, что сложные отношения с Православием, Церковью и любовь к Ветхому Завету замешаны во многом на личной трагедии В.Розанова, на истории с Варварой Бутягиной. История эта, помноженная на амбивалентность личности мыслителя, дала соответствующий результат: боязнь прививки обрезания сменяется жаждой духовного обрезания, русскоязычной парадигмой мысли. Показательна сравнительная характеристика иудаизма и христианства, содержащаяся в комментарии В.Розанова 1913 года: «Самая суть семитизма, юдаизма – есть жизнелюбие, есть вечная «земля» и «земное». И только оттого, что семитизм вечно с «молитвами», ежедневно «с молитвами», – а у нас христиан, молитва всегда удаляет от земного, ну, согласимся, – возвышает над земным, от этого все вообще христианские богословы, все христианские толкователи Библии приписали и ей это коренное христианское устремление «от земли к небу»,

«разрыв с землёю» и т.д. И через это, можно сказать, «провалили» (богословы) на всё время своего бытия и на всё время своего торжества настоящий, правильный и прямой взгляд на Библию, т.е. на фундамент собственных религиозных воззрений» (Розанов В. Литературные изгнанники. Воспоминания. Письма. – М., 2000). Явно не с православных, русских позиций выступает В.Розанов в своих печально известных попытках, начатых с «Людей лунного света» (М., 1990), нравственно легализовать, оправдать содомистские грехи и их носителей. И в этих попытках мыслитель не случайно опирается на Талмуд и «избранный» народ.

Языческо-ветхозаветное помрачение ума В.Розанова особо наглядно проявилось в его восторженном отношении к К.Леонтьеву. Так, комментируя слова Н.Страхова из его письма от 22 апреля 1892 года о гомосексуализме как о нравственном уродстве, он встаёт на защиту «людей лунного света», К.Леонтьева в частности, видя в его мужеложестве «великий принцип», эстетическую правоту, не доступную правильному Н.Страхову (Розанов В. Литературные изгнанники. Воспоминания. Письма. – М., 2000).

В письме от 11 мая 1892 года Страхов высказывает мысль, которая требует уточнения: «Грехи К.Н. Леонтьева его личное дело и не в них важность <...>Но важно развращение мысли, грех против Духа Святого». Со Страховым можно согласиться лишь в том случае, когда личность, явление, время оцениваются не с позиций собственного греха, когда авторский грех остаётся в стороне, преодолевается через народные, православные идеалы. В случае же с К.Леонтьевым довольно часто происходит обратное: сквозь призму личного греха он – чаще всего неосознанно – оценивает самые разные проблемы, явления, произведения и т.д. Отсюда столь, мягко говоря, поверхностные суждения К.Леонтьева о любви в «Анализе, стиле и веянии», «О всемирной любви», неуклюже-уязвимые характеристики Наташи Ростовской, Пьера Безухова, Кутузова, Вронского и других героев Л.Толстого, героев Ф.Достоевского, полное непонимание отцовства-материнства, атрофия чувства ребёнка, восхищение внешностью, преимущественно мужчин и т.д. В.Розанов в статье «Неузнанный феномен» признаётся, что не согласился с К.Леонтьевым, «встал на дыбы» лишь один раз: в случае с Вронским. Однако и в данном случае В.Розанов мыслит в рамках телесно-эстетской, гомосексуальной по сути парадигмы: мыслителя возмущают «мясистость», «толстые ляжки» героя (Розанов В. Сочинения. – М., 1990).

Конечно, несмотря на всё сказанное, в личности и творчестве В.Розанова русское начало преобладало над русскоязычным. Подтверждением тому, в частности, является судьба наследия мыслителя, которое было воспринято как враждебное антирусской, сатанинской советской властью, и знаково-печальная история с могилой философа.

## ВАДИМ КОЖИНОВ: ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ НА ФОНЕ ЭПОХИ

Игорь Шафаревич в статье «Штрихи к творческому портрету Вадима Валериановича Кожинова» («Наш современник», 1993, № 9) говорит, что был удивлен отсутствию статей, посвящённых 60-летию Вадима Кожинова, «так много сделавшего для русской культуры».

Факт действительно достойный удивления, а объяснения ему могут быть разные. Одно из них приведу исходя из своего опыта. В 1987 году я написал обзорную положительно-восторженную статью о творчестве Кожинова и отослал её в «Наш современник». В августе 1988 года пришел ответ за подписью редактора отдела критики А.Трапезникова. В нём, в том числе, говорилось: «Вашу статью прочитали, но, к сожалению, опубликовать её не представляется возможным, поскольку (несмотря на её достаточно высокий профессиональный уровень) В.Кожинов является одним из основных авторов журнала, и давать его творческий портрет было бы не этично. Может быть, Вам стоит обратиться в другой журнал, например, «Вопросы литературы».

Итак, не этично... И такой подход на самом деле преобладал в деятельности большинства журналов. Правда, вскоре нравы изменились: стало обычным явлением публиковать статьи о «себе» в изданиях разной направленности. Работа И.Шафаревича уже вполне вписывалась в новый контекст.

Что же касается совета А.Трапезникова обратиться в «Вопросы литературы», то я был не столь тёмным и наивным, чтобы данному совету последовать. Я понимал: статья с

такой направленностью в этом журнале никогда не появится. Я же хотел опубликовать её только в «Нашем современнике».

Предлагаемая статья – это «лоскутное» одеяло, состоящее из большей части той работы двадцатилетней давности и фрагментов, написанных в 2002, 2003 и 2007 годах.

\*\*\*

В советский период нашей истории (примерно до 60-х годов XX века) русская мысль находится в подполье или полуподполье (М.Бахтин, А.Лосев, М.Пришвин и т.д.) либо в изгнании (И.Ильин, Л.Карсавин, И.Солоневич и т.д.). В критике и литературоведении на протяжении 20-50-х годов доминирует «левый» подход в «советском исполнении». Лишь на рубеже 50-60-х годов начинается процесс, с одной стороны, «обрусения», с другой – явления русской мысли с элементами «советскости», «левизны», «русскоязычности». Мы рассмотрим этот процесс на примере личности и творчества В.Кожина, чью судьбу во многом определили М.Бахтин и В.Розанов.

Многие корреспонденты и авторы публикаций о В.Кожине держат в уме или транслируют открыто устоявшееся мнение о его антисемитизме. Назову лишь книгу А.Каца «Евреи. Христианство. Россия» (СПб., 1997) и статью А.Герт «Нельзя молиться за царя-ирода» («Вестник», 2001, 27 февраля), опубликованную в США через месяц после смерти Вадима Валериановича. Сам же мыслитель, как следует из его интервью 1999 года, до встречи с М.Бахтиным в 1961 году, был шабесгоем.

Шабесгойями в Советском Союзе бы

ли многие критики и литературоведы и, конечно, не только они. Шабесгойство как массовое явление подтвердило справедливость уже приводимого прогноза В.Розанова. После 1917 года захват евреями всех сфер жизнедеятельности государства и «ожидовление» русских приобрели катастрофический характер. Факты, называемые В.Кожинным в книге «Россия. Век XX-ый (1901-1939)» (М., 1991), не могут не впечатлять: с 1912 по 1933 годы еврейское население столицы выросло почти в 40 раз – с 6,4 тысячи до 241,7 тысячи. Но суть, конечно, не в крови, о чём неоднократно и по разным поводам писал Вадим Валерианович, а в другом: большая часть из тех, кто определял течение жизни, литературной в том числе, ненавидели историческую Россию, её традиционные ценности и делали всё необходимое для их уничтожения, для воспитания манкуртов, шабесгоев, советских людей, русскоязычных писателей, мыслителей...

Шабесгойство В.Кожина, как следует из интервью («Русский переплёт», 1999, 5 августа), во многом было обусловлено его учителями: в годы обучения в МГУ В.Кожин общался исключительно с евреями, русских же – высококультурных и высокоинтеллектуальных – почти не было. Этот факт, оставшийся без внимания собеседников, требует комментария.

В уже упомянутой книге В.Кожина приводит данные национального состава московской делегации на первом съезде писателей СССР и делает вывод: «Евреи тогда были в десять раз более способны занять весомое положение в литературе, нежели русские, хотя ведь именно русские за предшествующие Революции сто лет создали одну из величайших и богатейших литератур мира!» Если к этим данным непропорционального представительства русских и евреев прибавить чувство «одесской» солидарности, то ситуация, с которой столкнулся В.Кожин во время обучения и в последующий период, воспринимается как закономерная. Правда, интеллект и культура – именно на этом делает ударение Вадим Валерианович – тут ни при чём или почти ни при чём.

В характеристике еврейских наставников и еврейского окружения В.Кожина, думается, допускает разной степени положительные преувеличения, обусловленные и теми особенностями русского национального сознания, о которых он писал в статье «И назовёт меня всяк сущий в ней язык...» («Наш современник», 1981, № 11).

Поставить под сомнение интеллект и культуру еврейских учителей и товарищей В.Кожина позволяют и их работы, и свидетельства современников. М.Лобанов,

например, прошедший те же университеты, так характеризует одного из учителей-интеллектуалов: «Среди профессуры были и «наставники молодых душ», вроде Леонида Ефимовича Пинского, лекции которого по западной литературе поклонники его из евреев называли «гениальными», а меня дивили разве только тем сочным, почти физиологическим удовольствием, с коим толстые губы лектора бесконечно обсасывали слово «раблезианство». Как мне стало известно позже, вне университета Пинский собирал вокруг себя «молодых мыслителей» (среди них побывал и В.Кожин, по его свидетельству)» (Лобанов М. На передовой (Опыт духовной автобиографии) // «Наш современник», 2002, № 2).

Русским Пинским стал для В.Кожина М.М.Бахтин. Его совет «читайте Розанова», как следует из интервью, после реализации вызвал у Вадима Валериановича шок, ибо Василий Васильевич оказался «отчаянным антисемитом» («Русский переплет», 1999, 5 августа). На недоуменный вопрос В.Кожина, вызванный этим фактом, М.М.Бахтин ответил: «Что же подделаешь, но примерно так же думали и писали, правда, чуть меньше, чем Розанов, почти все великие писатели и мыслители России, начиная с Пушкина <...>. Например, в собрании сочинений Л.Толстого, которое называется полным, есть более пятидесяти купюр, касающихся еврейского вопроса. Так все думали, потому что это воспринималось как реальная опасность, реальная угроза» (Там же).

Невольно в данном случае голос М.М.Бахтина звучит в унисон с теми, кто, как и молодой В.Кожин, считал, что любая критика евреев есть проявление антисемитизма. Впоследствии Вадим Валерианович, став также «специалистом» по запретному вопросу, в свойственной ему манере – через высказывание лидера сионизма В. Жаботинского – так характеризует данную традицию, существующую в России уже более полутора веков: «Можно попасть в антисемиты за одно слово «еврей» или за самый невинный отзыв о еврейских особенностях <...>. В конце концов создаётся такое впечатление, будто и самое имя «еврей» есть непечатное слово, которое надо пореже произносить» (Кожин В. Победы и беды России. – М., 2002).

В.Розанов, удививший В.Кожина своим «антисемитизмом», не только это слово произносил, но и произносил в следующем контексте: «Каждый честный и любящий Родину русский неодолимо и истинно чувствует в евреях проклятие России»; «Евреи уже почувствовали себя в силе, всего через сорок лет крадущейся борьбы, такую силу, что вслух, громко запрещают русским в России любить своё отечество» (Розанов В. Собрание сочинений. Мимолётное. – М., 1994). У В.Кожина мы таких оценок не найдём, хотя он косвенно, характеризуя русско-еврейские отношения, в большей или меньшей степени подтверждает справедливость многих эмоциональных высказываний В. Розанова.

Показательно, что, говоря о причинах еврейских погромов, Вадим Валерианович ссылается на свидетельство автора «Сахарны», который сообщает, что деятельность евреев воспринималась жителями Бессарабии как высасывание соков из земли и людей. В. Кожин обращает внимание на следующие «параметры» еврейских погромов, принципиально меняющие привычное представление об этом явлении, представление, навязанное «левой» мировой печатью.

Во-первых, бессарабский погром, как и большинство других, совершался преимущественно на окраинных, «нерусских» землях Российской империи. Во-вторых, погромы эти, по сути, не отличались от погромов в Англии, Германии или Австрии: в их основе лежали экономические противоречия. В-третьих, количество жертв со стороны «нападающих» и «защищающихся» было практически одинаково. Например, во время октябрьских погромов 1905 года со стороны евреев было убито 43% от общего числа погибших и ранено – 34%.

Таким образом, В.Кожин частично корректирует, а, по сути, подтверждает правоту следующих слов В. Розанова, которые он не приводит в своих работах: «... Не русские обижают евреев, а евреи русских. Погромы – бессильная конвульсия человека, которому «тонко и научно» подрезают жилы, – и он чувствует и не знает, как с этим справиться».



Розанов, в отличие от Кожина, писал об извечной разнонаправленности русско-еврейских интересов, в частности, так: «Мы хотим – одного, а жида хотят – другого» (Письмо В.Розанова М.Гершензону от «около 26 декабря 1912 года» // «Новый мир», 1991, № 3).

Если не учитывать событийно-эмоциональный контекст, то во многих высказываниях можно увидеть проявление ненависти к евреям как «племени», ненависти на уровне крови. Однако, как явствует из других суждений, уточняющих позицию В. Розанова, в основе этого чувства лежит несовместимость духовная, религиозная: «Не «евреев» мы должны гнать, <...> а – еврейство, «закон Моисеев» и обрезание»; «Или Христос, или Иуда... Нет выбора, и нет сожительства».

В.Кожин, в отличие от В.Розанова, рассматривающего евреев как монолит, вслед за Л. Карсавиным выделяет три типа евреев и отрицательно характеризует лишь тот, «который и не еврей, и не «нееврей» (то есть в условиях русской жизни чужд её основам), но в то же время самым активным образом стремится воздействовать на русскую политику, идеологию, культуру» (Кожин В. Россия. Век XX-ый (1901-1939). – М., 1991). К этому типу В.Кожин относит всех еврейских – известных и многочисленных – людоедов, разрушителей XX века.

Однако в другой главе автор книги «Россия. Век XX (1901–1939)» противоречит себе. Он, вслед за М. Альтманом, утверждает, что евреи, получившие ортодоксальное религиозное воспитание (т.е. евреи первого типа, которые согласно предыдущим высказываниям В. Кожина – идейные и духовные антиподы «не евреев, и не «неевреев») были «изначально отчуждены от русской жизни», но в большинстве своём сыграли громадную роль в истории советского государства и его культуры.

Во-первых, насколько правомочно в такой ситуации говорить о типах-антиподах, если отчуждённость от России уравнивает или сближает эти типы? Во-вторых, как можно получить конечный положительный результат от любой деятельности таких сограждан, если их воспитание, по свидетельству того же М. Альтмана, сводилось к следующему: «Вообще русские у евреев не считались «людьми». Русских мальчиков и девушек прозывали <...> «нечистой»... Для русских была даже особая номенклатура: он не ел, а жрал, не пил, а впивался, не спал, а дрыхал, даже не умирал, а издыхал. У русского, конечно, не было и души. Душа была только у еврея...» (Там же). И, наконец, насколько возможен продуктивный диалог с такими евреями, на что, как на реальность, не раз указывал В.Кожин, ссылаясь на свой опыт общения с сионистом М. Агурским.

Заслуживает внимания и то, как подход, аналогичный кожиновскому, прокомментировал Ф.Достоевский ещё в 1877 году в «Дневнике писателя»: «Евреи все кричат, что есть же и между ними хорошие люди. О Боже! да разве в этом дело? Да и вовсе мы не о хороших и дурных людях теперь говорим <...> Мы говорим о целом и об идее его, мы говорим о жидовстве и об идее жидовской, охватывающей весь мир, вместо «неудавшегося» христианства...» (Достоевский Ф. Полн. собр. соч.: В 30 т. – Т.25. – Л., 1983). По сути, Достоевский рассматривает данную проблему с тех же позиций, что и В. Розанов. Он различает еврея как человека, который может быть разным, и еврейский народ как постоянное и концентрированное выражение определённых национальных идей, идеи государства в государстве, прежде всего.

Эта идея, нередко именуемая Ф.Достоевским как жидовская, была в корне неприемлема для него. Суть её писатель определяет так: неуважение, безжалостное отношение ко всему, что не есть еврей. Предвидя возражения, Достоевский сразу отвечает на них: обогащение любой ценой и другие пороки были всегда, но только тогда, когда евреи стали почти полностью контролировать мировую экономику и политику, эти пороки восторжествовали окончательно и были возведены в ранг нравственных принципов. В судьбе еврея-общечеловека, отказавшегося от жидовской идеи, видится писателю путь к решению вопроса, который в более общей форме, применительно и к русскому народу, писатель определил как «братство с обеих сторон» (Там же).

Через три года, размышляя о русском идеале и предназначении, Ф.Достоевский в своей пушкинской речи развил эту мысль, определяя национальный удел через всемирность, через братское единение людей.

Тип духовнорусских евреев, о которых писал и Ф.Достоевский, вызывает уважение и любовь В.Кожина. Ради одних, как, например, доцента Абрама Александровича Белкина, он совершает отважные поступки, доставившие ему немалые неприятности, о чём критик поведал в работе «1948-1988. Мысли и отчасти воспоминания об «изменениях» литературных позиций» (Кожин В. Статьи о современной литературе. – М., 1990). Другие, как В.Непомнящий и В.Берковский, не раз очень высоко характеризуются им как лучшие специалисты-филологи, постигшие суть творчества А.С.Пушкина и своеобразие русской литературы.

В освещении русско-еврейских отношений В.Кожин ввёл множество новых фактов, наметил неожиданные и продуктивные пути их рассмотрения. Это, на наш взгляд, настолько очевидно, что не требует доказательств и комментариев. Есть смысл сказать о другом. В трактовке некоторых аспектов данной проблемы Вадим Валерианович расставляет, на мой взгляд, не те акценты или не договаривает до конца.

Так, ведя речь о русско-еврейских преступлениях 10-30-х годов XX века, он утверждает: «И поскольку большевики-евреи были «чужаками» в русской жизни, их ответственность и их вина должны быть признаны, безусловно, менее тяжкими, нежели ответственность и вина тех русских людей, которые действовали рука об руку с ними» (Кожин В. Россия. Век XX-ый (1901-1939). – М., 1991). Однако русские – представители «малого» народа – были такими же чужаками, как и евреи. Поэтому речь должна идти о равной мере ответственности чужаков – русских и евреев.

Принципиально иначе, чем многие «правые», относящие интеллигенцию к таким «чужакам», «русскоязычным», характеризует интеллигенцию В. Кожин. В статье «Между государством и народом» он утверждает, что политический подход в данном случае наиболее уместен, ибо интеллигенция являет собой средоточие, концентрированное выражение политики. Интеллигенция, по Кожину, – «посредница» между государством и народом» (См.: Кожин В. Победы и беды России. – М., 2002), и наиболее объективно о ней судили Ап.Григорьев и В.Розанов. Характеризуя взгляды последнего, Вадим Валерианович делает это неточно, по сути, приписывая свои воззрения мыслителю.

Думается, В.Розанов выступал не только и не столько против идеологической монополии В. Белинского и Н. Добролюбова, как утверждает В.Кожин. К тому же, двух высказываний Василия Васильевича для иллюстрации его взглядов по данному вопросу недостаточно, ибо взгляды эти претерпели принципиальные изменения в «поздний» период творчества.

В.Кожин, как и некоторые другие «правые», начавшие в 60-е – 70-е годы трудную, опасную и необходимую работу по освобождению русского сознания от догм Белинского, Добролюбова, Писарева и других «левых» авторов, к сожалению, не прошёл этот путь до конца. Отсюда такой взгляд Вадима Валериановича на Белинского, Добролюбова в статье 1998 года. Естественно, мы не можем согласиться и со следующим утверждением В.Кожина об интеллигенции: «Розанов ясно сознавал её необходимую – и в конечном счёте великую – роль в этом бытии» (Там же). Сошлёмся лишь на розановскую статью «С вершины тысячелетней пирамиды», в которой автор оценивает роль большей части интеллигенции, «левой» интеллигенции, как «великое историческое предательство». И в этом В.Розанов был прав.

Что же касается русских, то в своих характеристиках В.Кожин, как и В.Розанов, М.Булгаков, В.Астафьев и многие другие писатели, критики, философы, историки, порой чрезмерно и несправедливо размахист, а главное – он не проявляет к ним такого же дифференцированного отношения, как к евреям. Думается, что и в русском народе необходимо выделять три народа: «большой» народ (по духу, культуре русские, люди,

утверждающие в своей жизни и деятельности православные идеи и идеалы), «малый» народ (формально, лишь по крови русские, носители ценностей, противоположных ценностям «большого» народа), «амбивалентный» народ (люди, совмещающие в себе взаимоисключающие идеалы, ценности «малого» и «большого» народов). Следует также уточнить: «большой» и «малый» – это показатель качества, а не количества. Себя же отношу к амбивалентно русским.

Такое деление, думается, позволяет дать более точные ответы на многие вопросы, в частности, следующий: «Почему русскоязычный В.Маяковский был кумиром молодого В.Кожина»; дать ответ и на вопрос М.Лобанова: «Отчего Роман Михайлович (Самарин. – Ю.П.) не стал для русских тем же, чем был Пинский для своих питомцев» (Лобанов М. На передовой (Опыт духовной автобиографии) // «Наш современник», 2002, №2).

Итак, одно дело – ненависть ко всем евреям, которой, несмотря на приведённое утверждение М.Бахтина, у русских писателей не было, другое – осознание опасности, неприязнь или ненависть к евреям, стремящимся уничтожить либо подменить традиционные ценности русской жизни – от государственных до культурно-исторических – интернационально-космополитическими или еврейскими. И о такой опасности, о таких евреях с разной концентрацией нелюбви говорили писатели и мыслители как XIX столетия, так и века минувшего, о чём, на примере В.Розанова, уже шла речь.

В суждениях В.Розанова о «еврейской опасности» забывается главное – суть не в евреях и «жидах», а в тех русских, «ожидовление» которых произошло ещё до возникновения мыслей философа. Русскоязычные, частично или полностью потерявшие духовную русскость, подрывавшие основы христианской морали, веры, государственности, они – писатели, философы, политики – не всегда мотивированно характеризуются и В.Кожинным.

Кожин и пишущие о нём не раз говорили как о достоинстве, что Вадим Валерианович в советские времена ни разу не цитировал Сталина, Брежнева, не употреблял слова «колхоз», «партия», «социализм», был антикоммунистом... Мне непонятно, чем цитата, скажем, из Сталина хуже или постыдней цитаты из Ленина или Маркса. Суть в том, какие это цитаты и какова их роль в тексте. О той же коллективизации можно и нужно говорить как о преступлении (вспомним трилогию В.Белова или статью М.Лобанова «Освобождение»), а можно как об оправданной необходимости (смотрите, например, интервью В.Кожина «Цена пережитого» // «Российская Федерация сегодня», 2000, № 21). А употребляются ли при этом слова «колхоз», «социализм» и т.д., не имеет никакого значения.

Игорь Шафаревич в статье «Штрихи к творческому портрету Вадима Валериановича Кожина» («Наш современник», 1993, № 9) мягко замечает: «В его работах 60-70-х годов встречаются цитаты из Маркса, Энгельса и Ленина как ссылки на авторитеты, выводы которых подкрепляют мысли автора». То есть такое цитирование выполняет защитную функцию, и в этом Шафаревич прав и не прав.

Действительно, у Кожина есть случаи формального, защитного цитирования, как, например, во втором абзаце статьи «Познание и воля критика» (1975) о книге Петра Палиевского «Пути реализма». Вадим Валерианович сводит в этом абзаце идеалиста Гегеля и материалиста Ленина, приводя их идеологически безобидные высказывания. Они утяжеляют взгляды Кожина на назначение критики и книгу Палиевского. Ударное место этих цитат в композиции статьи делает очевидным замысел критика, хотя и без них, видимо, можно было обойтись.

Однако в статьях В.Кожина 60-80-х годов немало случаев неформального цитирования или ссылок на Ленина, когда создаётся устойчивое впечатление, что критик разделяет транслируемые идеи. Например, в статье о Василии Белове «В поисках истины» (1979) Кожин доказывает современность писателя через экскурс в историю литературы: «Феликс Кузнецов начал одну из своих недавних статей многозначительным напоминанием: «Вспомним то сокрушительное поражение, которое потерпела русская

критика в конце XIX века. <...> Потребовался гений Ленина ... чтобы дать научное и объективное истолкование творчества Толстого». И заканчивается этот экскурс соответственно: «И нам необходимо учитывать тот исторический урок, о котором столь уместно напомнил Феликс Кузнецов».

Итак, непонятно, что подтолкнуло Вадима Валериановича через Ф.Кузнецова искать союзника в Ленине, сослаться на его опыт истолкования Льва Толстого, который положительным не назовёшь. Статьи Ульянова – это редкостный пример убожества мысли и духа, пример кричащего, абсолютного непонимания Льва Толстого.

Вадим Валерианович не раз говорил о своей приобщённости (относительно ранней по советским меркам) к русской религиозной философии, что произошло благодаря Михаилу Бахтину. И сам Кожин, по словам Владислава Попова, познакомил уже его «с русской религиозной философией (тогда запрещённой официально): с Н.Фёдоровым, В.Розановым, Н.Бердяевым, а потом славянофилами, евразийцами <...>» («Наш современник», 2003, № 7).

Но как тогда Кожин, если и не окормляемый, то хотя бы находящийся в поле притяжения русской мысли, мог быть солидарен с Лениным по многим вопросам? Солидарен с этим выродком, чудовищем, русофобом, космополитом, сатанистом, разрушителем традиционной России. Более того, сначала в «кулуарах», а затем, со второй половины 80-х годов, в печати Кожин транслирует мифы о «хорошем» Ленине.

Один из них, миф о Ленине-патриоте, я впервые услышал в мае 1984 года от Юрия Селезнёва. Он, с присущим ему горением, рассказал мне об «утаённом» наследии Ленина... Юрий Иванович не скрывал, что «неизвестный» Ленин – это не его открытие. Однако имя «открывателя» названо не было, да я в этом и не нуждался. Я с трепетным энтузиазмом поверил в сей миф, так как Юрий Иванович был для меня непререкаемым авторитетом.

Когда в статьях В.Кожина «Сердце отчизны» («Литературная газета», 1985, № 29), «Уроки истории: О ленинской концепции национальной культуры» («Москва», 1986, № 11), «Мы меняемся»? Полемические заметки о культуре, жизни и «литдеятелях» («Наш современник», 1987, № 10), в его диалоге с Б.Сарновым («Литературная газета», 1989, № 10-13) зазвучала ленинская тема, авторство услышанного от Селезнёва мифа стало для меня очевидным, но суть не в этом. Многие люди поверили, а некоторые, думаю, продолжают верить в красивые сказки о Ленине...

На протяжении последних примерно пятнадцати лет Вадим Валерианович по непонятным для меня причинам пытался русифицировать и отчасти облагородить В.Ульянова. Неубедительно выглядит противопоставление: с одной стороны, Ленин – патриот, сторонник «решения: революция для России», с другой – все остальные, эмигранты, которые «не знали и не могли знать России, и для них она была «в сущности безразличным материалом» (Кожин В. – Сарнов Б. Россия и революция // «Литературная газета», 1989, № 11).

Для того, чтобы доказать недоказуемое, В.Кожину приходится проявить верх изобретательности. Оказывается, в доме Ульяновых «господствовала русско-православная атмосфера», как утверждает в книге «Россия. Век XX-ый (1901-1939)» (М., 1991). Вадим Валерианович, всегда столь фундаментальный в доказательствах того или иного тезиса, в данном случае ссылается только на свидетельство Анны Ильиничны об отце как о глубоко верующем человеке и на признание Ленина о своей вере в Бога до 16 лет. Эти факты, если даже принять их на веру, думается, ничего не доказывают, ибо семья, в которой царила «русско-православная атмосфера», не могла бы дать столько, и таких, русофобов, человеконенавистников, людоедов.

Для подтверждения версии «Ленин-патриот» годится и ни о чём, на наш взгляд, не свидетельствующее высказывание Ульянова восемнадцатого года: «добиться... чтобы Русь... стала в полном смысле слова могучей и обильной...», и строки из его завещания: «Я советовал бы очень предпринять на этом съезде ряд перемен в нашем политическом

строе». Из приведённых слов завещания В.КожинOV делает совершенно неожиданный, необоснованный вывод: «Да, ни много, ни мало – изменение самого «политического строя», но очевидно, что «ряд перемен» не тождествен «изменению самого политического строя».

Трудно согласиться и со следующей версией: в результате осуществления ленинского завещания орган «верховой власти состоял бы в основном из русских». В.КожинOV, как и многие авторы разных направлений, допускает одну логически-сущностную ошибку. Непонятно, как из рабочих и крестьян, людей с обозначенным только социальным статусом, людей, прошедших через партийное сито, можно в итоге получить русских. То, что русскость 75 или 100 рабочих и крестьян Ленин определяет по крови – это естественно, но то, что подобным образом поступает один из лучших знатоков национального вопроса, более чем удивительно.

Отношение В.КожинOVA к Сталину менялось на протяжении жизни. Он не раз вспоминал о том, что в школьные годы был юношей, далёким от политики. Однако в МГУ, где КожинOV учился на филфаке, общая атмосфера была такая, что он в короткий срок стал «искренним убеждённым сталинистом», вступил в комсомол... В 60-70-е годы, если судить по статьям и воспоминаниям Вадима Валериановича, культ Сталина остался позади, был положительно преодолён. В годы перестройки тема Сталина звучала во многих публикациях КожинOVA.

Самый большой резонанс вызвала статья «Правда и истина» («Наш современник», 1988, № 4). В ней автор, в отличие от Анатолия Рыбакова (чей роман «Дети Арбата» был подвергнут доказательной и тотальной критике), говорит о Сталине как порождении российского и мирового революционного и «левого» движения вообще. Эти и другие идеи КожинOVA звучали кричащим диссонансом на фоне огромного количества статей, в которых шло развенчание Сталина через противопоставление ему «достойных» коммунистов: Н.Бухарина, С.Кирова, Ф.РаскольниковA, М.Рютина, М.Тухачевского и т.д.

Статья Вадима КожинOVA была воспринята «левыми» как защита Сталина, в чём упрекали критика авторы от В.Лакшина до Б.Сарнова. В другом контексте эта тема прозвучала в открытом письме Алеся Адамовича Вадиму КожинOVу «Как прореживать «морковку»» («Огонёк», 1989, № 35). КожинOV в ответном письме «Плод раздражённой фантазии» («Огонёк», 1989, № 41), в частности, утверждал: «Я, например, в отличие от Вас, вообще никогда не употреблял слово «колхозы», так как не имел возможности сказать, что я о «колхозах» думаю.

И последнее. Так как возразить мне Вы, по существу, не можете <...>, Вы, Александр Михайлович, решили не спорить, а создать некий жуткий «образ Вадима КожинOVA» – апологета террора, коллективизации, репрессий. Но этот «образ» – плод одной только раздражённой фантазии».

Мифу «левых» о Сталине-злодее, который в 1928-1929 годах совершил контрреволюционный переворот, КожинOV противопоставил идею закономерности, подготовленности явления Сталина и сталинизма. Так, в статье «Самая большая опасность...» Вадим Валерианович утверждал: «... Сталинизм смог восторжествовать потому, что в стране имелись сотни тысяч или даже миллионы абсолютно искренних, абсолютно убеждённых в своей правоте «сталинистов»» («Наш современник», 1989, № 1).

В этой и таких статьях, как «Правда и истина» («Наш современник», 1988, № 4), «1948-1988. Мысли и отчасти воспоминания об «изменениях» литературных позиций» («Литературная учёба», 1988, №3), КожинOV называет и характеризует прежде всего тех «сталинистов», которые во времена перестройки в списках «левых» проходили как «антисталинисты». Это Н.Бухарин, С.Киров, Б.Пастернак, А.Твардовский, А.Дементьев и другие.

Вадим КожинOV многочисленными примерами свою точку зрения подтверждает. Я приведу лишь одно его высказывание о Пастернаке: «Он не только безусловно верил в Сталина в 1930-х годах (что явствует, например, из воспоминаний вдовы Осипа

Мандельштама), но и во многом сохранял эту веру позднее. Его поэтические книги, изданные в 1943, 1945 и 1948 годах, по своей общей настроенности не противоречили тогдашней литературе в целом, а в прозе он писал, например, во время войны: «Как веками учил здравый смысл и повторял товарищ Сталин, дело правое должно рано или поздно взять верх. Это время пришло. Правда восторжествовала» («Литературная учёба», 1988, № 3).

В статье «К спорам о «русском национальном сознании» (1990) В.Кожин оценивает Сталина с точки зрения отношения к отечественной истории и литературе. Высказывание Сталина 1934 года о России, которую всю историю «непрерывно били», В.Кожин называет нелепейшим и иронично комментирует... На приводимых примерах Вадим Валерианович показывает, что позиция Сталина в данном вопросе была созвучна таким русофобам, как Л.Троцкий, Н.Бухарин, И.Эренбург.

В этой статье Кожин оценивает версию, которая вскоре станет очень популярной, версию о повороте Сталина к патриотизму во второй половине 30-х годов. Эта преимущественно косметически новая политика объясняется Вадимом Валериановичем тактическими и стратегическими соображениями: «... Явно приближавшаяся военная угроза заставляла власти задуматься над тем, что будет защищать народ. Но совершенно ложно представление, согласно которому тогдашние власти действительно «поощряли» подлинное национальное сознание». Эту мысль Кожин довольно часто подтверждает сведениями о репрессированных писателях. Из пятидесяти «левых», «далёких от русской идеи» авторов было репрессировано двое, из двадцати «неославянофилов» остался в живых лишь Пимен Карпов. Вывод Вадима Валериановича вполне закономерен и справедлив: «Те, кто полагает, что Сталин поддерживал-де «национально мыслящих» русских писателей, должен либо отказаться от этого представления, либо же прийти к выводу, что репрессии против писателей проводил не Сталин».

Показательна полемика Кожина с Лобановым, возникшая в этой связи через шесть лет. Вадим Валерианович в «Загадке 1937 года» («Наш современник», 1996, № 8) комментирует основные положения статьи Михаила Петровича «Единение. На чём?» («Наш современник», 1996, №7) и критику в свой адрес. В.Кожин вслед за Ю.Емельяновым утверждает, что отказ от дискредитации всего русского вызван тем, что это вредило развитию мировой революции. А опора на славную русскую историю, имена Дмитрия Донского, Суворова, Ушакова и т.д., политика, которая началась после 1934 года, вызвана не «личными сталинскими представлениями», а «пониманием исторического развития страны». Здесь, конечно, с точки зрения логики, не всё ясно у Кожина: понимание в представлении Сталина не входит?

Очень важное дополнение к теме содержится в интервью Кожина «Лики и маски истории» («Завтра», 2000, № 27-28). Вновь говоря о повороте середины 30-х годов, Вадим Валерианович подчёркивает его ограниченность, которая выразилась и в том, что данный процесс не касался религиозно-философских истоков русской культуры, «остававшихся под запретом до самого последнего времени».

В работах и интервью В.Кожина 90-х годов тема Сталина возникает довольно часто, и Вадим Валерианович с постоянством убеждённого человека высказывает, по сути, одни и те же полубившиеся ему идеи, сопровождая их периодически новой фактической «поддержкой», а иногда и этическими оценками. Так, в беседе с Виктором Кожемяко Кожин версию о Сталине-патриоте опровергает не совсем частым для себя способом: «Я не могу, скажем, простить ему, что в 1946 году, когда в стране был страшный голод, он бросил огромное количество хлеба в Германию, чтобы подкупить немцев. Есть, конечно, понятие политической целесообразности, но настоящий патриот, по-моему, так поступить всё же не мог» («Правда», 1996, 21 марта).

В интервью с Виктором Кожемяко («Правда», 1996, 21 марта) и беседе с Алексеем Зименковым («Подмосковные известия», 1997, 21 августа) речь идёт о возможном восприятии Сталина в нашей стране. В интервью об оправдании Сталина говорится как о

факте неизбежном, лишь степень оправданности является объектом обсуждения. В.КожинOV утверждает: «Я убеждён, что в России Сталин никогда не будет оправдан до такой степени, как во Франции оправдан Наполеон, ставший там величайшим представителем нации». В беседе с Зименковым Вадим Валерианович не столь категоричен: «Будем надеяться, никто не заставит русских людей отменить нравственный приговор Ивану Грозному и Сталину (иначе мы перестанем быть русскими)».

Подобная двойственность в отношении к Сталину характерна для статей КожинOVA 90-х годов. Через часть из них лейтмотивом проходит идея о Сталине как абсолютном, высшем зле, которое побеждает обычное, земное зло, всех этих радеков, зиновьевых, «у кого руки по локоть, а ноги были по колено в крови...». И в свои «союзнИки» Вадим КожинOV берёт Александра Пушкина и Михаила Булгакова, как, например, в беседе с Вяч.Морозовым («Наш современник», 1999, № 6).

Сомнения возникают и по персоналиям, точнее, по Пушкину, и в плане общетеоретическом, ибо таким образом происходит частичная реабилитация абсолютного зла. К чему это может привести, продемонстрировал Вадим КожинOV в 2000 году. Он утверждает, что в темпах коллективизации и в раскулачивании были виновны зажиточные крестьяне, которые не захотели продавать хлеб государству. Действительно не захотели, только из-за низкой закупочной цены, а не потому, что, как считает В.КожинOV, этот небольшой процент крестьян «где тайно, а где явно, дал понять, что, угрожая всеобщим голодом, он готов был требовать от власти уступок, включая политические» («Российская Федерация сегодня», 2000, № 21).

КожинOV, который в стольких работах блистательно следует заветам своего учителя Эвальда Ильенкова («мыслить надо в фактах», «истина конкретна»), в данном случае нарушает его заветы. Там, где Вадим Валерианович факты приводит, они звучат неубедительно, и «обратной связи с реальностью» (то, к чему стремится КожинOV, по его признанию) не возникает.

Пытаясь доказать неизбежность коллективизации, Вадим Валерианович воссоздаёт атмосферу жизни в деревне 1925-1928 годов следующим образом. Он ссылается на свидетельство Николая Тряпкина, которому в указанный период было 7-10 лет. И далее следуют такие размышления и вывод КожинOVA: «Зачем надрываться ради какого-то там расширенного производства, индустриализации? А ведь крестьяне составляли 80 процентов населения страны. Продлись такая жизнь до 1941 года – нам нечем было бы воевать».

Как видим, в трактовке этого вопроса КожинOV не оригинален, он повторяет расхожую версию советских историков-ортодоксов. Печально, что Вадим Валерианович, избегавший в советское время слова «колхоз» из-за невозможности сказать правду о коллективизации, на закате жизни выдал такую версию. Не менее печально и удивительно, что она стала популярной среди некоторых «правых» во второй половине 90-х годов.

\*\*\*

В предисловии к книге «Статьи о современной литературе» (М., 1982) В.КожинOV сказал: «Не отрекаюсь ни от чего, что было написано». В «вольности», которую позволит себе далеко не каждый литературовед и критик, – свидетельство верности тем идеалам, которые определяли путь В.КожинOVA, человека и исследователя.

Итак, речь идёт о постоянстве сердечных привязанностей, единой системе духовно-нравственных ценностей В.КожинOVA при развитии мировоззрения, совершенствовании исследовательского аппарата. Этот процесс не обходился, конечно, без «саморедактирования» разного свойства. В.КожинOV, по его собственному признанию, «мог бы теперь многое дополнить, уточнить, переакцентировать».

Эта «корректировка взглядов» (естественный и необходимый процесс) протекает у каждого исследователя по-своему. В.КожинOVу, в отличие от «левых» критиков и

литературоведов разных поколений, не нужно было переписывать собственные работы, кардинально менять взгляды, что по-разному обыгрывается русскоязычными авторами.

Читая статьи Б.Сарнова, Ст.Рассадиной, С.Чупринина, А.Туркова, Натальи и Татьяны Ивановых, невольно вспоминаешь следствие по делу Пиро из романа А.Франса «Остров пингвинов», которое велось сначала в соответствии с убеждениями Гретока: «лучший способ доказательства – не иметь доказательств», а затем, после нарушения этого принципа, были предоставлены 14.626.312 «документов-фактов», к делу никакого отношения не имеющие. Вышеназванные авторы удачно используют и тот, и другой приёмы, правда, страдает при этом и истина, и читатель, и сам «подследственный».

Сложность разговора о творчестве В.Кожина заключается именно в том, что большинство из писавших о нём пользовались подобными приёмами. Поэтому много места занимает расчистка «завалов», имеющая, конечно, и свои плюсы: проясняются взгляды критиков, литературная ситуация.

У русскоязычных авторов правилом хорошего тона стало иронизировать над тем, что В.Кожин определённое время называл себя литературоведом. Ирония эта явилась в свет с лёгкой руки С.Чупринина, который, отказавшись от безличного профессионализма, вышивая на полях стихотворений «признанных» поэтов, открыто и во весь голос, целенаправленно и последовательно стал выражать свои симпатии и антипатии. На эту особенность С.Чупринина справедливо указал Вадим Валерианович в статье «Отпущу свою душу на волю...» («Литературная учёба», 1982, № 2).

Называя В.Кожина критиком-антиподом, ведя с ним постоянный спор, С.Чупринин взял на вооружение упоминавшуюся методику, привнес в неё и своё оригинальное начало. В статье «Критика – это критики» С.Чупринин возвращает В.Кожину характеристику, данную ему Вадимом Валериановичем ранее, добавляя к портрету антипода... собственные черты: «доказательства легко заменяются интонационным напором, безапелляционностью», «на помощь приходит прием подмены тезиса», «самодержавный критик», «методичный как в истреблении одних писательских репутаций <...>, так и в насаждении других» («Вопросы литературы», 1985, № 12). То, что эти качества действительно присущи Чупринину, легко убедиться, обратившись к его статье с говорящим названием «Каждому – своё!» В ней критик оценивает прозу «сорокалетних» явно с жреческих высот. С безрассудной уверенностью в том, что В.Личутин, В.Крупин и другие авторы не смогут ответить незамедлительно на вопрос: «Чего недостаёт современной прозе? Что они хотели бы изменить в ней?», – критик вопрошает: «Где книги великие – без оговорок – и необходимые обществу, как хлеб, как воздух, как слово правды?» («Литературная учеба», 1981, № 1). С.Чупринин противопоставляет «сорокалетним», как образец, «исповедальную», «молодёжную» прозу, представленную «сильными» – необходимыми! – книгами.

Знакомясь с портретами Л.Аннинского, В.Кожина, И.Золотусского, Е.Сидорова в названной рубрике в исполнении С.Чупринина, обращаешь внимание на то, что ряд совпадающих, по версии автора, у критиков черт оценивается им прямо противоположно. «Изначальная публицистичность» и насаждение мыслей «с методической планомерностью» Л.Аннинского не вызывают отрицательных эмоций у С.Чупринина, что происходит в случае с В.Кожинным; наоборот, лишь сочувствие, понимание необходимости долгосрочности этого насаждения: «десять-двадцать лет тут действительно не срок». Л.Аннинскому дозволяется почти всё, ему даже «ни к чему обстоятельная аргументация»: ведь критик «не обращается ко всем. Он обращается к каждому – и только...». Однако такие доводы не убеждают, так как в них, вновь используя слова С.Чупринина в качестве его же характеристики, «нет даже намёка на аналитичность».

Известный «левый» критик много рассуждает о преимуществе «ножниц» в позиции В.Кожина, открывающей простор для своеволия. С.Чупринин не раз цитирует своего



антипода, проявляя при этом странную слепоту и в трактовке вырванных из контекста мыслей, в которых он видит то, что хочет видеть, и в самом выборе их.

Критик не замечает те высказывания, где В.Кожинов наиболее чётко определяет своё авторское кредо. Вот одно из них: «Меня по-настоящему интересовали лишь те явления современной литературы, которые, на мой взгляд, имеют основания стать предметом литературоведения – или, иными словами, полноправно войти в историю отечественной литературы. Конечно, подчас возникала необходимость противопоставить эти явления легковесным образчикам сегодняшней беллетристики и стихотворства с помощью внешних эффектов, завоевавших шумную известность» (Кожинов В. Статьи о современной литературе. – М., 1982). Для В.Кожинова неприемлемо «чистое» литературоведение, не выходящее за рамки «художественности», повторяющее, по сути, принципы формальной школы 20-х годов и идею «специфичности» 60-х годов, принципы, которые так активно пропагандируются и рекламируются в нашей русскоязычной левой печати. Исследователь справедливо указывает на ущербность позиции сторонников данной концепции, стремящихся «изучать вместо литературы некий искусственно абстрагированный элемент последней» («Литературное обозрение», 1985, № 9).

Главным же недостатком современной науки о литературе В.Кожинов считает описательный характер большинства работ, не ставящих проблемы ценностного подхода. Сам же исследователь, являясь постоянным нарушителем границ (уместно привести слова М.М.Бахтина: «Каждый культурный акт существенно живёт на границах: в этом его серьёзность и значимость...»), в статье «Прорыв к живому бытию» видит перспективным историософский и культурфилософский пути в развитии литературоведения («Вопросы литературы», 1987, № 12).

И нет ничего удивительного в том, что заниматься такой теорией литературы Вадиму Кожинову, по его признанию, надоело, ибо, предположу, он увидел всю пустоту и бесперспективность царящего наукоблудия и объявил ему войну. Так, хотя поводом к написанию «Реальности против абстракции» стала публикация книги кожиновского аспиранта В.Фёдорова, разговор о ней вышел далеко за рамки рецензии. Это наглядно видно на примере и уже приведённой цитаты, и следующего суждения критика, которое звучит сегодня ещё более актуально, чем в середине 80-х годов: «В бесчисленных современных работах используются, так сказать, готовые плоды деятельности Бахтина (можно поставить любое другое модное имя, суть от этого не изменится. – Ю.П.) – все эти «полифония», «карнавализация», «двуголосие», «мениппея» и т.д. и т.п. Они попросту вставляются в ту или иную работу и обычно теряют при этом сколько-нибудь весомый смысл; чаще всего обнаруживается даже своего рода «несовместимость тканей», и бахтинские термины повисают в пустоте <...>» («Литературное обозрение», 1985, № 9).

Сам же Кожинов к тому времени давно «эмигрировал» в «пограничную» критику, стал писать на «границе» (имеется в виду высказывание Бахтина: «Каждый культурный акт существенно живёт на границах <...>») критики, литературоведения, истории. И закономерно, что именно в 70-е годы появляются статьи Вадима Валериановича, посвящённые проблемам и назначению критики.

Вадим Кожинов, как и Александр Твардовский, считал, что критический дар более редкий, чем писательский. Главный редактор «Нового мира», мотивируя свою точку зрения, говорил о «необходимом равновесии мысли, анализа и впечатлительности, чувства». Кожинов в статье «Самое лёгкое и самое трудное дело» (1970) называет иные субъективно-объективные факторы, обуславливающие явление критика. Во-первых, писателями рождаются, а критиками становятся. Во-вторых, чтобы стать критиком, нужно стоять на одном «уровне» с произведением и автором, уметь соотносить анализируемый текст с жизненной реальностью, иметь глубокое представление об истинном искусстве, знать историю отечественной и мировой литературы, культуры... Вообще, утверждает Кожинов, «легче ответить на вопрос, чего может не знать настоящий критик, чем на вопрос, чего он не может не знать. Критик должен быть в той или иной степени и

философом, и социологом, и историком, и языковедом, и психологом, и этнографом...» (Кожин В. Статьи о современной литературе. – М., 1990). И, в-третьих, всего этого может быть недостаточно, если у критика отсутствует главное качество – способность к самостоятельным суждениям.

Через пять лет в статье «Познание и воля критика» (1975) В.Кожин продолжает разговор о сущности и назначении критики. К названным качествам он добавляет волевое начало и далее уточняет, что «воля настоящего критика есть выражение определённой исторической силы».

И ещё: настоящая критика, по Кожину, должна быть насыщена идеями. Вадим Валерианович разделяет понятия «научное определение», «тенденция», «идея». Большинство современных критиков – это выразители тех или иных тенденций, то есть ходячих идей, утративших свою индивидуальность, ценность. Поэтому их статьи сводятся к тому, что в них иллюстрируются литературными примерами различные тенденции.

Научное определение, с точки зрения Кожина, «более или менее однозначно и плоско», смертно: оно со временем устаревает, то есть отменяется или включается в состав нового, более совершенного. Настоящая же идея многозначна, глубока, вечна, то есть «идеи нередко оспаривают, даже отвергают, но они всё же продолжают жить и сохранять свою ценность».

Любые общие положения обретают живое дыхание, проверяются на прочность лишь при столкновении с художественной реальностью. Вадим Кожин называет имена критиков, чьё творчество отвечает вышеприведённым критериям. Это Игорь Виноградов, Бенедикт Сарнов, Александр Михайлов, Лев Аннинский, Михаил Лобанов, Анатолий Ланшиков, Пётр Палиевский. В отличие, например, от Александра Твардовского и Владимира Лакшина, называющих авторов только одного – своего – направления, Вадим Кожин привёл имена критиков разных направлений.

Уже первые книги Вадима Валериановича «Виды искусства» (М., 1960), «Основы теории литературы» (М., 1962), «Происхождение романа» (М., 1969) стали событием, вызвали восторженные отзывы у разных авторов. Приведу лишь отклик Михаила Бахтина, который познакомился ещё с рукописью «Происхождения романа». Он в письме к В.Кожину от 1 апреля 1961 года дал ей развёрнутый отзыв. Я по понятным причинам процитирую только начало его: «Прежде всего мне хочется поблагодарить Вас, Вадим Валерианович, за то высокое наслаждение, которое доставило мне чтение Вашей книги, такой свежей, покорительно талантливой и одновременно такой научно зрелой. Из известных мне работ о романе Ваша книга представляется мне лучшей.

Поражает её научная и художественная цельность. Книга сделана из одного куска. Всё в ней пронизано глубокой и оригинальной мыслью. Нет мёртвых мест, нет не освоенных мыслью и не нужных для мысли материалов. По своей цельности и внутренней завершённости эта книга скорее эпична, чем романна» («Москва», 1992, № 11-12). Это тот случай, когда комментарии излишни.

Общеизвестно, что В.Кожин умел писать так, что его работы удивляли, вызывали споры, запоминались надолго. Это происходило прежде всего потому, что Вадим Валерианович опровергал традиционный или преобладающий взгляд на писателя, проблему, явление и выдвигал свою, мягко говоря, неожиданную версию. Назову лишь несколько нашумевших в своё время и до сих пор актуальных статей: «О главном в наследии славянофилов» («Вопросы литературы», 1969, № 10), «Проблема автора и путь писателя. На материале двух повестей Юрия Трифонова» («Контекст-1977» – М., 1978), «Русская литература и термин «критический реализм» («Вопросы литературы», 1978, № 9), «И назовёт меня всяк сущий в ней язык...» («Наш современник», 1981, № 11), «Правда и истина» («Наш современник», 1988, №4), «Об истоках русской литературы. Творчество Илариона и историческая реальность» («Вопросы литературы», 1988, № 12).

Версия Вадима Валериановича о смерти Пушкина вызвала отрицательно-возмущённую реакцию у «левых». Поэзь Карп в статье с говорящим названием

«Мифология как принцип» так прокомментировал статью Кожина: «...Поэт, оказывается, был убит из-за того, что росло его влияние на государя, и граф Нессельроде, опасаясь радикальных политических перемен, организовал убийство. Но нужны всё же хоть какие-то факты такой его деятельности. Таковые неизвестны, и мифотворец Кожин их творит <...>» («Нева», 1989, №11).

Во-первых, Кожин в статье «Из чьей руки?..» («Правда», 1987, №37) ссылается на свидетельство Г.В.Чичерина, который через родителей и родственников – дипломатов – был посвящён в тайну гибели поэта. Чичерин в письме к пушкинисту П.Щёголеву в 1927 году утверждал, что автором «диплома», пасквиля является Брунов, личный помощник министра иностранных дел Нессельроде. Заказчиком же письма была супруга министра.

В том же году в «Московском пушкинисте» были опубликованы воспоминания князя М.Голицына, где приводятся слова императора Александра II: «...Теперь знают автора анонимных писем, которые были причиной смерти Пушкина: это Нессельроде». В.Кожин при этом оговаривает: «Автор» – это ещё, конечно, не значит изготовитель «диплома» как такового. Сделал несколько его экземпляров, по-видимому, именно Брунов». На вопрос о цели «заказчика» В.Кожин отвечает, опираясь на итоговую работу Д.Благого «Погибельное счастье (женитьба, дуэль, смерть)».

Дискуссия о гибели Пушкина получила своё продолжение в 1991-1993 годах. Теперь уже «чистый» пушкинист С.Фомичёв, которого Кожин называет «весьма посредственным» и «малоизвестным литературоведом», сначала приписывает критику масонскую версию гибели Пушкина («Русская литература», 1991, № 2). После ответа Вадима Валериановича он вынужден был признать безосновательность своих утверждений и... тут же выдвинул новый вариант «обвинения»: П.Щёголев, Г.Чулков, И.Андроников, Д.Благой, на которых ссылается В.Кожин, говоря о космополитической «окраске» заговора, ничего подобного не утверждали. Приведя цитаты из работ названных авторов, Кожин делает закономерный вывод: «Как видим, и П.Е.Щёголев, и Г.И.Чулков, и И.Л.Андроников, и Д.Д.Благой были убеждены, что гибель Пушкина явилась «результатом зловещих действий «ареопага», «олигархии», «клики», «верхушки», суть коих определена в их работах словами «интернациональная», «космополитическая», «международная» <...> и, с другой стороны, «никак не связанная с русской культурой», «антинародная», «антинациональная» и, добавлю от себя, откровенно русофобская. В 1837 году это понял даже иностранный дипломат, назвавший погибшего Пушкина представителем «русской партии», противостоящей иной, антинациональной группировке» («Литературная Россия», 1993, № 28-29).

В 1999 году Вадим Валерианович вновь вернулся к этой теме в статье «О тайне гибели Поэта» («Москва», 1999, № 6). Он значительно детализирует событийно-человеческий фон трагедии, при этом положения двух предыдущих работ, как и они сами, почти в полном объёме органично входят в данную статью. Называются и новые авторы, которые в разное время высказывали идеи, созвучные кожинским. Это Николай Страхов и Владислав Ходасевич.

Вообще в год 200-летия со дня рождения А.С.Пушкина В.Кожин опубликовал восемь статей о поэте. В них рассматриваются самые разные вопросы: от места рождения Пушкина («Где родился поэт?» // «Труд», 1999, 5 мая) до его историософских взглядов («Пушкин и Чаадаев. Из истории русского национального самосознания // «Национальные интересы», 1992, № 2). Одиннадцать статей о Пушкине вошли в книгу Вадима Валериановича «Великое творчество. Великая Победа» (М., 1999), в которой закономерно связываются явление Поэта и наша Победа 1945 года.

Через многочисленные «пушкинские» интервью Кожина лейтмотивом проходит мысль, вынесенная в заглавие беседы с Вяч. Морозовым: «Мы все еще должны дорасти до пушкинских стихов» («Наш современник», 1999, № 6). О Вадиме Валериановиче Кожине можно сказать, что он до пушкинских стихов дорос.

В.Кожин считает, что распространённая точка зрения: в России была только литература – абсурдна. И это действительно так, ведь «высота и богатство слова невозможны без высоты и богатства самого бытия» («Вопросы литературы», 1987, № 12). Отсюда столь пристальный интерес исследователя к истории и к литературе как своеобразнейшему «высшему плоду» её.

Эту полюбившуюся мысль В.Кожин затем повторял неоднократно, и в изменённом «расширенном» варианте она за год до его смерти проросла в названии «Поэзия, искусство и культура – это высший плод истории» («Роман-газета XXI век», 2000, №1). А 5 августа 1999 года в интервью В.Липуну и В.Румянцеву В.Кожин, оглядываясь назад, выдвинул такую версию соотношения истории и литературы в своей жизни: «В сущности лет 15 назад я перестал заниматься литературой. Тогда я занимался литературой, но для того, – теперь я понимаю, – чтобы теперь глубже заняться историей. Чтобы заниматься историей, необходимо получить представление о том, что называется вечными ценностями. Только с этой точки зрения возможно объективно подойти к истории» («Русский переплёт», 1999, 5 августа).

История рассматривается В.Кожинным и как осмысливаемый объект, и как показатель мировоззренческого и творческого роста художника, исследователя литературы. Критика интересуется не только фактическая сторона вопроса, но и трактовка тех или иных событий и явлений действительности. При выявлении исторических ошибок, допущенных писателями и исследователями литературы, В.Кожин последователен и беспристрастен. Например, для него одинаково неприемлемы, мягко выражаясь, неточности «правого» С.Алексеева и «левого» А.Рыбакова, о которых он говорит в статьях «Огни прошлого» («Литературная учёба», 1986, № 6) и «Правда и истина» («Наш современник», 1988, № 4). Может показаться, что порою В.Кожин слишком строг в своих суждениях, отказывая некоторым литдеятелям не только в культуре, но и в образованности. Понять требовательность, бескомпромиссность Вадима Валериановича в этом вопросе вполне можно: дело дошло до того, что мы стали чужеземцами в своей истории и культуре, а нередко иностранцы знают наше наследие лучше современных историков, писателей, критиков, литературоведов. И если у Арсения Гулыги в статье «Поиски абсолюта» («Новый мир», 1987, № 10) хватило мужества признать, что глаза на истоки не только русской, но и западно-европейской литературы и философии ему открыл славист из Германии Л.Мюллер, указав на «Слово о Законе и Благодати» Илариона, то многие русскоязычные авторы продолжают пребывать в плену «левых» стереотипов. Так, В.Каверин в статье «Большой день» в конце 80-х утверждал, что русская тысячелетняя история литературы «началась с гениального «Слова о полку Игореве». Но ещё более странно то, что, по мнению писателя, только после победы Октябрьской революции, благодаря «деятелям левого направления в искусстве» – Мейерхольду, Татлину, Маяковскому, Пастернаку, которые поняли её «как собственную победу», «русская культура рванулась на мировую магистраль» («Вопросы литературы», 1987, № 11).

Сознательное и неосознанное самооплёвывание «левых» кавериных принципиально отличается от самокритичности «правых». Самокритичность, как одну из ведущих национальных особенностей русских, В.Кожин рассматривает в статье «И назовёт меня всяк сущий в ней язык...» («Наш современник», 1981, № 11). Он обращает внимание на то, что «беспощадный самосуд» вызван утверждающим пафосом и высоким идеалом. Природа и причины самооплёвывания иные, о чём немало и убедительно говорилось А.Кузьминым, М.Лобановым, В.Кожинным, А.Казинцевым и другими «правыми» авторами. Мы же приведём высказывание Ф.М.Достоевского, как бы предвидевшего и прогрессирующую в XX веке тенденцию самооплёвывания, и современную литературную ситуацию: «Самоуважение нам нужно, наконец, а не самооплёвывание. Не бойтесь: застоя не будет» (Достоевский Ф. Полн. собр. соч.: В 30 т. – Т.26. – Л., 1983).

В.Кожин в своей самой «нашумевшей» статье начала 80-х вводит нашу «улицу» в мировой исторический и культурный контекст, показывает её реальное лицо, её своеобразие – «преимущество». «Преимущество», заключающееся не столько в том, что Иван Грозный на фоне своих современников (королей Франции, Англии, Испании) выглядел не грозным, или казаки в сравнении с французской буржуазией были «агнцами кротости», сколько во всечеловечности – самобытной черте русской литературы, русского национального характера, в «творчестве всечеловеческого диалога».

И о чём бы ни писал В.Кожин: о взглядах одного из популярнейших учёных XX века М.М.Бахтина и его малоизвестного брата Николая, о мировоззрении и творчестве Ф.Тютчева и М.Пришвина, Транссибирской магистрали и артели и о многом другом, – он везде стремится найти диалог – почву национального сознания, природу отечественной культуры (См.: «Великий творец русской культуры XX века», «Ещё несколько слов о Михаиле Бахтине», «Бахтинская концепция лирической поэзии», «Соборность поэзии Ф.И.Тютчева», «Время Пришвина», «Мы меняемся?» и т.д.). Говорить же о традиционном монологическом сознании, о диалоге как о новом для нас типе мышления, к которому мы не готовы, как это делает И.Клямкин в статье «Какая улица ведёт к храму?» («Новый мир», 1987, № 11), – это значит не видеть и не понимать главного, сути отечественной культуры и истории. А поэтому, при таком взгляде на нашу историческую улицу, поиски путей, ведущих к храму, обречены на неудачу.

Споры об особенностях национального сознания сопровождались эмоциональными всплесками и оценками, помогающими понять естество личности В.Кожина. Он, как правило, сдержанный в проявлении чувств и выражений, буквально загорался, когда сталкивался с навешиванием ярлыков и русофобией.

Во время известной дискуссии 1977 года «Классика и мы» (См.: «Москва», 1990, № 1-3) Вадим Валерианович буквально утонул в переполнивших его чувствах, вызванных обвинениями в антисемитизме, поведением Е.Сидорова, Е.Евтушенко и других «левых». Во всех иных случаях ему удавалось справиться с эмоциями, тем более тогда, когда он находился за письменным столом. Так, в статье «К спорам о «русском национальном сознании» (1990) В.Кожин, оценивая взгляды А.Стреляного, как никогда резок, адекватно резок: «это закономерный результат полнейшего невежества»; «редкостное незнание истории»; «совершенно вздорные обвинения»; «не более чем злобный вымысел» (Кожин В. О русском национальном сознании. – М., 2002). Эмоциональной кульминацией в ответе В.Кожина является комментарий к следующей мысли А.Стреляного: проблема национального сознания – некая патология. После убийственной реплики: «такое восприятие национальной идеи является поистине идиотским извращением» – последовало принципиальнейшее суждение, которое, думаю, многое объясняет в феномене Кожина и в его отношении к художникам слова и человеку вообще. Итак, «писатель, претендующий на подлинную высоту – то есть в конце концов на всемирное значение своих творений, – должен или вернее, не может не осознавать свою страну, свою Родину как абсолютную ценность и как центр, как сердце целого мира».

Закономерно, что чувством Родины как абсолютной ценностью, историзмом мышления В.Кожин измеряет творчество писателей, литературоведов, критиков, деятельность государственных руководителей, культурную политику. Еще в 60-е годы, когда «любовь к родному пепелищу» была не в чести, когда наносился один из сокрушительнейших варварских ударов по старой Москве, В.Кожин в статье «Поэзия и гражданственность» в исчезнувшем мире арбатских переулков, в отличие от многих русскоязычных авторов, видел не «замшелую пошлость домов, прикорнувших горбато» (Ю.Панкратов), а колыбель национальной культуры, своеобразнейший архитектурный стиль – московский ампи́р, обладающий такой чертой, как скромность.

Стихотворения Ю.Панкратова и В.Соколова, написанные по этому далеко не частному поводу, не случайно привлекли внимание В.Кожина. В них проявились две

позиции, две точки зрения: «левая» русскоязычная, и «правая» русская, – на прошлое и настоящее нашей культуры; безродность, бездомность, манкуртизм – с одной стороны, патриотизм, гражданственность – с другой.

Эти и другие многочисленные примеры позволяют поставить вопрос о творческом поведении художника, вопрос, которому много внимания уделяет В.Кожин. Он справедливо считает, что русский талант и профессионализм должны иметь обязательный надёжный человеческий фундамент, определяющий сущность творчества, которую, по мысли исследователя, наиболее точно выразил М.М.Пришвин. В цельности своей личности писатель видел обязательное условие создания «прочной вещи», о чём и свидетельствовал: «...Я веду себя так, чтобы выходили из меня прочные вещи...» (Пришвин М. Дорога к другу. – М., 1957).

Это помнит, держит в уме В.Кожин в статье «Поэзия лёгкая и серьёзная», где говорит об умении «сберечь творческое поведение» как о непереносимом условии того, чтобы судьбы талантливых дебютантов 1965 года – Н.Рубцова, А.Плитченко, О.Чухонцева – состоялись. Это помнит критик, рассуждая и о соотношении таланта и созданных ценностей в «Книге о русской лирической поэзии XIX века» (М., 1978), и о литературном процессе 50-80-х годов XX столетия в статье «Мы меняемся?». Данную поправку на творческое поведение, эту точку над *i* в судьбах художников не учитывают С.Чупринин и Б.Сарнов, и, как следствие, – крайне произвольная трактовка взглядов В.Кожина.

Естественное желание исследователя взглянуть в лицо тех «мы», от имени которых Е.Старикова «клеят» доморощенный шовинизм «дурного (бывает и недурного? – Ю.П.) тона» и находит его истоки в восторженном отношении к победе в Великой Отечественной войне, Б.Сарнов в статье «Кому улыбался Блок?» («Огонек», 1988, № 3) воспринимает как попытку поделить всех писателей на «своих» и «чужих», навязать «свой табель о рангах». Но об этом у В.Кожина нет ни слова. Автор статьи «Мы меняемся?», приводя факты из творческой биографии Е.Стариковой и Ю.Трифоновой, выясняет их моральное право на предъявление подобных обвинений. Данный приём – не изобретение В.Кожина, как считает Б.Сарнов, иронизируя по этому поводу, – к нему прибегают и прибегали многие, в том числе и «левые», авторы.

Для В.Кожина важно определить, в какой системе духовно-нравственных и эстетических ценностей работает художник, как его произведения соотносятся с традициями русской классической литературы, не опираясь на которые, считает исследователь, нельзя по-настоящему творить. В «Книге о русской лирической поэзии XIX века» (М., 1978) и в сборнике «Стихи и поэзия» (М., 1980), а также других работах автора не раз подтверждается тезис об органическом слиянии естественности и искусственности в русской поэзии XIX века.

В книге «Стихи и поэзия» классическим образцом исследователь измеряет творчество Ахматовой и Пастернака, Заболоцкого и Мартынова, Асеева и Твардовского и многих других поэтов XX века. Далеко не все из них выдержали и выдерживают «испытание простотой». А из тех, кто выдержал, наиболее показательна судьба Б.Пастернака.

Опровергая широко распространённое мнение о молчании Б.Пастернака в 30-40-е годы как результате нападок на него, В.Кожин показывает, что, находясь в «зените признания и славы» (об этом свидетельствуют и письменная благодарность Сталину, и выход 20 сборников и 26 книг переводов), художник не в силу внешних причин, а в силу внутренней и органической эволюции приходит в конце концов к «неслыханной простоте», к обретению русской классической традиции. Но Б.Пастернак, продолжавший данную традицию в послевоенное время, был за это подвергнут критике. В.Кожин, отвергая обвинения К.Симонова в том, что в «классических» стихах Б.Пастернака

«высказаны всё те же эгоцентрические взгляды человека, замкнувшегося в себе», пишет: «...В поздних стихах Пастернака воплощено как раз «родство со всем, что есть».

Творческое становление Н.Рубцова, В.Соколова, А.Жигулина, Ст.Куняева, А.Передреева, О.Чухонцева, А.Прасолова и некоторых других поэтов прошло под знаком возвращения, «поворота к классическому стилю». Именно эти художники являются, по мнению В.Кожина, представителями ведущего течения в русской поэзии 60-70-х годов. Важно отметить, что к такому заключению исследователь пришёл не задним числом, а в 60-е годы, ставший с тех пор активным сторонником данного течения.

В.Кожин обладал почти безошибочным чутьём на таланты, редким даром предвидения. Он – автор и первой, до сих пор лучшей, работы о Н.Рубцове («Николай Рубцов: заметки о жизни и творчестве поэта». – М., 1976). Не случайно именно Н.Рубцов вызвал особый интерес у В.Кожина. На фоне «сделанности», «сконструированности», «громкости» (формы выражения различных пустот) «молодёжной» поэзии, на фоне эклектичного стиля в творчестве поэта исследователь увидел иной, органический, художественный мир, на котором лежит «отблеск безграничности и живого мерцания», мир, проникнутый стихиями народа, природы, вселенной.

В.Кожин, видимо, как никто из русских и русскоязычных исследователей, придавал значение доклассической поэзии как новому резервуару, дополнительной мощности для развития современной поэзии. Классика XIX века, утверждает В.Кожин в статье «Классика и «доклассика» сегодня», не затронула все стороны народной души, не освоила разнообразнейший богатейший доклассический опыт: безмерный космизм, особое ораторское громогласие, народную смеховую культуру («Литературная учёба», 1978, № 1).

И творчество Ю.Кузнецова, обращённое именно к «доклассической» традиции, – новый этап в русской поэзии последней трети XX века, который определяется в книге «Стихи и поэзия» как «возвращение к сложности». При этом В.Кожин уточняет, что речь идёт не о гносеологической сложности Л.Мартынова, и не о ребусной сложности А.Вознесенского, а о бытийной, онтологической сложности. Она определяет во многом художественный мир Ю.Кузнецова. Лирический герой поэта, по версии Кожина, находится в «пространстве тысячелетнего бытия», где не существует временных и исторических перегородок как между предками и потомками, так и целыми эпохами, где бытие народа – личное предбытие, где человек «меряется всемирно-исторической и вселенской, космической мерой» («Литературная учёба», 1982, № 2).

В 80-90-е годы Вадим Кожин некоторые свои взгляды принципиально менять не хотел, хотя столь же принципиальная коррекция их была объективно необходима. Это касается, в частности, личности Александра Твардовского как главного редактора «Нового мира».

Во времена жарких баталий второй половины 80-х годов и в 90-е годы в трактовке этого вопроса Кожин занимал позицию, которая характерна для многих «правых» в последние почти сорок лет. В статьях и интервью Вадим Валерианович справедливо и методично развенчивал миф о «Новом мире» как лучшем и оппозиционном журнале 60-х годов. Вот два высказывания критика из статей «Ещё несколько слов о Михаиле Бахтине» и «К спорам о «русском национальном сознании»: «Важно подчеркнуть, что до последнего времени «антихристианская» направленность была присуща не только «официальным», но и сугубо «либеральным» кругам: так в «свободомыслящем» «Новом мире» 1960-х годов постоянно публиковались разные антихристианские сочинения» (Кожин В. Победы и беды России. – М., 2002); «Замечательно, что старый друг Бухарина Илья Эренбург вторил ему не только в 1930-х годах, а и в 1960-х годах, и не где-нибудь, а на страницах вроде бы культурного «Нового мира».

...Итак, Россию до «великого перелома» населяли всего лишь «эмбрионы» людей. И в «Новом мире» никто не дрогнул от столь дикого русофобства...» (Кожин В. О русском национальном сознании. – М., 2003).

Одновременно Вадим Валерианович неоднократно пытался противопоставить главного редактора «Нового мира» его сотрудникам. По сути, повторялась, варьировалась давняя версия о Твардовском как о «свадебном» редакторе, которым умело руководило его окружение. В статье «Самая большая опасность...» эта версия применительно к полемике «Нового мира» и «Молодой гвардии» выглядит так: «Он, признанный крупнейший поэт, едва ли даже и читал (что, читают только непризнанные, некрупные поэты? – Ю.П.) этот журнал («Молодую гвардию». – Ю.П.), – разве только слушал, что ему сообщали о нём Дементьев и другие» («Наш современник», 1989, № 1).

Данная точка зрения легко опровергается дневниковыми записями и самого Твардовского, и его ближайшего окружения: В.Лакшина и А.Кондратовича. Из этих записей следует, что главный редактор «Нового мира» читал всё в своём журнале и основные материалы в изданиях оппонентов. И в борьбе с «Молодой гвардией» он занимал такую же позицию, как и Александр Дементьев, чья статья «О традициях и народности» («Новый мир», 1969, № 4) стала поводом для очередной полемики.

Конечно, между А.Твардовским и его окружением существовали разногласия (о некоторых из них я говорю в статье «Русский критик на «передовой» // «Наш современник», 2005, № 11), но они не были столь масштабно-глобальными, чтобы можно было, подобно Кожинову, утверждать: «В глубоком смысле Твардовский в последние годы был, без сомнения, ближе к тому направлению, которое рождалось, складывалось в «Молодой гвардии», нежели к тем много говорящим о нём сегодня сотрудникам «Нового мира».

По столь важным, определяющим вопросам, как вера в Бога, национальный вопрос, отношение к дореволюционной и советской истории, восприятие славянофильской и революционно-демократической традиций, роли Ленина, Сталина в судьбе страны и многим другим, А.Твардовский и сотрудники «Нового мира» были единомышленниками и идейными противниками «Молодой гвардии».

И ещё: в подтверждение своей версии В.Кожинов сообщает, с его точки зрения, неожиданный для многих, но бесспорный факт: «Наш современник» с 1970 года стал «наследником» не только «Молодой гвардии», но и «Нового мира». Данный факт иллюстрируется следующим образом: «Десятки авторов <...> после ухода Твардовского нашли, так сказать, убежище именно в «Нашем современнике».

Думаю, Вадим Кожинов несколько фетишизирует сам факт публикации, который ещё не означает принадлежности писателя к тому или иному направлению. С теми, кто пришёл в «Наш современник», было не всё так однозначно и в плане публикаций, и в плане позиции. Во-первых, многие из них в 70-80-е годы продолжали печататься в «Новом мире». Это такие разные по своим взглядам писатели, как Ф.Абрамов, В.Тендряков, В.Белов, В.Быков, В.Астафьев... Во-вторых, трудно назвать авторами «Нашего современника» (беру по списку Кожинова) И.Дедкова, А.Туркова, А.Кондратовича, Ф.Искандера, В.Тендрякова. Их случай тот, о котором говорят: «нужда заставила». Это наглядно видно на примере Игоря Дедкова. Его дневники свидетельствуют о реальном – негативном – отношении к ключевым авторам журнала и «Нашему современнику» в целом. Об этом я относительно подробно говорю в статье «Игорь Дедков как феномен» («День литературы», 2006, № 11), поэтому сейчас только приведу три дневниковых свидетельства критика.

22 ноября 1977 года Дедков делает такую запись: «Всё-таки в «Нашем современнике» я чужой или полужужой» (Дедков И. Дневник 1953-1994. – М., 2005). Почти через четыре года, как явствует из записи от 21 июля 1981 года, у Игоря Александровича вызывает удивление интервью Михаила Алексева, который поставил Дедкова в один ряд с П.Палиевским, В.Кожиновым, М.Лобановым, И.Золотусским. Себя критик однозначно относит к «другому «крылу» литературы». Что же касается вопроса, на чьей стороне был Дедков в оценке противоборства «Нового мира» и «Молодой гвардии», то здесь ответ критика столь же однозначен. В записи от 5 октября 1980 года говорится:



«Отсутствие Твардовского и его значение я понимаю так же, как Лакшин. В тоне воспоминаний есть спокойное сознание своей правоты. У наших националистов и прочих нынешних, что в силе, такого сознания нет, они нервничают, злобствуют, ёрничают, иезуитствуют...».

\*\*\*

Несомненно, В.Кожин – один из самых значительных русских мыслителей второй половины XX века. В своём творчестве он сумел преодолеть почти все стереотипы своего времени. Лучшие работы Кожина – это мини- и макрооткрытия, это образчик русского взгляда на мир и человека, литературу, культуру, историю.

1987, 2002, 2003, 2007

МИХАИЛ ЛОБАНОВ:  
РУССКИЙ КРИТИК НА «ПЕРЕДОВОЙ»

Давно уже существует тенденция укорять русских писателей, критиков в том, что во второй половине XX века у них не было подлинных героев, борцов, у которых совпадают слово и дело. Так утверждают не только «левые», что понятно, но и некоторые «правые».

Одним из самых очевидных опровержений этой версии является жизнь и творчество М.Лобанова. Самые разные авторы, от В.Кожина до А.Янова, справедливо называли и называют его в числе ведущих идеологов «русской партии», которая сформировалась, в частности, в «недрах» журнала «Молодая гвардия» во второй половине 60-х годов XX-го века. Назовём факторы, определившие явление М.Лобанова, его место в русском освободительном движении второй половины XX-го века.

Решающую роль в формировании личности Михаила Петровича сыграла его мать. Её комнату в книге «В сражении и любви: опыт духовной автобиографии» (М., 2003) М.Лобанов называет своей психологической почвой, светёлкой. Последнее определение, наиболее точно передающее значение матери и её комнаты в жизни М.Лобанова, следует понимать как источник света духовного, христианского. Понятно, что с приземлённо-материалистической, интеллигентски-либеральной точки зрения ничего подобного эта комната дать не могла. Незадолго до смерти Вадим Кожин мимоходом заметил: «Моё детство прошло в квартире, в которой на 45 квадратных метрах жило 15 человек». Нечто похожее, только в более тяжёлом варианте, было в детстве Михаила Лобанова: в комнате фабричного барака ютилось 13 человек. Но ни Кожин, ни Лобанов в этой связи не сетуют на судьбу, не обвиняют кого- или что-либо.

Для сравнения: вот как вспоминает о своём детстве Иосиф Бродский в эссе «Полторы комнаты»: «Следовало считать, что нам повезло <...>, мы втроём оказались в помещении общей площадью 40 м<sup>2</sup>» («Новый мир», 1995, № 2). Здесь, как и во всём тексте, автор демонстрирует свои национальные комплексы и вполне определённый расчёт: подтвердить миф об антисемитизме в СССР, который чаще всего – по известной традиции – именуется Россией. Эссе Бродского стоит в первом ряду самых русофобских, самых вульгарно-примитивных сочинений о России и русских.

Об антисемитизме более откровенно говорится страницей ранее: «Поэтому следовало полагать, что нам повезло, если учесть к тому же, что мы – евреи». Без всяких многозначительных оговорок («следовало полагать», «следовало считать» и т.д.) Бродским действительно повезло: после войны большая часть советских людей, миллионы русских, не имели ни полных семей, ни таких жилищных условий.

Ещё более показательно, что вынес из своего коммунального детства и юности будущий классик еврейской литературы. «Полторы комнаты» способствовали формированию «онтологического» подхода к человеку, ибо такая квартира, по Бродскому, «обнажает основы существования: разрушает любые иллюзии относительно человеческой природы. По тому, кто как пёрнул, ты можешь опознать засевшего в клозете, тебе известно, что у него (у неё) на ужин, а также на завтрак. Ты знаешь звуки, которые они издают в постели, и когда у женщин менструация».

До такого «физиологического» выражения «основ существования» человека, до таких специфических подробностей, столь характерных для многих русскоязычных авторов, крестьянский сын Михаил Лобанов не опускается. Их нет и в принципе быть не может: они не в традициях русской классики, национального сознания.

В духовной автобиографии Лобанова есть детали иного плана: «Тогда я не знал (об этом мне рассказала мама уже спустя десятилетия), что семье с кучей детей предлагали большой дом, но бабушка запретила дочери поселиться в нём, потому что считала грехом жить в доме, который отобрали в своё время у раскулаченного». Видимо, 300 тысяч евреев, которые, по свидетельству В.Кожина, в 20-30-е годы переселились в квартиры «раскулаченных» в Москве, такими вопросами не задавались, и совесть их не мучила.

Они, подобно одесским писателям (Ю.Олеше, Э.Багрицкому и другим), прибыли, по словам В.Катаева, для «завоевания Москвы»...

В книге «В сражении и любви» Михаил Петрович явно и неявно противопоставляет себя тем, кто жизненную мудрость черпал из книг, из бесед с «умниками», и закономерно, что казавшееся значительным, содержательным для большинства современников М.Лобанова, ему представлялось принципиально иным. Будь это университетский преподаватель Л.Пинский или М.Бахтин. Кумир «продвинутой» молодёжи 50-х так характеризуется М.Лобановым: «Среди профессуры были и «наставники молодых душ», вроде Леонида Ефимовича Пинского, лекции которого по западной литературе поклонники его из евреев называли «гениальными», а меня дивили разве только тем сочным, почти физиологическим удовольствием, с каким толстые губы лектора бесконечно обсасывали слово «раблезианство».

Инакость М.Лобанова обусловлена духовно-нравственным зарядом, который он получил через мать и её подруг. Женские истории, судьбы, приводимые М.Лобановым в книгах «Страницы памятного» (М., 1988), «В сражении и любви», пропитаны христианским светом, наполнены жертвенной любовью к детям и ближним. Так, умирающая женщина беспокоится о больной дочери, которая, если плохо оденется, вновь простудится на предстоящих – её, матери, – похоронах. А мама Михаила Петровича год не могла затапливать печку, так как представляла муки брата, сгоревшего в танке под Веной.

Подлинность переживания, подлинность и самобытность жизни – вот что ценит прежде всего М.Лобанов в человеке. С этих позиций он характеризует мир окружающий и мир литературный. Отсюда сколь резкие, столь и справедливые оценки «просвещённого мещанства», «гуртовой» безликой мысли и языка московской интеллигентской среды.

Н.Митрохин, один из представителей её, в книге «Русская партия: Движение русских националистов в СССР. 1953-1985 годы» (М., 2003) борьбу некоторых лидеров русских патриотов в 60-70-е годы сводит к лоббированию финансовых интересов. И в качестве доказательства приводит слова М.Лобанова: «Я никогда не делал ничего ради денег, как, впрочем, и не навязывался сам издательствам, а обычно мне самому предлагали что-то написать (так было, в частности, с книгами об А.Н.Островском и С.Т.Аксакове в серии «ЖЗЛ», изд. «Молодая гвардия»).

Высказывание это вовсе не свидетельствует о финансовом лоббировании со стороны руководства «ЖЗЛ» и издательства в целом или материальной заинтересованности как первопричине при написании книг об А.Н.Островском и С.Т.Аксакове. Н.Митрохин игнорирует главное: борьба шла не вокруг, как он утверждает, «огромных по советским меркам денег», а за идейно-духовные ценности русской литературы, которые всегда вызывали ненависть, аллергию, словесную диарею, от которой не спасёт никакой мезим, у оскоцких, николаевых, бочаровых и прочих дементьевых. И естественно, что руководство «ЖЗЛ» обращалось не к В.Аксёнову, А.Гладилину, Б.Окуджаве, В.Войновичу, которые свои опусы публиковали в серии «Пламенные революционеры», а к Ю.Лощицу, И.Золотусскому, М.Лобанову...

О русских художниках слова, русской истории нужно писать с любовью, и если бы Н.Митрохин не был, мягко говоря, предвзят, то он привёл бы другое высказывание М.Лобанова, где напрямую связываются свет материнский с любовью духовной, жизнь с творчеством: «Однажды я услышал от мамы: «Какая-то я чудная! Что ни сделаю – всё рада. Рада, что картошку накопила, всё в доме к празднику прибрала, письмо от кого хорошее получила, за день устала, до постели добралась, в добром здоровье встала – всему рада!» Нечто подобное, только в других проявлениях, приходилось испытывать и мне, что в какой-то мере передавалось и моим книгам <...>. Б е з л ю б и [разрядка моя. – Ю.П.] не мог бы я написать таких книг в серии «Жизнь замечательных людей», как «А.Н.Островский», «С.Т.Аксаков».

С «фактором» матери связаны два события, определившие, по словам М.Лобанова, фундаментальные черты его мироощущения.

Первое событие – это духовный переворот, который произошёл в декабре 1962 года. Его суть – открывшееся чувство Бога, вызвавшее трёхлетний духовный подъём, радость от желания сделать добро, неиссякаемую силу благодати в душе. И, подчеркну особо, сославшись на свидетельство М.Лобанова, подтверждённое его творчеством: ни одного слова не написано критиком вопреки тому, что открылось в 1962 году.

Второе событие – это преодоление внутреннего кризиса в 1974 году через причастие, которое привнесло в жизнь М.Лобанова реальное ощущение Христа и придало критику неведомую ранее крепость духа. И как следствие – новый этап в духовной и литературной биографии.

Ещё одно судьбоносное событие в жизни критика – это Великая Отечественная война. Михаил Петрович, как и многие его современники, добровольцем ушёл на фронт, был тяжело ранен на Курской дуге... Отсюда качества, которые определили затем творческое лицо критика, – чувство сопричастности судьбе народной, прямота взгляда, требующего действия.

Обращение к народности в её традиционно-православном значении было для Михаила Лобанова естественно и в силу названных субъективных причин, и в силу объективных. Среди последних, сославшись на свидетельство критика, назову одну, главную: господство в средствах массовой информации еврейского «мелкого духа». Выразителями этого духа были не только представители «избранного народа», но и интернационалисты-космополиты. Интервью одного из них, Игоря Виноградова, комментирует Михаил Лобанов в книге «Пути преображения. Литературные заметки» (М., 1991).

Не случайно для известного «новомировца» времён Александра Твардовского «народ» – термин подозрительный, мракобесный. Им, якобы, компенсируют чувство национальной неполноценности, клеймят инородцев, удовлетворяют ущемлённую гордость: «Когда нечем гордиться, то начинаются поиски «кровавого» национального начала».

В этом, как и в других случаях, либералы собственные грехи приписывают другим. На их интерес к крови Михаил Лобанов обратил внимание ещё в 60-е годы в статье «Просвещённое мещанство» («Молодая гвардия», 1968, № 4). Ссылаясь на пример Булата Окуджавы, критик писал: «Ну дело ли стихотворца – ни за что ни про что угрожать судом» (такова была реакция Окуджавы на критику в адрес фильма «Женя, Женечка и Катюша», одним из сценаристов которого он был), – и пророчески предостерегал: «Даже как-то страшновато: попадись-ка под власть такой прогрессистской руки...»

Через 25 лет Булат Окуджава, совесть либеральной интеллигенции не только подталкивал Бориса Ельцина к решительным действиям, но и «публично похвалялся, что испытывал величайшее наслаждение при виде расстрела 4 октября 1993 года».

Всё это вписывается в традицию политического доноительства «Нового мира» 60-х годов, о которой говорил Михаил Лобанов в своей нашумевшей статье «Послесловие» («Наш современник», 1988, № 4). И то, что данная традиция – полнокровная реальность, подтверждает случай Владимира Лакшина, приведённый Михаилом Лобановым в книге «Пути преображения. Литературные заметки». Заместитель Твардовского по «Новому миру» со страниц «Огонька» и «Знамени» сигнализировал соответствующим органам, называя Лобанова и Кожина врагами перестройки, шовинистами, сочувственниками «Памяти» и т.д.

Михаил Петрович точно передаёт психологию таких деятелей, которые, обвиняя других в антисемитизме, фашизме и тому подобном, сами не могут, как Игорь Виноградов, обойтись без «возбуждающих» словечек: «кровавое национальное начало», «призрак крови». Критик находит для характеристики их такой ёмкий образ, как «работники особой лаборатории по анализу крови».

В связи с «обонятельным и осязательным отношением» «левых» к крови и их многочисленными манипуляциями, спекуляциями на этой почве Михаил Лобанов в очередной раз заявляет: «Ну при чём здесь, собственно, кровь? Борис Пастернак, еврей по крови, неизмеримо мне ближе духовно <...>, чем, скажем, русский Всеволод Кочетов. Автор замечательной книги о Пушкине Валентин Непомнящий, по крови не русский, по духовной культуре своей, пониманием русской народности имеет прямое отношение к русской культуре, в отличие от русского Игоря Виноградова, который, повторяя модное слово о «плюрализме»: «надо думать о создании в стране действительно духовного плюрализма» – даже, видимо, не догадывается, что духовны и бесы, и излюбленное этим критиком «всепринимание» в этой области означает смерть духовности» (Лобанов М. Пути преображения. Литературные заметки. – М., 1991).

Михаил Лобанов также обращает внимание на то, что для Игоря Виноградова встреча с Давидом Маркишем перевешивает интерес к культурным ценностям Парижа. Не знаем, какими открытиями делился Давид Маркиш с будущим главным редактором «Континента», но предполагаем, что уровень осмысления событий принципиально не отличался от того, который он продемонстрировал в беседе с Татьяной Бек.

Приведём только одно характерное высказывание Маркиша, который походя, высокомерно называет Станислава Куняева «серым»: «В Израиле запахло (учитесь культуре, Михаил Петрович, у тонких еврейских мыслителей. – Ю.П.) интеллигенту льстить власти и вообще к ней приближаться. Власть – коза. Удастся за титку схватить и чего-нибудь выжать, хоть каплю – хорошо. <...> Одна из бед России в том, что она освободилась от рабства в 1861 году. Воспевали рабство как замечательный уклад жизни, очень привлекательный и тёплый. Хозяин любит раба – раб любит хозяина» («Дружба народов», 2005, № 3).

Воспевание рабства оставим на совести и «учёности» Давида Маркиша. Для того, чтобы обсуждать этот вопрос, необходим хотя бы минимальный уровень понимания его, – у мыслителя из Израиля он, увы, отсутствует. Во-вторых, чем позиция «титку ухватить» принципиально отличается от «воспевания рабства» или, скажем, от «урвать», то есть украсть? В-третьих, из тех, кто воспевал рабство в XX веке, евреи превосходили все народы СССР.

Закономерно, что православная духовность, о которой говорил и говорит Михаил Лобанов, не приемлема для И.Виноградова, Д.Маркиша, И.Бродского, А.Бочарова, И.Клямкина и других «левых». Носители и выразители этой духовности в жизни и литературе клеймились и клеймятся ими как недочеловеки (меняется лишь аргументация – от марксистско-ленинской до либеральной). И естественно, что на защиту «подкидышей современности» (А.Марченко) и их культуры, литературы встали «правые». Из лобановских неоднократных выступлений самый значительный резонанс имела статья «Освобождение» («Волга», 1982, № 10). О ней разговор отдельный, здесь только скажу об одной важнейшей идее её.

Михаил Лобанов справедливо обращает внимание на исключительную роль крестьянства для русской литературы, на её крестьянски-народное происхождение. Ситуация принципиально меняется в XX веке. Для большинства писателей советского времени крестьянство уже не «почва», не «твердыня народной морали» (из которой только и вырастает великая литература и история), а косная инертная масса, подлежащая перевоспитанию, просвещению. По словам Лобанова, «просвещение в основном понималось как обличение крестьянской несознательности, отсталости во всех видах, от бытовой до политической, всякого рода инстинктов – от частнособственнических до физиологически-животных».

С позиций «твердыни народной морали» Михаил Лобанов оценивает и произведения писателей, крестьян по происхождению, – от «Страны Муравии» Александра Твардовского до «Владимирских просёлков» Владимира Солоухина. Правда жизни в них, утверждает критик, отсутствует. Повесть Солоухина Лобанов называет «только записками

туриста, хотя и о «родном крае». В заслугу же Михаилу Алексееву критик ставит то, что писатель в романе «Драчуны» оказался честен перед памятью погибших от голода земляков, сказал правду о коллективизации, трагедии народа, освободился от прежних стереотипов в изображении действительности, «устроил объективно как бы даже суд, нравственно-эстетический, над своими прежними (за исключением «Карюхи») книгами о деревне, больше всего, кажется, над «Вишнёвым омутом».

\*\*\*

Почти одновременно с духовной автобиографией Михаила Лобанова вышли мемуары Станислава Рассадина «Книга прощаний» (М., 2004). Выразительно сопоставление этих «человеческих документов».

В отличие от Михаила Лобанова, в жизни Станислава Рассадина в 60-е годы религиозно-духовная составляющая отсутствует. Это и понятно, ведь познание народа Рассадиным свелось к знакомству с улично-бандитскими нравами. У молодого Лобанова любимым писателем был Михаил Шолохов, у Рассадина – Борис Пастернак. Влияние Шолохова на Лобанова сказалось и в том, что он после окончания МГУ поехал работать на родину писателя. Ст.Рассадин день похорон Пастернака называет событием, «предрешившим нечто» в его дальнейшей жизни. Далее «нечто» конкретизируется как «неуживчивость». Она в день похорон Пастернака проявилась в том, что Ст.Рассадин из-за запрета «литгазетного» начальства не смог оказаться в Переделкино, а утешился «вечером испытанным способом: напившись».

А.Н.Островский для Лобанова – самый православный писатель; Наум Коржавин для Рассадина – самый русский человек из современников.

Михаил Петрович неоднократно критиковал журнал «Юность», Станислав Борисович в нём публиковался и трудился, о чём с ностальгией пишет: «Вообще – при нём (С.Преображенском. – Ю.П.), при них, при старых пуганых евреях, составляющих, помимо Преображенского, редколлегия юношеского журнала, можно было существовать, и с признательностью, почти вышибающей слезу, вспоминаю <...>».

Михаил Лобанов – русский человек, который национальную честь и достоинство отстаивал на протяжении всей жизни как воин и критик на передовой. Станислав Рассадин называет себя русским, в качестве главного и единственного аргумента приводя свою «рязанскую морду». При этом он не скрывает собственного желания более чем сорокалетней давности – «хочу быть евреем». Символично названа и глава воспоминаний – «Из славян в евреи». Желание, объясняемое потребностью пострадать из-за «пятого пункта», всерьёз не воспринимается. В итоге в 60-80-е годы – в период государственного космополитизма – гораздо больше пострадал русский Михаил Лобанов, чем «еврей» Станислав Рассадин.

Марина Цветаева не скрывала, что любит евреев больше русских. Ст.Рассадин подобное отношение не декларирует, а утверждает его всей последовательной системой оценок, даваемых современникам – русским и евреям. Даже самые ущербные, с точки зрения Рассадина, евреи характеризуются во много раз мягче, чем неприятные – а такие почти все – русские. Так, Борису Полевому практически прощается и «неукоснительный сталинизм», и «антивкус» либо потому, что он «почти беспрепятственно печатал» Рассадина «как стороннего автора» (это проявление «антивкуса» или совпадение по иным, не вкусовым критериям?), либо за презрение к «скобарям», к «антисемитски-черносотенной компании софоновых-грибачёвых», либо за то и другое вместе.

Любовь Ст.Рассадина к евреям настолько сильна, слепа и зла, настолько он хочет каждого из них «отмыть», облагородить, что не гнушается откровенным шулерством. Так, рассуждая об Эдуарде Багрицком, критик замечает: «Слава Богу, что сердце всё-таки тянется к участи бедолаги Опанаса».

Каким образом нужно было читать поэму, чтобы такое увидеть? Сердце Багрицкого, конечно, тянется к безжалостному убийце, комиссару Когану: «Так пускай и я погибну //

У Попова лога, // Той же славною кончиной, // Как Иосиф Коган!...» А Опанасу выносятся приговор как «кату», «катюге»: «С безоружным биться, хлопец, // Последнее дело!»

Русским же в мемуарах Ст.Расс

адина достаётся по полной программе. Больше всего – Михаилу Шолохову, Василию Белову, Владимиру Максимову, Юрию Казакову, Станиславу Куняеву, Вадиму Кожинину. Приведу некоторые характеристики: «шут гороховый», «продукт тягчайшего распада», «редко мне попадалась <...> человеческая, да почти уже не человеческая особь такой мерзости и примитивности», «Роман «Они сражались за Родину» – сочинение беспомощно-балагурное, будто написанное в соавторстве с дедом Щукарём; вещь, которую не хватило сил даже закончить. Щукариная фантазия не беспредельна, а фронтового опыта у Шолохова, не приближавшегося к передовой, не было» и т.д.

В работах и духовной автобиографии Михаила Лобанова предвзятость по национальному или иному критерию отсутствует. Критик предельно последователен и строг не только по отношению к русскоязычным авторам, но и к «своим», к тем, кто числится или действительно является нашей национальной гордостью. Назову некоторых авторов, о произведениях или личности которых с разной степенью критичности писал Лобанов: Ю.Бондарев, Е.Осетров, С.Залыгин, М.Алексеев, М.Шолохов, В.Максимов, В.Распутин, В.Шукшин, И.Шафаревич, Л.Бородин, Вл.Солоухин, А.Солженицын, Б.Можаяев.

Например, в статье «Освобождение» мысль об отсутствии или недостатке экзистенциальности как распространённом заболевании современной литературы иллюстрируется романами С.Залыгина, в которых «вроде бы много всего: и истории, и актуальных злободневных проблем, и всяких событий – от гражданской войны, коллективизации, различных общественных перипетий вплоть до какого-нибудь «южноамериканского варианта», – но всё это, в сущности, не что иное, как беллетризованная литературная полемика <...>. Это, вероятно, и нужно, но маловато для искусства, нет в этих романах того, что делало бы их в чём-то откровением, – нет живого, непосредственного опыта (заменяемого умозрительными конструкциями), нет того психологического переживания, из которого и исходят жизненные токи в произведении».

Эта и другие оценки Михаила Лобанова казались многим резкими, в разной степени несправедливыми либо вступали в не прямое противоречие с устоявшимися взглядами на личность и творчество ведущих писателей. Так, Станислав Куняев в своих мемуарах называет Сергея Залыгина «большим русским писателем» и с горечью жалеет, что в его журнале, с его благословения появилось стихотворение Анны Наль о событиях августа 1991 года (Куняев Ст. Поэзия. Судьба. Россия. – М., 2005).

Ничего неожиданного в этой и ей подобных публикациях в «Новом мире» С.Залыгина, думается, для Михаила Лобанова нет. Они – продолжение человеческой сущности главного редактора, которая так определяется в книге «В сражении и любви», в разделе, точно названном «Сергей Залыгин как тип денационализированного сознания»: «Ну зачем ставить во главе «Нового мира» какого-нибудь помешанного на русофобии Померанца, когда ту же роль с неменьшим рвением может исполнить русак-сибиряк?»; «Но в самом Залыгине никакого гумуса не оказалось, одни умственные химикалии. И получалось – ни провинция, ни столица, а межеумок, уязвлённый «поздним признанием», «запоздалой славой», и при этом довольно сомнительной»; «Судьба Залыгина как главного редактора «Нового мира» в фарсовом виде повторила печальную судьбу Твардовского».

\*\*\*

Борьба «Нового мира», Александра Твардовского, Александра Дементьева и других, с одной стороны, и «Молодой гвардии», Анатолия Никонова, Михаила Лобанова и т.д., с другой, – давний сюжет многочисленных статей, требующий дополнительного осмысления в свете опубликованных в последнее десятилетие дневников В.Лакшина,

рабочих тетрадей А.Твардовского, мемуаров Ст.Рассадиной, «Исповеди шестидесятника» Ю.Буртина, духовной автобиографии М.Лобанова. Тем более, что не прекращаются попытки реанимировать старые и создать новые мифы о главных действующих лицах этой борьбы.

В.Твардовская, дочь поэта, опубликовала статью с говорящим названием «А.Г. Дементьев против «Молодой гвардии» (Эпизод из идейной борьбы 60-х годов)». В ней зам. главного редактора «Нового мира» предстаёт как личность достойная, даже образцовая во многих отношениях. В частности, он называется «литературоведом, ценимым в научной среде» («Вопросы литературы», 2005, № 1).

Конечно, требуется уточнение: во-первых, А.Дементьев – автор каких значительных публикаций; во-вторых, литературовед, ценимый в какой именно научной среде и кем конкретно? Когда же нечего сказать или факты опровергают концепцию, как в данном случае, тогда остаётся высокая скороговорка. Но если бы В.Твардовская остановилась и ответила на приведённые вопросы, то стало бы очевидным: А.Дементьев – автор вульгарно-социологических, коммуно-ортодоксальных статей, не имеющих никакой ценности.

К тому же, объективности ради, можно и нужно было сказать об отношении А.Твардовского к своему заму. Наиболее открыто оно проявилось, на мой взгляд, в истории с А.Синявским и Ю.Даниэлем.

А.Твардовский в феврале 1966 года, узнав о готовности А.Дементьева выступить на процессе в качестве общественного обвинителя, называет его признание – опасным, согласие – чудовищным и характеризует своего соратника как хитреца и труса (Твардовский А. Рабочие тетради 60-х годов // «Знамя», 2002, № 4). А в апреле 1969 года Александр Твардовский объясняет реакцию Дементьева – себе на уме – на чтение по «Праву памяти» плохой наследственностью: «А в сущности, вся его школа, начиная (или продолжая) с секретариата в Ленинграде после исторического постановления, укоренила в нём этот рабий дух» («Знамя», 2004, № 5).

Через семь месяцев после очередного «проступка» А.Дементьева Александр Трифонович повторяет первоначальный диагноз: в бывшем заме периодически пробуждается начало, которое определяется как «позиция члена горкома». И далее с нехорошим намёком уточняется: «как говорят, единственно уцелевшего в пору «ленинградского дела»» («Знамя», 2004, №11).

Твардовские, поэт и дочь, не вспоминают о показательном факте из биографии А.Дементьева. Свою «карьеру» он сделал, как сообщают Ст.Куняев и В.Кожин в статьях «Клевета всё потрясает...» («Молодая гвардия», 1988, № 7), «Самая большая опасность...» («Наш современник», 1989, № 1), на речах и публикациях против космополитов на рубеже 1940-1950-х годов. Эти навыки оказались востребованы и в «Новом мире». Главный редактор его называет склонность к манипуляциям характерной чертой А.Дементьева. При помощи в том числе манипуляций разного рода проводилась линия журнала, велась борьба с М.Лобановым, «Молодой гвардией» и «русской партией» вообще. Программная статья А.Дементьева «О традициях и народности (Литературные заметки)» – известный и лучший тому пример.

В ней, в частности, комментируется одна из зарождающихся тенденций: «Нельзя не удивляться тому, что целый хор критиков и поэтов с таким усердием разрабатывает тему об уважении к старине именно как «церковную тему». И в лучших новомировских традициях выносятся приговор с опорой на «единственно верное» учение: «Программа КПСС обязывает нас вести непримиримую борьбу против тенденций к национальной ограниченности и исключительности, к идеализации прошлого и затушеванию социальных противоречий в истории народов, против обычаев и нравов, мешающих коммунистическому строительству» («Новый мир», 1969, № 4).

Подобные идеологические выпады – общее место в этой и других статьях А.Дементьева – А.Яковлев (известный партократ-демократ, совсем неизвестный академик,



в 1972 году разродившийся наигнуснейшей статьей «Против антиисторизма», скалькированной с вышецитированного новомировского «шедевра») в своих лживых мемуарах называет «лукавством», «марксистскими банальностями», без которых нельзя было обойтись (Яковлев А. Омут памяти. – М., 2000). С такой оценкой не согласна дочь А.Твардовского. Она упрекает А.Яковлева в двуличии и противопоставляет ему А.Дементьева и своего отца. Для них марксистская фразеология была наполнена «глубоким смыслом» («Вопросы литературы», 2005, № 1).

М.Лобанов, чья статья «Просвещённое мещанство» («Молодая гвардия», 1968, № 2) стала одним из главных объектов критики А.Дементьева, в отличие от А.Яковлева и В.Твардовской, точно характеризует программную новомировскую публикацию и её автора. В книге «В сражении и любви» М.Лобанов ссылается на «погромное» прошлое Александра Григорьевича и указывает на его научные «успехи» в 60-е годы. А.Дементьев в соавторстве с ему подобными «спецами» Л.Плоткиным и Е.Наумовым выпустил учебник по советской литературе, неоднократно переиздававшийся на протяжении десятилетия. В нём, по словам М.Лобанова, фальсифицировалась русская литература, а сам учебник был написан «серым, суконным языком», вызывающим отвращение к литературе. Отрицательная рецензия Михаила Петровича на этот учебник вызвала возмущение в Министерстве просвещения, которое сигнализировало в ЦК ВЛКСМ и ЦК партии...

Новомировскую же публикацию зама Твардовского М.Лобанов, в частности, оценивает так: «Свою статью А.Дементьев начал цитатами из «марксизма-ленинизма», «революционных демократов», швыряя ими, как битым стеклом, в глаза «оппоненту», дабы тот прозрел идеологически <...>. За набором марксистской, официально-партийной фразеологии скрывалась главная начинка дементьевской статьи – ее антирусскость, обвинение «молодогвардейцев» в «русском шовинизме», в «национальной ограниченности и исключительности».

Действительно, в своей статье Дементьев одним из первых выразил то, что позже уловили многие: в журнале «Молодая гвардия» формируется направление, патриотизм которого не укладывается в рамки советского, определяемого Александром Григорьевичем следующим образом: «Патриотизм – это та духовная почва, на которой выросли воинская слава русского оружия, беззаветная борьба русского народа против крепостничества и капитализма, угнетения и бесправия, великая русская литература, искусство, культура» («Новый мир», 1969, № 4).

Вектор движения Михаила Лобанова и «молодогвардейцев» от советскости к русскости увидели многие единомышленники, сочувственники, противники и по-разному определили. Оценка «левых» не изменилась и впоследствии. В 1988 году в седьмом номере журнала «Юность» Ирина Дементьева в открытом письме Анатолию Иванову «Есть хорошее народное слово...» утверждает, что полемика с Михаилом Лобановым, Вадимом Кожиновым и другими «молодогвардейцами» была необходима, ибо Александр Григорьевич, «происходивший из нижегородской глубинки», предвидел, к чему может привести зарождающееся движение, – к фашизму. Сама же Ирина Александровна сигнализировала власти об этой «опасности», находя криминал, в частности, в следующем: «А между тем в этой публицистике переоценивалось дореволюционное развитие демократической мысли, культуры, искусства и даже отношение к самой империи, к её внутренней и внешней политике».

Показателен ещё один эпизод из жизни Александра Дементьева – идейного и духовного антипода Михаила Лобанова – его реакция на смерть Александра Твардовского. Из откликов на неё, опубликованных С.Лакшиной в одиннадцатом номере «Дружбы народов» за 2004 год, речь А.Дементьева – самая идеологизированная.

Удивительно-неудивительно, что в первом же предложении в разряд простых и – изначальных – слов, наряду с дружбой, семьёй, родиной, землёй, попадает революция. И вполне естественно: один из пяти абзацев панихидной речи – «ленинский». Он, второй по

объёму, заканчивается соответственно: «Очевидно, что мысль Ленина отвечала самым сокровенным понятиям поэта о чести и достоинстве литератора-коммуниста». И в этом А.Дементьев, с оговорками, прав.

А.Твардовский был прежде всего советский человек. Об этом свидетельствует, в том числе, задача, которую он поставил перед собой 29 октября 1968 года: «Ленин должен быть избавлен от тени Сталина, быть с Лениным означает полностью покончить с противоестественным сближением этих фигур» («Знамя», 2003, № 10).

Ленин для Твардовского, как и для многих писателей разных поколений, от В.Маяковского и Б.Пастернака до А.Вознесенского и Е.Евтушенко, – это идеал, мерило, точка отсчёта в размышлениях о человеке и времени, о далёкой и близкой истории. Идолам марксизма-ленинизма он искренне верил и соответственно писал... Примеры хорошо известны, поэтому приведу только поэтическую строфу и дневниковую запись от 27 марта 1966 года: «Маркс, Энгельс, Ленин, знать бы вам, // Когда ещё вы были в силе, // Каким учёным головам // Мы вас потом препоручили»; «Когда я наедине с Лениным, мне всё понятно, мне радостно от этой ясности и силы» («Знамя», 2002, № 4).

Твардовский понимал и принимал учение, направленное против фундаментальных основ национальной жизни, русского сознания. Атеистическая и антимонархическая суть этого учения поэтически – через Ленина – воплощается следующим образом в отрывке поэмы, зафиксированном в тетради 4 апреля 1966 года: «Но кто зовёт на помощь бога, // Он заодно зовёт царя». И всё же что-то (думаю, до конца не вытравленное – самим поэтом и внешними факторами – крестьянское «я») не позволяло Твардовскому опускаться до идеологического, художественного, человеческого убожества, которое было сутью и молодых его современников, А.Вознесенского, в частности. О его кощунственных «шедеврах» типа «чайки – плавки бога» и поэме «Авось» своевременно и точно писал М.Лобанов в статье «Природа и синтетика» (Лобанов М. Страницы памятного. – М., 1988).

Все современные попытки сделать из А.Твардовского демократа, общечеловека разбиваются о факты разного уровня, например, о записи, сделанные в рабочих тетрадях без оглядки на цензуру, ЦК, правила хорошего тона и т.п. Сошлюсь на несколько характерных свидетельств.

Реакция на дело А.Синявского – Ю.Даниэля (один из тестов «левых» на благонадёжность) у А.Твардовского была вполне советской – «достойны презрения» (запись от 15.2.1966 // «Знамя», 2002, № 4), или, как сказано в письме в Секретариат Союза писателей от 1 марта 1966 года, «трусливые двурушники», печатающие «тайком за границей свою в сущности антисоветскую и антихудожественную стряпню» («Знамя», 2002, № 4). У А.Твардовского вызывает протест лишь мера наказания этих, по его выражению, «двух мазуриков»: в сроках (5 и 7 лет) поэт видит тенденцию возврата к сталинизму, что дискредитирует Советский Союз в глазах мировой общественности. Избранная мера наказания политически невыгодна, поэтому А.Твардовский предлагает в указанном письме тюремные сроки заменить общественным порицанием, «лишением их советского гражданства и выдворением за пределы СССР».

Испытание другим демократическим тестом – отношение к чехословацким событиям 1968 года – А.Твардовский также не проходит. И в этом случае советское начало является определяющим в мироотношении поэта. 16 июля 1968 года он записывает в рабочую тетрадь: «Я член КПСС и гражданин СССР и <...> не могу демонстрировать радость по поводу конфуза наших лидеров» («Знамя», 2003, № 10).

В приведённых и не приведённых эпизодах из жизни А.Твардовского не стоит преувеличивать, сущностно переиначивать его оппозиционность. Оппозиционность той или иной политической установке, лидеру – это одно, оппозиционность системе – принципиально иное. И А.Твардовскому, примерному сыну своего времени, системная оппозиция не была присуща, как не была она присуща его журналу. Более того, М.Лобанов ещё в 1966 году в статье «Внутренний и внешний человек» («Молодая

гвардия», 1966, № 4) высказал справедливую мысль о внутренней общности «Нового мира» и его вроде бы идейного противника «Октября». Их роднит бездуховность в традиционном православном понимании.

Роднило, связывало и нечто другое – семейно-родственные, кровно-национальные отношения, о чём, не знаю, догадывался в то время Михаил Лобанов или нет. В мемуарах Ст.Рассади́на «Книга прощаний» есть эпизод, раскрывающий секрет непоследовательности некоторых партийных функционеров от литературы, проявленной именно и только к «шестидесятникам», «новомировцам». Так, Виталий Озеров, главный редактор «Вопросов литературы», пригласил Станислава Рассадина к себе домой, где ознакомил его с рукописью своей статьи, в которой речь шла и об известной публикации гостя. После этого хозяин дома поинтересовался: не будет ли замечаний? В итоге Озеров изъясил из статьи кусок, забракованный молодым либералом.

Неожиданное поведение главного редактора журнала Ст.Рассадин объясняет так: «Виталий Михайлович был любящим мужем милой Мэри Лазаревны, крёстной мамы знаменитой тогда прозы журнала «Юность» (Аксёнов, Гладилин, Балтер...), и, очень возможно, семейственность смягчила на этот раз партийного ортодокса».

Трудно сегодня без удивления и улыбки читать подобное: «Новый мир» стал тогда центром притяжения независимой гражданской мысли, органом складывающейся сознательной оппозиции тоталитарному строю». Это не просто высказывания Ю.Буртина из «Исповеди шестидесятника» (М., 2003), это очень настойчиво утверждаемый на протяжении не одного десятилетия миф, который транслируют И.Дементьева, В.Лакшин, В.Твардовская, В.Воздвиженский и другие авторы.

В отличие от Михаила Лобанова, в 60-е годы главный редактор «Нового мира» оставался атеистом. Он не приемлет, в том числе, «молодогвардейское» «заклинание духов» (так называлась статья Вл.Воронова, направленная против М.Лобанова и линии журнала и опубликованная во втором номере «Юности» в 1968 году)... И всё же у Твардовского хотя бы периодически появляется понимание (конечно, с атеистическими наращениями) места Церкви, веры в судьбе русского народа, государства, понимание сути той политики, которая проводилась советской властью. Так, 27 февраля 1966 года он делает следующую запись: «Мы не просто не верим в бога, но мы «продались сатане», – в угоду ему оскорбляем религиозные чувства людей, не довольствуемся всемирным процессом отхода от религии в связи с приобщением к культуре <...>. Мы насильственно, как только делает вера завоевателей в отношении веры завоёванных, лишили жизни людей нашей страны благообразия и поэзии неизменных и вечных её рубежей – рождение, венчание, похороны и т.п.» («Знамя», 2002, № 4).

Такой подход принципиально отличает А.Твардовского от А.Дементьева, В.Лакшина и всех – в узком и широком смыслах – «новомировцев» и сближает его с М.Лобановым, «молодогвардейцами», «правыми». Конечно, до системных обобщений мысль Александра Трифоновича не поднимается, иначе он неизбежно пришёл бы к идее, которую в 1968 году озвучил М.Любомудров. Он, по свидетельству С.Семанова, на одном из заседаний «Русского клуба» заявил: «...Мы уже полвека в оккупированной стране» (Семанов С. «Русский клуб» // Семанов С. Русско-еврейские разборки. – М., 2003). И это действительно так, только теперь нужно добавить: мы до сих пор, почти 90 лет, живём в оккупированной стране.

Ещё одна составляющая личности А.Твардовского, которая должна, по идее, роднить его с М.Лобановым, – это «крестьянство» главного редактора «Нового мира». В.Кожин в статье «Самая большая опасность...» приводит запись Твардовского из рабочей тетради 1929 года: «Я должен поехать на родину, в Загорье, чтобы рассчитаться с ним навсегда. Я борюсь с природой, делая это сознательно, как необходимое дело в плане моего самоусовершенствования. Я должен увидеть Загорье, чтобы охладеть к нему, а не то ещё долго мне будут мерещиться и заполнять меня всякие впечатления детства: берёзки,

жёлтый песочек, мама и т.д.» («Наш современник», 1989, № 1). И далее критик утверждает, что Твардовскому удалось «достигнуть» высшего «идеала».

И всё же вытравить до конца крестьянское «я» главный редактор «Нового мира» не сумел, оно постоянно проявляется на человеческом и творчески-редакторском уровнях. Одни из самых проникновенных и поэтичных отрывков в рабочих тетрадях 60-х годов – это записи о природе и «хозяйственных» работах.

Опуская сами зарисовки, замечу: чувство природы, земли и через них Родины отличало А.Твардовского от «новомировцев» и сближало с М.Лобановым и большинством «молодогвардейцев». В.Лакшин, «идеолог» «Нового мира», 4 мая 1969 года признаётся: «Я впервые испытал такое резкое, подлинное чувство любви к нашей природе, к полям этим и берёзовым рощицам, к каждому сарайчику, крытому почерневшей от дождей щепой» («Дружба народов», 2003, № 4). И сие показательно: в частности, отсюда такой «недобор» в понимании России и русской литературы, А.Н.Островского в том числе. Островского, над книгой о котором В.Лакшин работал сколь долго, столь и неудачно. Островского, столь разительно отличающегося от Островского в «исполнении» М.Лобанова, лучше «исполнении» XX века (Лобанов М. Островский. – М., 1979).

Из свидетельств А.Твардовского от 6 июня 1966 года («Знамя», 2002, № 4), 23 апреля и 3 июня 1967 года («Знамя», 2002, № 9) и других следует, что пересадка черёмухи, подъём ёлки при помощи ваги, уборка навоза, полив яблонь и подобные занятия доставляют ему особое наслаждение. Естественно, что своё восприятие этих работ А.Твардовский сравнивает с восприятием окружающих, которым, как в случае с черёмухой, не понятны смысл пересадки и достижения поэта. Так, В.Жданов «не знает даже, что это за дерево и называет то, что мы делаем, выкорчёвкой». Уточню: В.Жданов – участник погрома «ЖЗЛ» в 1980 году, критиковавший М.Лобанова, автора «Островского», за полемику со взглядами Н.Добролюбова на Катерину, Кабанову, «тёмное царство», за «идиллические картины жизни старого Замоскворечья» и т.д. (Жданов В. А как же быть с исторической правдой? // «Вопросы литературы», 1980, № 7).

Отсюда – от «мужика хуторской школы» – интерес у Твардовского к творчеству авторов «деревенской прозы», публикация их в журнале. Та линия, которая не встретила одобрения у части «новомировцев», вызвала критику со стороны официальных и либеральных авторов. Известная негативная реакция Ю.Трифонов показателна в этом смысле (См: Трифонов Ю. Записки соседа // «Дружба народов», 1989, № 10). Однако сие не основание для того, чтобы называть А.Твардовского союзником «правых», как периодически происходит сегодня.

При всём своём крестьянстве Александр Трифонович был практически лишён национального чутья, чувства, сознания. И с этой стороны он – почти манкурт. Не случайно в его объёмных рабочих тетрадях практически отсутствуют слова «Россия», «русский», отсутствуют боль и переживания за судьбу русского народа. Отсюда и, мягко говоря, прохладное отношение к С.Есенину (запись от 8 апреля 1967 года // «Знамя», 2002, № 5), и солидарность с Горнфельдом в оценке В.Розанова (записи от 18 и 20 сентября 1969 года // «Знамя», 2004, № 10), и многое другое. И это, может быть, самое принципиальное отличие Твардовского и всех «новомировцев» от Лобанова.

В борьбе с «левыми» – либеральными и коммунистическими – интернационалистами, космополитами и прочими шабесгоями из «Нового мира», «Юности», «Октября» правда была на стороне «правых», на стороне Михаила Петровича Лобанова.

\*\*\*

Уже давно «левые» авторы обвиняют Михаила Лобанова, Вадима Кожинова, Станислава Куняева и других «правых» в антисемитизме, что звучит нелепо и опровергается фактами разного уровня.

Впервые еврейский вопрос встал перед будущими лидерами «русской партии», когда они были далеко не юношами: Михаилу Лобанову – под сорок, Станиславу Куняеву – под тридцать, Вадиму Кожинovu – за тридцать лет. При этом сей вопрос был привнесён, стимулирован извне: самими евреями, литературой, жизнью.

Вопреки навязываемому мифу о гонениях на «несчастных» евреев, их было действительно много во всех ключевых сферах советской жизни (за исключением материального производства), о чём неоднократно писали не только «правые», но и некоторые евреи. Но, понятно, ещё важнее «количества» вопрос «качества»: что несло это «множество» отечественной литературе, культуре, жизни.

Разные авторы на протяжении XX века высказывали оптимистическую мысль о побеждающем женском начале русской культуры и русского народа в «инородческом» море. Это отмечали и Василий Розанов с Михаилом Гершензоном в своей переписке («Новый мир», 1991, № 3). Однако оба мыслителя допускали такую ситуацию, когда народно-культурный организм будет не в силах переварить чужеродные начала, и возможность «ожидовления» – именно этого боялся Розанов – тогда реальна.

«Ожидовление» – это утрата национального «я», а не приобщение к еврейско-иудейской культуре, которая так характеризуется Михаилом Лобановым в сравнении с русской в статье «И вздрогнут наши недруги!»: «Вы назовите мне в иудейской культуре хотя бы одного деятеля – не еврея, которого бы покорила, «обаяла» эта культура и который стал бы её украшением? Эта «не та почва», не то, что русская культура, притягивающая к себе, как магнитом, людей неоднородной национальности, которые становятся её кровными сынами» («Молодая гвардия», 1997, № 9). К идее притягательности русской культуры Михаил Петрович обращается неоднократно. Так, в статье «Тысячелетнее слово» он подтверждает её судьбами Г.Державина и А.Болотова, потомков татарских родов, которые стали гордостью русской литературы, культуры («Наш современник», 2000, № 9).

Закономерно, что национальное «я» определяется Лобановым в русле «правой» традиции. Ещё в 1989 году в полемике с Анатолием Бочаровым на страницах «Литературной газеты» критик утверждает, что нация и русская литература – понятия духовные, а не биологически-кровные. И естественный лейтмотив многих статей, интервью Михаила Лобанова таков – русский значит православный («Литературная газета», 1989, № 39).

Однако не одно десятилетие «левые» обвиняют критика и «правых» вообще в том, что они определяют национальность писателя и своё отношение к нему через выяснение состава крови. Это звучит странно и необидительно ещё и потому, что именно «левые» ставят «пятый пункт» во главу угла, как в случае с Рассадиным. Показательно и другое: сам Станислав Рассадин в качестве доказательства собственной русскости, которая вызвала сомнение у Самуила Маршака, Александра Раскина, Сильвы Капутикян, приводит свою рязанскую – широкоскулую – физиономию (Рассадин Ст. Книга прощаний. – М., 2004).

Критерий «морды» непродуктивен по разным причинам, в том числе и потому, что при таком подходе к национальному Ст.Рассадин должен стоять в одном ряду с Б.Сарновым, Н.Коржавиным, Ю.Семеновым, А.Германом и им подобными – широкоскулыми – «рязанскими» евреями.

«Ожидовление» как реальная опасность впервые осознаётся Михаилом Лобановым во второй половине 60-х годов. С тех пор критик уделяет большое внимание тем силам и тем идеям которыми разрушается национально-православное сознание. Например, в статьях «Тысячелетнее слово» («Наш современник», 2000, № 9), «Церковь – это все мы» («Молодая гвардия», 1995, № 11) говорится о «ереси жидовствующих». Эта смертельно опасная болезнь, занесённая в XV веке на Русь евреем Схарием (Захарием), характеризуется Лобановым следующим образом: «Жидовством соблазнялись попы, дьяконы, простой люд, приверженцами его были митрополит, окружение великого князя

Ивана III, и сам он первое время испытывал влияние еретиков. Что они проповедовали? Христос для них был не Богочеловек, а пророк, как Моисей; они отвергали Троицу, церковные таинства, поклонение иконам и святым, не признавали церковной иерархии, монашества <...> Всё это вело к разрушению Церкви, к гибели православной России, к её закабалению иудейством наподобие Хазарии».

У «ереси жидовствующих» в XX веке много имён, и утверждалась она разными способами. На один из них указывает Михаил Лобанов в духовной автобиографии. Говоря о причинах своего обращения к «народности» и «народному характеру», он называет в первую очередь господство в прессе и литературе «еврейского «мелкого духа», который, добавлю от себя, транслировался и утверждался в том числе через оценки «левых» авторов современной литературы.

В 60-е годы и в дальнейшем под разными «соусами» дискредитировалась «деревенская проза» с её традиционно-православными ценностями, идеалом самопожертвования, прежде всего. Вполне прогнозируемо прокомментировал этот идеал в книге «Требовательная любовь» (М., 1977) Анатолий Бочаров, постоянный оппонент Михаила Лобанова. В самопожертвовании он увидел «оборотную сторону фрейдистского взгляда», «диктатуру народа над личностью», поставил это понятие в один ряд с безволием и уступчивостью.

За год до перестройки Алла Марченко высказалась на страницах «Литературной газеты» откровеннее своих «левых» соратников. Она назвала героев «деревенской прозы» «подкидышами современности», «временно исполняющими обязанности положительного героя», и собственные надежды на будущее она связала с детьми, внуками «напористых махинаторов», «рыцарей частной наживы».

И очень скоро это время наступило. Тотальная диктатура «мелкого духа» в средствах массовой информации и русскоязычной литературе привела к тому, что за последние 15 лет к душам многих россиян привит «дичок обрезания» (В.Розанов): идеалы стяжательства, сребролюбия, философия потребителя, двуногого животного, нравственный релятивизм, равнодушие или ненависть к России и т.д. В результате миллионы русских перестали быть русскими, а евреи — остались евреями. И господствуют, и разрушают, и торжествуют, и злобствуют, — и смеются, смеются...

Через духовную автобиографию, статьи и интервью Михаила Лобанова последних 15 лет лейтмотивом проходит мысль о «еврейском иге» и нашем порабощении. Еврейский вопрос, с точки зрения критика, самой жизнью поставлен во главу угла, и понимание его — «показатель степени развитости каждого из нас, развитости духовной, культурной, национальной» («Завтра», 2002, № 37).

О степени понимания Михаилом Лобановым еврейского вопроса свидетельствуют его многочисленные работы. Так, в статье «Тысячелетнее слово» («Наш современник», 2000, № 9) критик, в отличие от многих простецов и хитрецов, объясняющих выбор князем Владимиром Православия «веселием пития», вслед за автором «Слова о Законе и Благодати» говорит о национальном эгоцентризме Закона (Ветхого Завета) и вытекающих отсюда последствиях: отверженность Богом, рассеянность по чужим землям. Думаем, мысль о. Дмитрия Дудко, приводимая в другой статье, «Церковь — это все мы», созвучна критике: «Распят Христу мог любой народ, но всё-таки не случайно евреи это сделали первыми» («Молодая гвардия», 1995, №11).

Ещё на одно качество иудейского закона, не известное князю Владимиру, обращает внимание Михаил Лобанов — «немыслимая жестокость в отношении к другим народам» («Наш современник», 2000, № 9). Примеры опустим, ибо они хорошо известны. Договорим за критика то, что справедливо отмечалось Ф.Достоевским, В.Розановым, В.Шульгиным, М.Назаровым и другими авторами: эта жестокость, эти зверства возводились и возводятся в ранг добродетели, идеала, ибо они направлены против гоев, неевреев.

Подобная философия выражена и в словах Голды Меир, и в высказывании американского сенатора Хелмса, приводимых Лобановым в статье «И вздрогнут наши недруги!» («Молодая гвардия», 1997, № 9) и интервью «Светоносец или лжепророк?» («Советская Россия», 1998, 24 декабря): «Речь идёт не о том, чтобы выкинуть их (палестинцев. – Ю.П.) за двери и отнять у них их Родину. Их не существует»; «Россия и северные державы в продолжение долгого времени были гонителями рассеянного Израиля. После их попыток истребить остаток Израиля в Иерусалиме уничтожение их вполне отвечает и Божественному правосудию, и его заветам одновременно».

Подобной философией руководствуются и нынешние завоеватели России. И помогли им в достижении цели те писатели, критики, литературоведы, которые через расхристианивание сознания, через утверждение философии «мелкого духа» морально уготовляли порабощение страны. Заслуживает внимания то, как по-разному и всегда тактически и технически грамотно они действовали по отношению к своим противникам, к представителям «русской партии». Пример Михаила Лобанова показателен в этом смысле.

В духовной автобиографии критик говорит о добром отношении к нему в первое десятилетие его творческой деятельности со стороны З.Кедриной, Д.Старикова, Л.Шинделя, Я.Эльсберга, В.Камянова. Думаю, что такое отношение было вызвано по меньшей мере двумя причинами. Первые работы Лобанова принципиально не противоречили духу марксизма-ленинизма – «ереси жидовствующих» XIX-XX веков, что, конечно, устраивало названных и неназванных потомков Схария. Во-вторых, они рассчитывали использовать его как шабесгоя, как русского критика, который должен был создавать видимость неуправляемости происходящего в литературном мире, объективности оценок, даваемых «интернационалистам-космополитам».

Например, Александр Дымшиц попросил Лобанова написать статью о Константине Симонове: «Очень важно, чтобы написали именно вы». Михаил Петрович вежливо отказал, ибо, как фронтовик, не верил Симонову с его «псевдорусским героизмом солдат, которые умирают в бою, «по-русски рубаху рванув на груди».

С 60-х годов Лобанов начинает проявлять свое русское «я», и, вполне естественно, он попадает в список славянофилов, националистов, шовинистов и т.п. В травле критика приняли участие А.Бочаров, П.Николаев, В.Оскоцкий, В.Жданов, А.Анастасьев, И.Дзеверин, А.Дементьев, А.Яковлев и многие другие. Откровеннее всех была Жак, которая предложила исправительно-трудовую колонию как средство перевоспитания критика-«мракобеса».

Неоднократно проявлялась и коллективная, кагальная воля противников Михаила Лобанова, как в частности, на собрании объединения критиков и литературоведов 19 марта 1980 года. Результаты выборов по кандидатуре Лобанова в бюро этого объединения следующие: 270 человек – против, около 60 – за. Таково было национальное соотношение среди московских критиков и литературоведов.

Несомненно, что противники Лобанова, «правых» объединялись прежде всего по национальному происхождению. Для евреев «восторг крови» (название одного из эссе критика) оказывался преимущественно сильнее идейных и прочих разногласий, обид, человеческих привязанностей.

По свидетельству Лобанова в статье «Российско-кёльнские абсурды», еврейство автора было уже условием при приёме в Союз писателей. И, как правило, речь не шла о таланте, но «если у кого был какой-то намёк на дарование – такого на руках вносили в русскую литературу» («Наш современник», 1997, № 3).

Конечно, оппоненты Лобанова, «правых» – это не только евреи. Несомненно и другое: среди «левых» евреи составляли и составляют подавляющее большинство. Симптоматична в этом смысле реакция Сильвы Капутикян на признание Ст.Рассадиной в своей русскости: «А я думала <...>, что в Москве все левые – евреи» (См.: Рассадина Ст. Книга прощаний. – М., 2004). И суть не в том, что, по версии Ст.Рассадиной, его

собеседница – «простодушная армянка». К подобным выводам на материале не только русской истории приходит и непростодушный Ю.Слѣзкин, профессор Калифорнийского университета в Беркли, книгу которого высоко оценил американец из Одессы Е.Добренко. Юдофил Ю.Слѣзкин, в частности, утверждает: «Между евреями и Новым временем существует какая-то особая связь и что в каком-то великом смысле евреи и были Новым временем»; «университеты, «свободные» профессии, салоны, кафе, концертные залы и художественные галереи Берлина, Вены, Будапешта стали настолько еврейскими, что либерализм и еврейство стали почти неразличимы»; «Современная эпоха – это еврейская эпоха, и XX век, в частности, – это еврейский век» («Новое литературное обозрение», 2005, № 2).

Это понимал и понимает Михаил Лобанов, только он прямо с противоположных позиций оценивает «цивилизаторскую» роль евреев. Критик еще в «Островском» с иронией писал о чернявых негоциантах, что вызвало бурю «благородного» гнева у «левых»...

Естественно, что Лобанов не заикливается на вине и ответственности только евреев – разрушителей традиционных ценностей, культуры, Православия, государственности. В статье «И вздрогнут наши недруги!» он говорит о не меньшей вине тех русских, которые в этом процессе участвовали или участвуют либо, как пассивное большинство сегодня, закрепляют «зло в обществе, оставляя рабское наследие своим детям и внукам». И, конечно, прав В.Бондаренко, собеседник М.Лобанова, который в этой связи замечает: «Все утверждения об исключительности евреев мало чего стоили бы, если бы наш русский народ твёрдо хранил своё достоинство и честь и в делах своих опирался бы на защиту русских национальных интересов» («Завтра», 2002, № 37).

Этой большой темы, требующей отдельного разговора, коснусь только на уровне мифа, который имеет прямое отношение к Михаилу Лобанову.

«Левые» и некоторые «правые» твердят сегодня о «русском ордене» в ЦК КПСС в 60-80-е годы XX века, называют конкретных сторонников, покровителей «русской партии» в руководстве страны. Однако против такой трактовки событий вопиют реальные судьбы по-разному пострадавших в эти «благополучные» годы И.Огурцова, Л.Бородин, В.Осипова, М.Лобанова, Ю.Селезнёва, С.Семанова и других русских патриотов. Данная версия опровергается и свидетельствами самих участников русского сопротивления об их якобы кураторах из ЦК.

В духовной автобиографии Лобанова о них говорится следующее: «Наши встречи с партийным и комсомольским начальством ничего, разумеется, не дали»; «Надеялись мы на поддержку Кириленко <...>, но он недовольно проворчал явно не в нашу пользу: «Русофилы»; «А мы, русские, «почвенники» <...>, – мы не только не встречали понимания в ЦК, нас считали главными и, пожалуй, единственными нарушителями «партийности».

Поддержки не было и быть не могло. Сергей Павлов и ему подобные последовательно-непоследовательные русские – исключение из правил – картины не меняют, ибо они рано или поздно оказывались не ко двору и антирусские силы всегда побеждали. Неизменной оставалась и официальная идеология с её пролетарским интернационализмом, что, по словам Михаила Лобанова, оборачивалось космополитизмом, «потворством русофобии во всех её видах под маской борьбы с «русским шовинизмом».

Позиция тех русских патриотов, которые верили или верят в «советскую власть <...> с патриотическими поправками» (С.Семанов), сродни позиции казаков, которые в годы гражданской войны выступали за «советскую власть без жидов и коммунистов». Пора наконец-то понять, что советская власть – это и есть антирусская власть «жидов и коммунистов», космополитов и националистов всех мастей. И мифы об обрусении власти, русском ордене в ЦК КПСС и т.д. – только на руку антирусским силам, они загоняют национальную мысль в тупик.



Разговор о русско-еврейском вопросе напрямую связан с проблемой русской и русскоязычной литературы. Ещё в советский период понятие «русская литература» было сильно размыто и деформировано. В последние 20 лет наблюдается активный процесс смешения понятий «русская», «российская» и «русскоязычная литература», вытеснение русских гениев на обочину истории отечественной словесности XX века, возведение русскоязычных авторов в ранг русских классиков.

В размышлениях М.Лобанова на эту тему градация «русская и русскоязычная литература» присутствует на уровне и констатации факта, и сути понимания проблемы, как в случае с Иосифом Бродским и Осипом Мандельштамом.

Критик в статье «Российско-кёльнские абсурды» приводит уничижительные высказывания Нобелевского лауреата о России, признания в своей чужеродности ей и русской культуре. Михаил Лобанов справедливо утверждает, что не надо «сто процентного еврея», коим называет себя Бродский, насильственно прописывать в ненавистной ему русской культуре. И единственно верное решение проблемы критик формулирует в виде риторического вопроса: «Не затажное ли это недоразумение – называть русскоязычную литературу русской?» («Наш современник», 1997, № 3).

Не знаю, целенаправленно или нет Лобанов полемизирует с расхожим мнением о Мандельштаме как о русском поэте. Мнением популярным не только у «левых», но и некоторых «правых». Критик справедливо замечает: «Можно, конечно, искренне говорить, что «Осипа мы евреям не отдадим», а в ответ на это нам могут ответить: «Осип Мандельштам утверждал, что одна капля еврейской крови определяет личность человека – подобно тому, как капля мускуса наполняет ароматом большую комнату» (Лобанов М. Моя позиция // Лобанов М. В сражении и любви. – М., 2003). Действительно, желание – одно, а поэтическая реальность – совершенно другое, и она не даёт оснований относить Осипа Мандельштама к русским поэтам...

Правда, Михаил Лобанов лишил бы «левых» возможности спекуляций-провокаций, если бы в числе русскоязычных авторов назвал и русских по рождению писателей. А их сотни – от В.Маяковского до В.Кочетова.

Последнего настойчиво и без всяких оснований «левые» (С.Чупринин, например) привязывают к Лобанову и «русской партии». Михаил же Петрович в духовной автобиографии относит Кочетова, как и Твардовского, к «номенклатурной элите»: он, как главный редактор «Октября» и писатель, проводил партийную линию.

С не меньшей настойчивостью зачисляют в ряды «русской партии», в соратники Михаила Лобанова Евгения Осетрова. Так, в примечаниях к рабочим тетрадям Твардовского его дочь приводит авторитетную для неё оценку Н.Митрохина: «Евг.Осетров был одним из немногих русских националистов, кто позиционировал себя в этом качестве чётко и открыто». Лобанов же в мемуарах относит Осетрова к тем представителям «безопасного русизма», у которых познание России дальше книголюбия не простирается. Такая позиция позволяла Осетрову успешно делать карьеру, комфортно прозябать под «антирусским ярмом» в «Литературной газете», «Правде», «Вопросах литературы».

Об уровне и качестве «русскости» Осетрова свидетельствуют и некоторые примеры, приводимые Михаилом Лобановым. Церковь у Евгения Ивановича кощунственно сопрягается со словом «прелесть», а купол костромского храма восхищает размерами. И закономерно, что внешняя «эстетическая русскость» Осетрова соответственно характеризуется Лобановым: «Для такого взгляда храм представляется частью ипподрома, художественного музея (фрески), пейзажа, чего угодно, только не тем, что он по сути есть: он не только часть Вселенной, но и сама Вселенная, малая часть Бога, ибо в нём, в храме, в Евхаристии человек общается с Богом. Постигание этого и есть духовность».

В целом же в полемике «левых», русскоязычных авторов с Михаилом Лобановым и «правыми» преобладает метода, показательно и концентрированно выраженная в статье С.Чупринина времён перестройки «Из смуты. Взгляд на ситуацию в литературной

критике наших дней». После приведённых взаимоисключающих списков ведущих критиков и публицистов, предложенных Е.Сидоровым и М.Лобановым, С.Чупринин задаётся общим вопросом: «Может быть, и в самом деле в каждой нации есть две нации, а в каждой культуре две культуры?» И далее, реконструируя ценностную шкалу «правых», критик прибегает к сознательной лжи: «Одни говорят о традициях В.Кочетова, Вас.Фёдорова, Ю.Селезнёва. Называют А.Сафронова и Ю.Кузнецова поэтами, а В.Распутина и Ан.Иванова выдающимися прозаиками, в мыслителях держат Ап.Кузьмина и В.Кожина».

«Куча мала» устраивается С.Чуприным не случайно: он помещает поэтов, прозаиков, критиков разных, взаимоисключающих направлений в один ряд, в одну идейно-эстетическую систему координат с единственной целью: дискредитировать «правых» (Ю.Селезнёва, В.Кожина, Ю.Кузнецова, В.Распутина) советским – в разной степени – официозом. И, конечно, никакие авторы, типа Николая Фёда, к «русской партии» не имеют.

Полемика русскоязычных, «левых» с Лобановым, Кожинным и другими «правыми» изобилует подменой понятий, подтасовкой и искажением фактов. Так, С.Чупринин обвиняет «правых» в том, что они навязывают читателю ситуацию ложного выбора: «Если тебе дорог Есенин, то ты должен – в компании с Ю.Прокушевым – ненавидеть не только Бухарина, автора «Злых замечок», развенчивающих «есенинщину» как социально-психологический феномен середины 20-х годов, но и, допустим, Мандельштама, вся вина которого лишь в том, что он почти ничего не написал о берёзках».

Во-первых, почему именно с Прокушевым? Он – знаковый «правый» есениновед? Отнюдь. Юрий Прокушев в своих работах о поэте выше советского патриотизма, советского отношения к творчеству Есенина не поднялся. Поэтому они во многом смыкаются с исследованиями тех авторов, кто ненавидел и ненавидит поэта и Россию. В этих работах содержится большое количество общих и частных суждений о личности и творчестве Сергея Есенина, которые принять невозможно. Показательно, что комиссия, возглавляемая Ю.Прокушевым, уже в 90-е годы поддержала советско-либеральную версию о самоубийстве поэта. Советского патриота Ю.Прокушева и, например, либерал-руссофоба К.Азадовского роднит главное: нежелание признать советскую власть антирусской властью и как следствие – наличие у неё мотивов для уничтожения С.Есенина.

Во-вторых, С.Чупринин сознательно искажает смысл «Злых замечок» Н.Бухарина, пронизанных зоологически-патологической ненавистью к Есенину и России.

В-третьих, «берёзки» Осипу Мандельштаму в вину никто не ставит: его критикуют и «правые», и «левые» за другое, разное. Но никто из «правых», насколько мне известно, до базарно-пошло-местечкового уровня «левого» Аркадия Львова, автора «Жёлтого и чёрного» («Наш современник», 1994, №2), не опустился. Если же вернуться к «берёзкам», понятым не буквально, а как один из устойчивых символов России (что, вероятнее всего, имеет в виду С.Чупринин), то проблему, которая не раз поднимается в статьях Михаила Лобанова, кратко-схематично можно обозначить так.

Вопрос национального, духовно-культурного самоопределения возникает перед многими писателями XX века как русскими, так и не русскими по рождению. В данном случае, с подачи С.Чупринина, речь идёт о вторых.

Обретение евреями русского «звукоряда» часто происходит на внешнем уровне, уровне «мук рта», как в стихотворении Семёна Кирсанова «Буква Р». И преодоление «картавости» в таком случае – не гарантия того, что слова «О, Русь, о Русь» найдут отклик не только у соседского гуся. Национальная принадлежность писателя определяется не языком, на котором он пишет, на чём настаивают русскоязычные авторы, а его духовно-культурной пропиской, как утверждают М.Лобанов, «правые».

Процесс же национального самоопределения О.Мандельштама растянулся на десятилетия и протекал он в плоскости, находящейся между двумя полюсами –

большевистско-космополитическим и еврейским. И «берёзок» как символа духовной соприродности поэта с тысячелетней Россией на этом пути действительно не было.

В разговоре о Михаиле Лобанове трудно обойти его постоянного оппонента Анатолия Бочарова. Он – один из лидеров «левых» в 60-80-е годы, типичный русскоязычный представляет интерес во многих отношениях. Однокурсник Лобанова по МГУ, комсорг в студенческие годы, вечный критик «правых»: в советское время – под знаком верности марксизму-ленинизму, в перестроечное и постперестроечное – под флагом демократии, свободы личности, гуманизма и т.д. Во все времена – учёный муж, доктор филологических наук, профессор МГУ.

Почти через сорок лет после окончания университета, после многочисленных «боёв на расстоянии», в 1989 году на страницах «Литературной газеты» в рубрике «Диалоги недели» состоялся «контактный поединок» М.Лобанова и А.Бочарова. Из признания профессора МГУ следовало, что соборность для него «новое слово» («Литературная газета», 1989, № 37). Здесь всё показательно – и «новое», и «слово».

Естественно, что соборность – слово не новое для тех, кто знаком с православной традицией, которая в советский период была выброшена «левыми» за борт современности. На уровне лексическом «слово» есть открыто выраженное А.Бочаровым неприятие этой традиции.

Михаил Лобанов, говоря об истоках и развитии данной традиции, указывает и на «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона, и на русских мыслителей в лице так не любимых А.Бочаровым славянофилов, и даёт «обиходного уровня» определение соборности, с христианских позиций характеризует «личность», «свободу», «ленинскую гвардию» и т.д. И это не дань наступившей моде на церковность, это глубокое убеждение Лобанова, православное, духовное формирование которого началось ещё в 40-50-е годы.

Духовное образование определи

ло жизненные взгляды и жизненный путь критика, позволило избежать ему многих искушений. Например, в отличие от известных будущих «правых», Лобанов в 50-е годы не переболел либерализмом – «великой ложью нашего времени» (К.Победоносцев). Так, по свидетельству Феликса Кузнецова, со знакомства с Вадимом Кожинным начался его «путь возвращения в Россию, к русской, патриотической идее». До этого он был, «так сказать, более либерал...». Показательна и реакция Станислава Куняева на это признание: «Да, все мы были либералами. Но Вадим в себе этот либерализм изживал и одновременно с этим изгонял его и из нас, потихоньку, не специально – как-то всё получилось само собой».

Итак, когда многие будущие «правые» изживали в себе либерализм, Михаил Петрович становился человеком православным, верующим.

И закономерно, что в статьях, книгах Лобанова не раз поднимается вопрос смысла жизни. Итоговым видится размышление критика в статье «Милосердие» (2002). И вновь, как в начале пути, в период духовного самоопределения, Михаил Петрович сравнивает две версии смысла жизни – писательскую и «простой» верующей женщины. И вновь отдаёт предпочтение второй, воспринимая долголетие как время, отпущенное на земле для избавления от грехов и возможности прийти к покаянию.

Молитва, завершающая статью, не только очередное свидетельство глубинной русскости, православности Михаила Лобанова, но и одно из самых сокровенных, поэтичных, совершенных его творений: «Господи, нет предела милосердию Твоему! Ты сохранил мне жизнь на войне, в болезни, дал мне долголетие, и чем я ответил тебе? Ты знаешь все мои грехи и сохраняешь милость Твою ко мне. Прости мне слабость мою и греховность. Ты же знаешь, как я верую, что если есть во мне что-то доброе, способное к добру, то это не моё, а Ты дал мне, как и те неиссякаемые дары Благодати, которые по великому милосердию Твоему проливаются на нас, на Твои, Господи, творения» (Лобанов М. Милосердие // Лобанов М. В сражении и любви. – М., 2003).

Естественно, что Михаил Лобанов – один из самых последовательных и стойких бойцов за Православие, за «твердыню духа», без каких-либо католических, экуменистических и прочих новаций. В статьях и интервью последних 20-ти лет он неоднократно негативно-точно характеризует и отца современных ересей, революционера от религии Вл.Соловьёва, и его многочисленных последователей. В этой связи критик замечает о Солженицыне (которому «не нравится «окаменелое ортодоксальное, «без «поиска», Православие») и о проблеме вообще: «Как будто может быть какое-то не «ортодоксальное», не «догматическое» Православие. Расшатывающий догматы «поиск» и означает конец Православия!» («Наш современник», 2005, № 5).

Определяя русскость, православность, М.Лобанов не сбивается на фактографически-формальное понимание вопроса, чем грешат авторы разных направлений, взявшие на вооружение схоластическую методу К.Леонтьева. И там, где того требует «материал», критик тонко и точно проводит грань между мировоззрением и творчеством, публицистикой и «художеством».

В интервью «Светоносец или лжепророк?» («Советская Россия», 1998, 24 декабря), говоря о гордыне Александра Солженицына и Льва Толстого, проявленной по отношению к Церкви, Михаил Петрович справедливо утверждает, что у «благодатного моралиста Толстого» благодатное слово художника. У Солженицына подобное превращение обличителя в художника Лобанов не представляет, и с этим трудно не согласиться.

Естественно, возникает вопрос: что делать русскому писателю в сегодняшней ситуации «еврейского ига», возможен ли диалог с русскоязычными авторами? Этот вопрос М.Лобанов неоднократно рассматривает в своих статьях. В «Российско-кельнских абсурдах» («Наш современник», 1997, № 3) критик приводит собственное высказывание из беседы с немецким литературоведом В.Казаком: «Писателей навсегда разделило 4 октября 1993 года, когда «апрельевцы-демократы» подтолкнули Ельцина к решительным действиям». Эта верная по сути и по факту мысль требует дополнительных комментариев.

Главное, думается, не в том, подтолкнули или нет (Б.Ельцин и его окружение спасали свои шкуры, и президент – мерзкая и преступная «прореха на человечестве» – всё равно пошёл бы на крайние меры), а в том, что, подписав известное письмо, разрешили «кровь по совести». Если бы и не было расстрела, вина и грех подонков-подписантов были бы не меньше.

Во-вторых, только ли события октября 1993 года разделили писателей, не произошло ли это раньше? Главная линия водораздела – отношение к России – проходит через сердца и души. И без пролитой крови не может быть общности с теми, для кого Россия – «сука», «раба», «тысячелетний рейх», «материал для творчества» и т.д.

Статья «Моя позиция» («Завтра», 2000, № 16) вызвана награждением Валентина Распутина Солженицынской премией. В статье на разном материале рассматривается вопрос о возможности объединения в рамках одной культуры разных сил – именно такую цель поставили перед собой организаторы премии. Михаил Лобанов сомневается в том, что данное мероприятие, на котором символично обнялись В.Распутин и Б.Ахмадулина, может стать началом сближения русских и русскоязычных сил. Он, как и Вадим Кожин в случае с Андреем Нуйкиным, руководствуется логикой: фамилия поэтессы стоит под письмом 42-х, призывавших Ельцина к кровавой расправе в октябре 1993 года.

С таких же позиций Лобанов оценивает пафос «Двести лет вместе» А.Солженицына. Призыв к сближению в настоящих условиях означает подавление воли к национальному сопротивлению. Следующие слова из статьи «И вздрогнут наши недруги!» – лейтмотив публикаций последнего десятилетия, лобановский вариант спасения русского народа, логически вытекающий из всей героической жизни Михаила Петровича – русского критика «на передовой»: «Национальная идея – это не академическая болтовня о «соборности», «общечеловеческой отзывчивости» (довольно с нас этих «общечеловеческих ценностей»), национальная идея – это борьба не на жизнь, а на смерть с нашими врагами, уничтожающими нас как нацию. Вот тогда-то и вздрогнут наши

недруги, когда не только услышат, но и уверятся, что это не шутки, а настоящая война» («Молодая гвардия», 1997, № 9).

2005

БЕНЕДИКТ САРНОВ:  
СЛУЧАЙ ЭСТЕТСТВУЮЩЕГО  
ИНТЕЛЛИГЕНТА

В 1988 году появилась статья Бенедикта Сарнова «Какого роста был Маяковский» («Огонёк», №19). В 2006 году вышли две книги этого критика «Маяковский. Самоубийство», «Случай Мандельштама». Во время их чтения я не раз задавался вопросом о росте самого Бенедикта Михайловича и вспоминал название другой его статьи «...И где опустишь ты копыта?» («Вопросы литературы», 1994, №4).

Авторская концепция в объёмном сочинении Сарнова о В.Маяковском вырастает из свидетельств Лили Брик, её единомышленников, людей, идейно близких самому критику. В этом нет ничего особенного, такой путь избрали многие исследователи В.Маяковского – от отца и сына Катанянов до Бенгта Янгфельдта. Правда, все, идущие вослед за Л.Брик и «компанией», транслируют накопившиеся фактические ошибки и мифы разного толка. Книга Б.Сарнова в этом смысле не исключение.

Её автор даже не заметил фактическую, элементарную арифметическую ошибку, допущенную Лилей Брик в письме к Иосифу Сталину, которое полностью приводится в начале первой главы. Через три страницы Сарнов повторяет эту неточность, вновь цитируя Лилию Юрьевну: «Прошло почти шесть лет со дня смерти Маяковского <...>». Прошло, конечно, не почти шесть, а почти пять лет... Или в самой первой цитате книги, в воспоминаниях Галины Катанян, говорится о Виталии Марковиче Примакове следующее: «Он командовал тогда Ленинградским военным округом и был непосредственно связан с секретариатом Сталина». Во-первых, Примаков был не командующим, а заместителем командующего. Во-вторых, письмо к Сталину попало не через Примакова, а через

Агранова, что убедительно доказал В.Дядичев в статье «Прошлых дней изучая потёмки» («Москва», 1991, № 4).

Естественно, могут возразить: всё это мелочи... Но из подобных мелочей складывается у читателя общее представление о времени, Маяковском, о многом и многих. К тому же собственные оценки и характеристики Б.Сарнова вызывают не меньше возражений и вопросов. Приведу два характерных примера.

Уже во втором абзаце книги читаем: «Страна ещё не очнулась от раскулачивания и жуткого голодомора на Украине». В последние 20 лет многократно доказывалось, что голодомор был не только на Украине (так представляют эту трагедию в Сенате США и украинской Раде), но и в России: в Поволжье, на Кубани, Дону, Ставрополье. А ещё раньше исторических публикаций появилось первое художественно-документальное свидетельство о голодоморе в Поволжье – роман М.Алексеева «Драчуны».

Думаю, что Б.Сарнов всё это знает, но никогда по идейным соображениям данную версию событий не примет. Поэтому голодомор у него всегда – лишь на Украине, а улица, идущая к храму (перифраз названия статьи И.Клямкина), будет пролегать где угодно, но только не в России.

Во времена перестройки, когда начали искать иные пути и ориентиры развития страны, Б.Сарнов в лучших «левых» традициях забраковал наш исторический опыт и как положительную альтернативу ему нарисовал такую благостную картину: «Вот, например, в Париже, говорят... есть памятник Людовику, и памятник Робеспьеру, и памятник Наполеону... Улица Коммунаров – улица генерала Галифе...» («Огонёк», 1988, №19).

Историк Ю.Поляков сразу так отреагировал на этот пассаж поклонника и «знатока» цивилизованного мира: «Уж лучше бы Сарнова не заносило к Эйфелевой башне. Ведь в благополучном Париже однажды, во времена Коммуны, граждане низвергли Вандомскую колонну (памятник Наполеону). ...А улицы Коммунаров в Париже нет <...> И памятника Робеспьеру в Париже тоже нет. Что касается памятника Людовику, то ответить трудно, поскольку Людовиков было ...надцать, а который из них интересует Сарнова, в его статье не обозначено. Учась объективности, добавлю, что улицы генерала Галифе в Париже тоже нет» («Литературная газета», 1988, №20).

Подобная «объективность» характерна и для книги Б.Сарнова «Маяковский. Самоубийство». Непонятно, в частности, какими критериями руководствуется её автор, когда оценивает тех или иных исторических деятелей: их военные успехи в Гражданской войне, достижения в мирное время, служебное положение, восприятие окружающих и т.д. Например, почему В.Примаков именуется «одним из крупнейших советских военачальников», а В.Антонов-Овсеенко и Н.Муралов – «фигурами второго и даже третьего ряда» (видимо, поэтому Б.Сарнов даже не удосужился назвать их имена).

Показательно, что в справочно-биографическом словаре 1926 года «Гранат» в числе 27 «выдающихся партийных и государственных деятелей революции и гражданской войны» наряду с Л.Троцким, М.Тухачевским, М.Фрунзе, С.Будённым и другими названы Н.Муралов и В.Антонов-Овсеенко. В.Примаков же в данном списке отсутствует. Если Б.Сарнов берёт во внимание вершинные достижения по службе, то у Н.Муралова – это командующий Московским военным округом, а у В.Примакова, как говорилось, заместитель командующего Ленинградским округом.

Итак, названные и неназванные факты не дают оснований для столь высокой оценки Примакова. Быть может, и в этом случае Б.Сарнов смотрит на Виталия Марковича глазами Лили Брик? Не исключая, что главным достоинством Примакова является то, что он любил именно её...

Там, где Б.Сарнов делает выходы на историю литературы, на творчество разных авторов XIX–XX веков, то, как правило, возникают проблемы фактического и концептуального планов. Например, о С.Есенине применительно к судьбе главного героя книги сообщается: «Его кляли за богохульство (как будто не богохульствовал Есенин!)».

Богохульство Есенина – это временное явление 1917-1918 годов, это помрачение ума, не затронувшее сути личности и творчества поэта, помрачение, которое уже в 1919 году было преодолено. У Маяковского же богохульство – постоянная величина личности и творчества, величина, их суть определяющая.

Тема Есенина возникает и в книге «Случай Мандельштама»: «Вот, например, Сергей Есенин, этот «последний поэт деревни», готовый «отдать всю душу Октябрю и Маю», но с одним только единственным условием, чтобы не отобрали у него, сохранили ему его «милую лиру». Стал бы разве он называть себя социалистом? Коммунистом? Марксистом? <...> А большевиком – пожалуйста! С дорогой душой!». Во-первых, никаких условий в стихотворении «Русь советская» не ставится, более того, строфа, откуда приводится Б.Сарновым усечённая строка, начинается словами: «Приемлю всё, // Как есть всё принимаю». Во-вторых, в этом стихотворении нет и намёка, что кто-то может отобрать у поэта лиру. В-третьих, сама композиция и логика данного высказывания Б.Сарнова вызывает возражения. Идеи стихотворения 1924 года продолжают и иллюстрируются стихотворением 1918 года «Иорданская голубица». Хронологическая и смысловая инверсия здесь не уместна.

Подобная картина наблюдается и там, где речь у Сарнова идёт о Пушкине, Цветаевой, Мандельштаме, Блоке, Пастернаке (о двух последних скажу далее) и других.

Естественно, что Б.Сарнов благосклонно относится к тем авторам, которые, подобно ему, по-хлестаковски подходят к оценкам русской литературы. Явные фавориты у критика – это Виктор Шкловский и Дмитрий Быков.

Одна из главных, концептуальных идей книги Сарнова о Маяковском, идея «пробников», вырастает из размышлений Шкловского о русской литературе XIX века в книге «ZOO, или Письма не о любви».

Я по собственному желанию в 1976 году писал курсовую работу о творчестве В.Шкловского. Названную книгу, как и все остальные, прочитал трижды, и с тех пор имею устойчивое мнение об этом «популярном в определённых кругах» авторе. Так вот, тот словесный бред В.Шкловского о Печорине, Онегине, Болконском и т.д., который принимает Б.Сарнов, цитировать не буду, комментировать тоже не вижу смысла. Я лишь прибегну к помощи Бенедикта Михайловича. Оценку, данную им М.Зощенко, переадресую В.Шкловскому: «Это уже даже не «каша в голове», прямо безумие какое-то». Истинно так.

Символом же советского одиозного критика в книге Б.Сарнова является Владимир Ермилов. О фигурах более одиозных, Леопольде Авербахе и Осипе Брике, либо никак, либо принципиально иначе. Догадайтесь сами, почему...

В восприятии Осипа Брика Б.Сарнов также находится в плену своей «первой любви» Лили Брик и её последнего мужа В.А.Катаняна. Да, Лиля Юрьевна называла Осипа Максимовича гениальным, она предрекала, что его ум будет оценён будущими поколениями... И думаю я, человек наивный, было бы естественно подтвердить прозорливость Лили и ум Осипа цитатами из работ последнего. Но увы, Осипа Максимовича лучше не цитировать, ибо станет очевидным, что он – не только не гений, но и просто неумный человек. Да и к тому же подлец, примитив, кровожадный...

Чуковская приводит свидетельство Анны Ахматовой: термин «внутренние эмигранты» по отношению к ней и Мандельштаму пустили Брики. Лидия Корнеевна ссылается также на выразительные строки Осипа Максимовича: «Враги советского народа, окопавшиеся в литературных организациях, подлые наймиты капиталистических разведок – бухаринцы, троцкисты, авербаховцы – смертельно ненавидели Маяковского»; «...Кровь Маяковского, так же как и кровь великого Горького, на их грязных руках» (Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. Т.1. – СПб., 1996).

Конечно, Б.Сарнов не мог обойти стороной расхожее мнение, что Осип Брик – следователь ЧК. Комментарий критика – «низ» исследовательского мастерства – поражает убийственной «убедительной» аргументацией: «...Мне ничего не известно. Вроде – не

был». К тому же утверждается, что всех многочисленных и высокопоставленных чекистов к Брикам привёл В.Маяковский. Так, с подачи В.А.Катаняна, последнего мужа Лили Брик, стрелки с Осипа Максимовича переводятся на Владимира Владимировича.

Влияние Катаняна на Сарнова сказывается и в трактовке других вопросов. Так, говоря о «приятелях-чекистах» В.Маяковского, Б.Сарнов называет их в том порядке и количестве, в котором они приводятся у Василия Абгаровича. Или понятно, почему Сарнова устраивает следующая версия Катаняна: «В 1920–1921 гг. Осип Максимович работал в Юридическом отделе МЧК»; «У Осипа Максимовича от времени его работы в МЧК не осталось никаких связей и знакомств». Конечно, хотелось бы, чтобы Сарнов как-то комментировал те работы, в которых версии, транслируемые критиком, опровергаются. Так, по свидетельству В.Дядичева, «на январь 1924 года О.М.Брик был штатным – на должности «уполномоченный 7 отделения секретного отдела» – сотрудником ОГПУ. А прямым начальником Осипа Максимовича был Яков Саулович Агранов, в 1923–1929 годах – зам. начальника секретного отдела ОГПУ» (Дядичев В. Маяковский. Жизнь после смерти: продолжение трагедии// Наш современник, 1993, № 12).

В этих случаях, когда Сарнов «экспериментирует» с историей литературы, не знаю, кого больше жалеть: автора, который так подставляется, или читателя, который сарновскую «лапшу» может проглотить. Например, на 157-ой странице книги утверждается: «Через четыре года после смерти Маяковского были упразднены все литературные группировки, школы, течения, направления. Не стало ЛЕФов, ни конструктивистов, ни РАППов, ни ваппов, ни маппов».

Во-первых, литературные группировки были упразднены не в 1934, а в 1932 году постановлением ЦК ВКП(б) от 23 апреля «О перестройке литературно-художественных организаций». Во-вторых, ЛЕФ перестал существовать ещё в 1929 году, был преобразован в РЕФ, а конструктивисты самораспустились в 1930 году. В-третьих, нужно писать: ВАПП, МАПП.

В книге «Случай Мандельштама» Б.Сарнов объясняет судьбу Осипа Эмильевича – и параллельно В.Маяковского, Б.Пастернака, С.Есенина – через феномен интеллигенции. Ключевые для всей книги размышления критика об этом феномене страдают логическими и понятийными провалами, фактическими неточностями.

Главным достоинством интеллигенции Сарнов называет стремление к истине. Однако следующим уточнением данное утверждение по сути перечёркивается: «...Всё, что лежит за пределами этого самого «своего мнения» для него (интеллигента. – Ю.П.) просто не существует». Если критик прав, а в этом случае он прав, то стоило ли тогда гордить огород из истины?

У Сарнова подобные вопросы, естественно, не возникают, в книге он не раз обращается к данному феномену и в итоге выдвигает такую версию. Трагедия интеллигенции заключается в том, что она пренебрегла истиной во имя правды-справедливости. К тому же, Н.Гоголя, Ф.Достоевского, Л.Толстого Б.Сарнов не только относит к интеллигенции, с чем согласиться нельзя, но и ставит их в один ряд с В.Белинским, Н.Чернышевским, Н.Добролюбовым, что абсурдно вдвойне.

Этим произвол критика не ограничивается. Он утверждает, что Гоголь, Достоевский, Толстой в становлении психологического типа интеллигента сыграли не меньшую роль, чем Белинский и «компания». В качестве же доказательства приводится известное высказывание Достоевского о Христе и истине. Оно, с точки зрения Сарнова, «проливает больший свет на духовный облик русского интеллигента, чем все писания Чернышевского и Добролюбова, вместе взятые».

Тезисно скажу об очевидном. Сама постановка вопроса «...Если б кто мне доказал, что истина вне Христа» – это ориентация на оппонента, который представляет секулярный, в частности, интеллигентский, подход к пониманию проблемы. Для Достоевского же подобной дилеммы «истина – Христос» не существовало, ибо истина во Христе. На это он неоднократно указывал в споре со своими идейными противниками, в



том числе теми, кого Сарнов ставит в один ряд с Достоевским. Критик забывает и то, что сущность русского народа Фёдор Михайлович напрямую связывает с Христом и Православием: «...Кто не понимает Православия – тот никогда и ничего не поймёт в народе»; «Я утверждаю, что наш народ просветился уже давно, приняв в свою суть Христа и учение его»; «А идеал народа – Христос».

На фоне этих и им подобных многочисленных высказываний великого писателя ещё более очевидна искусственность, пустота, мертворождённость концепции Б.Сарнова, которой он стремится придать универсальный характер: «Подобно Достоевскому, она (интеллигенция. – Ю.П.) всегда, выражаясь фигурально, готова была остаться не с истиной, а – с «Христом». А Христом русской интеллигенции был народ». Последнее предложение – ещё одна лукавая формула, позволяющая подверстать под теорию Сарнова многих и многих авторов XIX–XX веков.

Для критика русский народ един, для писателей, на которых он ссылается, – нет. Ф.Достоевский, говоря о народе, имеет в виду народ, условно говоря, «с Христом», народ, ориентированный на традиционные национально-православные ценности. В.Маяковский обращается к народу «без Христа», к денационализированной, обезбоженной людской массе, к коей принадлежал сам. Поэтому только неприятие и улыбку вызывает дальнейшее оригинальничанье Б.Сарнова: «...Между тем это странное занятие («наступать на горло собственной песне») было естественным и закономерным продолжением уже знакомой нам, всё той же давней русской традиции духовного мазохизма. Ибо что ещё может означать готовность наступать на горло собственной песне, как не желание вопреки и назло всему «остаться со Христом».

Известное же выражение И.Бунина «и дубина, и икона», которым неудачно жонглирует Б.Сарнов, применимо только к третьему – амбивалентному народу. Сущность же народа «без Христа» (Н.Добролюбов, В.Маяковский, А.Вознесенский, В.Ленин, Н.Бухарин, Б.Ельцин), сколько его не «скреби», в какие условия не ставь, останется неизменной. Выражением этой сущности является, опять по Бунину, «дубина», «Емелька Пугачёв», а не «икона», «Сергий Радонежский». В одном Бенедикт Михайлович прав: случай В.Маяковского – случай интеллигента.

Сарнов любит с опорой на чужое мнение подчеркнуть неэстетичность человека, явления и сделать далеко идущие выводы. В книге «Случай Мандельштама» критик приводит свидетельство К.Чуковского (его ложкой А.Блок ел суп) и последовавшую затем мысль мемуариста: «Не написал бы «Двенадцати», если бы был брезглив». И Сарнову нет никакого дела до того, что к «Двенадцати» Блок шёл давно, что поэма – логичная точка в развитии его мировоззрения и творчества. Уже в статьях и письмах 1908–1909 годов неоднократно звучит главная мысль «Двенадцати»: «Чёрная злоба – святая злоба». Об этом я уже писал («Литературная Россия», 2007, № 16) и повторяться не буду.

Итак, критерий «брезгливости» в случае с Блоком не срабатывает, как не срабатывает и в случае с Маяковским. Он известен нам болезненным, маниакальным «чистоплюйством», что не мешало ему на протяжении всего творчества быть «людоедом». И непонятно, зачем Сарнов приводит такое свидетельство В.Шкловского: «Л.Брик Маяковского остригла, велела ему помыться, передела». Сама Лиля Брик, во всех отношениях нескромница, если бы были основания, не постеснялась бы рассказать о своей цивилизаторской роли в судьбе «плебея» (В.Шкловский) Маяковского. Однако она уже в самом начале своих воспоминаний, где речь идёт об их первом знакомстве, заявляет: «Маяковский в то время был франтом – визитка, цилиндр» («Дружба народов», 1989, № 3).

Или в книге «Случай Мандельштама» Б.Сарнов так комментирует желание Пастернака встретиться со Сталиным, поговорить с ним «о жизни и смерти»: «Зачем ему это понадобилось? Что нового мог сообщить питомцу Марбургского университета, ученику Когена, человек, который развлекался плясками под баян и украшал стены своего кабинета цветными фотографиями, вырезанными из «Огонька».

Питомец – это, конечно, сильно сказано. Один семестр (неполных три месяца) в Марбурге, вперемешку с любовями, поэтической лихорадкой – это «курс молодого бойца» в лучшем случае. На ученика Когена Пастернак тоже не тянет: прослушанный курс лекций, две встречи, успешно защищённые рефераты – это ещё не основание называться учеником. Да и хорошо, что Пастернак им не был.

Баян же, конечно, не интеллигентский инструмент, другое дело – скрипка, рояль... Видимо, ценителям «высокой» музыки В.Ленину или Н.Бухарину было о чём поговорить с «небожителем» Пастернаком? Не знаю. Мне вспоминается словесный «баян»: «дубиноголовые» статьи Ленина о Л.Толстом и мерзкопакойнейшая блевотина «Злых заметок» «умницы» Бухарина.

Б.Сарнов любит называть свои книги «Случай Зощенко», «Случай Мандельштама». Случай же самого Бенедикта Михайловича – это случай эстетствующего интеллигента со всеми вытекающими отсюда названными и неназванными последствиями.

\*\*\*

Закономерно, что центральная тема в книге Б.Сарнова «Маяковский. Самоубийство» – это тема любви. Не менее закономерно и то огромное внимание, которое уделяется автором Лиле Брик. Однако сарновское видение «музы Маяковского» – это немного модернизированный старый миф о Лиле Брик. Не помогло (а может быть, только помешало) многолетнее общение Сарнова с возлюбленной Маяковского.

Начнём с самого простого – «тёмных пятен», «загадок» биографии Лили Юрьевны. На первых страницах книги сообщается, что в 1935 году, в момент отправки письма И.Сталину, В.Примаков был мужем Брик. Однако известно и другое: Лили до конца жизни Осипа Брика оставалась его женой, то есть до 1945 года включительно.

Двоемужество Лили Юрьевны – миф это или реальность? Данный вопрос в книге Б.Сарнова остаётся открытым. Приведу наиболее вероятные варианты ответов на него.

Примаков был не мужем, а любовником Л.Брик. Сарнов же подменяет понятия, используя неуместный в данном случае эвфемизм. К этому критика мог подтолкнуть аналогичный случай с Маяковским. По свидетельству Сарнова, Лили Юрьевна попросила убрать из его статьи слово «холостяк», употреблённое по отношению к Маяковскому. По её словам, она была поэту женой. Правда, Мария Синякова говорит об обратном: на слова Маяковского «Лиличка – моя жена», она ему ответила: «Муж у меня – только Брик, а ты, Володя, только любовник» («Вопросы литературы», 1990, № 4).

Возможен и другой вариант. Брик действительно была женой Примакова. Но тогда возникает вопрос, как удалось ей это сделать при живом муже Осипе Максимовиче? Видимо, так же, как в случае с В.Маяковским...

Б.Сарнов приводит очень много свидетельств современников, цитат разных исследователей (Правда, удивляют размеры этих цитат: создаётся впечатление, что Бенедикт Михайлович искусственно увеличивает объём книги). Однако чаще всего приводятся высказывания одной направленности, немало исследований о В.Маяковском написанные за последние 20 лет, остаются за «кадром». То ли их Б.Сарнов не читал, то ли умышленно обходит стороной, в первую очередь те работы, которые идут вразрез с его концепцией. В этом смысле повезло лишь Ю.Карабчиевскому и В.Корнилову, с которыми автор книги полемизирует.

Легко, с гневом или иронией, говорить о «расистах с партийными билетами», «колосковых, воронцовых» и т.д., гораздо труднее аргументированно дискутировать с серьёзными исследователями, В.Дядичевым, например. В его статьях «Прошлых дней изучая потёмки» («Москва», 1991, № 4), «Маяковский. Жизнь после смерти: продолжение трагедии» («Наш современник», 1993, № 12), «Маяковский: стихи, поэмы, книги, цензура... Фрагменты посмертной судьбы поэта» («Литературное обозрение», 1993, № 9, 10) даётся альтернативный подход ко многим проблемам, затрагиваемым в книге Б.Сарнова. Кстати, Лидия Чуковская в первом томе своих «Записок об Анне Ахматовой»,

вышедших в 1996 году, ссылается на статью В.Дядичева в «Нашем современнике». Она, в частности, помогла Лидии Корнеевне понять мотивы поведения «штучки Мишкевича». Бенедикт Сарнов и в 2006 году о работах Владимира Дядичева – ни слова.

Конечно, можно предположить, что за таким молчанием стоит нежелание автора полемизировать с разными там «черносотенцами». Но есть и «благонадёжные» исследователи, которых Сарнов также не замечает, Л.Кацис, например. Он в статье «Гейне. Розанов. Маяковский. К проблеме иудео-христианского диалога в русской культуре XX века» («Литературное обозрение», 1993, № 1,2) выдвигает новую религиозную версию нерушимости брака Лили и Осипа Бриков. Л.Кацис, отталкиваясь от факта венчания молодожёнов московским раввином, утверждает: «Таким образом, Лиля Брик (точнее было бы: Лили Каган. – Ю.П.) была отдана Богом не просто мужу, а мужу-еврею, со всеми вытекающими при этом синагогальными формальностями <...> На наш взгляд, тот факт, что брак Лили Юрьевны и Осипа Максимовича Бриков не был расторгнут до конца дней последнего, несмотря на все перипетии личных отношений супругов, лишь подтверждает это».

«Отдана Богом», «синагогальные формальности» – звучит внушительно. Осталось только привести свидетельства, подтверждающие эту версию. Но их нет и быть не может, ибо Брики были атеистами.

Если всё же пойти по пути Л.Кациса и предположить их скрытую религиозность, то тогда нужно ответить на следующие вопросы. Иудаизм отменяет понятие «супружеская верность»? Как совместить «отдана Богом» (помните, что в такой ситуации говорит и делает Татьяна Ларина) с многочисленными изменами Лили Брик?.. К тому же, свадьба по еврейскому обряду, на что упирает Л.Кацис, – не гарантия нерушимости брака.

Для сравнения возьму историю с «аномальной» Софией Парнок. Это позволяет увидеть ещё большую «аномальность» Лили Брик, которая для Сарнова и многих других является символом женственности.

Лесбиянка Парнок, испытывая неприязнь к мужчинам, выходит замуж за Володю Волькенштейна ради того, чтобы иметь детей. Соня, с её же слов, «слишком еврейка», как и Лили Каган, венчается в синагоге. Однако менее чем через два года Парнок разводится с мужем. Выяснилось: детей она иметь не может, а скрывать свою страсть к женщинам под ширмой «синагогальных формальностей» она не захотела. Однако потребность в материнстве прорывается в ней и позже, в частности, в мечтах с Мариной Цветаевой об их ребёнке...

Для меня, при всём моём резко отрицательном, нетерпимом отношении к людям с нетрадиционной ориентацией, лесбиянка Соня Парнок больше женщина, чем Лиля Брик, в которой абсолютно атрофировано материнское начало, собственно и делающее женщину женщиной.

Элли Джонс в книге Б. Сарнова удостоилась лишь беглого упоминания, в чём также видна «школа» Брик. Однако именно мать дочери Маяковского точно определила традиционное понимание любви, которое было не доступно Лиле Брик: «Любить – значит иметь детей».

Понимаю, что моё отношение к «музе Маяковского» будет квалифицировано Б.Сарновым и его единомышленниками как проявление антисемитизма. Вообще антисемитизм – большая тема для Сарнова, она лейтмотивом проходит через книгу «Маяковский. Самоубийство» и всё его творчество.

В мемуарах «Скуки не было: Первая книга воспоминаний» (М., 2004) Б.Сарнов рассказывает об атмосфере, в которой он сформировался как личность, о своём «гайдаровском» гражданстве. Его представители считали, что будет существовать «только советская нация», и всё вроде бы к этому шло. Правда, в семье Сарнова не только не забыли о своём национальном происхождении, но и в отношении к евреям видели ключ к пониманию событий, явлений. Например, отец Бенедикта Михайловича каждый год внимательно изучал списки лауреатов Сталинской премии с одной целью: выяснить,

сколько из них евреев. «Еврейских фамилий в этих списках всегда было много». Как видим, Б.Сарнов не скрывает то, что очевидно и о чём ещё с конца 80-х годов не раз писали «правые», В.Кожин в первую очередь.

В тенденции же уменьшения числа евреев среди награждённых отец Сарнова увидел подтверждение «слухам о набирающем силу государственном антисемитизме». Более чем странный «научный» подход отца никак не комментируется ироничным Бенедиктом Михайловичем, а ведь вопросы напрашиваются сами собой. Успехи евреев в различных областях жизнедеятельности – это величина постоянная или только возрастающая? Лауреаты и евреи – это «близнецы-братья»? Если Сталинскую премию получили, скажем, М.Шолохов и Л.Леонов, а не А.Рыбаков и В.Гроссман, то это уже свидетельствует о государственном антисемитизме, о том, «что, – как сказано у Сарнова, – для евреев установлен некий фильтр»? Тогда прошу огласить список лауреатов Государственной премии и прочих триумфов за последние двадцать лет, а выводы пусть сделает Бенедикт Михайлович.

О многом говорит и тот факт, что для семейства Сарновых, их друзей критика Сталиным пьесы Д.Бедного «Богатыри» сродни – прошу набраться мужества – «пакту Сталина (читай: Молотова. – Ю.П.) с Гитлером (читай: Риббентропом. – Ю.П.)», это «резкий поворот в сторону великодержавного шовинизма», а для маленького Бени – «первая серьёзная травма», нанесённая его «гайдаровскому сознанию».

Есть в мемуарах Сарнова эпизод, который дорогого стоит. Он свидетельствует, что не мифический государственный антисемитизм, а русофобия была важнейшей составляющей «советского общежития», которое воспевал В.Маяковский. Большевик, сосед Сарнова, так отреагировал на известный тост Сталина за русский народ: «Ведь я двадцать лет боялся сказать, что я русский». Бенедикт Михайлович ставит под сомнение количество лет, но соглашается с соседом в главном: слово «русский» долгое время было чуть ли не синонимом слова «белогвардеец». И действительно: «русский» означало идейно неблагонадёжный, контрреволюционер. Но в своих объёмных мемуарах, толстенных книгах «Маяковский. Самоубийство», «Случай Мандельштама» Сарнов говорит об этом лишь один раз, предпочитая утверждать всё об антисемитизме и антисемитизме.

В мемуарах Сарнова у меня – без преувеличения – вызывает шок рассказ о том, каким умным, пророчески прозорливым был мальчик Бень. Его, восьмилетнего, изумляет выражение «умный человек», употреблённое по отношению к Сталину. Оно воспринимается Беней «как совершенно неуместное, неправильное, никак к нему не относящееся». А когда мальчику было 11 лет, он в газетных судебных отчётах находил «только липу, только проколы, только те места, где скрипящая, плохо смазанная машина государственного правосудия давала какой-нибудь очередной сбой». Навыки, приобретённые в детстве, критик Б.Сарнов, как говорили раньше, развил и приумножил. Книга «Маяковский. Самоубийство» тому подтверждение.

Она собственно темой антисемитского заговора против Лили Брик и начинается. Сарнов сообщает, что желание опубликовать письмо «единственной музы» Маяковского Сталину возникло у него «в связи с гнусной кампанией, которая на протяжении нескольких лет велась тогда против неё в печати. Кампания эта имела вполне определённую антисемитскую подкладку».

Мне, человеку не столь сообразительному, как Б.Сарнов, трудно понять, о какой кампании идёт речь, ибо ссылками на авторов и издания критик себя в данном случае не утруждает. Видимо, имеются в виду статьи «Любовь поэта» В.Воронцова, А.Колоскова («Огонёк», 1968, №16), «Трагедия поэта» А.Колоскова («Огонёк», 1968, №23, 26). Но на кампанию да ещё в несколько лет эти статьи не тянут. Да и В.В.Катанян в своей заметке «Несколько слов о Лиле Юрьевне Брик» («Дружба народов», 1989, №3) ссылается только на «лживые статьи «Огонька» 1968 года».

Автором же первого выступления против Бриков и их окружения был Борис Маркович Таль, заведующий отделом печати и издательств ЦК ВКП(б), о чём в книге Б.Сарнова, конечно, не говорится. Таль ещё в 1935 году в письме к Иосифу Сталину предупреждает об опасности «приватизации» наследия В.Маяковского: «Они хотели бы сделать издание произведений В.В.Маяковского своим групповым или семейным делом» («Литературное обозрение», 1993, №9, 10). Однако письмо не помогло, и «приватизация» состоялась...

Критика Лили Брик иной направленности содержится в письмах Людмилы Владимировны Маяковской к матери и отчиму Татьяны Яковлевой, а также Михаилу Суслову, Леониду Брежневу: «Я очень благодарна <...> за доверие и передачу мне материалов, которые дают мне твёрдую уверенность в том, что их разлучили искусственно, путём интриги лиц, заинтересованных в том, чтобы держать брата около себя и пользоваться благами, к которым привыкли» («Литературное обозрение», 1993, №6); «На самом деле к дому, где сейчас находится музей Маяковского, поэт имел малое отношение. Квартира, которая числилась за Маяковским и которую он содержал за свой счёт, как и её жильцов: О.М.Брика и Л.Ю.Брик. Брат мой там имел лишь одну маленькую комнату, где иногда ночевал в последние четыре года»; «Здесь за широкой спиной Маяковского свободно протекала «свободная» любовь Л.Брик. Вот то основное, чем характеризуется этот «мемориал» <...>. Брики боялись потерять Маяковского. С ним ушла бы слава, возможность жить на широкую ногу, прикрываться политическим авторитетом Маяковского.

Вот почему они буквально заставили Маяковского потратиться и на меблированные бриковские номера...» («Вопросы литературы», 1994, №4).

Думаю, такие обвинения нельзя оставлять незамеченными, любой исследователь, стремящийся к объективности, просто обязан их комментировать. По иронии судьбы два последних письма опубликованы в журнале, в котором давно трудится Б.Сарнов. К тому же, подобные мысли высказывали и высказывают самые разные авторы, и некоторых из них даже Бенедикт Михайлович, думаю, не осмелится записать в антисемиты.

Напомню, что Анна Ахматова, по свидетельству Лидии Чуковской, всегда «с презрением и гневом» относилась к Брикам. Об этом, в частности, свидетельствуют следующие её суждения: «Литература была отменена, оставлен был один салон Бриков, где писатели встречались с чекистами» (20 мая 1940); «Лилия всегда любила «самого главного»: Пунину, пока он был «самым главным», Краснощёкова, Агранова, Примакова... Такова была её система» (25 апреля 1959); «Я её видела впервые в театре на «Продавцах славы», когда ей было едва 30 лет. Лицо несвежее, волосы крашенные, и на истасканном лице – наглые глаза» (25 июня 1960); «Знаменитый салон должен был называться иначе... И половина посетителей – следователи. Всомогущий Агранов был Лилиным очередным любовником. Он, по Лилиной просьбе, не пустил Маяковского в Париж, к Яковлевой, и Маяковский застрелился» (11 ноября 1962).

То есть, задолго до публикаций в «Огоньке», которые во многих отношениях ущербны, высказывались суждения, серьёзно разрушающие миф о Бриках и Маяковском. И эти суждения отнюдь не безупречны, требуют коррекции разной степени, но их авторы ближе к истине, чем Б.Сарнов.

Есть, несомненно, и оценки, правота которых не вызывает сомнений. Действительно, Лилия Брик «использовала» В.Маяковского: как минимум, последние 8 лет он был для неё «кошельком», средством для безбедного существования. Достаточно прочитать письма и телеграммы Л.Брик к поэту, собранные в книге Б.Янгфельдта, чтобы понять: деньги в её отношениях с В.Маяковским были, как раньше выражались, движущей силой. Приведу выдержки из посланий Лилии Брик только за 5 месяцев 1925 года: «Пришли мне пожалуйста визу и денег» (3 августа); «Надо денег на квартиру» (13 августа); «Масса долгов. Если можешь переведи немедленно телеграфно денег» (12 сентября); «Щенёнок деньги получила» (18 сентября); «Волосит деньги получила» (8 октября); «Переведи мне

телеграфно денег» (24 октября); «Прошу срочно перевести мне денег» (27 октября); «Телеграфируй, есть ли у тебя деньги. Я совершенно оборванец <...> Купить всё нужно в Италии – много дешевле. Хорошо бы достать тебе визу, чтобы смог приехать за мной» (4 ноября).

Возмутятся и напомнят «про это», про любовную составляющую писем и телеграмм. Отвечу: «про это» – лишь местами красивые слова, которые умирают в «некрасивых» поступках, лишь словесная пудра, частично прикрывающая вывихнутые, лживые, расчётливо-циничные отношения. Их, в частности, характеризуют следующие строки из посланий Лили Брик поэту (Три первых адресованы Маяковскому и Осипу Брику): «Хочу целоваться с вами!! Ждёте? Ваша верная Лили <кошечка>» (9 декабря 1921); «Скоро приеду и больше никуда никогда от вас не уеду!!!» (23 апреля 1922); «Почему, Осип, ты не жил дома? <...> Пришлите вы, чёрт вас возьми, толстых папирос! Сколько раз просила!!! Тра-та-та-та-та!... Целую восемь лапиков. Ваша до гроба <кошечка>» (28 декабря 1921); «Это правда, хотя я не обязана быть правдивой с тобой» (До 31 января 1923); «Пиши подробно, как живёшь (с кем – можешь не писать)» (26 июля 1925); «Очень хочется автомобильчик <...> Много думали о том – какой. И решили – лучше всего Фордик <...> Только купить надо непременно Форд последнего выпуска, на усиленных покрывках-балонах; с полным комплектом всех инструментов и возможно большим количеством запасных частей» (25 апреля 1927).

Естественно, что для меня Лили Брик, если аккуратно выражаться, блудница, для Бенедикта Сарнова – «первая любовь», «больше, чем женщина, сверхженщина».

Именно с таких жреческих высот оценивает Лили Брик свою соперницу Татьяну Яковлеву в письме к сестре от 17 декабря 1928 года: «Элик! Напиши мне, пожалуйста, что за женщина, по которой Володя сходит с ума, которую он собирается выписать в Москву, которой он пишет стихи (!!!) и которая, прожив столько лет в Париже, падает в обморок от слова *merde*!? Что-то не верю я в невинность русской шляпницы в Париже». Как видим, опыт блудницы играет в данном случае не малую роль. К тому же налицо, как этого Сарнов не заметил, национальное предубеждение к русским: надо полагать, что если бы шляпница была, скажем, гречанка или еврейка, то Лили Брик в её невинность поверила бы?

Не заметил Б.Сарнов заведомой лжи в словах родной сестры Лили Брик Эльзы Триоле, которые приводит в книге без комментариев. Я из большой цитаты возьму один фрагмент: «А потому трудному Маяковскому в трудной Москве, она предпочла лёгкое благополучие с французским мужем из хорошей семьи. И во времена романа с Маяковским продолжала поддерживать отношения со своим будущим мужем... Володя узнал об этом». Очевидно, что Эльза Триоле работает на сестру и «зачищает» её соперницу «по полной программе». В реальности никакого параллельного романа у Татьяны Яковлевой не было: он начался уже после того, когда женщине стало известно, что Маяковский не приедет в Париж (как утверждают многие, по воле Брик). Маяковский же о якобы романе ничего не знал, его технично известили сёстры Каган уже о состоявшейся свадьбе Яковлевой. Очевидно и другое: в отличие от Лили, Татьяна всю жизнь работала и не стремилась к «лёгкому благополучию». То есть не вызывает никаких сомнений, что Татьяна Яковлева более достойный человек, женщина, чем Лили Брик. Только не надо искать в этой оценке «антисемитскую подкладку», видеть противопоставление «русская женщина» – «жидовка».

Остаётся за пределами книги Сарнова и то, что Лили Брик «использовала» Маяковского и после смерти поэта, о чём подробно и доказательно рассказывается в статье В.Дядичева «Маяковский. Жизнь после смерти: продолжение трагедии» («Наш современник», 1993, №12). Приведу не требующий комментариев пример. Уже через 4 дня после того, как постановление СНК РСФСР вступило в силу (в нём, в частности, говорилось, что издаваться полное собрание сочинений Маяковского должно «под

наблюдением Лили Брик»), «вдова» поэта писала: «Прошу выдать мне следуемые (так у неё. – Ю.П.) мне с Госиздата три тысячи рублей за В.В. Маяковского».

Б.Сарнов игнорирует высказывания Ахматовой, Маяковской и потому, что они хронологически и идейно разрушают тот миф, который критик навязывает читателю. Смысл кампании против Брик Сарнов видит в том, «чтобы оторвать Лилию от Маяковского, – доказать, что она никак и ничем не была с ним связана. И если была в его жизни настоящая любовь, то это была любовь к «русской женщине» Татьяне Яковлевой. Этим расистам с партийными билетами членов Коммунистической партии (один из них был довольно крупным партийным функционером – помощником самого Суслова) было наплевать даже на то, что единственной настоящей любовью великого пролетарского поэта в их интерпретации оказалась белоэмигрантка. Чёрт с ней, пусть эмигрантка, пусть кто угодно, только бы «русская женщина», а не «жидовка».

Когда встречаешь такое на протяжении 669 страниц книги, то наступает момент привыкания, многое даже не удивляет, воспринимается как норма: отсутствие высказываний тех, с кем полемизирует критик, свободный пересказ, точнее, сочинение на заданную тему с «антисемитской подкладкой»... Но иногда прорываются откровения, оценки, к которым привыкнуть невозможно. Они, мягко выражаясь, удивляют и «оживляют» текст.

Например, во время разговора «про это» Б.Сарнов касается слухов об импотенции и сифилисе своего любимого поэта. И делает сие с удовольствием, особенно явным тогда, когда дважды приводит версии Лили Брик. Так, на вопрос Сарнова о сифилисе ответ был таков: «Да не было у Володи никогда никакого сифилиса! – гневно сказала она. И тут же без тени смущения добавила: – Триппер – был». Далее следует авторский комментарий, который красноречиво характеризует самого Бенедикта Сарнова: «Мол, что было – то было. И она этого не скрывает. И стесняться тут нечего: дело житейское».

Ещё в начале прошлого века Василий Розанов, нелюбимый В.Маяковским и Л.Брик, упрекал декадентов в том, что их интерес, их взгляд на женщину выше пояса не поднимается. Подобный интерес к «низу» очевиден и у Сарнова, что наглядно проявляется в тех случаях, когда этот интерес искусственно навязывается либо к нему все отношения сводятся.

Б.Сарнов в свойственной ему игриво-ироничной манере так комментирует мемуарные откровения Вероники Полонской: «Стало быть, не только в карты играли они там, у него, на Лубянке, когда оставались вдвоём». Да, не только... И секрета из этого Полонская не делает, более того, сообщает о своей беременности от Маяковского, об аборте, о бессердечно-циничной реакции поэта... Однако все эти факты остаются «за кадром», за пределами книги Бенедикта Сарнова. Он в очередной раз сознательно искажает реальность, ибо отношение поэта к аборту в образ, создаваемый критиком, не вписывается. В данном случае, как и во всех других, Маяковского необходимо оценивать по достоинству: определять реальный вес его слов по поступкам. На этот единственно правильный путь мягко указывает в письме к поэту Элли Джонс: «Вы же собственную печёнку готовы отдать собаке – а мы просим так немного».

Возвращаясь к истории с «травлей», замечу: Б.Сарнов мог и должен был сказать, что в защиту Лили Брик в течение месяца выступили З.Паперный, К.Симонов, С.Кирсанов, Б.Слущкий. Не знаю, была ли данная акция кем-то инициирована или она – спонтанное выражение чувств и мыслей названных авторов? Очевидно одно: по главному вопросу они высказываются стандартно, как будто под копирку, повторяя миф, успешно внедрённый Бриками, Катаняном и т.д. Например, Семён Кирсанов просит ЦК КПСС (вот размах) «принять меры» (хорошая формулировочка) против «... кампании травли и клеветы по отношению к женщине, которая была любимой подругой Маяковского до конца его жизни» («Вопросы литературы», 1994, №4).

Через 17 дней уже Борис Слущкий просит «уважаемого Леонида Ильича» вмешаться в кампанию травли Л.Брик и в утверждение «совершенно новой «концепции» жизни и

творчества Маяковского» («Вопросы литературы», 1994, №4). В этом письме пробриковская позиция не только достигает своего апогея, но и очень своеобразно проецируется на творчество поэта: «Главная задача этих высказываний – опорочить Лилию Юрьевну Брик, самого близкого Маяковскому человека, женщину, которую он любил всю жизнь и о которой писал всю жизнь».

Таким образом, накануне юбилея поэта ставится под сомнение большая часть его любовной лирики».

Если бы это – «в огороде бузина, а в Киеве дядька» – выдал Ст. Куняев или В.Бондаренко, то легко представить реакцию Б.Сарнова, как и любого «левого». Но автор данного послания Борис Слуцкий... И я тоже «промолчу»... Скажу о другом – общем месте у исследователей Маяковского. В данном письме Слуцкого в заострённой форме выражено буквальное понимание любовной лирики. Подобным образом отреагировала на цикл стихотворений, посвящённый ей, Наталия Волохова. На слова женщины о слишком вольной интерпретации их отношений Блок пропророчествовал о «соусе вечности». Именно этот план не берётся во внимание и прекрасным поэтом Б.Слуцким, и... критиком Б.Сарновым, и многими другими. Суть проблемы, думаю, точно выразила Лидия Чуковская во втором томе «Записок об Анне Ахматовой»: «Я думаю, Маяковский любил всех трёх – и ещё тридцать трёх впридачу, и мне непонятно стремление исследователей и не исследователей во что бы то ни стало установить какую-то единственную любовь их героя – будь то Тургенев <...>, или Байрон и Пушкин <...>. К чему это? Проблема нерешаемая, да и бесплодная».

Конечно, обращение к еврейской и антисемитской темам обусловлено сколь личностью Б.Сарнова, столь и реалиями биографии Л.Брик и В.Маяковского. Лилия Юрьевна очень остро воспринимала своё национальное происхождение и отношение к еврейству вообще. По её словам, оно «было болезненное с самого начала» из-за судьбы отца. Естественно, что В.Маяковский заразился подобным отношением от Лили. Однако у обоих «болезненное» периодически принимало неадекватно-гипертрофированные формы, как в случае с Белинсоном. Об этом Лилия Юрьевна рассказывает в мемуарах, допуская в одном абзаце следующие фактические ошибки. «Биржевые ведомости» – это не альманах, а газета. Альманах же назывался «Стрелец», где и были опубликованы стихи В.Маяковского вместе, по словам Л.Брик, с «антисемитской статьяшкой Розанова» («Дружба народов», 1989, №3). И не выходил В.Маяковский из «числа сотрудников» (потому что никогда не являлся сотрудником ни «Биржевых ведомостей», ни «Стрельца»), а просто заявил: «Появление столь неприятного соседа заставляет меня считать себя впредь не имеющим к «Стрельцу» никакого отношения».

Непонятно, почему в статье В.Розанова «Из последних страниц истории русской критики» В.Маяковский увидел «охотничью гримасу». Ещё более непонятно, почему Владимир Владимирович только через полгода дал «звонкую пощёчину» редактору «Стрельца» Белинсону. Может быть, хотел покрасоваться перед Лилей, с которой шёл рядом? А как же бедный Белинсон, он тоже был с дамой?

В беседах с Романом Якобсоном В.Маяковский не раз говорил, что ничто его не приводит в такое состояние возмущения, гнева и ненависти, как юдофобство. Ненависть к любому народу – болезнь, и мне непонятно, почему В.Маяковский, Л.Брик, Б.Сарнов и многие другие заикливаются только на евреененавистниках. Реакция на последних у В.Маяковского всё же мягче, чем у легендарной Ариадны Скрябиной (не путать с её матерью, у которой был роман с Мариной Цветаевой). Владимир Хазан сообщает: «Однажды в её присутствии кто-то заподозрил в антисемитизме поэта Г.Иванова. «Следует раздавить его, как клопа, поставить к стенке», – последовала незамедлительная и беспощадная реакция Скрябиной» (Хазан В. Особенный еврейско-русский воздух. – Иерусалим-Москва., 2001).

Во многих мемуарах и исследованиях говорится о совместной «еврейской» акции Л.Брик и В.Маяковского. В 1926 году друзья поэта и Лилия Брик снимали фильм «Евреи на



земле». Маяковский, как утверждает В.Шкловский, сделал надписи к нему (Шкловский В. За сорок лет: Статьи о кино. – М., 1965), а затем, по свидетельству Брик, «устроил в Доме союзов гигантский писательский вечер, сбор с которого пошёл целиком на еврейские колонии» (Цит. по кн.: Янгфельдт Б. Любовь это сердце всего. В.В. Маяковский и Л.Ю. Брик: Переписка 1915-1930. – М., 1991).

В стихотворении Маяковского особенно впечатляет финал, строки, которые не могут не вызвать сострадания к жертвам погрома и ненависть к тем, кто его творит: «И липнет // пух // из перин Белостока // к лежащим глазам, // которые выколоты». Однако само стихотворение в целом – это талантливая иллюстрация примитивных «левых» мифов о царской власти как о вдохновителе и организаторе еврейских погромов.

Для меня не менее показательным то, что другой погром, жертвами которого стали миллионы, В.Маяковский поддержал и по-разному воспевал в лирике и эпике. Закономерно, что и Б.Сарнов не заметил этот погром 1918–1922 годов. Зато, ведя речь о конце 20-х XX века, он вслед за своим единомышленником Д.Быковым с грустью повторяет: «От революции отлетела душа», и делает глобальные – из серии ненаучной фантастики – выводы...

Предположим, что, как утверждают многие «левые», душа отлетела. Но стоит ли, Бенедикт Михайлович, жалеть о том, ибо душой этой было уничтожение тысячелетней России, человеконенавистничество, разрешение крови по совести, узаконенная русофобия... Или тогда нужно признать, что такой погром вам в радость, такая «душа революции» созвучна вашей душе?

Своё восприятие Маяковского, во всех отношениях отличное от сарновского, я выразил давно («Кубань», 1991, №3) и не вижу смысла полемизировать с автором книг «Маяковский. Самоубийство», «Случай Мандельштама» по конкретике творчества. Скажу предельно кратко, общо.

В.Маяковский, человек и поэт – личность, на протяжении всей жизни и творчества не меняющаяся. Он явил действительно новый тип отечественного писателя, сознательно порвавшего с национальными традициями, утверждавшего своим творчеством ценности, не совместимые с православными ценностями русской литературы. Место человека с «лицом», созданного по образу и подобию Божьему, в его поэзии занимает социально или чувственно детерминированный индивид. Нет никаких оснований относить творчество В.Маяковского к русской литературе. Поэт – один из первых и один из самых «химически чистых» русскоязычных авторов в словесности XX века.

Вопрос о росте Маяковского, которым задавался Сарнов ещё в конце 1980-х годов, будет, конечно, периодически возникать. В 2006 году в книге о поэте Бенедикт Михайлович ответил на этот вопрос вполне определённо: «Маяковский – один из величайших лириков XX века». То есть критик остался верен себе, что вызывает уважение. Правда, Б.Сарнову, как и многим-многим другим, нужно понять одно: поэта следует относить к другой – русскоязычной литературе, где он действительно «великан».

Что же касается роста самого Сарнова, то здесь не миновать вопроса: как быть с огромным количеством фактических ошибок и откровенных подтасовок в книге о Маяковском и в других работах критика. Можно, конечно, пойти по пути самого Б.Сарнова. Он, в частности, так реагирует на «проколы» (реальные или мнимые, в данном случае не имеет значения) В.Маяковского, М.Зощенко, Г.Адамовича: «Охренел он, что ли?»; «Это уже даже не «каша в голове», прямо безумие какое-то»; «Вот уж, что называется, попал пальцем в небо».

Можно, если вновь руководствоваться логикой «левых», вспомнить об образовании. Когда-то меня удивило и покорило высказывание Всеволода Сахарова о Литературном институте: «...Этот безалаберный лицей для малограмотных советских <...> писателей». Случай Б.Сарнова, выпускника Литературного института, казалось бы, явное подтверждение правоты Сахарова. Однако я вспоминаю похожий случай Д.Быкова,

выпускника МГУ, и в растерянности замолкаю. Пусть лучше рост Бенедикта Сарнова определяют его единомышленники – «левые» русскоязычные авторы.

2007

#### ИГОРЬ ЗОЛОТУССКИЙ: ПУТЬ КРИТИКА

В статье «Уважение к преданию» (1975) Игорь Золотусский выделяет следующие типы современной критики: публицистически-социологическая, эстетическая, философская. При этом Золотусский не приводит имён представителей каждого типа, что затуманивает и без того не во всём внятную авторскую концепцию. Быть может, название имён прояснило бы сущность последнего типа, о котором, в частности, говорится: «Уже не критик, а философ, ибо оперирует целыми художественными системами».

Непонятно, почему критик не может оперировать целыми художественными системами, и почему он в таком случае философ, а не, скажем, литературовед или критик-универсал, тип критика, который, по мнению Золотусского, остался в прошлом, что также вызывает возражение.

В статье «Исповедь Зоила. Вместо послесловия» (1984) при определении сущности критики Игорь Петрович руководствуется уже иным критерием, который годом раньше определил так: «Критика не профессия, а поведение». Поэтому и уроки русской критики XIX века для Золотусского – это прежде всего уроки порядочности. Однако не уточняется, какие именно критики имеются в виду. Одно дело, если, например, Иван Киреевский или Николай Страхов, и совсем другое, если подразумеваются Белинский и Добролюбов, которым порядочность не была присуща. Из статьи «Любимое слово: истина» (1986) и

высказываний Золотусского разных лет, в которых Белинский неизменно оценивается как идеальный критик, следует, что «неистовый Виссарион» список порядочных зоилов открывает. Попутно замечу: Золотусский, как и большинство лучших современных критиков, от В. Кожина до В. Бондаренко, так и не преодолел «левый» миф о Белинском.

В названной статье и в других Игорь Петрович с гневом и иронией говорит об официальной, обслуживающей критике, у коей одно на уме, а другое на языке. И в качестве примера приводится автор, который «в иных своих выступлениях тонкий эстет и показывает отчасти чувство слога, в анонимных обзорах, которые он подписывает скромно Книжник, вовсе даже ортодокс». Хотя в молодой критике легко угадывается С. Чупринин, не стоит заикливаться на нём: Золотусский чутко уловил и точно определил тип критика-«наёмного убийцы» (Бальзак), довольно распространённый в 60-80-е годы и, конечно, не только в этот период.

Золотусский также выделяет критику для критиков, которую называет образованческой. Её представляют критики-проработчики и критики-прогрессисты. Сомневаюсь в продуктивности такого деления, ибо о чём бы ни рассуждали и те, и другие критики, они оценивали любое явление с позиций верности марксизму-ленинизму, идеи социализма и т.д. То есть вся образованческая критика в конце концов создавала репутации, что, по Золотусскому, является привилегией только критиков-прогрессистов. Игорь Петрович не называет образованцев, проработчиков-прогрессистов пофамильно, что, думаю, следует сделать, хотя бы справедливости, истории ради. Вот далеко не полный перечень их: Юрий Суровцев, Петр Николаев, Валентин Оскоцкий, Василий Кулешов, Анатолий Бочаров, Владимир Лакшин, Евгений Сидоров, Станислав Рассадин, Бенедикт Сарнов, Наталья Иванова.

Ещё одно деление критики – с точки зрения направленности – даётся в статье «Уважение к преданию» (1975). Золотусский точно, с присущей ему образностью, говорит о критике «щелочной, разъедающей, способной разъять талантливо на части, но не способной собрать <...>. Трепещуще-целое умерщвляется, дух отлетает». Продолжая эту тему, Золотусский в статье «Критика – это страсть» (1986) сравнивает данный тип критика с патологоанатомом, а саму критику именует анатомической, филологической. О Борисе Эйхенбауме, одном из «отцов» этой критики, Игорь Петрович справедливо замечает: «он не чувствует ни душу «Шинели», ни душу Гоголя».

В статьях и интервью последних тридцати лет Золотусский также называет эту критику отрицательной, эстетической, формальной. Она не отождествляется с отрицательно-очистительной критикой, пользу которой признаёт Золотусский. По его словам, он сам неоднократно писал в этом «жанре». И всё же критика строящая, созидаящая Игорю Петровичу больше по душе.

Ещё в 70-е годы XX века Золотусский назвал себя критиком первого впечатления и так определил свои творческие принципы: свобода выбора, свобода первого впечатления, свобода писания. Упор на слово «свобода», думаю, обусловлен известным советским контекстом. Вообще же нет никаких оснований зачислять Золотусского в «пленники свободы» разного толка. Уже позже критик неоднократно возвращается к этой теме и уточняет своё понимание свободы: «Свобода от чего и для чего? Свобода материться, козунствовать, воровать? <...> Но Христос никогда не считал свободу своеволием, по нему высшая свобода – это самоограничение» («День литературы», 2005, № 10). Подводя итог 20-летнего «свободного» развития России, Золотусский высказывается в духе В. Кожина, М. Лобанова, В. Бондаренко и других «правых» критиков: «Но от чего освободились? От добрых чувств, от сострадания к ближнему? От памяти о великих тенях, которые, в отличие от тени отца Гамлета, звали не к оружию, а к тому, к чему звал неистово пророка Иеремию Господь: «Извлеки драгоценное из ничтожного и будешь, как мои уста» («Литературная газета», 2005, № 16).

Главное требование Золотусского к критике, которое он неоднократно высказывал в статьях и интервью, – это самостоятельность мысли. Игорь Петрович справедливо считает, что только тот автор может остаться в истории литературы, кто собственное мнение не подстраивает под мнение того или иного направления. И сегодня, оценивая путь, пройденный Игорем Золотусским, можно сказать, что чаще всего ему удавалось остаться самим собой.

Александр Солженицын, характеризуя этот путь в 2005 году в своём выступлении при вручении Золотусскому премии собственного имени («Литературная газета», 2005, № 16), допускает фактическую ошибку. Не с конца 60-х, как утверждает писатель, а с конца 50-х годов Золотусский постоянно следит за литературным процессом. Первая его статья «О взыскательности» появилась в 1957 году. С конца же 60-х годов Игорь Петрович, по собственному признанию, на 10 лет отходит от современной литературы, «эмигрирует» в девятнадцатый век, пишет книгу о Гоголе.

Эта книга, вышедшая в 1979 году в серии «ЖЗЛ», вместе с «Островским» М. Лобанова, «Гончаровым» Ю. Лощица, «Достоевским» Ю. Селезнёва ознаменовала принципиально новый – христианский – этап в осмыслении русской классики. Названные авторы впервые выступили против ига революционно-демократической, марксистско-ленинской, «левой» критики. В ответ последовали многочисленные массированные атаки с применением «артиллерии», «авиации» со стороны советских критиков-ортодоксов и либералов (смотрите хотя бы обсуждение этих книг на страницах «Вопросов литературы» за 1980 год, номер 9). Дошло до применения санкций против Ю. Селезнёва.

И сегодня, когда я читаю мемуары член-кора Петра Николаева или его письмо в поддержку Аллы Большаковой, то вспоминаю статьи этого «штатного» погромщика 60–80-х годов, и мне грустно... Золотусский же с благодарностью вспоминает Юрия Селезнёва и Георгия Маркова, тех, без кого его «Гоголь» не вышел бы. А в канун своего 75-летия Игорь Петрович назвал эту книгу лучшей из всего, что им было написано. И это действительно так.

Солженицын определяет творческую манеру Золотусского как вчитывание и перечитывание уже прочтённого. Эта манера, используемая при написании обзоров о современном литературном процессе, называется Солженицыным самой трудной формой критики. Как это делается Золотусским, рассмотрим на примере статьи «Оглянись с любовью» (1981), на которую не раз ссылается Солженицын, что естественно, ибо эта работа этапная и показательная во многих отношениях.

В статье Игорь Золотусский призывает не отречься от литературы 50-60-х годов, от творчества тех писателей, которые честно выполнили свой долг, пройдя тернистый путь. Имя Юрия Казакова, одного из таких писателей, возникает в этой статье в другом контексте: там, где критик говорит о тенденции «ломки стиля, ломки способов изображения». Трудно, подобно А. Солженицыну, принять версию Золотусского о том, что Ю. Казаков стал пленником однажды выбранного стиля. В рассказах писателя 50-60-х годов стиль не «блестящая упаковка, в которую можно завернуть что угодно», а соответствующая содержательная форма. Так, в «Поморке» (1957) и «Северном дневнике» (1960) Ю. Казаков – раньше «Матрёниного двора», о чём забывают многие критики и литературоведы, – изображает тип праведницы, «тихого героя». А в «Несторе и Кире» (1961) писатель одним из первых в нашей литературе разрушает советский стереотип кулака, с горечью и иронией говорит о мире московских писателей, практически не пересекающемся с миром поморов-рыбаков... В центре рассказов «На полустанке» (1954), «Голубое и зелёное» (1956), «Двое в декабре» (1961), «Адам и Ева» (1962) и других – поэзия и проза в отношениях между мужчиной и женщиной, разный градус любви и нелюбви. В 70-е же годы Ю. Казаков напечатал не один рассказ, как утверждает И. Золотусский, а два: рассказ «Свечечка» остался им не замеченным.

Константин Воробьёв – один из тех писателей, на чьё «очищающее» творчество призывает оглянуться с любовью Игорь Золотусский. Его прозе посвящена и отдельная статья «Очная ставка с памятью» (1981), в которой немало глубоких, точных оценок.

Творчество Воробьёва, по Золотусскому, отличается особая интонация, о коей говорится с привычной для критика поэтической образностью как о «резко взыскующей, истово реющей в полёте совести». И после фрагментарного анализа произведений («Убиты под Москвой», «Тётка Егориха») данная идея получает такое развитие: «Позора сломленности, позора отступничества, позора замалчивания правды не приемлют герои К.Воробьёва. Вот отчего интонация его прозы часто срывается на крик, граничит с криком. Крик – это громкий голос, освободившийся голос. Это право в полную силу говорить обо всём». Интересны наблюдения критика о правде и лжи, взвешиваемых «на весах жизни и смерти», о соотношении частного и общего сознания во время боя... И совсем неожиданными в этом контексте выглядят размышления Игоря Золотусского о любви.

С редкой для того и тем более нашего времени позиции оценивает он отношения мужчины и женщины. Эти две книжные страницы – одни из лучших в творчестве автора – невольно заставляют вспомнить «предшественников»: прежде всего Н.Страхова с его рассуждениями о чувственности и любви в статье «Война и мир». Сочинения гр. Л.Н. Толстого» (Страхов Н. Литературная критика. – М., 1984) и В. Розанова с его мыслями о Пушкине и Гончаровой в статье «Ещё раз о смерти Пушкина» (Розанов В. Мысли о литературе. – М., 1989). Приведу лишь те слова Золотусского, которые дают представление об авторском идеале любви: «Их связывает что-то иное, высшее <...>. Как будто кто-то третий присутствует при этих поздних свиданиях и благословляет их».

С этих позиций оценивается «любовь» в блистательной статье «Без риска» (1982) о романе Д. Гранина «Картина». Но всё же в размышлениях критика о любви зияет лакуна. Он, как и большинство авторов разных направлений, забывает о ребёнке, который в любовно-семейных отношениях должен занимать главное место. Может быть, дневниковая запись И. Дедкова от 14 марта 1974 года отчасти проясняет данную ситуацию: «Письмо от Игоря Золотусского. Пишет про свои дела – большинство о том и пишет, и ещё упоминает Игоря Виноградова <...>. Виноградовы годовалую дочь отдали родителям, а сами всецело занимаются литературой <...>. У Золотусских дитё тоже у родителей, тоже «всецело литература» (Дедков И. Дневник. 1953-1994. – М., 2005).

Не знаю, что является определяющим фактором в приписывании Солженицыным Золотусскому чужих заслуг: недостаточная компетентность, желание подчеркнуть особую роль критика... Ясно другое: Александр Исаевич явно преувеличил роль Игоря Петровича в судьбе Константина Воробьёва: «Не без усилия удалось ему вывести из преднамеренной, пристрастной тьмы трагического неудачника Константина Воробьёва – первого, написавшего о военнопленстве (это, конечно, не так. – Ю.П.), да и о ранних фронтовых боях 1941 года» («Литературная газета», 2005, № 16).

Однако ещё до «Очной ставки с памятью» (1981), на которую ссылается Солженицын, были опубликованы, начиная с 1956 года, рецензии и статьи В.Астафьева, К.Амбрасаса, Ю.Бондарева, П.Гельбака, Е.Джичоевой, Г.Коновича, И.Штокмана и других авторов. Назову лишь рецензию «Мишка и его сверстники» («Новый мир», 1961, № 7) и статью «До конца дней своих...»: Проза Константина Воробьёва» («Наш современник», 1977, № 6) Игоря Дедкова. Его особую роль в судьбе писателя признавала и супруга Воробьёва, о чём свидетельствует дневниковая запись критика от 8 сентября 1976 года.

В литературе 70-х годов, по Золотусскому, происходит раздвоение словесности на собственно литературу, высокую литературу и литературу массовую, литературу рынка. Первую представляет В. Белов, вторую – Ю.Семёнов. И в «Канунах» В.Белова критик справедливо отмечает проявление той тенденции, которую В.Кожин на примере поэзии определил как «возвращение к классике». Золотусский в этой связи уточняет: «В Белове отзываются родные голоса русской классики. Жалость к человеку – не унижающая, а

возвышающая человека — это завещано нам оттуда. Поэзия вражды, так долго господствовавшая в литературе, сменяется поэзией мира <...>». То есть достоинство «Канунов» критик видит в том, в чём «левые» авторы от Анатолия Бочарова до Юрия Кузьменко находили серьёзнейший идеологический недостаток.

Как известно, в советском литературоведении, критике господствовал материалистический, вульгарно-социологический подход к человеку как к социальному типу, как к продукту общественных отношений. В противовес этому подходу, родоначальником которого был В.Белинский, И.Золотусский в данной статье транслирует религиозный взгляд на человека, что по понятным причинам «во весь голос» артикулироваться не могло. В редуцированном виде, через скрытую полемику с известными высказываниями В.Белинского о Евгении Онегине, данный подход заявлен так: «Эти упования на душу, эти прямые обращения к душе, как к краеугольному камню нашей памяти, стали знаменем литературы семидесятых годов. Раньше как-то всё больше кивали на обстоятельства, в них находя корень зла и избавление от всех бед, сейчас центр интереса сдвинулся к душе — к этой невидимой силе, которая, однако, ворочает всем и от которой зависит всё».

В отличие от Владимира Бондаренко, открывателя и пропагандиста «прозы сорокалетних», Игорь Золотусский, как и Сергей Чупринин, довольно критично отнёсся к данному явлению в статье «Оглянись с любовью». Из большой группы достойных писателей критик выделил лишь В.Крупина и отметил следующие особенности его творчества: «новый язык», «наклон пера в сторону правды и в сторону свободы слова», «в прозе В.Крупина на слух узнаёшь время». Для меня остаётся до сих пор загадкой, почему Золотусский не оценил по заслугам таких первоклассных писателей, как В.Личутин, В.Михальский, А.Ким, В.Маканин (я не имею в виду «позднего» Маканина).

И.Золотусский не раз говорил о себе, что он не разбирается в вопросах теории литературы. Думаю, что это явное преувеличение. В тех статьях, где критик затрагивает проблемы литературоведения на примерах из истории литературы или современной словесности, он делает это куда более профессионально, убедительно, чем многие титулованные учёные. В статье «Лучшая правда — вымысел» (1976) Золотусский рассматривает вопрос соотношения факта, документа и вымысла, фантазии. Критик не разделяет оптимизма тех авторов, которые резерв в развитии современной прозы видят прежде всего в «документальной» литературе. Золотусский с редкой для теоретиков образностью, глубиной, точностью, афористичностью утверждает: «Документу не хватает философского дыхания, которое придаёт литературе власть над реальностью и силу преодоления реальности»; «Отношение факта и вымысла всегда складывались в литературе не в пользу факта. Ибо подлинный вымысел выше факта. Он поднимается над последним своей способностью постичь его, постичь в связи с другими фактами и даже предсказать явление новых фактов»; «Образ тем и долговечнее факта, тем выше его, что он даёт возможность многих толкований, что он многозначен, объёмен, неуловим в своём значении и неисчерпаем. Факт живёт день, образ бессмертен».

В этой же статье на примере творчества А.Платонова, В.Шукшина, В.Катаева, А.Вознесенского, Ф.Абрамова, Г.Матевосяна Золотусский трактует проблемы художественности, мастерства, эксперимента, новаторства. Критик справедливо утверждает, что эксперименты в области формы В.Катаева и А.Вознесенского — это смерть художественности, смерть подлинной литературы, это не обретение нового смысла, а «серийно налаженное новаторство, которое имеет целью быть новым — новым опять-таки не по содержанию, а по обёртке, рекламной упаковке, затейливому рисунку на одежде». Подлинное же новаторство, по Золотусскому, всегда является в родовых муках, вырастает из боли, любви, сострадания.

Особенно нагляден высокий профессионализм Игоря Золотусского в такой статье, как «Доколе? О микрофинале, протосюжете, о Базарове, резавшем кошек, и ещё кое о чём» (1987). В ней не просто убедительно, а с блеском критик показывает

несостоятельность учебников, монографий, книг В.Кулешова, П.Николаева, Д.Николаева, Г.Бердникова, В.Щербины, Ю.Суровцева, В.Лакшина, М.Храпченко. Всех этих академиков, член-коров, докторов наук, на книгах которых – к сожалению, к ужасу – воспитывалось, набиралось уму-разуму не одно поколение филологов. В работах этих авторов писатели, произведения, герои оценивались с классовых, революционно-демократических позиций, и как результат – редчайший произвол... Так, например, из «Биографии книги» В.Лакшина приводятся следующие примеры. Татьяна Ларина, по Лакшину, – потенциальная декабристка, а её муж – вероятный декабрист. Александр же Раевский, не разделивший взгляды декабристов, – это человек, который неминуемо должен был прийти к предательству. Реальная помощь Раевского крестьянам во время холеры 1831 года ставится В.Лакшиным под сомнение, называется «подслащённым семейным преданием».

Вторая половина 80-х – это пик творческой активности И.Золотусского. Он публикует статьи «В свете пожара» (1985) о повести В.Распутина «Пожар», «Идеи и игры» (1985) о критике в альманахе «Современная драматургия», «Дон Кихот из Вейска» о повести В.Астафьева «Печальный детектив», «Шанель № 19» (1986) о повести Евг. Долматовского «Международный вагон», «Любимое слово: истина» (1986) о В.Белинском, «Война и свобода» (1988) о романе В.Гроссмана «Жизнь и судьба», «Палачи и герои» (1988) о романе Ю.Домбровского «Факультет ненужных вещей», «Портрет «Странного гения» (1988) о книге В.Вересаева «Гоголь в жизни» и т.д. Особняком – по размеру и жанру – стоят три публикации критика.

Это «Фёдор Абрамов» – объёмное, глубокое и, наверное, лучшее исследование об этом не часто вспоминаемом сегодня большом и честном писателе. Оно издано и отдельной книжкой, и вошло в сборник И. Золотусского «В свете пожара» (М., 1989).

Две другие работы «Отчёт о пути»

, «Проза-87: свет и тени» – это очень большие по размеру обзоры журнальной прозы 1986 и 1987 годов. В первой статье анализируются «Печальный детектив» В.Астафьева, «Всё впереди» В.Белова, «Плаха» Ч.Айтматова, «Карьер» В.Быкова, «Это мы, Господи!..» К.Воробьёва, «Новое назначение» А.Бека, «Чистые воды Китежа» В.Тендрякова, «Ювенильное море» А.Платонова. Во второй статье характеризуется «Котлован» А.Платонова, «Мужики и бабы» Б.Можаева, «Ошибись, милуя» И.Акулова, «Дети Арбата» А.Рыбакова, «Исчезновение» Ю.Трифонов, рассказы В.Шаламова, Ф.Абрамова, В.Гроссмана, «Встань и иди» Ю.Нагибина, «Белые одежды» В.Дудинцева, «Ночевала тучка золотая» А.Приставкина, «Покушение на миражи» В.Тендрякова, «Зубр» Д.Гранина, «Пушкинский дом» А.Битова, «Один и одна» В.Маканина, произведения М.Булгакова, делаются ссылки на «Смирненное кладбище» С.Каледина, «Рыбий глаз» А.Иванченко, «Реквием» А.Ахматовой и ещё на несколько десятков авторов.

Понятно, объём проделанной работы, говоря без пафоса, впечатляет. Сейчас обзоры такого рода, если не ошибаюсь, никто не пишет. Конечно, куда важнее вопрос качества: выдержали ли оценки И.Золотусского проверку временем. Думаю, большая часть их – безоговорочно и с уточнениями – выдержала. И.Золотусский убедителен в своих размышлениях о «Пожаре», «Печальном детективе», «Плахе» и т.д. Предельно, а порой и убийственно точен критик в оценках «Зубра», «Пушкинского дома», А.Вознесенского, В.Набокова... Интересны и порой неожиданны наблюдения И.Золотусского над прозой А.Платонова, М.Булгакова, В.Маканина. С оценками же «Всё впереди», «Нового назначения», «Жизни и судьбы», «Ночевала тучка золотая» и т.д. согласиться не могу, о чём скажу кратко.

Ещё Анатолий Ланшиков практически сразу после выхода статьи И.Золотусского «Проза-87: свет и тени» упрекнул критика в тенденциозности: он, как и Наталья Иванова, к одним произведениям предъявляет суровые эстетические требования, к другим – нет (интересно, что подобный упрёк через два года прозвучит в адрес С. Чупринина из уст И.Золотусского («Литературное обозрение», 1990, № 1), только здесь будет больше

ясности: «своим» прощается всё, «чужим» – ничего). И.Золотусский, по Ланщикову, «указывает на эстетические просчёты В.Белова. А рассуждая о «Новом назначении», говорит о содержании, обо всём, но только не об эстетическом уровне этого произведения» («Литературная газета», 1988, № 4). В отношении этих произведений А.Ланщиков прав. Однако к другим романам из «левого» ряда – «Дети Арбата», «Зубр», «Пушкинский дом» – подобные требования Золотусским предъявляются, и эти произведения их не выдерживают. Приведу малую часть суждений критика о «Детях Арбата»: «...Роман А.Рыбакова <...> поражён тем же недугом, что и его главный герой – политическим резонёрством и риторикой логики, про которую Достоевский в «Подростке» записал: «У них всё логика, а потому скучно». Монологи Сталина в романе <...>не монологи живого лица, а схемы, схемы и схемы, где один тезис сходится с другими тезисами, одна посылка вытекает из другой, а все они вместе приводят к конечному результату: торжеству схемы, не больше».

Мне в суждениях И.Золотусского о «Детях Арбата», «Жизни и судьбе», «Зубре» и т.д. не хватает чувства и знания истории; того, что, например, сразу проявилось в первых откликах на роман А.Рыбакова, в статьях В.Кожина «Правда и истина» («Наш современник», 1988, № 4) и А.Ланщикова «Мы все глядим в Наполеоны...» («Наш современник», 1988, № 7). В статьях И.Золотусского в его суждениях периодически возникает «левый» флюс. Так, например, вызывает возражение заиканность критика на личности Сталина как на «великом злодее» и, мягко выражаясь, односторонность в трактовке её. Или в статье «Портрет максималиста» утверждается, что «Сахарова нельзя было не любить». Я же Сахарова ненавижу, и не только я...

Невозможно согласиться с оценкой романа В.Белова «Всё впереди». Версия о творческой неудаче писателя транслировалась не только «левыми» (В.Лакшиным, Т.Толстой и т.д.), но и некоторыми «правыми». Роман же Белова оказался пророческим, но это тема отдельного разговора.

Но больше всего меня неприятно поразили суждения Золотусского о «левых» и «правых» в начале последней, девятой главы статьи. Критик как духовная личность сформировался через чтение Гоголя и православных – «правых» – источников, а рассуждает на эту тему так плоско, как «левые» С.Чупринин, Т.Иванова, Н.Иванова, Б.Сарнов, Ст. Рассадин, П.Николаев и т.д. Михаил Лобанов ещё в 1966 году совершенно точно разобрался в ситуации, которая вызывает затруднения у И.Золотусского в 1988 году. В статье «Внутренний и внешний человек» («Молодая гвардия», 1966, № 5) Лобанов высказывает мысль о внутренней общности «Нового мира» и его вроде бы идейного антипода «Октября». Эти журналы роднит бездуховность в традиционном православном понимании, прежде всего поэтому они, добавлю от себя, «левые».

В статье «Проза-87: свет и тени» И.Золотусский, полемизируя с В.Набоковым, высказывает принципиальную мысль о своеобразии отечественной словесности: «Русская литература вся замешана на учительстве, на участии, на пророчестве. Этого у нас не отнять. Это можно отнять у неё только с нею самой, поэтому всякие попытки уйти в холодное наблюдение, в позёрство и рентгенологию есть расхождение не с её идеями и диктатом этих идей, а отклонение от её естества, её природного назначения». Таким образом И.Золотусский ответил на одно из главных обвинений в адрес отечественной классики ещё до того, как эти обвинения зазвучали во весь голос.

С начала 1990-х годов авторы разных направлений вслед за В.Розановым, Н.Бердяевым, И.Солоневичем предъявляют суровый счёт русской литературе XIX века. Последняя публикация этой направленности – статья Геннадия Шиманова «О нашей литературе» («Литературная Россия», 2006, № 28). Укажу на некоторые недостатки работ названных и не названных авторов.

Во-первых, обвинители русской классики не утруждают себя доказательствами, анализом произведений в первую очередь. В лучшем случае называют писателей, героев.



Во-вторых, явно преувеличена роль художественного слова: отечественная литература не могла – даже теоретически – разрушить русскую государственность, подготовить моральное самоубийство народа и т.д.

В-третьих, словесность XIX века – это не единое идейно-эстетическое, духовно-религиозное целое. В ней существовало два реалистических направления с взаимоисключающими типологическими чертами, ценностями. Поэтому претензии «прокуроров» русской классики полностью не применимы к христианским реалистам (А.Пушкину, Н.Гоголю, И.Гончарову, Ф.Достоевскому и т.д.) и частично, с различными уточнениями, оговорками могут быть адресованы дичку отечественной литературы XIX века, немногочисленным представителям критического реализма (А.Герцену, «позднему» И.Тургеневу, Н.Чернышевскому, Н.Некрасову, автору «Кому на Руси жить хорошо» и некоторых стихотворений, и т.д.).

В-четвёртых, пафос творчества отдельных христианских реалистов (например, Н.Гоголя, Ф.Достоевского, Л.Толстого у Н.Бердяева, Н.Гоголя, А.Островского, Н.Лескова у В.Розанова, Ф.Достоевского и А.Чехова у И.Солоневича) и всего направления трактуется сверхпроизвольно. И в этом случае статьи и интервью И.Золотусского – достойный ответ обвинителям. Наиболее характерна в данном отношении статья «Красота истины» (1990).

Единство художественного слова и дела – одна из главных особенностей, по Золотусскому, русской литературы в лучших её проявлениях. Писатель «стремится стать тем, кем хотели бы стать его герои, – то есть прожить жизнь по правде, по совести». И критик называет тех (понятно, не всех), кто отвечает данному требованию: автор «Слова о полку Игореве», Владимир Мономах, протопоп Аввакум, А.Пушкин, Н.Гоголь, Ф.Достоевский, Л.Толстой, А.Чехов.

В последние 15 лет эта мысль неоднократно транслировалась И.Золотусским. Так, в интервью с Саввой Ямщиковым при ответе «глумливцам»: Н.Ивановой, С.Чупринину, М.Швыдкому, А.Генису, Виктору Ерофееву, – данная мысль получает такое развитие: «Самыми прекрасными героями русской литературы были её создатели <...> По существу русская литература – христианская литература» («Завтра», 2005, №14).

Ещё одна принципиальнейшая особенность отечественной классики, считает Золотусский, заключается в том, что положительный герой её не может без Христа. И дальнейшие рассуждения критика сводятся к утверждению справедливой идеи о христоцентричности русской литературы XIX века, что иллюстрируется примерами из творчества А.Пушкина, М.Лермонтова, А.Фета, Ф.Тютчева, Н.Гоголя, Ф.Достоевского. Приведу высказывание И.Золотусского о М.Лермонтове, направленное против распространённого и модного подхода к творчеству поэта: «Победы ангела над демоном, Бога над дьяволом есть итог поэзии Лермонтова. Венцом этой победы являются такие стихотворения, как «Выхожу один я на дорогу...», две «Молитвы», «Ангел», и особенно «Молитва», обращённая к Божьей Матери: «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...».

В той же части статьи «Красота истины», где характеризуется творчество А.Блока, И.Золотусский не столь убедителен. Возникает немало вопросов и возражений, часть из которых озвучу. Думаю, односторонне трактуется религиозная проблематика в лирике поэта. Выхватываются отдельные строчки из разных стихотворений и прочерчивается «кощунственно-дерзостная» творческая прямая. Позиция Блока на протяжении лет менялась, о чём я говорю в статьях «Тема Родины в лирике А. Блока» («Литературная Россия», 2006, № 28), «Блок и его «Возмездие» («День литературы», 2005, № 6).

Вызывает возражение и солидарность И. Золотусского с А.Блоком в оценке К. Победоносцева, который стоит в одном образном ряду с демоном, ястребом, коршуном, грифом, Сатаной. Своё отношение к этому ошибочному мнению я аргументированно выразил в статье «Блок и его «Возмездие».

Символично, что восприятие И.Золотусским К.Победоносцева, по сути совпадает с видением его давнего оппонента Василия Кулешова, профессора МГУ, автора

отвратительных учебников, о которых хорошо писал Игорь Петрович. В книге Кулешова «В поисках точности и истины» (М., 1986) достойнейший и умнейший К. Победоносцев предстаёт таким: «Христианство как формула «восстановления погибшего человека» заводило в тупик, вело к своего рода «стансам» в честь власти и церкви, заставляло даже (разрядка моя. – Ю.П.) дружить с Победоносцевым».

В трактовке поэмы «Двенадцать» И.Золотусский, как и многие исследователи, делает акцент на том, что в лице главных героев «мы имеем дело с преступниками, уголовниками, у которых нет ни идеи, ни идеала, а только звериная месть и зависть». Эта мысль – отправная точка для дальнейших неубедительных суждений автора, такого, например: «...Поэтому и Русь для них «толстозадая». Однако Русь для них такая не потому, что они уголовники, а потому, что они – революционеры, люди, сознательно и несознательно объявившие войну традиционной тысячелетней России. «Святая Русь» виделась «кондовой, избяной, толстозадой» не столько революционной «голытьбе», сколько революционным «интеллектуалам» разных мастей: В.Ленину, Л.Троцкому, Н.Бухарину, А.Луначарскому и т.д.

В статьях «Крушение абстракций» (1988), «Оборвавшийся звук» (1997), «Портрет максималиста» (1998) и различных интервью И.Золотусский называет события личной биографии (арест отца и матери, детский дом и т.д.), определившие особенности его «я», часть из которых – чувство мести, в первую очередь, – критик пытался преодолеть. Эти особенности сближали Золотусского с А.Солженицыным, В.Максимовым и другими ненавистникам Советской власти. Однако в отличие от О.Волкова или «позднего» В.Максимова, И.Золотусский не всегда поднимается в своих статьях над личной болью, обидами. В таких случаях он уподобляется А.Солженицыну, который в статье критика «Портрет максималиста» характеризуется довольно точно, как писатель-мститель. «Понятие «враг» – коренное понятие его биполярной прозы, где на одной стороне – наши, свои, на другой – враги, которым нет пощады».

Годом раньше в интервью «Литература была как храм» («Литературная Россия», 1997, № 23) Золотусский признавался, что ему по аналогии с известной статьёй Виктора Ерофеева хотелось написать «Поминки по антисоветской литературе». Свой отказ от этого желания критик объясняет, прибегнув к помощи аргументов, проникнутых пафосом человеколюбия русской литературы: «А то, что появляется из отрицательного источника, обречено на гибель». К чему ведёт иной путь, наглядно проявляется в статье И.Золотусского о Солженицыне.

Заслугой Александра Исаевича называется то, что он заставил американцев «промытыми глазами» взглянуть на «империю зла» и найти ей альтернативу в виде программы «звёздных войн», гонки вооружений, в которой СССР проиграл. Эти и им подобные либеральные штампы из статьи Золотусского комментировать не буду. Прочитую одно показательное суждение критика, свидетельствующее о том, куда ведёт логика мщения: «Дружить и сосуществовать с режимом, который, сгноив две трети своих сограждан, уже точно не пожалеет чужих, значило идти навстречу собственной смерти». Во-первых, в подсчёте количества жертв Золотусский превзошёл самых смелых фантастов. Во-вторых, критик, в большинстве своих работ верный принципу христианского человеколюбия, в данном случае солидарен с идеологией истинной «империи зла» США, с идеологией, которая неоднократно в XX, XXI веках проливалась кровавым дождём во многих странах мира, последний раз – в Ираке.

Непреодолённое чувство мести, обиды, думаю, во многом определило отношение И.Золотусского к Б.Ельцину. В статьях и интервью последнего десятилетия критик вполне адекватно оценивает катастрофическую ситуацию в нашей стране. Но в очерке «Сердце Ельцина» (1997) Золотусский отделяет эту ситуацию от личности и деятельности первого президента. На фоне одноцветных Сталина – злодея, о чём шла речь – и Горбачёва, не знающего чувства вины, Ельцин работы Золотусского напоминает Хрущёва Эрнста

Неизвестного. Более того, в чёрно-белом Ельцине второе начало, по Золотусскому, явно преобладает.

Характеризуя президента, критик использует лексику, которая говорит сама за себя: «трогателен», «наивен», «дитя». К тому же в очерке в облике Ельцина проступают эпически-героические черты: «Ельцин, как громоотвод, принимает удары на себя»; «Его распинали коммунисты, его распинали демократы»; «С этого времени его существование становится трагичным»; «Но и бесстрашие мужчины, поднимающегося из окопа во весь рост».

Скажу предельно кратко: Ельцин, на мой взгляд, – это самый зловещий и мерзкий руководитель страны не только в XX веке, но и, наверное, во всей истории России. И стыдно, больно, что Игорь Золотусский написал такое.

В данном очерке он теряет чувство реальности не только в восприятии Ельцина, но и ситуации в стране в целом. Золотусский использует страшилки из арсенала Н.Сванидзе, В.Познера, В.Шендеровича и т.д.: «По оголтелым их (коммунистов. – Ю.П.) речам, требующим для Ельцина чуть ли не смертного приговора, а для евреев – исхода из России, мы видим, что было бы, если б три года назад кто-то из них прыгнул в президентское кресло».

Скажу ещё о заключительной мысли «Сердца Ельцина», самого уязвимого создания И.Золотусского. Сравнение Ельцина с Николаем II хромает во всех смыслах. Но ещё больше непонятно то, как можно было характеризовать нашего последнего императора в духе самых неистовых дубиноголовых коммунистов и либералов: «...Непутёвый (? – Ю.П.) Николай II – уж совсем не строитель (? – Ю.П.) государства, а его разрушитель (? – Ю.П.), у которого за спиной и расстрел 1905-го (? – Ю.П.), и Лена (? – Ю.П.), и две (? – Ю.П.) проигранные войны».

В некоторых статьях 90-х годов Золотусский сливается с объектом изображения, с портретируемым, что в подобных случаях чаще всего вызвано двумя причинами. Во-первых, совпадением взглядов субъекта и объекта, во-вторых, нежеланием проявить своё «я», свою позицию. Так, в «Путешествии к Набокову» (1997) И.Золотусский часто выступает в роли констататора даже тогда, когда, на мой взгляд, его оценка необходима.

Критик приводит слова сестры В.Набокова: «Мы с ним больше всего сошлись, когда приехали в Крым после семнадцатого года. Он очень хорошо рисовал и меня учил рисовать. Затем, конечно, история с бабочками. Я хотела тоже знать все их имена. Мы проводили очень много времени вместе. Он читал мне свои стихи». Рисование, стихи, бабочки... и ни слова о страшной войне, трагедии народа, судьбе России. Что это? Так вспомнилось или точно переданный Еленой Владимировной образ жизни Набоковых?

Возможны разные гипотетические объяснения, которые опускаю. Приведу ещё одно свидетельство, позволяющее из нескольких вариантов ответов на возникающие вопросы выбрать наиболее вероятный. Жорж Нива сообщает Золотусскому слова, услышанные от Набокова за два месяца до его смерти: «Я всегда был счастлив. Я был счастлив в двадцатые годы, когда бедствовал и давал уроки английского языка. Я был счастлив и позже, в тридцатые годы, и потом, когда переехал в Америку. Я и сейчас счастлив, так как могу заниматься тем, что люблю».

Думаю, что только человек, утративший чувство Родины, способность сопереживать чужой беде, может быть счастлив так, как В.Набоков. В отличие от него, В.Максимов, по убедительной версии Золотусского в статье «Оборвавшийся звук» (1998), умер из-за невыносимых страданий о судьбе России, которая при демократической власти оказалась «ещё более согнутой, закабалённой».

Мягко выражаясь, национальная недостаточность и эгоцентризм Набокова определили своеобразие прозы писателя, который – вновь Золотусский красиво точен – поставил «чистоту слога» выше «чистоты души». Это, естественно, привело в конце концов к утрате «русского «внутреннего зрения» и, добавлю, к превращению В.Набокова

в русскоязычного автора. Понимаю, что такой диагноз вызовет у Золотусского, и не только у него, протест.

«Левые» и некоторые «правые» критиковали русскую жизнь за её литературоцентричность. И.Золотусский же не раз на протяжении последнего десятилетия оценивает происходящее в стране, деятельность её высших руководителей с точки зрения литературы, культуры, традиционных ценностей. В статье с говорящим, можно сказать, программным названием «Приоритет Толстого» (2000) критик так откликнулся на выход в начале 2000 года первого тома полного собрания сочинений Льва Толстого: «Я не слышал, чтоб об этом сообщили по радио и телевидению. Я не заметил, чтоб о выходе тома Толстого где-нибудь упомянул президент. Или, на худой конец, министр культуры. Помянули бы с чувством, что случился маленький праздник».

И.Золотусский обращает внимание на то, что издание тома, вышедшего тиражом... в полторы тысячи экземпляров, оплачено не государством, не отечественными предпринимателями, а японцем Кусуо Хитоми. Ситуация не изменилась и в дальнейшем. В 2004 году Золотусский отметил, что полное собрание сочинений Гоголя тиражом... в тысячу экземпляров выходит на деньги француза («Литературная газета», 2004, № 20-21).

Таким образом проводится целенаправленная государственная политика дебилизации и душевной, духовной, национальной кастрации страны. И даже если бы не было откровений Чубайса или десанта русскоязычных писателей в компании с Путиным в Париж в 2005 году, телевизионных признаний последнего, «обыкновенного фашизма» М.Швыдкого и т.д., то факты, приведённые И.Золотусским (помимо всего прочего известного), говорят сами за себя. Они – приговор нынешнему антинародному, антирусскому режиму. Только дурак или подлец это не заметит. Правда, не всякий скажет. А И.Золотусский не молчит.

В 1997 году он точно определил сущность и масштабы катастрофы, самого великого погрома в истории страны: «Я расцениваю события, которые сначала назывались «перестройкой», как третью русскую революцию, которая обрушила все прежние ценности. Эта революция была более разрушительна, чем первые две. В русской жизни духовное начало всегда было первым. Сейчас же материальное начало стоит на первом месте» («Литературная Россия», 1997, № 23). Эту мысль он повторяет и развивает в беседах на страницах «Литературной газеты» (2004, № 20-21) и «Дня литературы» (2005, № 10). Более того, «антисоветчик» Золотусский высказывается крамольно, «просоветски».

Прервав Эдуарда Володарского, который в бедах дня сегодняшнего увидел «рудименты советской власти», Игорь Золотусский возразил: «У советской власти были другие приоритеты. Пусть нередко они наполнялись ложным смыслом, но всё-таки идея, идеал стояли на первом месте, а деньги – на двадцать пятом <...> И даже литература советского периода была более христианской, чем нынешняя...» («Литературная газета», 2004, № 20-21). И.Золотусский высказывает пожелание вернуться к положительному советскому опыту.

Интересно, как к этому отнесётся либеральная «жандармерия», «лютая» Наталья Иванова, например. Сам факт публикации Вл. Бондаренко в «Дружбе народов» (да ещё употребление слова «русский» более тридцати раз), Л.Аннинского и О.Павлова в «Дне литературы» кажется ей странно-крамольным («Знамя», 2006, № 7). А Золотусский в 2005 году «отметился» и в «Завтра», и в «Дне литературы», и высказывается как типичный «правый» в следующих, помимо названных, публикациях: «Бедные дети распада» (1993), «Нигилисты второй свежести» (1998), «На лестнице у Раскольникова» (1998), «Вместо реквиема» (1998), «Интеллигенция: роман с властью» (2000), «Новый порядок и «русский вопрос» (2000) и т.д.

И.Золотусский, по его словам, ещё в детстве решил, что будет заниматься литературой. Он знал, что литература – его судьба («День литературы», 2005, № 10). И это в дальнейшем подтвердилось. Переломный этап жизни – работа над книгой о Николае Гоголе. Золотусский получает христианское «образование души», крестится, начинает

ощущать себя православным человеком. Так литература стала его судьбой, крестом, который критик несёт достойно столько лет. И вполне естественно, что на вопрос, сформулированный им самим в статье «Приоритет Толстого»: «Что же способно умалить силу зла и увеличить силу добра?» – Золотусский отвечает как православный человек и «правый» критик: «Слово Божие и слово литературы. Толстой, прочитанный в детстве и усвоенный сердцем <...> Будем людьми – и будет у нас сильная армия и сильное государство. Другого пути нет».

И на этом пути делал и делает всё возможное. Игорь Золотусский, автор книг «Гоголь», «Смех Гоголя», «Фауст и физики», «Тепло добра», «Монолог с вариациями», «Очная ставка с памятью», «В свете пожара», «Исповедь Зоила», «На лестнице у Раскольникова» и других, человек своего времени, сын своих родителей и русской литературы, один из лучших критиков второй половины XX века.

2006

#### ВЛАДИМИР ЛАКШИН: ПРИВЫЧНЫЙ И НЕОЖИДАННЫЙ...

11 марта 1967 года Твардовский записывает в рабочей тетради: «Главная точка – Лакшин» («Знамя», 2002, № 9). Назначение его своим замом Александр Трифонович рассматривает как условие и гарантию дальнейшей жизни «Нового мира». Более того, В.Лакшина А.Твардовский прочил в свои преемники (запись от 13 марта 1967 года), а в самый сложный период 1969 года готов был жертвовать практически всеми сотрудниками журнала, кроме Владимира Яковлевича.

Для Твардовского-редактора ключевым автором на протяжении 60-х годов был Александр Солженицын. Из многочисленных записей Александра Трифоновича разных лет следует, что с «Одного дня...», собственно, и начинается новый «Новый мир», а рассказ Солженицына – своеобразная точка отсчёта в деятельности главного редактора и всего журнала.

Вполне естественно, что идеолог «Нового мира» В.Лакшин одним из первых в 1964 году откликнулся на явление Солженицына статьёй «Иван Денисович, его друзья и недруги» («Новый мир», 1964, № 1). В предисловии к книге, названном символично «Четверть века спустя», Владимир Яковлевич утверждает, что Александр Солженицын стоял у истоков возрождения художественного реализма в литературе. Думаю, следовало пояснить, когда и на ком этот реализм прервался, а также каковы его принципы, ибо литературный процесс 40-50-х годов (например, «Возвращение» А.Платонова или «Поморка» Ю.Казакова) свидетельствует о жизни реализма. Что же тогда возрождал А.Солженицын?

Вызывает вопрос и суждение В.Лакшина о том, что автор «Одного дня...» открыл возможность свободного дыхания для Ф.Абрамова, Ч.Айтматова, С.Залыгина, Б.Можаева, В.Быкова... Свободное дыхание у большинства из названных и неназванных авторов, которые традиционно звучат в этой связи, было ещё до публикации рассказа Александра Солженицына. Назову лишь статью «Люди колхозной деревни в послевоенной литературе» (1954) и роман «Братья и сёстры» (1958) Фёдора Абрамова.

К тому же Лакшин и в 1964 году, и в 1989, как и многие авторы разных направлений, не замечает тенденциозности, заданности «свободного дыхания» Солженицына уже в «Одном дне...», о чём я подробно говорю в статье «А.Солженицын: чёрно-белое кино».

Через 25 лет после выхода статьи «Иван Денисович, его друзья и недруги» В.Лакшин признаёт свою частичную неправоту: «Несколько «пережал», восхищаясь сценой кладки стены на строительстве Соцгородка. Ведь это прежде всего труд заключённых, труд не свободный, подневольный <...>; за лагерной колючкой все, за исключением заведомых стукачей и мерзавцев, были несчастными, страдающими от деспотизма людьми».

Высказывание В.Лакшина совпадает по смыслу с многочисленными суждениями В.Гроссмана в романе «Жизнь и судьба». В отличие от этих авторов известный славянофил К.Аксаков ещё в XIX веке в статье «Рабство и свобода» (Москва, 1991, № 8) высказал справедливую мысль: свобода – понятие не внешнее, а внутреннее. И в лагере можно быть свободным, утверждает в повести «Правила игры» Л.Бородин, знающий «колючку» не понаслышке.

Этого не понимают В.Лакшин и В.Гроссман. Последний в своём романе приходит к внешне-механическому, примитивно-искусственному делению мира и жизни человека на лагерь – несвободу и не лагерь – свободу, где личность, по словам В.Гроссмана, «не может быть несчастлива». Интересно, как отнеслись бы светочи «левой» мысли к высказываниям Олега Волкова и Леонида Бородина (отсидевших соответственно 28 и 12 лет), в которых утверждается, что в заключении они были не только свободны, но и счастливы. Более того, Бородин в лагере испытал наиболее счастливые минуты в своей жизни, а Волков говорил, что любому человеку, особенно писателю, полезно посидеть.

Очевидно и другое: В.Лакшин и В.Гроссман абсолютизируют, фетишизируют свободу, что, по словам того же К.Аксакова, является формой рабства. Лакшин и Гроссман, как и их единомышленники, предшественники и последователи, – слепые пленники «свободы».

\*\*\*

В статьях и дневнике В.Лакшина даются и точные оценки А.Солженицыну, прежде всего человеку. И не грех сегодня различным певцам Александра Исаевича прокомментировать высказывания Владимира Яковлевича. При этом уровень эмоций и обвинений, который в своё время продемонстрировал Борис Можаяев в письме «Каинова печать и нательный крест» («Аргументы и факты», 1990, № 3), вряд ли продуктивен.

В работе «Солженицын, Твардовский и «Новый мир» В.Лакшин, прибегая к помощи риторического вопроса, утверждает: «Он думает, что воюет с «режимом», с «идеологией». Но не воюет ли он уже с многомиллионным народом, населяющим эту страну?» («Литературное обозрение», 1994, № 12). Таким образом, Лакшин, наверное, первым отметил важнейшую особенность мировоззрения Солженицына, на которую позже на примере прозы и публицистики указали многие «правые». Важно и то, что данная характеристика применима и к большинству других борцов и якобы борцов с режимом. О них и о себе через время скажут: «Метили в коммунизм, а попали в Россию».

Александр Солженицын когда-то хорошо заметил о «деревянном сердце» Андрея Вознесенского. Владимир Лакшин в названной статье и в дневнике останавливается на эпизодах, которые заставляют усомниться в сердечности самого Александра Исаевича. Просьба Твардовского приехать к нему в труднейший период жизни так встречена Солженицыным: «Я не санитарная машина». А на предложение младшей дочери Твардовского прийти проститься с отцом в морге накануне похорон Солженицын ответил: «У меня сегодня весь день распланирован. Я приду завтра в ЦДЛ, так у меня намечено». Один из комментариев Лакшина к первому эпизоду такой: «О каких добрых, товарищеских отношениях можно тогда говорить? Какое христианство проповедовать?»

\*\*\*

«Игорь Сац» – название одного из литературных портретов в книге В.Лакшина «Голоса и лица» (М., 2004). Тёплые, лиричные, интересно написанные воспоминания наверняка полонят многих непрофессиональных читателей: они примут на веру всё, что сообщает о времени и его действующих лицах Владимир Лакшин. В этих воспоминаниях наглядно проявляются человеческие и исследовательские качества их автора.

Отношение Лакшина к Сацу вызывает уважение и характеризует Владимира Яковлевича как человека благодарного, умеющего ценить близких ему людей. Однако, как это часто бывает, достоинство, доведённое до своего пика, логического конца, становится слабым местом, недостатком. Недостатком Лакшина-мыслителя, историка литературы, культуры. Так, в воспоминаниях не раз говорится, что Игорь Сац десятилетие был литературным секретарём, правой рукой, доверенным лицом Анатолия Луначарского. Этот факт вызвал соответствующие последствия. По словам В.Лакшина, «взгляд Саца на людей и вещи, явления искусства складывался под несомненным влиянием Луначарского».

Если это так, то такое влияние плодотворным не назовёшь. Что бы ни писали о Луначарском различные авторы от И.Саца и В.Лакшина до Л.Лиходеева и Е.Евтушенко, он стоит в первом ряду советских руководителей-людоедов, разрушителей традиционного православного сознания, убийц русской литературы, культуры.

Луначарский, обладавший, по словам Л.Лиходеева, «великой толеранцией к диссидентству» («Вопросы литературы», 1988, № 10), отводил литературе роль служанки партии, которая, как говорится в статье «Марк Колосов», обладает «самой чистой, самой честной, самой объективной истиной». А в другой работе, «Пути современной литературы», в духе самых «неистовых ревнителей» Пролеткульта и РАППа утверждается: «Только пролетарский писатель сможет нас удовлетворить вполне».

Высказывания Саца, Лакшина, Лиходеева, Евтушенко и других авторов об интеллекте, гигантской эрудиции, художественном вкусе Луначарского меркнут на фоне его в высшей степени вульгарно-социологических, примитивных суждений о литературе (смотрите «Упадочное настроение среди молодёжи (есенинщина)», «Молодая рабочая литература», «Новая поэзия», «Пути современной литературы», «Иосиф Уткин», «Десять книг за 10 лет революции», «А.Блок», «Блок и революция», «Просвещение и революция» и другие работы), на фоне таких высказываний: «Если бы пролетарский писатель даже был сейчас маленьким мальчиком по сравнению с попутчиками, он вырастет. За ним будущее. Его нутро куда здоровее попутчика».

Если бы в Лакшине пульсировало русское «я», он бы обязательно отреагировал на, мягко говоря, нелюбовь манкурта Луначарского к исторической России и русским. Она – эта нелюбовь – многочисленными мыслями-уродцами, мыслями-саморазоблачениями выпирает и в статье о Блоке, где Россия именуется «страной несчастной <...>, забитой, слюнявой – всемирным посмешищем», и в откровенном признании: «Ведь мы за во е в а л и (разрядка моя. – Ю.П.) не сказочную страну...», и в выступлении перед учителями: «Преподавание истории в направлении создания национальной гордости, национального чувства и т.д. должно быть отброшено; преподавание истории, жаждущей в примерах прошлого найти хорошие образцы для подражания, должно быть отброшено».

Различные версии о Луначарском, якобы не вписавшемся в новый формат политического времени, выдвинутые Е.Евтушенко («Огонек», 1987, № 36) и другими авторами, звучат неубедительно, ибо по всем главным вопросам нарком просвещения был рупором этого времени. Так, в статье «Молодая рабочая литература» он клеймит «мещан», сочувствующих сельским жителям, не понимающим политику партии в деревне, и без тени сомнения в своей правоте, и без капли жалости заявляет: «Крестьянство – эдакое море, эдакое чудище, а мы строим социализм на его спине».

Не менее показательно то, как рассуждает о формах борьбы с кулачеством Анатолий Луначарский, представитель, как утверждает Л.Лиходеев, «славной богемы», интеллигент, интеллектуал, гуманист: «Кулак – враг довольно сильный. Если бы кулаки

были, как их часто изображают, заплывшие жиром, то можно бы их послать на бойню и переделать на мыло (так в одном рассказе говорится), но в том-то и дело, что их так легко не возьмёшь».

И вот у такой «гадины» (И.Бунин) десять лет – спокойно, созвучно – был секретарём и правой рукой Игорь Сац. Ситуация не изменилась и в дальнейшем: своё отношение к жизни и литературе Сац, по свидетельству Лакшина, определял по Луначарскому. Да и сам Владимир Яковлевич поступал подобным образом: из записи от 3 декабря 1970 года следует, что не востребоважность современных луначарских оценивается им как недостаток времени («Дружба народов», 2004, № 10).

Лакшин, призывавший к покаянию многих, должен был обратить данный призыв к Игорю Сацу или к себе самому. К себе в первую очередь потому, что своими талантливыми воспоминаниями он из преступников от литературы, культуры и их подручных делал, употреблю выражение Владимира Яковлевича, «героев рождественской сказки».

\*\*\*

Реакция на лекцию о Достоевском, прочитанную 27 октября 1971 года в Музее изобразительных искусств, вызвала вопрос: чем объяснить хулу не только ортодоксов, но и либералов. Встреча же с одной из слушательниц, пригласившей Лакшина в гости, подвигла к ответу на этот вопрос, к размышлениям на общие темы, об интеллигенции и либерализме в частности (запись от 31 октября 1971 года).

Комментируя такие привычные для «левых» обвинения хозяйки в «фашизации мысли, сталинщине» и альтернативу, предложенную ею, В.Лакшин приходит к выводу, что женщина выразила общее настроение либеральной интеллигенции, которая культивирует бесцельную мысль.

Общая характеристика, перефразируя В.Лакшина, московских чуть прокисших сливок – это, с небольшими поправками, и точно выраженная сущность либералов двух последних десятилетий: «Они проклинают XIX век как идейный, не верят ни в чох, ни в грай и могут жить припеваючи, не ссорясь с властью и утешая себя сознанием своей элитной независимости <...>. Они возводят свой собственный интерес в какую-то 15-ю степень теоретической отвлечённости и сражаются за него яростно, как за «чистую идею» («Дружба народов», 2004, № 11).

Жаль, конечно, что подобное пишется Лакшиным только в дневнике. Понимаю, естественно: опубликовать такое в «Новом мире» или «Юности» было невозможно из-за либеральной цензуры. Данный портрет – это своеобразная иллюстрация, дополнение к стихотворению Николая Рубцова «В гостях», где речь идёт уже о ленинградских «сливках»...

\*\*\*

Определяя платформу «Нового мира» задним числом в статье «Четверть века спустя» (1989), В.Лакшин писал: «Журнал побуждал открытыми глазами взглянуть на недавнее прошлое с трагедией сталинских лагерей и массовым беззаконием (А.Солженицын, Ю.Домбровский, А.Побожий), с насильственной коллективизацией (С.Залыгин) и кровавой ценой победы в войне (В.Быков, Г.Бакланов, К.Воробьёв)» (Лакшин В. Литературно-критические статьи. – М., 2004). Это высказывание даёт наглядное представление о плоском, «новомировском», «левом» видении нашей истории XX века.

Во-первых, лагеря возникли не при Сталине, а гораздо раньше, о чём неоднократно писалось и что В.Лакшин и его единомышленники оценивали как защиту Сталина. Как сказочно-фантастическая воспринимается версия Владимира Яковлевича из статьи в «Кильватере»: В.Кожин – «самый ловкий» адвокат Сталина и сталинщины («Огонёк», 1988, № 26).



Характерно, что версия о несталинском происхождении лагерей даётся и в «Одном дне...»: «Об этом старике говорили Шухову, что он по лагерям да по тюрьмам сидит несчётно, сколько Советская власть стоит». И то, что лагерь – неотъемлемая часть советской системы, не видели или не хотели признавать В.Лакшин, А.Твардовский, «новомировцы», «шестидесятники».

Во-вторых, советско-социалистические иллюзии В.Лакшина проявились и в выражении «насилованная коллективизация». Как будто она была или бывает иной?

В-третьих, о кровавой цене победы обычно говорят либо люди недалёкие, либо, мягко выражаясь, небожители, либо те «левые», которые хотят поставить под сомнение, по сути, перечеркнуть нашу победу. Какая цена могла быть у СССР, воевавшего против Германии и, на что одним из первых указал В.Кожин, большей части Европы? А вообще, вопрос цены в таких случаях – не русский вопрос. И дело здесь не в жестокости и бездарности полководцев, а в готовности большей части народа отдать свою жизнь за свободу Родины. Мы же не американцы (и слава Богу), которые при минимуме вклада, потерь извлекли максимум, сверхмаксимум выгод, да ещё нагло настаивают на своей решающей роли в победе над фашизмом.

\*\*\*

Вообще, Сталин так и остался в восприятии Владимира Лакшина фигурой карикатурно-примитивной, чьи поступки, не укладывающиеся в «левые» стереотипы поведения, получают прямо-таки фантастические мотивировки. Например, в статье «О доме и бездомье (Александр Блок и Михаил Булгаков)» критик предположил, что поводом к реабилитации ёлки мог стать спектакль «Дни Турбиных» и «отцовский соблазн устроить ёлку для маленькой Светланы» (Лакшин В. Литературно-критические статьи. – М., 2004).

Какая странная, очень замедленная, реакция у Сталина: почти десять лет потребовалось ему, чтобы принять данное решение. Почему такое желание не возникло при маленьком Василии? Потому что он мальчик или, быть может, его Сталин любил меньше? А реабилитация «русских фашистов», полководцев, отечественной истории и другое, стоящее в одном смысловом ряду с ёлкой, под влиянием каких спектаклей возникли?

\*\*\*

В статье «Четверть века спустя» Владимир Лакшин поправляет тех «западных» авторов, которые называли «Новый мир» либеральным журналом, – «не либеральный, а демократический». Годом раньше подобную мысль Владимир Яковлевич высказал уже в полемике (если это можно назвать полемикой) с Михаилом Лобановым и Ниной Андреевой: «Не либеральное, а демократическое направление было характерно для «Нового мира» и его редактора – народного поэта Твардовского» («Огонёк», 1988, №26). Демократизм в понимании Лакшина подразумевает и «внимание к народной боли, к заботам и беде людей, живущих в краях, далёких от столиц...» Более того, Владимир Яковлевич утверждает, что веру Твардовского «в первенствующее значение народных интересов» разделяли все сотрудники «Нового мира».

Эти и подобные утверждения Лакшина вступают в противоречие с его же высказываниями о народе. В статье «Солженицын, Твардовский и «Новый мир» Владимир Яковлевич как истовый марксист-ленинец, спасая идею социализма, прибегает к помощи известных, самых мерзких, облыжных «аргументов», так популярных среди «левой» интеллигенции на протяжении последних почти 40 лет.

Общий посыл о том, что любая идея может быть искажена и даже убита реальностью: природой людей, генетически незрелых как род, скверной исторической почвой и т.д., – Лакшин вполне внятно иллюстрирует: «А может, все беды и неудачи нашей страны оттого как раз, что социализм понят по-старому, по-монархически, в соответствии с дорогими автору «Телёнка» давними российскими традициями? Ведь идея

социализма, пришедшая к нам с развитого Запада, хоть и поддержанная инстинктивно навыками нашей крестьянской общины, пала на такую, в общем, глухую, придавленную вековыми традициями рабства, порченную петербургской бюрократией почву, что и сама... Впрочем, это уже другая тема». Точные оценки подобным обвинениям давались многократно, начиная с блестящей статьи Александра Солженицына «Наши плюралисты», поэтому от комментариев откажусь.

В дневнике от 22 ноября 1970 года Владимир Лакшин приводит разговор в электричке, переданный ему В. Из него следует, что двое попутчиков В., «на вид люди интеллигентные», совершенно не разбирались в современной литературе, путали Твардовского с Евтушенко и т.п. И этот частный, безобидный, нормальный эпизод даёт основание «народолюбцу» Лакшину для глобального вывода: «Вот она, Расея, верящая, что «Литва с неба упала», – и ради неё Твардовский растрачивал кровь и нервы, жёг жизнь свою. Тоска» («Дружба народов», 2004, № 9). Это всё равно, что поносить Россию за то, что, по свидетельству Твардовского, В.Жданов пересадку черёмухи назвал выкорчёвкой и не разбирался в породе деревьев. Не обязаны все интеллигентные люди иметь представление о перипетиях литературной борьбы, знать Твардовского, Евтушенко, Дудинцева. Тем более, всё это не повод для выпадов против «Расеи». Что же касается Твардовского, то он был благодарен и воодушевлён поддержкой «простых» читателей после снятия его с поста главного редактора и огорчён предательством многих литераторов, «новомировцев»...

\*\*\*

В статье В.Лакшина «Четверть века спустя» немало точных суждений о критике, которые опускаю. Приведу одно, вызывающее вопросы, быть может, только у меня: «Критик лишён обольщающей надежды. Он весь в современности, в нынешнем виде и часе литературы, и если его голос не прозвучал в полную силу для читателей-современников, то, наверное, не будет услышан уже никогда. Оттого, кстати, нельзя представить написанной «в стол» критической статьи».

Как определить, прозвучал голос в полную силу или нет? По какой реакции, по востребованности, издаваемости и т.д.? Тогда, конечно, В.Белинский и Н.Добролюбов в XIX и большей части XX века были «услышаннее», чем ранние славянофилы, Н.Страхов, К.Леонтьев и многие другие. Однако востребованность Белинского и Добролюбова в конце 80-х годов прошлого века иссякла и, думаю, навсегда. Что есть благо для русской мысли и критики, ибо их статьи (Белинского – большинство, Добролюбова – все) мешают пониманию русской и мировой литературы, истории. Услышанность К.Аксакова, А.Хомякова, Н.Стрхова и других критиков (слово, конечно, узкое) возрастает и будет возрастать по мере выздоровления русского народа (хотя нет никакой уверенности, что оно произойдёт). Эти авторы «вели» себя так, как обязан поступать любой русский критик. Он не должен быть «весь в современности», как считает В.Лакшин, в «нынешнем виде и часе литературы» у него должны быть только «ноги», «голова» же должна находиться в «вечности». С позиций тысячелетней истории и вечных – православных – ценностей русский критик оценивает современную литературу.

По поводу утверждения, что «нельзя представить написанной «в стол» критической статьи», лишь замечу: я 20 лет пишу преимущественно «в стол»...

\*\*\*

В записи от 5 декабря 1971 года даётся совершенно неожиданный диагноз разгрома «Нового мира», который не встречается в статьях и мемуарах самого Лакшина, его единомышленников и противников. Главным виновником случившегося называется не власть, не Ю.Мелентьев, не «молодогвардейцы», не авторы известного письма (привожу наиболее расхожие версии), а либеральная интеллигенция, предавшая журнал. «Новый мир», по мнению Лакшина «...и в самом деле был приглашён вовремя. Либеральная интеллигенция, напуганная в 68 г., уже отшатнулась от него, с раздражением смотрела,

как мы всё ещё плывём, будто в укор ей. Совершился общественный откат, «Новый мир» стал лишним не только для начальства, он и интеллигенции колол глаза и не давал заниматься своими тихими гешефтами – «распивночно и навинос» («Дружба народов», 2004, № 11).

Интересны и точны индивидуальные портреты представителей этой интеллигенции, от преуспевающего Е.Евтушенко, который просит у Л.Брежнева журнал, получает дачу и рассказывает очередные байки о собственном героизме (запись от 17 июля 1971 года), до «балаболки» О.Чухонцева, упрекающего «Новый мир» Твардовского в том, что журнал занимался не литературой, а политикой (запись от 5 декабря 1971 года).

\*\*\*

Через 18 лет после антилиберальных дневниковых выпадов В.Лакшин в самый разгар журнальных сражений времён «перестройки» выдвигает принципиально иную версию разгрома «Нового мира», совпадающую в главном с расхожей «левой» трактовкой событий. В статье «Рецидив» утверждается: «Результаты этого так называемого «обсуждения в печати» вылились в протокол № 5 от 9 февраля 1970 года заседания секретариата Союза писателей о переменах в составе редколлегии «Нового мира», вследствие которых Твардовский покинул пост главного редактора» («Советская культура», 1988, 14 мая). А в статье «Четверть века спустя» виновниками называются обиженные «Новым миром» писатели, критики и цензура. Под их давлением брежневско-сусловский аппарат «вынужден был» «решать вопрос» с журналом.

Версия эта опровергается в том числе многочисленными дневниковыми свидетельствами тех же «новомировцев», Твардовского, Лакшина, Кондратовича. Во-первых, «обиженные» писатели тут ни при чём. Предложения об уходе и реформировании журнала начали поступать Твардовскому ещё до появления «письма одиннадцати», которое имеется в виду в данном случае.

По дневниковой версии Алексея Кондратовича, мысль о разгоне возникает в феврале 1969 года, а 24 марта в разговоре с Воронковым поднимается вопрос о реформировании редколлегии, что называется «первым приступом к разгону» (Кондратович А. Новомировский дневник. 1967-1970. – М., 1991). 14 мая 1969 года Воронков предложил Твардовскому подать заявление об уходе. Авторы же письма, опубликованного 26 июля, достигли, по словам А.Твардовского, обратного результата: «таскают камни для памятника «Новому миру» (запись от 4 августа 1969 года // «Знамя», 2004, №9). А по словам В.Лакшина, «вся эта шумиха сделала только то, что сейчас уже Твардовского снять стало совсем невозможно» (запись от 4 августа 1969 года // «Дружба народов», 2003, № 5).

Во-вторых, среди цензоров были и новомировски настроенные работники. Например, цензор 4-го отдела Главлита Эмилия Проскурнина и начальник Главного Управления при Совете Министров СССР по охране государственной тайны в печати Павел Романов. Более того, Эм., или Эмилия, как называют Проскурнину Кондратович и Лакшин, информировала руководство «Нового мира» о тех или иных готовящихся акциях, публикациях и т.п. Например, в дневнике Владимира Яковлевича от 24 июля 1969 года и 18 февраля 1970 года читаем: «Эмилия звонила мне и рассказала о статье, которая готовится в «Огоньке» в воскресенье» («Дружба народов», 2003, № 6); «Света приехала специально с работы, чтобы передать информацию, полученную от Эмилии. Это результат её воскресных прогулок в пансионате с Альбертом Беляевым» («Дружба народов», 2003, № 6). Знаменательно и то, что Эмилия Алексеевна ушла с работы после разгрома «Нового мира», и ещё более знаменательно, что ушла в «Юность», в «филиал» «Нового мира».

В-третьих, в сусловско-брежневском аппарате, который называет В.Лакшин, были и сочувственники, и единомышленники журнала типа А.Яковлева, И.Черноуцана, Ю.Кузьменко. Приведу записи из рабочих тетрадей А.Твардовского от 9 марта 1967 года

и 1 января 1969 года. Они свидетельствуют о разных уровнях «контактов» с названными товарищами: «Черноуцан дал мне понять, что письмо, на чьё бы имя я его ни послал, читать будет Мелентьев. И докладывать будет он» («Знамя», 2002, № 9); «Зашел к Бакланову <...>, бутылки, закуски. Это у него был Кузьменко из отдела (под Беляевым), о котором я слышал от своих, что хороший, хотя и безвластный парень» («Знамя», 2004, № 4).

Естественно, что в подобных свидетельствах многое остаётся за кадром. Но их достаточно для понимания того, что у «новомировцев» были «длинные руки». Они были отнюдь не небожителями, как часто их представляют, у них была и крепкая хватка, и связи, вплоть до выходов на Брежнева. В подтверждение приведу записи из дневника В.Лакшина от 9 января, 3, 6, 27 февраля 1970 года: «Стало известно, что два дня помощник Брежнева – известный Голиков запросил у Романова материалы о задержанных в цензуре за последний год материалах «Нового мира»; «Стало известно через знакомых людей из Иностранной комиссии и Секретариата, что есть такое указание: снимать Твардовского <...>»; «Виноградов прибежал вдруг с известием, что есть способ передать письмо в собственные руки Брежнева»; «Стало достоверно известно, что Секретариат ЦК, утвердивший Косолапова, состоялся лишь во вторник 24-го. Не было ни Брежнева, ни Суслова, ни даже Демичева» («Дружба народов», 2003, № 6).

\*\*\*

В дневнике В.Лакшина за 1971 год не раз возникают имена Михаила Бахтина и Сергея Аверинцева – кумиров московской интеллигенции, и не только московской. Для Владимира Яковлевича неприемлемо – и это здоровая реакция – наукоблудие, возросшее на почве увлечения Бахтиным и Аверинцевым, все эти «полифонии», «открытые структуры», «структуры мысли» и т.д. Данный феномен в записи от 31 октября объясняется так: «Бахтин для них бог, потому что идея «полифонии», многоголосия Достоевского ведёт к той же неопределённости. Добро и зло – равнозначны <...>, цели и смысла нет. И пусть Достоевский бьётся головой о стену и сгорает от внутреннего ужаса и тоски – они видят лишь многоголосие» («Дружба народов», 2004, № 11).

Конечно, следует отличать М.Бахтина и С.Аверинцева от их последователей и якобы последователей, от всех тех, кто, как омёла, паразитирует на их творчестве, выдавая на-гора многочисленные публикации, не имеющие никакого отношения к нему. В.Лакшин о подобной градации не говорит. Его же замечания в адрес Бахтина по смыслу совпадают с тем, что позже говорилось Владимиром Гусевым, Михаилом Лобановым, Сергеем Небольсиным.

\*\*\*

Естественно, что в размышлениях Владимира Яковлевича о Бахтине, Аверинцеве, Достоевском, современных либералах и т.д. встречаются мысли ошибочные, утверждения, требующие коррекции разной степени. Например, Ирина Роднянская, слушательница лекции Лакшина о Достоевском, почему-то попала в разряд либеральной интеллигенции. Если и «выходила из себя от злобы» Роднянская, как утверждается в дневнике от 27 октября 1971 года (правда, интуиция подсказывает мне, человеку, знающему Ирину Бенционовну только по работам, что слово «злоба» к ней неприменимо), то, предполагаю, от суждений Владимира Яковлевича о «Вехах», Боге, Достоевском... Так, привязка либерализма, неверия к «Вехам» – подтверждение точности свидетельства Александра Солженицына о том, что «Вехи» Лакшин изучал по Ленину, то есть долгое время не читал их вообще, доверяясь Ульянову. Или как без возмущения воспринимать мысли Лакшина о Достоевском из работы «Солженицын, Твардовский и «Новый мир»? Не исключая, что нечто подобное звучало и на лекции: Достоевский – эгоцентрик, он «бранил евреев, грубо льстил Победоносцеву...»

\*\*\*

Немало места в дневнике Лакшина 1969-1971 годов отводится медленной агонии «Нового мира», тому, как сдавали позиции, предавали, приспосабливались многие сотрудники, авторы, соратники журнала: Ю.Буртин, Е.Дорош, А.Марьямов, И.Борисова, Н.Бианки, С.Залыгин, В.Жданов и т.д. Владимир Яковлевич сознательно фиксирует различные мелочи, ибо они-то, с его точки зрения, и проясняют ситуацию. Два свидетельства в данном контексте, думаю, заслуживают особого внимания.

Во-первых, в происходящем для Лакшина нет ничего неожиданного: ситуацию, от которой ему противно и стыдно, «следовало ожидать».

Во-вторых, по мнению некоторых сотрудников «Нового мира», всему виной – сам Лакшин, который хотел печатать только свои статьи и не думал о журнале. 4 апреля 1970 года Владимир Яковлевич так реагирует на данную версию: «Я всегда им был чужой, и даже когда они меня ласкали и хвалили, знали в тайне души, что я презираю их московский либеральный кружок, всех этих благодушных Цезарей Марковичей <...>, и что мы из разного леплены теста» («Дружба народов», 2003, № 9). Об этом журнальном резус-конflikте в статьях и воспоминаниях Владимира Лакшина, и не только его, – ни слова...

В связи с действительно бесславленным поведением многих в узком и широком смыслах «новомировцев», «шестидесятников» вспоминается прогноз спецкора «Правды» Н.Печерского, зафиксированный в рабочих тетрадях Твардовского. На предположение Александра Трифоновича, что соредакторы «Нового мира» уйдут вместе с ним, спецкор ответил: «Никуда они не уйдут, покамест их не погонят, и то не всех, лишь тех, которые не сумели приспособиться...» Твардовский Печерскому не поверил, объяснив диагноз спецкора его принадлежностью к иному миру.

Если в комментариях В.Твардовской к рабочим тетрадям отца и в её большой статье «А.Г. Дементьев против «Молодой гвардии» (Эпизод из идейной борьбы 60-х годов)» нет и намёка на недостойное поведение «новомировцев», то в дневнике В.Лакшина им достаётся «по полной программе». Вот только несколько примеров.

Публикацию в девятом номере «Нового мира» за 1970 год «Деревенского дневника» Дороша Лакшин оценивает как «поступок, равноценный предательству», и характеризует Ефима Яковлевича с позиций верности «старому» «Новому миру», соответствия слова и дела: «И ведь как красно говорил об «исторической роли журнала» – в феврале витийствовал и резонёрствовал пышнее, торжественнее всех, даже неловко становилось от его «высоких» слов. А сейчас, когда А.Т. погибает, Дорош украшает своим именем журнал Косолапова...» (запись от 2 ноября 1970 года // «Дружба народов», 2004, № 10).

Через год после увольнения Твардовского, Лакшина Л.Озеровой и А.Берзер предложили подать заявление об уходе. 16 февраля 1971 года Лакшин записывает в дневнике следующее: «И жалко, и противно. Всё сбылось, как по нотам. Из них выжали всё, что хотели, и теперь выбрасывают вон – достойная сожаления участь» («Дружба народов», 2004, № 10). Неожданной для Владимира Яковлевича является занятая по отношению к «Новому миру» Косолапова позиция В.Тендрякова, В.Некрасова, Ю.Трифорова, В.Жданова, В.Огнева, многих других. В.Огнев, например, к которому Лакшин всегда относился с симпатией, высказывается за сотрудничество с новым главным редактором, даёт ему согласие стать членом редколлегии журнала и обвиняет Владимира Яковлевича в максимализме.

В мемуарах Огнева «Амнистия таланту. Блики памяти» (М., 2001) эта ситуация выглядит так: узнав об отрицательной реакции Твардовского и Лакшина на предложение Косолапова, Огнев отказывает ему. На самом деле, как уточняет в «Попутном» к дневнику Владимира Яковлевича его супруга («Дружба народов», 2004, № 9), Владимир Огнев не отказался, а его не утвердили в Союзе писателей...

\*\*\*

В непростой ситуации, когда Лакшин лишился трибуны в «Новом мире», Владимира Яковлевича огорчала реакция коллег из дружественных журналов на его статьи. Те, кто помогал, например, Ст. Рассадину в «Юности» и «Вопросах литературы», В.Лакшина встречали, мягко говоря, прохладно. Из записи, сделанной 25 июля 1971 года, следует, что работа о Достоевском, предложенная в «Вопросы литературы», вызвала у главного редактора Лазаря Шинделя глубоко скрытое недоброжелательство («Дружба народов», 2004, № 11).

Из замечаний Шинделя приведу лишь то, которое является иллюстрацией либерального высокомерия, пустопорожней претензии на ум, научность и т.п.: «Но 1-я часть слишком популярна для такого высоколобого журнала, как наш». Вывод же, к которому в результате общения с главным редактором журнала пришёл В.Лакшин: «Как будто приличные люди, но я не «свой» для них», – переключается с мыслями Алексея Маркова о кастовости уже «Нового мира» Твардовского-Лакшина: «Как правило, приходи ты окровавленный, упади на лестницу «Нового мира», – но ты чужой, не свой – тебя и не заметят!» («Москва», 1992, № 5-6).

\*\*\*

О «пьянстве» патриотов – реальном и мнимом – ходят легенды, с которых часто начинается и заканчивается разговор о них. Что, дескать, с этих алкоголиков взять. «Левые» же – это якобы совсем другое дело: и пьют красиво, и пьют, задавленные «тоталитаризмом» или в творческом порыве... Так, 10 июля 1969 года В.Лакшин фиксирует в дневнике: «Позвал меня к себе домой Любимов – говорить о будущем спектакле к юбилею Ленина. Я отказывался, ссылаясь на слабое знание предмета, но всё же пошёл. Там – «младомарксисты», Можаяев, Карякин и много водки. Словом, пьянка под кодовым названием «Ленин» («Дружба народов», 2003, № 4). Или, как свидетельствует тот же Лакшин 21 июля 1970 года, «дым коромыслом» закончился тем, что «несчастливая» Белла Ахмадулина «обнимала меня, а потом легла на пол: «Никуда не уйду» («Дружба народов», 2004, № 9).

«Новомировцы» пили, мягко говоря, много. Александр Твардовский в рабочих тетрадях и Алексей Кондратович в дневнике предельно редко говорят об увлечении «зелёным змием», Владимир Лакшин в дневнике – очень часто, как будто составляет досье на Твардовского, Дементьева, Кондратовича, Саца, Закса и т.д. или является представителем натурализма в литературе. Что стоит за таким пристрастием к фиксированию нередко неприятных подробностей, которые опускают?

Владимир Лакшин как умный человек понимает: данный вопрос возникнет неизбежно у читателей его дневника, поэтому он сам его задаёт и сам отвечает 29 мая 1969 года: «Иногда думаю: хорошо ли, что я пишу обо всём этом, ничего не скрывая о бедственном положении Александра Трифоновича, его несчастной слабости? Вдруг эта тетрадь попадёт когда-нибудь в руки чужого, равнодушного человека, и он использует во зло откровенность этих записей. Но нет, Трифониша ничего не может уронить и унижить. Разве он пил бы так сейчас, если бы видел для себя хоть лучик надежды? Он уже трижды, четырежды вышел бы из запоя, если бы хоть что-то светило ему. А сейчас он боится возвращаться в реальность, нарочно замучивает себя, почти сознательно добивает» («Дружба народов», 2003, №4). Подобную аргументацию использует Лакшин, когда 18 ноября 1971 года фиксирует в дневнике, что Кондратович допил до белой горячки («Дружба народов», 2004, № 11).

В том, что Владимир Яковлевич, как и все «новомировцы», прилежный ученик В.Белинского и Н.Добролюбова, последователь «реальной критики», духовного спада XIX-XX веков, руководствовался логикой «среда заела», нет ничего удивительного. Также естественно, что логика эта не срабатывает, о чём свидетельствует прежде всего признание самого Александра Твардовского. 16 декабря 1968 года он приводит запись 25-летней давности: «Третьего дня в результате глупейшей и пошлейшей попойки в беспамятстве разбил лицо, нос, лоб – так что невозможно показаться на люди. Кажется,

что это недвусмысленный подсказ: кончай. Всё дурное, пошлое, вредное, нечистое, что бывало со мной, всё, что мешает мне жить достойно, – от пьянства, распущенности, если не алкоголизма» («Знамя», 2003, № 10).

Понимаю, что пьяный Твардовский был «приятнее» и умнее многих в трезвом состоянии. Однако «максималисты» В.Лакшин и А.Солженицын правы: эта «слабость» Твардовского губила «их» дело. Эта «слабость», добавлю от себя, губит и «наше» дело: большая часть русских писателей, критиков и т.д. пропила Россию...

\*\*\*

В рассказе Юрия Казакова «Старый дом» авторское «я» выражается через мысли героя – композитора, живущего в России XIX века: «Если что-нибудь на свете стоит преклонения, стоит великой, вечной, до слёз горькой и сладкой любви, так только это – только эти луга, только эти деревни, пашни, леса, овраги, только эти люди, всю жизнь тяжко работающие и умирающие такой прекрасной, спокойной смертью, какой он не видел нигде больше».

Подобное видение крайне чуждо «левым». И всё же некоторые из них периодически прозревают, в первую очередь, сердцем. Так, 4 мая 1969 года В.Лакшин записывает в дневнике: «Я впервые испытал такое резкое, подлинное чувство любви к нашей природе, к полям этим и берёзовым рощицам, к каждому сарайчику, крытому почерневшей от дождей щепой» («Дружба народов», 2003, № 4).

И вполне возможно, что именно это проснувшееся чувство любви к русской природе, помноженное на страшные реалии либеральной современности, незадолго до смерти проросло во взглядах Владимира Лакшина неожиданными всходами. Так, в своём заключительном слове В.Лакшин, как главный редактор «Иностранной литературы» и ведущий беседы на тему «Эротика и литература», высказывается о проблеме в духе «правых» авторов: «Я не согласен с тем, чтобы представлять старую русскую деревню, как сверх меры склонную к грубым формам проявления эротической темы. Слов нет, это было. <...> Но в русской деревне были и есть и застенчиво-скромные формы любовного чувства <...>».

Мне довелось ещё видеть остатки этого русского крестьянского типа. Одна деревенская старуха сказала при мне о муже, с которым прожила лет сорок, слова, которые я навсегда запомнил: «Да за что ты его любишь?» – спросили её немного бесцеремонно. «Удивляет он меня!» – ответила она с восхищением. Какие это замечательные формы чувства!» («Иностранная литература», 1991, № 9).

В статье «Россия и русские на своих похоронах» (1993) Лакшин выступает против несправедливой критики всего «русского», против того, что «понятие «русский» мало-помалу приобрело в нашей демократической и либеральной печати сомнительный, если не прямо одиозный смысл. Исчезает само это слово. Его стараются избегать, заменяя в необходимых случаях словом «российский», как несколько ранее словом «советский» (Лакшин В. Литературно-критические статьи. – М., 2004).

Юрий Селезнёв ещё в 70-е годы в статье «Подвижники народной культуры» обратил внимание на то, что в кратком этимологическом словаре русского языка отсутствуют слова «родина», «Россия», «Русь», «русский». Владимир Лакшин в 1993 году говорит о сходном явлении: в библиографических списках «Книжного обозрения» раздел «Русская художественная литература» заменён на «Общенациональная художественная литература». Критик не только ставит справедливые, естественно возникающие в этой связи вопросы, но и в духе Ю.Селезнёва – М.Лобанова – В.Кожина отвечает на них.

Один из ответов, если бы он был озвучен названными авторами, точно квалифицировался бы «левыми» как антисемитский: «И пока мы стесняемся слова «русский», американцы спокойно употребляют его для обозначения поселенцев из России на Брайтон-бич».

На схожее российское явление В.Лакшин указал ещё в 1971 году. 17 марта этого года он записал в дневнике: «Пропала, рассеяна, почти не существует русская интеллигенция – честная, совестливая, талантливая, которая принесла славу России прошлого века».

Нынешняя наша интеллигенция по преимуществу еврейская. Среди неё много отличных, даровитых людей, но в существование и образ мыслей интеллигенции незаметно внесён и стал уже неизбежным элементом дух торгашества, уклончивости, покладистости, хитроумного извлечения выгод, веками гонений воспитанный в еврейской нации. Очень больной вопрос, очень опасный, но не могу не записать того, о чём часто приходится думать в связи с житейской практикой» («Дружба народов», 2004, № 10).

Опуская спор об «исторической» интеллигенции, отмечу то, что звучит неожиданно в устах В.Лакшина и в чём он, несомненно, прав. Идея о существенных изменениях, принесённых евреями в образ мысли и облик русской интеллигенции, сродни многочисленным высказываниям Василия Розанова. Понимаю, что такое утверждение покорило бы и оскорбило Владимира Яковлевича, находившегося в плену «левых» стереотипов в восприятии Розанова как якобы «антисемита».

Показательно, что еврейский вопрос В.Лакшин определяет как «очень больной, очень опасный». И невольно, а может быть, вольно (ведь сам он говорит о частых раздумьях на эту тему, которые, правда, в дневниках не запечатлены) Владимир Яковлевич приведённым высказыванием впервые даёт повод зачислить его в разряд «антисемитов», то есть беспристрастных и смелых мыслителей.

Свидетельством «поправления» взглядов Лакшина в конце жизни является его отношение к высказываниям Льва Аннинского, Александра Иванова, Михаила Берга, Дмитрия Галковского о русском народе, отечественной истории и литературе. Эти высказывания, которые убедительно оспаривает Владимир Яковлевич в указанной статье, – общее место в перестроечных «левых», русофобских изданиях, где он не только печатался, но и трудился. Значит, в той или иной степени данные взгляды разделял.

Удивительно-неудивительно, что оценки и аргументация В.Лакшина совпадают с оценками и доказательствами «правых» второй половины 80-х годов: Вадима Кожинова, Анатолия Ланщикова, Михаила Лобанова, Владимира Бондаренко и других. Так, Майя Ганина, отталкиваясь от романа В.Гроссмана «Жизнь и судьба», одна из первых указала на следующую неприемлемую закономерность: «Не слишком ли часто русскому народу с лёгкостью приписывают грехи грузинов Сталина, Бери, еврея Кагановича, русских Хрущёва, Брежнева? Перекладывают на него ошибки и преступления власти». Власть, уточню от себя, которая, начиная с февраля 1917 года, никогда не была и не является сейчас выразительницей идеалов и интересов русского народа.

Владимир Лакшин, полемизируя с Львом Аннинским, который, как и многие до и после него, видит корни большевизма в русском мире, говорит о западной интернациональной родословной большевизма, что во многом созвучно пафосу нашумевшей статьи Вадима Кожинова «Правда и истина» («Наш современник», 1988, № 4).

Критик в отличие от «левых», которые в таких случаях говорят о чеченских, татарских, украинских и т.д. жертвах «имперской» политики, делает упор на первую и главную жертву социального эксперимента – русских. К тому же В.Лакшин, как и многие «правые», уточняет, что большевики – дети разных народов. «И хотя я не придавал бы решающего значения тому, что среди идеологов и вождей большевизма русские не оказались в большинстве, утверждать противное вряд ли было бы честно».

В своём развитии Владимир Лакшин, по сути, повторил путь основателя «ордена русской интеллигенции» В.Белинского. Если в последний год жизни «неистового Виссариона» друзья-западники упрекали своего лидера в «тайном славянофильстве», то Владимир Яковлевич Лакшин итоговой статьёй «Россия и русские на своих похоронах» дал повод «левым» для многих обвинений. Русофильство – самое мягкое из них.

Скажем спасибо критику за его прозрения на краю жизни.



## ИГОРЬ ДЕДКОВ КАК РУССКО-СОВЕТСКО-ЛИБЕРАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН

Распределение Игоря Дедкова после журфака МГУ в областную газету Костромы вместо аспирантуры в столице оценивается многими как несправедливость, неудача. Андрей Турков, например, в предисловии к книге «Игорь Дедков. Дневник. 1953-1994» (М., 2005) сравнивает прыжок из столицы в Кострому с административной высылкой «неблагонадёжного». Осознанно или нет, пишущие так руководствуются следующей логикой: наиболее талантливые и достойные должны жить и трудиться в Москве. В данном случае, применительно к 50-м годам, игнорируется, помимо прочего, пафос времени, добровольный выбор многих и многих, ехавших из столиц в провинцию. Михаил Лобанов после окончания МГУ отправляется работать на Дон, чтобы находиться в гуще того народа, представители которого послужили прототипами героев его любимого писателя Михаила Шолохова. Станислав Куняев, выпускник МГУ, мечтал работать в Братске, быть очевидцем стройки века, но его направили в Тайшет. Игорь Золотусский аспирантуре Казанского университета предпочитает школу на Дальнем Востоке. Игорь Дедков о своём решении говорит в интервью следующее: «Но я должен был уехать из Москвы, я хотел этого, и я уехал» («Юность», 1991, №9).

Выбор Дедкова во многом обусловлен скандальными событиями 1956–1957 годов на журфаке МГУ, главным участником которых был он. Этим событиям во многом искусственно придали идеологический характер, но в конце концов в судьбе Игоря Александровича они сыграли положительную роль. Вячеслав Огрызко прав, утверждая: «Хорошо, что Дедков надолго задержался в Костроме» («Литературная Россия», 2005, № 50-51). С большой долей уверенности можно сказать, что без Костромы, провинции Дедков был бы другим человеком и критиком. В Москве он, скорее всего, стал бы критиком-ортодоксом, как его друг Валентин Оскоцкий.

К теме Москвы и Костромы, столицы и провинции Игорь Дедков неоднократно обращается в своих дневниках. В изображении Москвы и особенно москвичей преобладает критическая направленность. С первых записей на эту тему, 1958–1959 годов, до последних, сделанных в 1994. Уже в конце 50-х, помимо самодовольства, снобизма, культа вещей и политических анекдотов, чиновничества, Игорь Дедков отмечает в москвичах «наплевизм» – качество, ставшее преобладающим у большинства россиян в последние двадцать лет. Внешне эти вызывающие неприятие у Дедкова москвичи конца 50-х очень похожи на многомиллионное цивилизованное стадо дня сегодняшнего: «узкобрючье, накрашенное, по-цирковому яркое и по-торгашески упитанное, чванное и весёлое» (Без даты. 1958-1959). Внутренне же – по степени моральной, культурной, интеллектуальной деградации – наши современники далеко обошли своих предшественников 50-х годов XX века.

Альтернативой Москве как столице «эффектной жизни, показной, как выставки, как салоны мод», Игорь Дедков в 1959 году называет «непостижимую столицу человека» – сердце, которое по-настоящему болит, любит, бунтует. Бунтари, по коим сверяет биение своего сердца 25-летний Дедков, – это Ленин, Дзержинский, Плеханов, Мартов, Свердлов, Троцкий, Коллонтай, Спиридонова. В комментариях 92 года к данному списку Игорь

Дедков признаётся, что о многих из них он мало знал, а по сути, добавлю от себя, ничего не знал. К тому же, по признанию критика, в назывании опальных имён ему виделся вызов руководителям разного уровня, людям, по Дедкову, иного, меньшего, масштаба.

Второй альтернативой Москве и в определённой степени «бунтарям» стала провинция. Здесь Игорь Дедков обретает одну из опор своей жизни. Сделать это было просто-непросто. Критик был воспитан на традициях русской литературы, отсюда идея справедливости и чувство сострадания к человеку, пронизывающие его дневниковые записи, начиная с самых ранних. Так, размышления Дедкова от 15 ноября 1954 года по пафосу, направленности очень напоминают дневниковые свидетельства Льва Толстого, особо ценимого критиком на протяжении всей жизни: «Разве это справедливо? У меня новый дорогой костюм, а у него дешёвенький, невидный. У меня позади школа и два курса университета. А у него? У меня впереди жизнь <...> У него – инвалидность второй группы и двое детей. Образование – 9 классов. Будущего нет – учиться не позволяет рана. Разве это справедливо? Он в 17 лет пошёл на фронт – я не видел горя <...> Так вчера во время разговора о костюме мне было не по себе – стыдно. Разве имею я право жить лучше, чем он сейчас? Нет».

Забегая вперёд, можно сказать, что именно чувство справедливости и сострадание к ближнему, несчастному, обездоленному развели Дедкова в начале 90-х годов с ельцинским режимом, с друзьями, единомышленниками: В.Оскоцким, Ю. Карякиным, А. Нуйкиным и другими.

Несмотря на отдельные дневниковые критические высказывания (от 22 апреля 1958 года, 15 июня 1963 года и т.д.), Дедков, начинающий журналист в Костроме, – вполне советский человек. И он соответственно воспринимает русскую историю, Церковь, о чём, в частности, свидетельствуют его поведение и размышления во время посещения Ипатьевского монастыря осенью 1958 года. Обращу внимание на один характерный эпизод: в отличие от Исаака Бабеля, именуемого «одесским евреем, советским писателем», покорённого красотой собора в 1924 году, Игорь Дедков остаётся равнодушным, «бессердечным» (его слово. – Ю.П.) к тому, что должно вызывать у каждого русского человека не меньший отклик, чем инвалид, участник войны. От такого рода советскости один шаг к левому стереотипу, согласно которому Кострома и провинция в целом – это мир неполноценных людей.

Однако Дедков параллельно с Юрием Казаковым и авторами «деревенской прозы» открывает в обыкновенном провинциале, сельском жителе человека, открывает «целый мир», не уступающий, по меньшей мере, миру начинающего журналиста. Показательно, что случай, рассказанный Дедковым в «Чухломе» (1959, 1960), скажем, у Владимира Войновича или Фридриха Горенштейна вызвал бы массу отрицательных эмоций, иронию, сарказм, размышления о «скверне русской души». Игорь же Дедков отнёсся к истории с шофёром Александром Ивановичем принципиально иначе, как подобает русскому человеку, писателю, критику. Он так подытожил свои чухломские впечатления: «И вспоминая ту дорогу, я счастлив, что сохранилось во мне сострадание и уважение к человеку, не к меньшему брату, не к шофёру, не к уборщице, а к человеку, которому нелегко живётся».

В этой же записи И. Дедков «поэтически» выражает один из главных принципов русской литературы и критики – принцип христианского гуманизма. Ведя речь о толпе, которая штурмует костромские автобусы, Игорь Александрович фиксирует: в подобные мгновения люди теряют человеческий облик, забывают, что рядом такие же, как они. И далее неожиданно критик возвращается к чухломскому шофёру: «Но я знаю, что эта жестокая масса людей состоит из Александров Ивановичей. Расщеплённая, она полна чудес. Безымянные герои, затерянные в многоэтажном мире, – это вы образуете человечество, страдающее, ищущее и покорное».

«Шабаново» – вторая дневниковая зарисовка, в которой наиболее полно выразилось здоровое, русское «я» Игоря Дедкова. Оно в «смягчённом» варианте проявилось в первой книге «Возвращение к себе» (1978) и затем начало истончаться, сильно деформироваться... В «Шабанове» пунктирно названы многие лейтмотивы к тому времени ещё не появившихся произведений «деревенской прозы». Шабановская тётя Тася – это национальный тип «тихого героя», который не одно десятилетие будет вызывать неприятие и критику у тех «левых» авторов, с которыми вскоре и позже задружит, к кому на долгое время идейно примкнёт И. Дедков.

«Она соблюла себя для мёртвого» – в этих словах, сказанных о Тасе, которая и после смерти жениха на войне осталась ему верна, выражена нравственная высота, делающая женщину женщиной, высота, недоступная сегодняшним жрицам «любви», всем этим пугачёвым, милявским и прочим собачкам. Время, когда они поют или якобы поют, вещают с экранов телевидения, заседают в Общественной палате при президенте России, – это наипаскуднейшее время, а народ, который восторгается этими, условно говоря, женщинами, подражает им или просто терпит, – обречённый на вырождение, вымирание народ.

Из дедковского маленького шедевра процитирую лишь слова, формально адресованные историкам, а по сути – всем: «Вслушайтесь, как дышит этот дом <...>, взгляните в морщины хозяйки, в её отполированные трудом ладони; в её выцветшие глаза, выпейте с ней вина, послушайте её повесть, если она вам её расскажет. А если не расскажет, то угадайте сами, для чего она живёт на белом свете, чего она ждёт, о чём думает в новогоднюю ночь и думает ли о чём, почему плачет над письмами родне, себя ли жалея или всех бедных людей на земле? Проверьте, можно ли убиваться по корове или телёнку, и не день, не два, а неделями, можно ли жить, не слушая тарыхтения радио и не читая газет? Можно ли помнить любимых, убитых, загубленных десятилетиями и не изменить им, отказываясь от столь ценимого людьми личного счастья, и может ли самая великолепная стратегическая победа восстановить справедливость в глазах такой женщины?»

Итак, в «Чухломе» и «Шабанове» открыто выражены те жизненные и творческие принципы, которые И.Дедков обрёл в Костроме. Эти принципы есть альтернатива Москве и бунтарям, революционерам, о которых с неприязнью и восторженно писал молодой Дедков. Идея семьи, ребёнка вскоре становится суть определяющей обретенных в провинции принципов.

Показательно в этом отношении обращение Дедкова к судьбе Желябова (при чтении романа Ю.Трифорова «Нетерпение») в дневниковой записи от 1 марта 1979 года. Путь Желябова, бросившего ради дела жену и ребёнка, для Игоря Александровича неприемлем. Он, один из самых «семейных» критиков XX века, так предельно просто и ясно выразил своё кредо: «Ради жизни сына я бы всякую революцию бросил, ничего не надо, оставьте мне сына, оставьте сыновей, жену, и мне хватит смысла жить. Во всяком случае, всё прочее – потом, во-вторых».

С подобными мерками И.Дедков подходит и к литературе, искусству. Он высказывает мысль, явно не популярную среди многих (думаю, большинства) писателей, творческих людей XX, XXI веков: жертвовать другими во имя творческой самореализации отвратительно.

Вполне естественно, что с этих позиций критик оценивает и жизнь, деятельность собратьев по цеху. С явным неодобрением и сарказмом он записывает в дневнике: «Письмо от Игоря Золотусского. Пишет про свои дела – большинство о том и пишет, и ещё упоминает Игоря Виноградова, который отпустил бороду и усы. Виноградовы годовалую дочь отдали родителям, а сами всецело занимаются литературой. <...> У Золотусского дитё тоже у родителей, тоже «всецело литература» (14.3.1974).

Такой подход роднит И.Дедкова с В.Розановым, который жизнь свою и окружающих, жизнь писателей и литературных персонажей мерил идеей семьи, детей.

Слова В.Розанова: «Когда идёт жена, – и я спрашиваю: а где же дети?», – сказанные в связи с известной сценой из «Евгения Онегина», – для меня универсальная формула измерения человеческой жизни.

Именно чувства ребёнка, культа ребёнка не хватает в работах современных критиков любых направлений. Они мир, человека ощущают, произведения оценивают как бездетные по сути мужчины и женщины. Например, такие разные авторы, как Г.Гачев, А.Гулыга, Р.Киреев, Е.Старикова, А.Турков, С.Селиванова, К.Степанян, принявшие участие в обсуждении романа Б.Пастернака «Доктор Живаго», даже не упоминают слово «ребёнок» в своих выступлениях («Литературная газета», 1988, № 24). Такой же бездетный уровень восприятия романа и в провальной книге Д.Быкова «Пастернак», о которой я уже высказался в статье «Премированная хлестаковщина» («День литературы», 2006, № 6).

Во многих своих жизненных и человеческих проявлениях И.Дедков — традиционалист, или, как он говорил, «моральный консерватор». Так, из дневниковой записи от 6 октября 1979 года следует, что гулянье в придорожной полосе с сыновьями, «одновременное, соединённое любовью существование» важнее для Игоря Александровича литературных и прочих проявлений своего «я». Надеждой на то, что Никита запомнит другой «футбольный» вечер, заканчивается запись от 8 июня 1982 года. Или: меньше чем за полтора года до смерти Дедков, чувствующий её дыхание, подводит предварительные итоги: «Какое счастье быть маленьким мальчиком! Или иметь сына – ещё маленького мальчика. Это у меня было» (24.7.1993).

При всей последовательности отношения И.Дедкова к семье ему, думаю, не всегда хватало последовательности творческой: периодически критерий ребёнка не «срабатывал» в статьях критика. Маканинская «Отдушина», например, в статье «Когда рассеялся лирический туман...» («Литературное обозрение», 1981, № 8) прочитана им как повесть о циничной сделке между двумя мужчинами. И.Дедков, как и многие критики, не заметил главного: Михайлов, оказавшись в ситуации, которая положительного решения не имеет, жертвует своей любовью к Алевтине ради блага детей, семьи.

Забывает критик о названных критериях и в статье «Жизнь против судьбы» («Новый мир», 1988, № 11), где в либерально-демократическом духе утверждает право на особенность как «единственный, истинный извечный смысл борьбы за жизнь».

Уже будучи москвичом, Игорь Дедков так оценивает преимущества своей жизни в Костроме: «Всё-таки провинциальная жизнь с её размеренным, неторопливым ритмом, с её тесными обстоятельствами и давней бедностью, мне кажется, действует на ум и душу благотворительно, врачующе. Она больше включает в извечный ход жизни, укрепляя здравый смысл и моральный консерватизм» («Литературное обозрение», 1991, № 2).

Показательно, что в восприятии многих Дедков стал синонимом Костромы, провинции, которая заговорила его голосом. Алесь Адамович в этой связи так образно-красиво высказался в письме к критику от 31 июля 1980 года: Кострома «подписывается <...> псевдонимом – «Дедков» («Дружба народов», 1995, № 3). А Станислав Лесневский в год пятидесятилетия критика в статье «Слово – поступок» назвал Кострому «выбором судьбы» Дедкова («Литературная газета», 1984, № 51).

Среди преимуществ жизни в провинции А.Адамович и в упомянутом письме, и в статье «Живёт в Костроме критик» («Литературная газета», 1984, № 51) называет большую свободу, независимость по сравнению со столичными авторами, с их «оглядчивостью», погружённостью в литературные взаимоотношения, с умением держать в уме, кто есть кто в табели о литературных рангах.

Ещё раньше Адамовича подобную – «постыдную» – картину московских нравов представил Владимир Богомолов в письме к Дедкову от 25 июня 1980 года. На фоне очевидной продажности большинства критиков он отмечает, что авторитет и уважение Игоря Александровича завоёваны им самим, «только мышлением и трудом» («Дружба народов», 1995, № 4). Через 4 года в письме к Богомолову от 18 июля 1984 года Дедков

признаёт выгодность провинциального местожительства: так «свободнее...» («Дружба народов», 1995, № 4). (То, что независимость костромского критика была кажущейся независимостью, я покажу далее).

В свете сказанного закономерной видится реакция Игоря Дедкова в 1979 году на вопрос Вл. Воронова: не собирается ли он переезжать в Москву. Этот вопрос, который критику задавали неоднократно, он так комментирует в дневнике: «Считается, что вопрос здоровый и естественный. Но отчего тогда никто не спрашивает, например, Катаева: не собирается ли он переезжать в Тьмутаракань, Армавир или Одессу? Всё вверх ногами, всё перевернулось. Местожительство стало делом престижа и даже привилегий. Вот чушь-то» (27.10.1979). Что сказал бы Дедков о дне сегодняшнем, когда Москва стала несоразмерно огромной головой на усыхающем теле страны?..

Менее чем через год вопрос местожительства оценивается И. Дедковым с позиций творчества. И уже в этом случае «московский вариант» вызывает у него на начальной стадии чувств и мыслей двойственное отношение. Глядя из Костромы на тех, кто в Москве на виду, кто (с точки зрения успеха, положения) процветает, он огорчается: «... Такие люди, как я, там не нужны, а нужны именно эти», – ущербные в человеческом и творческом отношении. Данный факт обретает в дневниковой записи от 10 мая 1980 года общее звучание в преломлении к любимой дедковской идее справедливости. Критик говорит о «непреходящей нечистоте жизни», которая определяется круговой порукой корыстных и жадных. И вариант попасть в этот разряд «избранных» Дедков отвергает, ибо, как сказано в другом месте дневника, «недостойно становиться вровень с дурачками, уничтожающими человека условиями».

Сентябрьская беседа 1980 года с однокурсницей Эммой Проскурниной из «Юности» подталкивает критика к выводу, что московские литературные и околосредовые нравы разрушают литературу, ибо, по версии Проскурниной, всё распределяется между своими. В связи с этим И. Дедков высказывает нехарактерную для него мысль о конфликте между столицей и провинцией (30.9.1980). Правда, далее он показательно корректирует данную мысль. Критик говорит – абстрактно, без имён – об «элементе порядочности», который есть в столице (что, конечно, так) и «элементе непорядочности», характерном для провинциалов, переехавших в Москву. Они либо называются своими именами, либо легко догадаться, о ком идёт речь, по таким прозрачным намёкам: «вологодцы», «кубанцы». Они – только «правые»...

В Костроме Игорю Дедкову было что терять и в плане творческом. После 17-летней журналистской работы он ушёл на вольные критические хлеба, благо условия для этого были идеальные. Вот что рассказывает о своём распорядке дня Дедков в письме к В. Быкову в мае 1982 года: до четырёх он работает дома, а после идёт в библиотеку или книжный магазин («Дружба народов», 1995, №3). Параллели с днём сегодняшним проведите сами.

И в дальнейшем возможный переезд в Москву оценивается Дедковым как утрата душевного покоя, свободы, независимости (записи от 09.07.1985 и 23.07.1986 годов), ибо он связан с необходимостью участвовать в литературной борьбе, которая определяется как «нечистая». И всё же, несмотря на такое постоянное отношение к столице и её нравам, Игорь Александрович переезжает в Москву в 1987 году и до смерти работает в журнале «Коммунист», переименованном в 1991 году в «Свободную мысль».

Свой нелогичный в свете сказанного шаг критик в беседе в Брониславой Тарошиной объясняет двумя факторами – политическим и семейным: «Так долго Москва излучала не новые светлые идеи, а ложь и фальшь, что образовалась привычка не собираться, а оставаться на месте, и если я изменил этой привычке, то только потому, что переменились времена, а все домашние переживания окончательно сосредоточились на Москве: там сыновья, там стареют родители» («Литературная газета», 1990, № 23). Из дневниковых записей следует, что решающим фактором стал семейный.

Семилетняя жизнь в Москве характеризуется Дедковым преимущественно следующим образом: «суета, вздор, какая-то рассредоточенность», «мельтешение, подчинение»... Только одна запись от 23 марта 1992 года выбивается из этого контекста: «От посещения Костромы осталось горькое чувство. Впервые почувствовал, что отъезд наш случился вовремя и жалеть не нужно». И всё же побеждает иное настроение, иная оценка московской и костромской жизни: «Часто вспоминаю Кострому, и жалею о той жизни» (17.1.1993).

\*\*\*

Согласно устойчивому мифу, И.Дедков в литературной борьбе 60-80-х годов занимал независимую нейтральную позицию. Не первым Сергей Чупринин категорично заявил, что Дедкова «н е в о з м о ж н о (разрядка моя. – Ю.П.), конечно, подозревать в какой бы то ни было «групповщине» («Вопросы литературы», 1987, №12). Почти через двадцать лет супруга Дедкова, комментируя обращение к нему издательства и вдовы Алексея Кондратовича, автора «Новомировского дневника», высказалась в том же духе: «Им показалось закономерным, что именно он, авторитетный и беспристрастный критик из Костромы, никогда не примыкавший ни к одной из литературных партий, возьмётся за публикацию документов, имевших историческое без оговорок звучание» (Дедкова Т. Честен перед собой // Дедков И. Дневник. 1953-1994. – М., 2005).

Альтернативная точка зрения была высказана Владимиром Бондаренко в «Очерках литературных нравов» («Москва», 1987, №10). Нашумевшую статью И. Дедкова «Перед зеркалом, или Страдания немолодого героя» («Вопросы литературы», 1986, №7) о романе Ю.Бондарева «Игра» критик оценил как «сознательный групповой выпад», ибо А.Ананьев, Г.Марков, А.Чаковский, М.Шатров, А.Салынский и другие, более, чем Ю.Бондарев, уязвимые как писатели, не удостоились «смелых откровений» костромича. Более того, в выпадах против «Привычного дела» В.Белова, «прозы сорокалетних», романов Ю.Бондарева Бондаренко увидел не только талант, но и расчёт: «По И. Дедкову можно судить о настроениях нашего прогрессивного крыла».

В записях Игоря Александровича начала 60-х годов упоминания о литературной борьбе отсутствуют, что естественно, ибо она – полноценная – начинается со второй половины этого десятилетия, с возникновения «русской партии». В дневнике «собеседниками» И.Дедкова нередко являются запрещённые и «полузапрещённые» в СССР писатели и философы: Н.Бердяев, М.Гершензон, А.Белый, Е.Замятин, В.Розанов... Последний из авторов данного ряда называется наиболее часто, в чём видится закономерность, характерная для части критиков – современников Дедкова.

Вадим Кожин, например, с подачи Михаила Бахтина знакомится с творчеством Василия Розанова в 1961 году, и его первоначальная реакция была вполне естественной, советски-шабесгойской: Розанов – антисемит. В дневнике И.Дедкова фамилия мыслителя появляется в 1963 году. Игорь Александрович, неоднократно затрагивающий впоследствии еврейскую тему применительно к «русской партии», у Розанова её не замечает ни в 1963 году, ни позже. По крайней мере, не фиксирует в дневнике. Данный факт вызывает недоумение, ибо о еврействе В.Розанов рассуждает гораздо чаще и радикальнее, чем представители «русской партии». Этот и другие, главные для мыслителя, вопросы – Бога, России, семьи – не находят отклика у Дедкова. Уровень же полемики молодого критика по иным проблемам настолько поверхностный, «молочный» (то есть критические стрелы Игоря Александровича попадают в «молоко»), что комментировать нет смысла. Смотрите, например, запись от 21 января 1967 года.

И в дальнейшем В.Розанов так и остался для критика из Костромы «неузнанным феноменом» (воспользовался названием статьи Розанова о К.Леонтьеве). Многие современники И.Дедкова не читали В.Розанова вообще по разным причинам. Б.Слуцкий, например, не читал потому, что считал его «русским фашистом». Дедков же книги Розанова не просто читал, но и воспринимал их восторженно. Однако оценки даже

«зрелого» Дедкова вряд ли можно назвать точными и глубокими. К тому же он допускает трудно объяснимые для знатока фактические ошибки, как в следующем случае: «Вслед за Розановым и многими другими Ерофеев вменяет в вину русской предреволюционной литературе, напрасно обременённой социальными комплексами, то, что случилась революция» («Литературное обозрение», 1991, № 2).

Однако Розанов в статьях 1918 года «Таинственные соотношения», «С вершины тысячелетней пирамиды» обвиняет не предреволюционную литературу, а почти всю русскую классику: Н.Гоголя, И.Тургенева, А.Островского, Н.Лескова, М.Салтыкова-Щедрина и т.д. Мысль о «социальных комплексах» у В.Розанова отсутствует.

И.Дедков начинает свой путь в критике как автор «Нового мира». Он публикует рецензию «Мишка и его сверстники» на книгу К.Воробьёва «Гуси-лебеди» («Новый мир», 1961, № 7). Однако первая дневниковая запись о журнале, сделанная 14 декабря 1965 года, имеет критическую направленность. И.Дедкова не устраивает то, что авторы «Нового мира» демонстрируют преданность абстракциям типа «принцип коммунистической партийности художественного творчества». Подобные дефиниции, с точки зрения критика, «мистически непостижимы в своей произвольности».

Для И.Дедкова в первой половине 60-х годов в современной критике неприемлемы поиск идеологических врагов, политически-обвинительный пафос (чем грешили в 60-80-е многие авторы разных направлений), литературное торгашество, игнорирование трагедии отдельного человека. Свою позицию И.Дедков характеризует отчасти через «Вехи» (26.07.1965), что в это время делали немногие, лишь некоторые представители зарождающейся «русской партии». Чтение сборника оценивается критиком как принятие эстафеты, продолжение духовных традиций. И.Дедкову близок критицизм «Вех» и чужда их положительная программа. Последнее он объясняет так: «Может быть, это потому, что нет во мне почтения к религии и нет глубокого её понимания, которое одно позволяло бы глубоко отрицать, не принимать её». Естественно, что при такой позиции И.Дедкова о принятии духовной эстафеты от авторов «Вех» речи быть не могло.

В отличие от критиков «Юности» и «Нового мира», которые клеймили духовность и называли тех, кто её утверждал, «заклинателями духов», Игорь Александрович вкладывал в это понятие положительный смысл, трактуя его как обезбоженный человек со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть в данном «компоненте» он явно уступал таким критикам, как М.Лобанов и И.Золотусский, но превосходил «левых»: В.Лакшина, А.Бочарова, Г.Белую, Ю.Суровцева, П.Николаева, В.Оскоцкого и других. Иллюстрацией сего является статья «Из чего «выстраивается» духовность» («Литературное обозрение», 1979, № 1).

В этой статье немало точных суждений о творчестве В.Овечкина, В.Шукшина, В.Богомолова, В.Сёмина, В.Быкова. Собственно же проблема духовности в итоговой части статьи трактуется так: «Ещё неизвестно, из чего «выстраивается», то есть образуется, возникает «духовность». <...> Но уж, во всяком случае, она вряд ли произрастает там в «чистом поле», где усердно хлопочут о «вечном», «нетленном», «бессмертном», «духовном». Усердные занятия реальностью, как показывает опыт, много надёжнее»; «Очень простая старая истина: источник духовности бьёт в долине человеческой жизни, труда и борьбы».

В этой и других статьях критика работа – универсальная единица измерения духовности, жизни вообще – один из главных критериев полноценного творчества писателя. Напомню, что в нашумевшей статье И.Дедкова «Когда рассеялся лирический туман...» («Литературное обозрение», 1981, № 8) в числе главных недостатков прозы «сорокалетних» называлось отсутствие изображения работы в произведениях авторов, причисляемых к данному течению. А в статье о творчестве В.Личутина «Глубокая память Зимнего берега» («Дружба народов», 1981, № 3) критик, как и многие исследователи, обращает внимание на то, что «душа» – ключевое слово в художественном мире писателя. В размышлениях героев о душе и духовности, которые для И.Дедкова понятия одного

ряды, ему неприемлемо то, что душа и работа, реальная жизнь разводятся в разные стороны. А это, убежден критик, неправильно, ибо бытие определяет сознание. И как следствие – по-разному варьируется мысль, естественная для атеиста: «...Не будь у человека никакой жизни вообще, и в душе его было бы пусто. И чем беднее, безразличнее для него внешняя жизнь, тем ненадежней посох».

В понимании большинства главных вопросов И.Дедков – типичный «шестидесятник», «новомировец». Так, через шесть дней после критики журнала Игорь Александрович рассуждает о соотношении национального и общечеловеческого как либерал-космополит. Сначала И.Дедков задаёт вопрос, звучащий для него риторически: «Но не преувеличиваем ли мы наши национальные «странности», «нашу историческую избранность». Уже здесь проявляется подмена понятий и переименование смысла – общее место у «левых» в трактовке данной проблемы. Затем следует также хорошо знакомая мысль: национальной общности противопоставляется «общность рода», объединяющая всех людей принадлежность к человечеству (20.12.1965).

Естественно, что с этих позиций И.Дедков оценивает творчество разных писателей. Например, в содержательной в целом статье «Глубокая память Зимнего берега» один из упрёков в адрес В.Личутина сформулирован так: «Личутин никогда не скажет о своих героях: они живут на планете Земля. Возможно, у него недостаточно развито глобальное мышление. Он предпочитает сказать: мои герои живут на Зимнем берегу. Они живут в Поморье. В России».

И позже позиция критика в трактовке национального в жизни и литературе не меняется. В письме к В.Быкову в мае 1982 года («Дружба народов», 1995, № 3) критик называет статью А.Кузьмина «Писатель и история» («Наш современник», 1982, № 4) разжиганием страстей, не соглашается с идеей первенства национального начала над другими, не приемлет справедливую критику в адрес В.Оскоцкого, одного из самых неистовых ненавистников и гонителей всего русского. И.Дедкова в ситуации со статьёй А.Кузьмина радует одно: подобные работы читают немногие.

К чему привела подобная политика, мы знаем – к победе яковлевых, оскоцких, нуйкиных и т.д. И нет ничего удивительного в том, что одним из идеологов «нового мышления» эпохи перестройки стал Игорь Дедков. Он, наконец-то, получил возможность сказать широкой аудитории то, что доверял преимущественно дневнику и письмам. Его программные статьи «Возможность нового мышления» («Новый мир», 1986, № 10), «Литература и новое мышление» («Коммунист», 1987, № 12) сегодня прочитают лишь самые терпеливые...

«Новое мышление» – дом на песке, мертворождённый уродец либерального сознания, фантом, который может существовать лишь в обезбоженном сознании людей, не знающих или не понимающих, в первую очередь, русскую литературу, христианское вероучение. Отчасти на это справедливо указала Б.Тарошина в беседе с И.Дедковым: «Конечно, нет смысла говорить о новом мышлении (особенно применительно к литературе) в тысячелетнем христианском обществе. Все мысли оттуда, из Нагорной проповеди» («Литературная газета», 1990, №23). Показателен комментарий И.Дедкова, который свидетельствует о «горизонтах» либерального сознания, о том, до какой очевидной неправоты и примитивизма сплюсывается мышление критика: «Новое мышление, в частности, включает в себе отказ от приоритета классовых ценностей над общечеловеческими. <...> Прошу прощения, но Нагорная проповедь не предотвратила ни первой, ни второй мировой, никаких других войн. Современный мир вынужден осознавать себя в целостности и взаимозависимости, как никогда раньше, иначе он погибнет. Безальтернативно. Вот вам и новизна. Осознание её полезно и литературе, хотя бы для того, чтобы поостеречься в разжигании всякого рода разрушительных страстей и низменных инстинктов».

В статьях И.Дедкова доперестроечной поры русско-еврейский вопрос как составляющая часть национального не поднимается. Однако это не означает, что критика



он не интересовал вообще. В дневнике к этой теме И.Дедков обращается неоднократно, мыслит всегда «корректно», в лучших «левых» традициях XIX-XX веков.

28 декабря 1977 года И.Дедков – без видимых на то причин – замечает, что антисемитизм ему абсолютно чужд. В августе следующего года, характеризуя ненавистную атмосферу Москвы, критик в качестве одной из её составляющих называет «подогреваемый постоянно антисемитизм». Его проявление он фиксирует в литературе и жизни. Например, в таких разных произведениях, как «Кануны» В.Белова, «У последней черты» В.Пикуля, «Уже написан Вертер» В.Катаева.

Показательна запись о последней повести от 11 июля 1980 года: «Такое впечатление, что это инспирированная вещь. В ней есть некое целеуказание: вот кто враг, вот где причина былой жестокости революции. Троцкий, Блюмкин (Наум Бесстрашный), другие евреи в кожанках... <...> Историческое мышление в этом случае тоже отсутствует, т.е. оно настолько подозрительно и нечистоплотно, что всё равно что отсутствует... И неожиданная в старике Катаеве злобность, и бесцеремонное упрощение психологии героев (на каких-то два счёта)...» К характеристике этого произведения И.Дедков возвращается ещё раз, 5 октября того же года. Он так комментирует оценку Л.Лазарева – «белогвардейская вещь»: «Я подумал, что, пожалуй, правильно: не антисоветская, никакая другая, а именно белогвардейская, с «белогвардейским» упрощением психологии и мотивов «кожаных курток» и с налётом антисемитизма».

Удивляет, мягко выражаясь, поверхностность и легковесность оценок И.Дедкова. Во-первых, то, что он называет злобностью, упрощением и т.д., в не меньшей степени проявилось в написанных ранее, скажем, «Траве забвения» и «Алмазном моём венце». То ли И.Дедков не читал эти и другие «мовистские» произведения В.Катаева, то ли их герои, вымышленные и реальные, оказались не столь близки критику, как Троцкий, Блюмкин, «евреи в кожанках»...

Во-вторых, катаевская повесть инициирована кем? ЦК КПСС (про жён, советников, Черноуцана и другое общеизвестное опускаю), который захотел подорвать основы своей власти, идеологии, заменив миф о пролетарской революции идеей русского погрома, устроенного евреями?.. Инициирована «Новым миром», с его устойчивой юдофильской линией?.. Версией об инициированности повести И.Дедков сам опускается до позиции предельного упрощения психологии В.Катаева. Когда тебе за восемьдесят, спешишь сказать о том, о чём ранее молчал, сказать о важном и, быть может, главном.

В-третьих, об особой жестокости евреев в годы Гражданской войны говорили самые разные свидетели, писали многие авторы задолго до В.Катаева, так что ничего нового он в своей повести не сказал.

В-четвёртых, сама терминология И.Дедкова («антисоветская», «белогвардейская» повесть) свидетельствует о его мировоззренческой и творческой зашоренности, советскости...

Примерно на таком уровне говорит многократно И.Дедков и об антисемитизме в жизни. Он приписывает реальным и мнимым представителям «русской партии» выяснение состава крови, еврейской примеси в ней в частности (17.06.1979). Приписывает то, чем в реальности занимались многие из противников «правых». В число самых ярых антисемитов у Дедкова попадают В.Кожин, Ст. Куняев, Ю.Селезнёв. О последнем, например, говорится следующее: «Большие хитрецы в «Нашем современнике», особенно, должно быть, Юрий Селезнёв, этот Садко-красавец, с курчавой бородой, обуреваемый антисемитской страстью» (20.04.1982).

Дедкову хитрость видится в том, что «Гумилёва подцепили – не жалко, и самого Кожина – вот вам объективность – задели». То есть А.Кузьмину, о чьей статье в данном случае идёт речь, критик из Костромы отказывает в самостоятельности мысли. Однако если бы Дедков не был предвзят и внимательно читал работы А.Кузьмина, он заметил бы, что полемика с Л.Гумилёвым, В.Кожинным и другими авторами – это не журнальный тактический ход, а естество историка, типичное явление в его ярких статьях. Ю.Селезнёв

же к выходу четвёртого номера за 1982 год, который ставится ему в вину И.Дедковым, никакого отношения не имел, ибо уже четыре месяца не работал в «Нашем современнике». И курчавой бороды у действительно красавца из Краснодара никогда не было.

Вообще якобы непредвзятый И.Дедков теряет всякий рассудок, когда речь заходит о названных представителях «русской партии». Понятно, что все или многие его выпады разбирать нет смысла и места, поэтому приведу наиболее характерные.

На статью Ст. Куняева к 50-летию В.Кожинова «Завидная энергия» («Литературная газета», 1980, 11 июля) И.Дедков реагирует следующим образом: «Я бы, пожалуй, так и не смог: писать о друге». Но ведь многие публикации критика – это статьи о друзьях: В.Быкове, А.Адамовиче, В.Богомолове и т.д. И почему промолчал критик, когда через 4 года его друзья А.Адамович и Ст. Лесневский напечатали свои статьи уже к 50-летию Игоря Александровича («Литературная газета», 1984, № 51)? Или статья В.Кожинова «Николай Рубцов в кругу московских поэтов» («Москва», 1980, № 5) вызывает возмущение И.Дедкова тем, что её автор «уже озаботился написанием истории, включив в неё своих друзей и себя, придав быту – значительность литературного события. Или он думает, что такую историю не перепишут?» (11.07.1980)

Уверен: все статьи мемуарного окраса, как упомянутая публикация В.Кожинова, имеют первородный – естественный – «грех»: в них говорится о себе и друзьях. К тому же Вадим Валерианович не «уже», а практически всегда был озабочен, если это слово подходит, написанием истории, в данном случае – литературы. Это так естественно, ибо в названной статье речь идёт о поэте, уже ушедшем из жизни, о времени минувшем. Естественно, когда знаешь, что «левые» либо не скажут в своей истории о Рубцове и его товарищах, либо назовут «смердяковым русской поэзии». Это естественно, так как любая серьёзная публикация – вольное или невольное написание истории. И последнее: В.Кожинов, конечно, прекрасно понимал, что его версию взаимоотношений с Н.Рубцовым, Ст. Куняевым, А.Передреевым, Ю.Кузнецовым и другими поэтами постараются переписать. И это, уже после смерти Вадима Валериановича, пытались сделать В.Сорокин и А.Байгушев. Насколько сие убого и сверхнеубедительно вышло, точно оценил и Ст. Куняев («День литературы», 2003, № 3), и А.Васин («День литературы», 2006, № 3).

Вообще, если верить некоторым публикациям последних лет, то И.Дедков – это борец с «антисемитами» из «русской партии». Так, в статье С.Яковлева «Человек на фоне» о дневниках критика говорится: «В 1987 году Дедков упоминает о стычке с пьяненьким писателем–русопятом, невнятно обронившим: «Говорят, что вы – главный рупор...» Подтрунивает: «Насчёт «рупора» надо, видимо, понимать так, что стал «чужим» рупором – «сионистским», должно быть» («Литературная газета», 2003, № 15). В том-то и дело, что стычки, если понимать это слово в его прямом значении, не было. Стычка как действие, как событие предполагает открытое столкновение разных точек зрения. И.Дедков же молча выслушал слова Романова и подтрунивал над ним уже в своём дневнике.

Думаю, если бы Игорь Александрович не был «хитрован» (воспользовался личутинским словом), то ему бы не удавалось так долго скрывать от «русской партии», «Нашего современника» своё истинное «я», своё отношение к тем, кто числил его своим. Вот, например, какую запись делает в дневнике И.Дедков 22 ноября 1977 года: «Всё-таки в «Нашем современнике» я чужой или получужой».

Об этой «чужести» И.Дедков, за исключением одного случая, хранит тайну. Он печатается в «Нашем современнике», с неохотой, внутренним насилием над собой принимает участие в мероприятиях «правых» (во время одного из них и происходит «стычка» с «русопятом»). К Дедкову в Кострому приезжает Л.Баранова, по его версии, как эмиссар от «русской партии». Она выясняет взгляды критика на «национальный вопрос», даёт прочитать открытое письмо Ст. Куняева в ЦК партии о сионизме (10.02.1981)... Параллельно – но уже искренне – Игорь Александрович дружит с «левыми», В.Оскоцким

в частности. Их встреча за ужином в ЦДЛ, в котором принимал участие и известный русофоб А.Нинов, свидетелем чего стал А.Карлин из «Нашего современника», прочитывается И.Дедковым так: «Наверняка наутро в редакции было доложено, что Дедков окончательно продан евреям» (11.07.1980).

Многочисленные факты свидетельствуют: критик из Костромы прекрасно разбирался в тонкостях и хитросплетениях литературной жизни, что явно вступает в противоречие с примерами иной направленности. Так, реакция на беседу с С.Залыгиным, в которой он, выясняя отношение критика к «московским партиям», сообщил, что «у них в руках» журналы «Знамя», «Огонёк», «Литературное обозрение», такова: «Я помолчал, скрывая удивление (откуда мне знать, что Коротич и Лавлинский относятся к «ним»?...) <...>» (04.01.1987).

Что стоит за этой реакцией – редчайшая наивность, непонимание очевидного, игра?.. Не знаю. Ясно другое: то, чем руководствовался Игорь Дедков в отношениях с «русской партией», не позволяет назвать его человеком бескомпромиссным, человеком чести. Он, справедливо критиковавший литературные нравы, сам подстраивается к обстоятельствам, что в принципе не отрицается им самим.

Игорю Александровичу, например, претит публикация романа В.Пикуля в «Нашем современнике». Он считает, что данным действием журнал «ещё более уронил себя» (02.05.1979). И далее следует характерное признание: «Если обстоятельства позволят, перестану в этом журнале печататься – пока. Пока не прояснится, что же там такое – внутри – происходит, какая «партия» берёт верх». Верх взяла не та «партия», на которую критик надеялся, что не мешает ему по-прежнему печататься в журнале. Прекрасно понимая, какую реакцию вызовет его поведение у «левых», Дедков выдвигает такой довод: «Не ради их пишу, ради Быкова» (03.09.1980).

Лишь однажды, и то не о журнале, а об издательстве «Современник» И.Дедков, по его версии, открыто высказывает то, что думает, что накопилось. Он обвиняет «русскую партию» в том, что «она сама проникнута духом еврейства как торгашества, т.е. беспринципна, пронизана стремлением к должностям, к карьере, заражена куплей-продажей, приятельством и прочим» (09.07.1979). Эта тема с расстановкой тех же акцентов, но с ещё большими обобщениями возникла двумя годами раньше. 29 августа 1977 года И.Дедков записывает: «Но эта русскость оборачивается самым худшим еврейством: дело зависит от кумовства, от обхаживания начальственных лиц, от умения устраиваться»; «Еврейство – это такая болезнь, которая может поражать русских больше, чем евреев».

Думаю, что в какой-то степени И.Дедков прав и в передаче общей атмосферы, и по отдельным персоналиям. «Еврейство» Ю.Прокушева, А.Байгушева, В.Сорокина у меня не вызывает сомнений. К сожалению, ситуация и через тридцать лет не сильно изменилась. Мой опыт и опыт моих друзей, знакомых показывает, что только в «Дне литературы», «Литературной России» тебя как «человека с улицы» прочитают и напечатают оперативно. А знакомство и прочее... С В.Огрызко я до сих пор не знаком, а с В.Бондаренко познакомился уже после того, как он два года печатал меня. В иных же патристических изданиях тебя год будут «читать» и, скорее всего, так и не прочтут...

В последний период жизни И.Дедков более зримо, можно сказать, откровеннее принимает участие в литературной борьбе. И ведёт себя он действительно как «дисциплинированный критик» (Вл. Бондаренко), строго соблюдая известные правила. Так, отталкиваясь от публикации стихотворения Валентина Сорокина («Наш современник», 1990, № 8), И.Дедков задаёт ему, в «прошлом патетическому комсомольскому» стихотворцу, следующие вопросы: «...Где же поэт был раньше, где у него раньше были глаза, если у него действительно так болело сердце за судьбу страны? А если он видел это и раньше, то как он мог быть таким бодрым и таким ретивым в прославлении совсем иных ценностей?»

С не меньшим основанием эти справедливые и неудобные вопросы можно и нужно было задавать, если бы И.Дедков стремился к объективности, «своим»: А.Вознесенскому, Е.Евтушенко, А.Рыбакову, М.Шатрову и многим другим «левым» авторам. Понятно, по каким причинам критик этого не делает. К тому же он, как в случае с В.Сорокиным, нередко относит к «русской партии», «черносотенцам» и т.д. тех, кто ими не является. И что бы сегодня ни фантазировал о Сорокине А.Байгушев («День литературы», 2006, №2) и ни писала Л.Сычёва («Москва», 2006, № 7), по уровню таланта, мировоззрению, направленности творчества я никогда не поставлю его в один ряд с В.Беловым, В.Распутиным, Л.Бородиным, В.Личутиным, Ст. Куняевым, Ю.Кузнецовым и другими «правыми» писателями первого ряда.

По Ст. Куняеву, одна из основных линий водораздела между писателями патриотами и либералами в 60-80-е годы – это отношение к государству (Куняев Ст. Поэзия. Судьба. Россия // «Наш современник», 1999, № 3). Справедливость данной версии подтверждает и судьба Игоря Дедкова. По свидетельству критика от 27 августа 1987 года, у него с детства была неприязнь к государству. Открыто, часто и концентрированно это чувство стало проявляться в дневниках и статьях времён перестройки. Многочисленные суждения Дедкова по сути и форме настолько совпадают с модными либеральными клише, что трудно сказать: суждения эти – плод самостоятельных размышлений или результат влияния времени, друзей... Вот только некоторые дневниковые записи критика: «Сколько же человек бывает свободным? Девять месяцев в чреве матери? Наше государство амбициозно и вездесуще» (04.04.1986); «Государство занимает очень много места; ему не мешало бы потесниться, людям хочется дышать свободнее» (23.07.1986); «...Слишком много места занимает в нашей жизни государство <...>. «Умаляться», то есть «отмирать», оно и не думает» (27.07.1986).

Особенно меня умиляет безответственная наивность, граничащая с невменяемостью, потенциальным предательством, следующих строк: «Наткнулся у Хлебникова на прекрасные строки: «А пока, матери, Уносите своих детей, Если покажется где-нибудь государство. Юноши, скачите и прячьтесь в пещеры И в глубь моря, Если увидите где-нибудь государство» (04.04.1986).

Естественно, что подобные взгляды критика активно транслируются в его газетных и журнальных публикациях. Статья «Жизнь против судьбы» («Новый мир», 1988, №11) – одна из наиболее показательных в этом отношении, думаю, потому, что основные идеи романа В. Гроссмана «Жизнь и судьба» созвучны заветным мыслям И. Дедкова.

Далеко не всякий атеист и ненавистник монархии додумается до такого: «бравому командиру» («Слуга царю, отец солдатам», – именно эти строчки в качестве иллюстрации приводит И.Дедков) противопоставляется гроссмановский комкорпуса Новиков с «нормальным человеческим зрением» (значит, у лермонтовского полковника оно ненормальное). И как продолжение данной линии, многочисленные вариации на тему ценности отдельной личности и неприятие «могучих предрассудков»: «расы, бога, партии, государства». Показательный ряд – очередное свидетельство того, что типичные либеральные «предрассудки» были неотъемлемой частью мировоззрения критика. Подтверждением тому и такое суждение И.Дедкова: герои В.Гроссмана и человек вообще в годы войны сражаются за своё право быть разными, особыми. Более того, критик считает: в праве «на эту особенность – единственный, истинный и вечный смысл борьбы за жизнь».

Ст. Куняев прокомментировал подобные идеи, высказанные участниками «круглого стола», вполне убедительно: «...Без свободы для всего народа, без независимости для государства нет и не может быть никакой свободы для личности. А тут получается, что вроде бы воевали за «права человека» в современном их понимании. Слишком это мало» («Кубань», 1989, № 7).

Идея приоритета самоценной личности, являющаяся центральной во многих статьях И.Дедкова времён «перестройки», ознаменовала очередную «смену вех» в мировоззрении

критика. Он в своей первой книге «Возвращение к себе» (1978) в главе о В.Распутине «Оправдание надежд» трактовал данную проблему принципиально иначе, с традиционных русских «правых» позиций: «Как ни бесценна наша единственная жизнь, как ни близка к телу своя рубашка, есть Дом близких и дорогих людей, есть Родина, Свобода, Честь, и они – превыше её, единственной и бесценной».

Через полтора года после публикации статьи «Жизнь против судьбы» И.Дедков в интервью говорит о разгуле антисемитизма и признаётся в своём незнании, что такое русофобия («Литературная газета», 1990, № 23). При этом аргументация по второму «пункту», по меньшей мере, несерьёзная: «Прожив основную часть жизни в русской провинции, я с «русофобией» не сталкивался и «русофобских» сочинений не читал».

Естественно, когда не знаешь, что такое русофобия, то не можешь «узреть» её и в книгах. И.Дедков не только не замечает русофобии «Жизни и судьбы», но и некоторые русофобски окрашенные мысли героев романа транслирует, соглашаясь с ними. Отталкиваясь от содержания романа, критик высказывает и одну из самых популярных либеральных идей: война велась на два фронта, с врагом внешним и внутренним. Последний «в предвоенное десятилетие исказил, извратил идеи революции». Эта вера в революционные идеалы роднит И.Дедкова с А.Твардовским, В.Лакшиным, Ю.Трифоновым и многими другими. Часть «шестидесятников» (Ю.Карякин, И.Клямкин, В.Оскоцкий и т.д.) в годы перестройки и последующий период отрекаются от Октября. И.Дедков остаётся ему верен до конца жизни, о чём открыто заявляет в статьях «Октябрьская годовщина» («Свободная мысль», 1991, № 16), «Образ революции» («Свободная мысль», 1992, № 15). Заявляет в самое «неудобное» время, на что требовалось мужество. Это, невзирая на расхождения во взглядах на революцию, вызывает уважение.

Но там, где предметом разговора становится история, это постоянство пристрастий – советских или либеральных – особенно «выпирает» в оценках и мешает непредвзятому и глубокому анализу. Ещё в статье «Диктует время» («Литературная газета», 1984, № 51) в качестве недостатков современной критики И.Дедков справедливо называет заикленность на филологических дисциплинах, небрежность и произвольность «выходов» в историю. Но именно в таких «выходах», на мой взгляд, критик наиболее неубедителен, ибо находится в тисках известных стереотипов.

Например, говоря об уязвимости Солженицына-историка («Литературное обозрение», 1991, № 2), И.Дедков приветствует его как «обвинителя в процессе по делу Сталина и сталинизма» и утверждает, что подобная роль «по делу Октября и гражданской войны» малопродуктивна. Здесь хромает и логика, и аргументация: «ответчика в делах такого исторического масштаба обычно находят не среди людей, а в самом сокрушительном ходе вещей». Или хорошо, конечно, что И.Дедков откликнулся «доброй» рецензией на книгу М.Меньшикова («Свободная мысль», 1992, № 12). Но качество работы, как говорится, оставляет желать лучшего. И суть не столько в том, что З.Гиппиус по-прежнему представляет передовую общественность, сколько в том, что М.Меньшикова так мало...

Вообще социалистические и коммунистические «пристрастия» И.Дедкова оказались самыми долговечными и сильными. Долговечнее и сильнее либеральных, о крахе которых чуть позже. В интервью («Юность», 1991, № 3) критик говорит, что его не пугают слова «социалистический выбор», «коммунист» и что из партии он выходить не собирается. Для И.Дедкова коммунистическая идея – «это прежде всего нравственный выбор <...>. Во главу угла – идеи справедливости и равенства». И далее в духе Г.Зюганова критик заявляет, что коммунизм и христианство – «из одного корня». Более чем через год в дневнике И.Дедков вновь назовёт себя коммунистом «по своим чувствам» (27.12.1992).

1991 год в жизни Дедкова можно определить как год окончательной утраты либеральных иллюзий, год прозрения, которое наступило, в первую очередь, через переоценку друзей и знакомых, игравших важную роль в происходящих событиях. 26

ноября 1991 года И.Дедков признаётся: «Я не могу всерьёз воспринимать митинги и новые президиумы, когда там знакомые чересчур лица революционеров – Оскоцкий, Нуйкин <...>». И далее резкость, критическая направленность в оценках друзей и единомышленников значительно возрастает: «Эти марионетки, эти проснувшиеся, прекрасно приспособленные господа... И тот же Валя Оскоцкий, тот же Черниченко, Андрей Нуйкин...» (21.04.92); «Боже, а Черниченко – народный заступник – забыл, должно быть, когда держал в руках перо... каждодневно на экране ТВ» (22.09.93); «Юра Карякин, возгласивший: «Россия, ты сдурела!», давний мой знакомец (или приятель), что ты знаешь о России, когда ты в последний раз её видел?» (22.08.94).

Показательно, что разрыв с друзьями окончательно происходит после событий 3-4 октября 1993 года. Дедков в записи от 7 октября называет торжествующих Оскоцкого, Черниченко, Карякина, Нуйкина «бывшими друзьями и единомышленниками». Своё отношение к этому преступлению ельцинского режима, поддержанному либеральной интеллигенцией, И.Дедков выразит кратко и ясно: «Стыдно. Перебито много народа».

Вот как выглядит динамика отторжения перемен, демократической действительности в дневнике критика. 26 ноября 1991 года он сомневается: «что-то тут не так». Через 19 дней о своём отношении к происходящему Дедков заявляет более определённо: «Побеждает сила, которую невозможно приветствовать». Итожит движение критика в данном направлении запись от 27 декабря 1992 года: «Моё неприятие происходящего никогда не было столь тотальным».

Из многочисленных дневниковых высказываний И.Дедкова 1992-1994 годов следует, что для него неприемлемо царство мелких и подлых страстей, ставка на худшие, а не лучшие качества человека, на деньги и рынок, объявленные центром и основой нового мира, забрасывание грязью советского прошлого и многое другое.

У критика вызывают отторжение Ельцин, А.Яковлев, Гайдар, Бурбулис, Чубайс, Полторанин, о которых он высказывается, как автор «Дня» и «Завтра». Дедковские оценки правителей и идеологов «новой» России, по сути, совпадают с оценками В.Максимова, А.Проханова, М.Лобанова, В.Кожина, В.Бондаренко и других ненавистников преступного режима.

Чаще всего критик характеризует Ельцина и компанию, своих бывших друзей, с позиций честности и последовательности поведения, интересов России и простого человека. Естественно, что проверки этими и другими критериями названные человекообразные не выдерживают.

В Ельцине И.Дедков отмечает «энтузиазм предателя», называет его «политическим оборотнем и пошляком» (21.06.92). Гайдара критик характеризует как очередного «фантазера из Смольного» (М.Горький), как холодного теоретика из «Коммуниста», экспериментирующего над Россией, до которой ему нет никакого дела (08.06.92). Но чаще всего и больше всех достаётся А.Яковлеву. Вот самое мягкое высказывание: «Какую такую новую литературу, какие такие новые документы прочёл тот же Александр Николаевич Яковлев, чтобы прозреть столь поспешно, как он это сделал в конце прошлого года? Заметил ли он, что стал похож на Ельцина, т.е. на примитивного борца против коммунизма, снабжённого текстами не самых одарённых помощников?» (21.19.92).

Из коллективных портретов демократической знати можно было составить передовицы «Дня». Я приведу только одну запись И.Дедкова: «...Несутся, размахивая сабелями, те же самые, что были на плаву и прежде. Они прекрасно чувствовали себя тогда, и теперь не хуже, не горше. Только вчера они строили социализм, теперь принялись строить капитализм» (19.04.1992).

Несмотря на сказанное, позицию И.Дедкова в последние годы жизни можно определить как «ни с кем» (М.Цветаева). Об этом запись от 9 июня 1992 года. Однако, в отличие от поэтессы, у критика были точки опоры: старые – семья, провинция (смотрите характерное свидетельство И.Дедкова от 9 июня 1992 года) и новая – Бог.

\*\*\*

В 12-летнем возрасте И.Дедков перенёс потрясение: под аккомпанемент симфонической музыки в больничной палате он горько плакал, осознавая неизбежность своей будущей смерти. Рассказ об этом событии в дневнике от 22 сентября 1978 года заканчивается многозначительно: «Так я привыкал...».

Но, как свидетельствует дневник, – не привык...

Ощущение краткости жизни, которое приходит, по признанию критика, особенно с годами, пронизывает немало его записей. Они – самые простые, глубокие, поэтичные, печально-трагичные.

Печаль настигает Дедкова и в самые счастливые минуты жизни (например, 24 августа 1978 года, когда прилетел старший сын Владимир и вся семья собралась вновь), и в самые обыденные (как 19 октября этого же года после беседы с сыном-учеником о первопечатнике Иване Фёдорове). И в том и в другом случае горечь-печаль возникает из-за того, что всё проходит безвозвратно и что так не ценится время, «общее с дорогими и любимыми людьми». Как следствие, у Дедкова рождается образ «пролетающие над бездной», где он имеет в виду прежде всего себя, возникает желание зацепиться, найти точку опоры.

Примерно через полгода после этих эпизодов 45-летний Дедков, человек с преимущественно советско-либеральными взглядами, впервые с азав начинает читать Библию. Он стыдится и жалеет, что это произошло так поздно (запись от 29 марта 1979 года).

Путь к Богу был трудным и долгим... Имя Господа начинает появляться в дневнике критика с конца 80-х годов. Его употребление, видимо, ещё формально-случайно и, конечно, внутренне закономерно. Последнее осознаётся И.Дедковым чуть позже. Критик, говоря об удерживающем идеализме, который противопоставляет новым ценностям, уточняет: то, что он называет идеализмом, «равняется вере, сходной с религиозной или же таковой, т.е. ею и является» (06.04.1992). И далее уже, в 1993-1994 годах, обращения к Богу осознанные, обращения как к помощнику и судье.

\*\*\*

Игорь Дедков ушёл из жизни в расцвете творческих сил. Одна из лучших его статей «Объявление вины и назначение казни» («Дружба народов», 1993, № 10) о романе В.Астафьева «Прокляты и убиты» написана с «правых» позиций. В ней предьявляется суровый убедительно-доказательный счёт писателю за неправду в изображении Великой Отечественной войны и человека, за эстетику «естественных потребностей» и «всячески нагнетаемое, концентрированное непотребство», за «подлый мат», за то, что В.Астафьев «по всем правилам новейшего времени <...> ставит в вину человеку его сословную, национальную и физическую природу и готов унижить весь его род», и за многое, многое другое. И защитнику романа А.Ревякиной («День литературы», 2006, № 7) нужно спорить не с репликой Е.Гапон («Литературная Россия», 2006, № 24), а с убивающей наповал блистательной статьёй И.Дедкова или работами К.Мяло, А.Ланщикова, В.Бондаренко, проникнутыми схожим пафосом.

\*\*\*

19 февраля 1994 года умер отец Игоря Александровича. Помимо просьбы простить, слов любви и благодарности, обращённых к отцу, в этой записи есть и такие слова: «Я бы не хотел спешить за тобой. Может быть, Господь Бог мне поможет. Это же не война, чтобы косить всех подряд. Это же жизнь, и она должна продолжаться».

6 ноября 1994 года неизлечимо больной И.Дедков так передаёт своё состояние христианина: «Я шёл и говорил: благодари за счастье идти рядом с родным человеком и

видеть над собой это ясное голубое небо и слепящие полотнища снега, за каждый миг жизни благодарю».

Последняя запись в дневнике критика двучастна. Первая – это слова, обращённые к Богу через цитату из К.Леонтьева. Вторая часть – пронзительно-трогательные воспоминания, связанные с женой, и слова, обращённые к ней. Они заканчиваются так: «Не знаю, принёс ли я тебе счастье, ты мне – да! Другого не хотел, не вообразу, не искал. Без тебя моя жизнь, всё лучшее и достойное в ней не состоялось бы. Ты всегда была моей единственной».

У Анатолия Жигулина, который ни разу не упоминается в дневнике Игоря Дедкова, есть такие строки:

О жизнь моя! Не уходи,  
Как ветер в поле.  
Ещё достаточно в груди  
Любви и боли.

Любви и боли было с переизбытком у Игоря Александровича Дедкова, но 27 декабря 1994 года жизнь ушла...

P.S. В дневнике И.Дедкова от 23 июля 1986 года: «В литературе считается только то, что ты написал. Всё остальное – суета, речи, заседания, борьба за должности – в счёт не идёт». В жизни критика и творческого человека вообще, продолжу я, «считается» не только то, что написал, но и что сделал, как проявил себя по отношению к близким, людям, Родине. И И.Дедков как отец и муж мне видится гораздо значительней как личность, чем И.Дедков-критик. В первом качестве он до конца «провинциал», «моральный консерватор», русский человек.

2006, 2007

## ЮРИЙ СЕЛЕЗНЁВ: РУССКИЙ ВИТЯЗЬ НА ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ

Многие статьи и все книги Юрия Селезнёва были событием в критике 70-80-х годов XX века, вызвали жаркие и долгие споры, эхо которых периодически звучит и в последние два десятилетия. Селезнёв, ссылаясь на традицию народного мировосприятия, писал: «Человек жив, пока жива память о нём». И сегодня у нас есть все основания утверждать, что через 24 года после физической смерти Юрия Селезнёва он жив.

Уникальность критика проявляется уже в следующем. Последнюю прижизненную его книгу «Василий Белов» (М., 1983) отделяют от первой «Вечное движение» (М., 1976) только семь лет. Да и весь творческий путь Селезнёва – от статьи «Зачем жеребёнку колёсики?» («Молодая гвардия», 1973, № 8), принесшей первую известность, до ранней смерти 16 июня 1984 года – составляет неполных 11 лет. И за такой короткий промежуток времени Юрий Иванович Селезнёв стал одним из лучших «правых» критиков, редакторов, одним из самых стойких и отважных бойцов за русское дело. В центре нашего внимания будут человеческие и творческие качества критика, которые обусловили и явили феномен Селезнёва. Начнём с эпизода, ставшего в судьбе критика ключевым.

В 1970 году Юрий Селезнёв, преподаватель русского языка для иностранных студентов, мечтавший о научной работе, приезжает из Краснодара в Москву на



«разведку». Приезжает наобум, ибо даже не знает, к кому можно обратиться за помощью. Выбор пал на Льва Аннинского.

Сей факт, думаю, свидетельствует о неосведомлённости Селезнёва в нюансах литературной борьбы, в том, какую позицию занимает конкретный автор. Но это отнюдь не означает, что правы те, кто видел в Селезнёве невежественного провинциала, окультурившегося в Москве...

Во-первых, по воспоминаниям однокурсников и друзей Юрия Ивановича (Александра Федорченко, Бориса Солдатова, Михаила Эбзеева и других), он ещё в годы обучения на историко-филологическом факультете выделялся среди студентов обширнейшими и разносторонними знаниями, полемическим даром, умением вести на равных литературный разговор с преподавателями факультета. Михаил Эбзеев, например, приводит эпизод, когда доцент Всеволод Альбертович Михельсон, специалист по русской литературе и критике XIX века, в споре с Селезнёвым о Белинском вынужден был признать правоту студента и свою фактическую ошибку, на которую тот указал («Родная Кубань», 2007, № 2).

Во-вторых, известные статьи и книги критика могли появиться только на почве, подготовленной всей предыдущей, краснодарской жизнью. И вообще большое, если не решающее, значение в подобных случаях имеет то, чьими глазами увиден Селезнёв. О его завистливых недоброжелателях, врагах речь впереди. Из многочисленных свидетельств друзей, соратников, знакомых и просто объективных людей приведу высказывание Валерия Сергеева, автора книги «Андрей Рублёв»: «Прекрасно знавший русскую, да и не только русскую, литературу, серьёзный специалист по Достоевскому, он чувствовал себя «дома» и во многих других областях культуры. Люди, близко с ним общавшиеся, помнят о его обширных, иногда неожиданных, познаниях в области русской истории, фольклора, о его интересе к старой и новой живописи, музыке, к отдельным проблемам археологии, лингвистики» (Сергеев В. Сердечный поклон // В кн.: Селезнёв Ю. Память созидаящая. – Краснодар, 1987).

И всё же, несмотря на сказанное, трудно предположить, как бы сложилась судьба Юрия Селезнёва, если бы в свой первый приезд в Москву он не встретил Вадима Кожинова. Будем благодарны Льву Аннинскому за то, что он правильно оценил ситуацию, безошибочно понял, кто нужен кубанскому филологу, и направил его к Кожинovu.

Об огромной – положительной – роли Вадима Валериановича в жизни Селезнёва сказано много и справедливо. Не буду повторять общеизвестное и сразу обращусь к первой книге Юрия Ивановича «Вечное движение». Она – своеобразная точка отсчёта, дающая представление о том, с чего начинал Селезнёв-критик.

Не вызывает сомнений, что «Вечное

движение» – именно первая книга автора. Очевидна разнокачественность её глав: в некоторых из них видны следы профессионального ученичества. Однако глава о творчестве Василия Белова «Современность традиции» написана на уровне зрелых работ Селезнёва и лучшей критики 70-х годов.

Сразу бросается в глаза и то, что в данной книге отсутствуют ссылки на классиков марксизма-ленинизма, Леонида Брежнева, партийные документы и т.д. Это, несомненно, отличало её от работ подавляющего числа критиков, литературоведов, публицистов разных направлений.

На идеологические «проколы» книги Ю. Селезнёва указал в статье «Полемические маргиналии» Юрий Суровцев, один из «неистовых ревнителей» марксистско-ленинской идеологии того периода. Он в разделе с говорящим названием «Жажду осознанной идеологичности» указывает, в частности, на такие «уязвимые» места в книге Юрия Селезнёва: «...Эта трактовка, столь бесспорная по первому впечатлению, «незаметно» лишается классовой, идеологической определённости»; «к тому же – что это за списки литературных героев, в которых опять-таки пропадает реальное духовно-идеологическое

различие между ними?»; «внеисторичность, абстрактность подобных критических построений Ю.Селезнёва становится особенно очевидной» («Вопросы литературы», 1979, № 12). С Юрием Суровцевым всё давно понятно, и комментарии к его высказываниям излишни. Гораздо труднее разобраться в оценках книги уже в постсоветское время: в них расстановка идеологических акцентов, на первый взгляд, не вызывает сомнений, но она – плод фантазии и произвола.

Через 23 года после выхода книги Юрия Селезнёва Вадим Кожинов в статье «Судилище...» сообщил интересный факт, сопроводив его своим комментарием. Альберт Беляев, гонитель «русской партии» от ЦК КПСС, получил экземпляр книги Селезнёва, в котором, по словам Кожинова, «были жирно подчёркнуты определения «советский» и «русский», при этом становилось очевидным, что первый эпитет относился к чуждым автору писателям, а второй – к любезным ему... Нынче можно спорить о правомочности этого «разграничения», но тогда, четверть века назад, оно было по-своему оправданно» («Москва», 1999, № 1).

Я, не раз читавший эту книгу Селезнёва, не обратил внимания на указанную закономерность употребления слов «русский» и «советский». К тому же, подобное «разграничение» во многом созвучно моему видению вопроса...

Однако на самом деле в книге «Вечное движение» не только нет противопоставления понятий «русский» – «советский», но и «советский» (логическое определение, названное почему-то Кожиновым эпитетом) встречается предельно редко, не более пяти раз на 236 страницах. Главное же – «советский» не несёт у Селезнёва того отрицательного смысла, о котором говорит Кожинов.

Например, в главе «Словом всё делается» данное определение употребляется единственный раз в таком контексте: «идуший от истоков основоположника советской литературы – Максима Горького». В главе «В одно сердце с людьми», где творчество Виктора Лихоносова сравнивается с чуждыми Ю.Селезнёву авторами «исповедальной прозы», слово «советский» отсутствует вообще. Лишь в главе «Слово живое и мёртвое» «советский», казалось бы, несёт ту смысловую нагрузку, о которой писал Кожинов. В этой главе Селезнёв приводит примеры необоснованного употребления иностранных слов в отрывках (авторы которых не называются) и делает вывод: «Все эти слова извлечены не из специально-научных сочинений, а из произведений советских писателей». Версия Кожинова сработала бы в данном случае, если бы не контекст, не предыдущее предложение, из которого следует, что советская литература – «наша литература».

Итак, тех смысловых акцентов, о которых писал Вадим Валерианович, в книге Юрия Селезнёва нет. Но в ней есть всё то, что позволило начинающему автору в кратчайший срок стать одним из лучших «правых» критиков.

Независимость и смелость суждений – одно из главных качеств Юрия Селезнёва. В «Вечном движении» оно проявляется по-разному. Во-первых, по отношению к писателям – героям книги. Наиболее показательна глава «Грани народного характера». В ней на протяжении почти 30 страниц говорится о серьёзных творческих неудачах таких разных авторов, как Владимир Солоухин, Владимир Тендряков, Борис Васильев, Анатолий Липатов, Иван Рыжов, Иван Зубенко. Прочитав лишь высказывание о «правом» прозаике, в то время почти классике, Владимире Солоухине: «К сожалению, именно элементы туристического взгляда на серьёзные вопросы времени стали преобладать в «Букете хризантем», «Бутылке старого вина», «Обеде за границей» и, наконец, стали господствующими в повести «Прекрасная Адыгене» («Наш современник», 1973, № 8, 9).

Автор её полагает почему-то, что его личные заботы о том, как бы убавить килограммы, продлить свою жизнь и т.п., должны вызывать по меньшей мере сочувствие и расположение читателей».

В других главах «тотальной» критике подвергается лишь Даниил Гранин («Словом всё делается») и «исповедальная проза» («Жизнь на пороге»). Отдельные же неудачи, художественные просчёты Юрий Селезнёв находит у Валентина Распутина («Мужество

добра»), Евгения Носова («Со мною на земле...»), Василя Быкова («Быть человеком»), Андрея Битова («Жизнь на пороге»).

Итак, далеко не каждый критик, тем более начинающий, отважился бы на такое отношение к известным писателям, преимущественно авторам первого ряда. Нетипичным выглядело и несоблюдение правил литературной борьбы. Это проявилось также в полемике с Аллой Марченко, Владимиром Кардиным, Мариэттой Чудаковой, Владимиром Камяновым, Владимиром Вороновым, Феликсом Кузнецовым, Анатолием Ланщиковым, Виктором Чалмаевым и другими критиками.

Подобная творческая и человеческая независимость была не только не в чести, но и по-разному порицалась, преследовалась большинством участников событий с обеих сторон. Например, 27 декабря 1977 года Игорь Дедков (который в то время лавировал между «правыми» и «левыми», душой, идеями принадлежа к «левым») записывает в дневнике: «Кажется, восстанавливаются наши отношения с Оскоцким» (Дедков И. Дневник. 1953-1994. – М., 2005). Поводов же к охлаждению, как сообщает Дедков, было два. Один из них – «несколько сочувственных слов о Селезнёве» в письме к Валентину Оскоцкому. Как видим, даже эпистолярное, никому не известное нарушение правил вело к таким серьёзным последствиям. Что же говорить о статьях, книгах, публичных выступлениях?

Вновь подчеркну: суть в данном случае не в Валентине Оскоцком, одном из самых неистовых «левых» русофобов последней трети XX века. Реакция «справа», «своих», была, по сути, аналогичной. Поэтому закономерно, что независимая позиция Юрия Селезнёва породила немало завистников, недоброжелателей, врагов. Они и люди просто недалёкие выдумали разные нелепые мифы, один из которых (самый устойчивый) звучит так: Юрий Селезнёв – плохая копия Вадима Кожинова и Петра Палиевского.

Данная версия легко опровергается даже на примере первой книги критика. Достаточно хотя бы сравнить статьи Селезнёва о Битове («Жизнь на пороге») и Белове («Современность традиции») со статьями Кожинова об этих авторах «Современность искусства и ответственность человека», «Голос автора и голоса персонажей. «Привычное дело» В.Белова» (работы смотрите в книге: Кожинов В. Статьи о современной литературе. – М., 1982). Любой непредвзятый читатель увидит разное толкование одних и тех же произведений названных авторов. Для меня очевидно, что статья Кожинова о «Привычном деле» значительно слабее статьи Селезнёва о Белове, а работа Вадима Валериановича о Битове профессиональнее и содержательнее работы Юрия Ивановича об этом прозаике.

Что же касается Петра Палиевского, то книга «Вечное движение» даёт возможность провести следующую параллель. В главе «Слово живое и мёртвое» Юрий Селезнёв трижды ссылается на статью Палиевского «Мировое значение М.Шолохова». Она вместе с работой «К понятию гения» была особенно популярна у «правых» в 70-80-е годы, а их автор виделся многим одним из главных теоретиков, идеологов «русской партии», её «серым кардиналом».

В названной статье Селезнёв в своих рассуждениях о гуманизме и народности, на первый взгляд, идёт вслед за Палиевским. Но если прочитать обе работы внимательно, то станет очевидным, что Селезнёв вступает в скрытую полемику с признанным «правым» автором.

Думаю, не случайно Юрий Иванович опускает одну из центральных идей Петра Васильевича: Михаил Шолохов «прервал традицию» русской классической литературы. Эта идея дважды иллюстрируется на примере сравнения с Пушкиным. Чтобы избежать упреков в вольном пересказе, толковании принципиальнейших суждений Палиевского, процитирую их: «И наконец, у Шолохова впервые явилась сама масса, поднимающая других. Как будто литература, достигнув «дна», качнулась и пошла наверх, увлекая за собой то, чего не видели и вседостигающие «пушкинские лучи»; «Пушкин её (трудно понять, то ли «меру беспощадности», то ли «железную пургу». – Ю.П.) предвидел, но

видеть не хотел <...> С неоспоримым знанием народа он (Шолохов. – Ю.П.) увидел бунт самый беспощадный, но не в бессмыслице, а в ясно различимом историческом мировом смысле. Это действительно нечто новое и беспрецедентное. Собственно, это единственная пока точка зрения – не заявленная, а предъявленная – вышедшая за пределы, очерченные в литературе Пушкиным, и её можно принимать за начало нового художественного мировоззрения».

В этих рассуждениях литературоведа узнаётся хорошо знакомая идея о неполноценности русских классиков по сравнению с советскими авторами, вооружёнными «единственно верным учением», которое и позволяет им достичь немислимых даже для Пушкина мировоззренческих и творческих высот.

Только у Петра Васильевича эта идея выражается не столь примитивно-грубо, как у многих его предшественников и современников, и круг новаторов сужен до одного Михаила Шолохова, и стиль статьи почти одический, и какая изящная игра слов... Только грустно, как грустно...

Итак, в главе «Слово живое и мёртвое» Юрий Селезнёв, первоначально следуя за Петром Палиевским, вступает с ним в незримую полемику на главном этапе своих размышлений. В творчестве Шолохова критик увидел не разрыв с классической традицией, а продолжение её. О месте Пушкина в данном контексте сказано принципиально иначе, чем у Палиевского, сказано предельно точно: «Итак, шолоховское начало – в Пушкине, там же, где начало Достоевского и всей русской литературы. А само это пушкинское – в началах народного мироотношения».

Так, размышляя о Пушкине, Шолохове, Пришвине, Юрий Селезнёв естественно выходит на проблему народности. Она – ключевая во всём его творчестве, и символично, что последняя книга критика, «Глазами народа» (М., 1986), полностью посвящена проблеме народности в русской литературе и национальной мысли. В первой же книге расставлены некоторые основные акценты в трактовке вопроса, и с позиции народности оцениваются автором современная проза («традиционная школа» в первую очередь) и отечественная словесность разных веков.

Показательно одно из ударных мест «Вечного движения», отмеченное авторским клеймом Селезнёва-критика. В первой главе, «Словом всё делается», он приводит большую цитату из Максима Горького, которая заканчивается словами: «...Храм русского искусства строен нами при молчаливой помощи народа, народ вдохновлял нас, любите его». Далее Селезнёв, справедливо поправляя «буревестника революции», формулирует одну из своих заветных идей, которая, обретая различные смысловые обертоны, пройдёт через его творчество: «Но народ был не только молчаливым вдохновителем храма русского искусства, он был истинным героем литературы, её нравственным центром. Дело не в том, сколько представителей народа стало героем того или иного романа, а в том, что все без исключения герои времени оценивались писателями только по тому, как их жизнь соотносилась с жизнью народной, с народными идеалами и устремлениями. Именно идеалы народные были тем последним судом, которым судили русские писатели своих героев».

И эта постоянная приверженность народности сближает Селезнёва не с традиционно называемыми Вадимом Кожиновым и Петром Палиевским, а с Михаилом Лобановым, который ещё в 60-е годы возвёл народность в ранг главного критерия в оценке литературы и жизни (об этом я подробно говорю в статье «Русский критик на передовой» // «Наш современник», 2005, № 11). Работы Михаила Петровича Юрий Иванович цитирует на протяжении всего творчества, и главное – мысли Лобанова созвучно живут и органично развиваются в мире Селезнёва.

Ещё одна особенность, отличающая «Вечное движение» и последующие книги критика, – это частые параллели с русской и мировой классикой в разговоре о современной литературе. И всякий раз подобные сравнения к месту, они идейно и композиционно обусловлены и направлены прежде всего на то, чтобы определить, в какой

системе идейно-эстетических координат работает тот или иной писатель. Вот только некоторые авторы, фигурирующие в этом контексте в первой книге: Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Некрасов, Тургенев, Тютчев, Достоевский, Л.Толстой, Есенин, Пришвин, Шекспир, Сервантес, Гёте. Весьма заметно, что Пушкин, Достоевский, Пришвин цитируются Юрием Селезнёвым чаще всего. Эти авторы – своеобразные маяки, с которыми критик сверяет правильность курса современной литературы.

В один год с «Вечным движением» была опубликована статья Селезнёва «Мифы и истины» («Москва», 1976, № 3) – отклик на книгу О.Сулейменова «АЗ и Я» (Алма-Ата, 1975). Уже на рубеже 90-х на страницах центральных изданий залпом появились интервью казахского писателя «АЗ и Я». Судьбы книги («Правда», 1989, № 285), «Возвращённая книга Олжаса Сулейменова» («Юность», 1991, № 11), «Послесловие к опальной книге» («Литературная газета», 1990, № 29). В них писатель озвучил свою версию событий. Согласно ей, Сулейменов выступил «против лжеистории», против «крупных имён, руководителей школ по изучению и переводу текстов «Слова о полку Игореве». И как результат – травля книги в печати, изъятие её из библиотек, гибель под ножом части тиража.

Кому все эти строки адресованы? Доверчивому читателю, не владеющему информацией? Экзальтированным особам типа Новодворской, которые бьются в истерику от слов «Россия», «империя» (а Сулейменов употребляет последнее слово неоднократно и в разных контекстах, но с одинаковым устрашающе-негативным смыслом)?.. Не знаю.

Передо мной экземпляр «АЗ и Я», который я брал в библиотеке в конце 70-х годов, взял его и сейчас. Версию про нож не комментирую. Что же касается травли в печати, то это была естественная полемика вокруг столь неординарной книги. И закономерно, что одним из первых на выход «АЗ и Я» отреагировал Юрий Селезнёв, чью статью Сулейменов назвал «оскорбительной».

«Мифы и истины», на мой взгляд, – одна из лучших работ критика, в которой он продемонстрировал всю свою интеллектуальную мощь, блистательный талант полемиста, здоровое национальное чувство. Юрий Иванович относит книгу Олжаса Сулейменова к мифотворчеству и указывает на её отличительные черты: полуфакты вместо фактов, видимость аргументации, сознательная тенденциозность. Для критика основным было понять природу ошибок автора «АЗ и Я», главную идею книги, под которую подгоняется вся система доказательств.

В итоге Селезнёв пришёл к следующему выводу: история развития человечества, по Сулейменову, – это «цепь последовательных заимствований различными народами достижений Главного (еврейского. – Ю.П.) народа». Критик обращает внимание, что только в этом единственном случае автор книги использует заглавную букву, а также именует Главный народ «избранным народом». Применительно же к истории создания «Слова...» данная концепция трансформируется так: древние русичи, характеризующиеся Сулейменовым как «дикие жители лесных чащоб», культурные и прочие достижения получили от кочевников, а те, в свою очередь, – от евреев.

В таком контексте вопрос, который, по версии Сулейменова, был задан ему в доверительной беседе в ЦК КПСС: «Это правда, что у тебя мама – бухарская еврейка?» – выглядел во многом ожидаемым. Объяснение подобным теориям, в первую очередь, ищут в происхождении либо в осознанном или неосознанном шабесгойстве...

Меня больше удивил ответ на прозвучавший вопрос (О. Сулейменов, по его словам, «не заглядывал в паспорт матери») и комментарий к нему, сделанный через годы: «Видите, как всё просто – любое инакомыслие объясняется составом крови» («Юность», 1991, № 11). Удивил комментарий потому, что автор «АЗ и Я» постоянно применяет подобный «кровавый» подход в своей книге. Юрий Селезнёв не раз говорит об этом в статье и так, например, передаёт одну из ключевых идей Сулейменова: «Вы говорите «храбрые», «мудрые», «образованные» русские князья, – подбирается к главному автор

книги «АЗ и Я», – естественно, ведь в жилах... Игоря и Всеволода течёт добрая струя (курсив мой. – Ю.С.) кипчакской крови». Именно она «придаёт особый вкус и смысл древнерусской народности».

Критик, комментируя такие изыскания, подчёркивает, что Олжас Сулейменов постоянно противопоставляет «славянское» – «тюркскому» и почти не говорит о мирных, трудовых, культурных отношениях славян и тюрков, об их совместных военных успехах. Можно добавить, что и через 15 лет после выхода книги ничего не изменилось в этом «пункте» во взглядах казахского писателя. Он в интервью «Возвращённая книга Олжаса Сулейменова» так показательно, так либерально-примитивно, в высшей степени односторонне размышляет о нашей уже близкой истории: «Русский язык приходил на окраины с Пушкиным и с пушками, не как культурное явление в чистом виде, но вместе с имперской колониальной системой» («Юность», 1991, № 11).

Юрий Селезнёв указывает на многочисленные фактические ошибки разной направленности в книге Сулейменова – от этнологических до языковедческих. Например, критик напоминает автору «АЗ и Я», занятому подсчётами процента половецкой крови в славянах, что «сами половцы по своему происхождению динлинский, то есть европеоидный, но значительно тюркизированный народ». В этом и в других случаях Юрий Селезнёв опирается, ссылаясь на работы Михаила Артамонова, Бориса Рыбакова, Льва Гумилёва и других историков. И отталкиваясь от высказывания Льва Гумилёва о тюрках как понятии чисто лингвистическом, критик ставит под сомнение и подход автора «АЗ и Я» к тюркам как к расовому единству.

Олжас Сулейменов якобы сокрушает имперские научные предрассудки и на уровне происхождения слов. Один из главных его посылов звучит так: «Семиты приносят знак, название и значение в славянские культуры. Но славянские общества к тому времени ещё не готовы к восприятию столь отвлечённой идеи». Поэтому от слова Ра-иль (где Ра – Бог) «коллективные мышечные потуги бородатых методов» смогли породить лишь слова роса, рябина, радуга, работа, раб и другие.

Юрий Селезнёв на примере истории народов и языка доказывает абсурдность версии Олжаса Сулейменова. Критик, в частности, утверждает: «Интересно, изменилось бы что-нибудь в многозначительной концепции Сулейменова, если бы он знал, по крайней мере, что, скажем, древнерусское «раб» (работа и т.д.) никакого отношения ни к израильскому, ни к египетскому Ра не имеет, даже и по форме, ибо произошло от древнеславянского, более того, – индоевропейского корня orbъ (орбота – работа, орб – раб)? Думаю, что нет».

Книга Сулейменова была переиздана, статья Селезнёва не вошла ни в один из сборников критика, и при нынешней системе хранения журналов в библиотеках практически недоступна читателю.

1976 год стал знаменательным в судьбе Юрия Ивановича Селезнёва и тем, что он после долгих мытарств нашёл-таки работу по душе. Именно в редакции «ЖЗЛ» Селезнёв реализовал себя как русский подвижник, несгибаемый боец, делатель.

Друзья, коллеги, состоявшиеся и несостоявшиеся авторы «ЖЗЛ» (Юрий Лошиц, Вадим Кожинов, Сергей Лыкошин, Игорь Золотусский, Олег Коротаев, Валерий Сергеев, Виктор Калугин, Виктор Лихонос, Александр Федорченко, Владислав Попов и другие) оставили воспоминания, по которым легко можно воссоздать жизнь Юрия Селезнёва в «молодогвардейское» почти пятилетие. Оно отмечено прежде всего титаническим трудом и, по словам Вадима Кожинова, «непрерывным горением», «жизнью на пределе» (Кожинов В. Первая встреча // В кн.: Селезнёв Ю. Память созидаящая. – Краснодар, 1987).

Сам Юрий Селезнёв в сентябре 1980 года в письме к Виктору Лихоносову откровенно и относительно подробно повествует об этом периоде своей жизни. В целях экономии печатной площади приведу лишь отдельные отрывки из письма: «...Было, наверное, и что-то дельное: не случайно же книжки жезэловские сейчас до пены доводят кое-кого и расправы требуют, и немедленной, – значит, работают. А ведь в этих книгах и я

есть, невидимо, но есть, я-то знаю: некоторые мною же задуманы, и авторов нашёл, и убедил их написать (и не побояться написать). Тратил время – не рабочее: на работе – встречи, мелочи, бумажки, и главное – бумажки, в день отвечаешь на двадцать-тридцать писем, на кучу жалоб, доносов и т.д., а дома, после работы, читал уже рукописи, редактировал, писал письма с советами и просьбами, чтобы ещё доработали <...> А ведь хотелось ещё и самому что-то написать, но больше писал не оттого, что хотелось, а потому, что это было кому-то нужно: то ли судьба чьей-то книги решалась, а то и просто судьба – знаешь, часто от одной несчастной рецензии, от одного упоминания имени судьба решается и так и эдак. А для себя оставались вечера и ночи, свободные от работы, и спал по четыре-пять часов в сутки, а то и вовсе не ложился, пока силы были, и шёл на работу, снова в то же колесо: пробивал рукописи в издательстве, цензуре, ЦК и т.д. – как никогда не бился ни за одну свою вещь» («Родная Кубань», 1999, № 3).

В этой связи удивляют и, мягко говоря, возмущают облыжные оценки некоторых авторов, данные Юрию Селезнёву. Всеволод Сахаров, например, в статье «О том, как я не написал книгу «Владимир Одоевский» для серии «ЖЗЛ» так характеризует Селезнёва: «Иногда мне казалось, что у этого просчитывающего каждый свой шаг человека вообще не могло быть истинных друзей, а тот способ, которым он спокойно избавился от мешавшей его карьере «старой» краснодарской семьи и передал её (семью, конечно, а не карьеру) своему подчинённому, и по сей день удивляет меня какой-то бальзаковской бессердечностью»; «ему (аспиранту Литинститута. – Ю.П.) надо было выбиться в люди номенклатуры и остаться в Москве, а это всегда стоило дорого» ([http://archives.narod.ru/jzl\\_shrv.htm](http://archives.narod.ru/jzl_shrv.htm)).

Всеволод Сахаров, называющий себя критиком и не забывающий при этом упомянуть о своих «докторской степени и академических званиях», казалось бы, просто обязан руководствоваться хотя бы элементарной логикой и минимальными знаниями. Его злобные фантазии, в высшей степени несправедливые характеристики не выдерживают даже лёгкого дуновения критики.

Приведу факты, которые Всеволодом Сахаровым игнорируются и которые говорят сами за себя. После окончания аспирантуры в 1975 году у Селезнёва истёк срок временной московской прописки, а в неё, как известно, упиралось решение многих проблем, начиная с работы. Юрию Ивановичу, набиравшему известность критику, предложили написать статью «на заказ» для издательства. И Селезнёв, который одной этой статьёй мог сразу решить вопросы прописки и работы (такова была цена предложения), Селезнёв, по Сахарову, человек сверхпрактичный, отказался. Писать и поступать против совести Юрий Иванович не мог, не хотел и не научился в дальнейшем.

Непонятно, в чём проявились расчёт и бессердечность Селезнёва в «истории» с «краснодарской семьёй». Юрий Иванович развёлся с Людмилой Власовой в сентябре 1977 года. Кооперативную квартиру, свою первую квартиру, он купил в конце предыдущего года. Прожив в ней несколько месяцев, Селезнёв оставил квартиру бывшей жене и дочери, а сам вновь оказался бездомным. О каком карьерном росте говорит Сахаров, если Юрий Иванович с момента развода и до своего ухода из «ЖЗЛ» в феврале 1981 года оставался на прежней должности? И главное – не Селезнёв «избавился» от семьи, а его жена «нашла себе другого»... О том, как Юрий Иванович переживал этот неожиданный удар, смотрите, например, письмо Селезнёва к Олегу Коротаеву от 13 сентября 1977 года (Коротаев О. Когда душа с душою говорит... // В кн.: Селезнёв Ю. Память созидаящая. – Краснодар, 1987) и дневниковую запись Владимира Крупина от 31 августа того же года (Крупин В. Выбранные места из дневников 70-х годов // «Наш современник», 2004, № 5).

И наконец, сахаровский миф о Селезнёве, просчитывающем каждый свой шаг, опровергается деятельностью Юрия Ивановича на посту заведующего редакцией «ЖЗЛ». Самохарактеристики Селезнёва из письма к Виктору Лихоносову подтверждаются его поступками и свидетельствами разных людей. Напомню лишь очевидное: то, что «Островский» Михаила Лобанова, «Гончаров» Юрия Лощица, «Гоголь» Игоря

Золотусского были опубликованы в СССР, заслуга, в первую очередь, Юрия Селезнёва. Я процитирую показательное высказывание именно Игоря Золотусского, человека и критика нейтрального, чья порядочность, если не ошибаюсь, не ставится под сомнение ни «правыми», ни «левыми».

Уже после смерти Юрия Ивановича Игорь Петрович вспоминал: «Против издания книги («Гоголь». – Ю.П.) были многие – начиная от редактора и кончая директором издательства. И если книга вышла, то это во многом заслуга Юрия Селезнёва. Ему грозило снятие с работы – не только из-за моей книги, но из-за той твёрдой позиции, которую он занимал – но он стоял насмерть. Дело было не в его личных симпатиях к тому или иному автору (в данном случае ко мне), а в том, что он придерживался с автором одних и тех же взглядов. Он был человек идейный, человек убеждённый.

<...> Как чист был взгляд его глаз, так чист он был в отношении своих пристрастий. И если он верил в какую-то идею или в какую-то книгу, он имел смелость сказать о своей вере на любом суде» (Золотусский И. О Юрии Селезнёве // В кн.: Селезнёв Ю. Память созидаящая. – Краснодар, 1987).

Одно из самых известных, цитируемых и вспоминаемых высказываний Юрия Селезнёва – это ставшая крылатой фраза о Третьей мировой войне. 21 декабря 1977 года состоялась дискуссия «Классика и мы», в которой принимал участие и Селезнёв. В своём выступлении Юрий Иванович, в частности, сказал: «Но Третья мировая война идёт давно <...> Третья мировая война идёт при помощи гораздо более страшного оружия, чем атомная, или водородная, или даже нейтронная бомба. <...> И эти микробы, которые проникают к нам, те микробы, которые разрушают наше сознание, эти микробы гораздо более опасны, чем те, которые... против которых мы боремся в открытую.

...Классическая, в том числе и русская классическая литература, сегодня становится едва ли не одним из основных плацдармов, на которых разгорается эта Третья мировая идеологическая война. И здесь мира не может быть, его никогда не было в этой борьбе <...> эта мировая война должна стать нашей Великой Отечественной войной – за наши души, за нашу совесть, за наше будущее...» («Москва», 1990, № 3).

Конечно, осознание сущности этой «войны» пришло к Селезнёву не перед выступлением... Конечно, он понимал, что «Третья мировая // началась до Первой мировой» (Ю.Кузнецов). Вообще, «Третья мировая» – это вечная война Бога и дьявола, добра и зла... Применительно же к теме нашего разговора – это война денационализированной интеллигенции с русской государственностью, Церковью, традиционной системой ценностей, национальной культурой, литературой. Поэтому и не только поэтому вызывает улыбку нелепый комментарий Наталии Ивановой к выступлению Юрия Селезнёва, сделанный через много лет после дискуссии в статье «Возвращение к настоящему»: «Против кого же была объявлена эта «война», с кем призывали ещё тринадцать лет тому назад, да и сегодня призывают воевать насмерть?» («Знамя», 1990, № 8).

Уточню ещё раз: война русской литературе была объявлена Белинским и Добролюбовым, Лениным и Луначарским, Маяковским и Бриками и их многочисленными сторонниками, последователями. «Правые» же были вынуждены отвечать на удары «левой опричнины», которая не просто захватила страну, но полонила умы и души миллионов наших соотечественников. И книги «ЖЗЛ» «Гончаров», «Островский», «Гоголь», «Державин», «Андрей Рублёв» и другие были важной составляющей в этой борьбе против космополитического ига.

Юрий Лощиц, Михаил Лобанов, Игорь Золотусский (называю тех, чьи работы чаще всего ставились в вину Юрию Селезнёву как заведующему редакцией «ЖЗЛ») утверждали последовательный и непоследовательный православный взгляд на историю России, Церковь, отдельные сословия (духовенство, дворянство, купечество), вели открытую и скрытую полемику со взглядами Белинского, Добролюбова, Писарева, Ленина и т.д., утверждали принципиально новый подход к творчеству Гончарова, Островского,



Гоголя... Понятно, что эти книги вызвали шок и многочисленнейшие, длительнейшие, сверхрезкие нападки со стороны официальной и либеральной критики. Напомню лишь возмущённое название статьи профессора МГУ, автора вузовских учебников по русской литературе и критике Василия Кулешова «А было ли «тёмное царство»?» («Литературная газета», 1980, 19 марта).

Всех этих кулешовых, суровцевых, дементьевых, николаевых и прочих канторов можно понять. В то время, когда Анатолий Гладилин, Василий Аксёнов, Владимир Войнович, Булат Окуджава в своих книгах в серии «Пламенные революционеры» воспевали Робеспьера, Пестеля, Фигнера, Красина, Юрий Лощиц, Михаил Лобанов, Игорь Золотусский оценивали человека, время, литературных героев с позиций православной духовности. Естественно, что и идея революционного переустройства жизни ставилась под сомнение или открыто отвергалась, как, например, в книге Юрия Лощица.

Уже в самом начале её с иронией говорится о Великой французской революции, которая, как идея переустройства жизни, не принимается людьми, крестившими младенца Ваню Гончарова. Людьми «патриархально-консервативно-традиционного» склада. Об их мире, который русскими вырожденцами был назван «тёмным царством», Юрий Лощиц пишет любовно-поэтично: «Им не казалось это (крестины ребёнка. – Ю.П.) скучным, потому что они любили всё, что повторяется в жизни, что придаёт ей величавое достоинство, аромат устойчивости и неизменности. Этими повторениями жизнь как бы благословлялась для новой череды крестин и венчаний, отпеваний и поминок и опять крестин.

Их радовало, что так же поступали их отцы, и деды, и деды их дедов, и они были уверены, что так будет повторяться и всегда, до скончания веков. Жизнь цвела для них обрядами, и даже в самом грустном из обрядов была доля радости. Обряды были не только внутри церкви, но и за её оградой, на улице, в любом доме, в том, как здороваются друг с другом и как прощаются, как входят в жильё, как садятся за стол и встают из-за стола, какие кушанья готовят к определённому дню, к большим и малым праздникам... Обряд понимался как образ поведения. В конце концов, вся их жизнь была бесконечным обрядом, от которого они никогда не уставали».

Кульминацией в нападках на Михаила Лобанова, Юрия Лощица, Игоря Золотусского стало обсуждение книг, выпущенных в «ЖЗЛ», обсуждение, устроенное в стенах редакции журнала «Вопросы литературы» и опубликованное в девятом номере за 1980 год. Многочисленные идеологические выпады В.Жданова, А.Дементьева, А.Анастасьева, П.Мовчана, И.Дзевекина звучали как политические обвинения, после которых следовало сделать соответствующие выводы.

Для тех, кто не читал или подзабыл или попал в плен многочисленных либеральных фантазёров, приведу в качестве иллюстрации высказывание Александра Дементьева. Его потому, чтобы в очередной раз продемонстрировать идейно-эстетический уровень новомировского заместителя Александра Твардовского, из которого до сих пор некоторые авторы пытаются делать «литературоведа, ценимого в научной среде» (Твардовская В. А.Г. Дементьев против «Молодой гвардии» // «Вопросы литературы», 2005, № 1). Итак, сотрудник ИМЛИ РАН им. М.Горького (куда Юрий Селезнёв, лучший специалист страны по творчеству Ф.М. Достоевского, не прошёл по конкурсу) в своём выступлении «Когда надо защищать хрестоматийные истины», в частности, изрёк: «В.И. Ленин говорил, что статья Добролюбова о романе Гончарова «ударила как молния», что из разбора «Обломова» Добролюбов «сделал клич, призыв к воле, активности, революционной борьбе». <...> Однако Лощиц не обратился и к ленинским суждениям об обломовщине, хотя они, конечно, заслуживали его внимания»; «Лощиц и Лобанов предпочитают женщин старого домостроевского склада (каюсь, я тоже. – Ю.П.). Как же не подивиться этому?»; «Совершенно неверно и утверждение Золотусского, что после возвращения из-за границы в конце своей жизни Белинский якобы «отходит от заключений своего «зальцбруннского письма». Несомненно, более правы были Герцен, назвавший письмо

Белинского «завещанием», и Ленин, увидевший в письме Белинского итог его литературной деятельности».

Конечно, при чтении материалов «круглого стола» в «Вопросах литературы» нужно учитывать «лепту», которую внесла в выступления редакция журнала, учитывать то, о чём сообщал в письме к Александру Федорченко Юрий Селезнёв: «Мою статью порезали до неузнаваемости под предлогом, что – это-де, не они, а цензура, но я узнал, что цензура ни слова не тронула <...> Цензура, напротив, убрала из других статей такие обвинения, которые на нас полетели, после которых – «в Сибирь, в кандалы!» <...> и антисоветизм, и антисемитизм, и «против Ленина», и против революционных демократов (это-то осталось), и «нововеховцы» мы, и «диссиденты солженицынского толка» – в иных, более утончённых формах, конечно» (Цит. по Федорченко А. Подвижник и плоды беспамятства. – «Родная Кубань», 2007, № 2).

Но даже в том виде, в котором опубликована статья Селезнёва, она производит очень сильное впечатление, прежде всего, умением критика стоять до конца, умением ответить ударом на удар. Например, тому же Александру Дементьеву не понравилась фраза из книги Олега Михайлова «Державин» о «довольно сладеньких стихах» Гейне, в ней он увидел проявление национализма. Селезнёв в этой связи замечает: «Ну, а вот, скажем, Белинский куда хуже – называл Гейне пигмеем по сравнению с Гёте. Заметьте: не в двух-трёх стихах (как в случае О. Михайлова. – Ю.П.), но весь Гейне... Представьте, какие грехи можно приписать Белинскому, следуя той же логике! Подобные методы способны далеко завести».

Юрий Селезнёв убедительно оспаривает многие обвинения в адрес авторов «ЖЗЛ», проверяя на прочность, анализируя факты и «фактики», приводимые Дементьевым и компанией. Критик демонстрирует блестящее знание творчества И. Гончарова, А. Островского, Н. Гоголя и «сопутствующей» литературы и критики.

Так, В. Жданову, который всю жизнь занимался изучением творчества А.Н. Островского, Юрий Иванович отвечает убедительно, подробно, по пунктам, и сомнений в его правоте не возникает. По понятным причинам приведу лишь один контраргумент Селезнёва: «В.Жданов, например, знает жизнь Островского до таких тонкостей, что может себе позволить упрекнуть Лобанова, описавшего вечер 1847 года, на котором драматург читал свою пьесу в присутствии Грановского: «...Источниками всё это не подтверждается». Однако вполне х р е с т о м а т и й н ы й источник (он приводится в сноске. – Ю.П.) на стр. 527 не подтверждает отнюдь не М.Лобанова, а самого В.Жданова». И далее приводится цитата из воспоминаний М.Садовского.

Конечно, следует сказать и о другом. Стремясь спасти «ЖЗЛ», авторов, спасти такое нужное, уникальное дело, Юрий Селезнёв местами пытается сгладить углы, противоречия, соглашается с критикой Феликса Кузнецова, один раз цитирует Ленина... Но, как показало близкое будущее, это не помогло. Вопрос по Селезнёву как главному редактору «ЖЗЛ» был, видимо, решён ещё до «круглого стола» в «Вопросах литературы». Не случайно подборка материалов завершается статьёй И.Дзевекина «Несколько соображений общего характера», направленной, в первую очередь, против Юрия Селезнёва и выдержанной в лучших погромных традициях рапповской и либеральной критики. Да и в заключительном слове – от редакции – говорилось о «позиции, занятой руководителем «ЖЗЛ» Ю.Селезнёвым» как о позиции, «достойной сожаления».

Но самые страшные удары судьбы и главные книги были у Юрия Ивановича Селезнёва ещё впереди...

В одном из последних интервью Вадим Кожин рассказал такую историю: когда Юрий Селезнёв заявил о своём желании писать дипломную работу о Достоевском, то последовал примечательный комментарий преподавателя: «Юра, что вы, о Достоевском пишут только евреи» (<http://pereplet.sai.msu.ru/text/BESEDA.htm>). У Селезнёва, как и большинства советских людей, мысль о национальности кого-либо даже не возникала, поэтому прозвучавшие слова стали для него неожиданным откровением. Что скрывается

за данным откровением, Селезнёву ещё предстояло понять... А для этого необходимо было измениться самому.

Рост личности Селезнёва происходил под воздействием разных факторов, в первую очередь, под влиянием мира Достоевского. Об этом процессе Юрий Лощиц, – видимо, самый созвучный (душевно и идейно) Юрию Ивановичу современник – писал так: «Достоевский был судьбой Юрия Селезнёва, мощнейшим его жизненным притяжением, воздухом его духовного роста. Мне не приходилось встречать в нашей литературной среде писателя, на которого бы так глубоко воздействовала личность человека, о котором он пишет» (Лощиц Ю. И поймёшь иную жизнь... // Фёдор Достоевский. – М., 1997).

В книге «В мире Достоевского» (М., 1980), которая вместе с «Достоевским» (М., 1981) является духовным автопортретом Селезнёва, критик приводит слова любимого писателя, обращённые к Костомарову: «Чтобы быть русским историком, нужно быть, прежде всего, русским. Вы... не русского духа...» Перефразируя это высказывание, можно утверждать: чтобы написать полноценную работу о Достоевском, нужно быть русским по духу.

Русским по духу Селезнёв становится в Москве, где приходит осознание: большинство достоевсковедов (Л.Гроссман, В.Шкловский, В.Кирпотин и многие другие) – еврей-достоевскоеды, по-разному уводящие читателя от понимания личности и творчества русского гения. С ними, с их неприязнью к Достоевскому как к православному художнику и мыслителю, всё было ясно.

Ясно было и с такими русскими, как Максим Горький. Ещё Василий Розанов оценил его выступление против инсценировки романа Достоевского вполне точно: «Не русская душа говорит» (Розанов В. Собрание сочинений. О писательстве и писателях. – М., 1995). Таких русских с нерусской душой в XX веке было слишком много.

Об одном из них у нас с Юрием Ивановичем зашла речь в мае 1984 года. Тогда я и услышал: «Он – шабесгой». По моей реакции Селезнёв понял, что я не знаю значения этого слова, и стал объяснять...

Почти через 20 лет после памятной встречи Елена Владимировна Ермилова, жена Кожина, говорила: «Вот за этим столом часто сидел Юра Селезнёв. Ему и Вадиму я рассказала о шабесгоях». Во время первого замужества Елена Владимировна попала в ортодоксальную еврейскую семью, и её свёкор по субботам не брал в руки даже спички, приглашая русского соседа зажечь конфорку или колонку.

Среди же шабесгоев – неевреев, выполняющих еврейскую работу, – в мире литературы, думаю, следует различать шабесгоев бессознательных и шабесгоев сознательных. Например, когда тот же Кожин называет себя, до встречи с М. Бахтиным и чтения В.Розанова, шабесгоем, то, безусловно, речь идет о шабесгойстве неосознанном; оно органично было привито Вадиму Валериановичу преподавателями в МГУ, друзьями, коллегами по ИМЛИ. И совсем другое дело, когда человек, исследователь литературы в частности, делает осознанный выбор, принимая определённый комплекс идей и жёсткие правила игры. Из шабесгоев-критиков назову тех, кто в разное время печатно реагировал на работы Селезнёва – это Александр Дементьев, Сергей Чупринин, Наталья Иванова, Игорь Виноградов, Василий Кулешов, Юрий Суворцев. С ними тоже всё понятно.

Во время работы над книгой о Достоевском одним из самых сложных для Юрия Ивановича, думаю, был вопрос: как быть с Михаилом Бахтиным. Он, открытый Вадимом Кожинным в начале 60-х годов и активно внедрявшийся им в сознание литературоведов и критиков, к концу 70-х годов стал очень популярен у «правых» и «левых». Однако в самом известном труде Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского» (М., 1972) были заявлены подходы, идеи, несовместимые с миром великого писателя. И вполне понятно, что полемика с Михаилом Михайловичем означала и несогласие с Вадимом Валериановичем по вопросу для последнего наиважнейшему. Это всё же не остановило Селезнёва, и он первым среди современников осмелился на критику Бахтина, в очередной раз проявив сильный, независимый характер, полемический дар, талант исследователя.

В книге «В мире Достоевского» Бахтин цитируется семнадцать раз, а упоминается ещё чаще. Ни один из литературоведов не вызвал у Селезнёва столь пристального внимания и живого интереса. Например, Валерий Кирпотин цитируется пять раз.

Принципиальная полемика с Бахтиным начинается в главе «Что есть истина?». Одно из ключевых мест главы – рассуждения Селезнёва об амбивалентности – термине, введённом Бахтиным и ставшем довольно популярным на рубеже 70-80-х годов. Многие исследователи сделали из амбивалентности универсальное понятие, искусственно привязываемое к любому явлению в литературе, что, по мнению автора «В мире Достоевского», было несправедливо и непродуктивно. Он напоминает, что Михаил Бахтин говорил об амбивалентности в связи с определённым жанром и типом сознания. Главное же – художественный мир Достоевского, по Селезнёву, гораздо шире рамок амбивалентной действительности, и амбивалентность – лишь стадия на пути к «последнему слову».

Определяющее значение имеют неоднократные уточнения критика: полярные крайности у Достоевского неравноценны, они подчинены чему-то центральному, вне их находящемуся. Благодаря этому одно начало оценивается как высокое, другое – как низкое. Самосознание народа как целого и есть тот идейный, идеологический, стиливый центр в мире Достоевского, обеспечивающий постоянную и неизменную систему ценностей.

Формула «народ как целое», используемая критиком неоднократно и в других публикациях, может восприниматься по-разному и вызывать справедливые вопросы. Понимая это, Юрий Селезнёв в главе «Слово воплощённое» данную формулу разъясняет. Вновь через полемику с Бахтиным, теперь о полифонизме.

Полифонизм, утверждает критик, не соответствует типу художественного мышления Достоевского, ибо в многоголосии нет места доминантному слову, определяющему иерархию голосов и ценностей. Селезнёв предлагает характеризовать мировоззрение и творчество писателя через соборность – высшее единство голосов героев, автора и мира. Таким образом, критик первым вводит соборность в литературоведческий и критический лексикон, вкладывая в это понятие истинный – христианский – смысл, к сожалению, не всегда чётко сформулированный.

Показательно, что уже в неподцензурные времена Вадим Кожин и Юрий Сохряков в своих работах «Соборность лирики Тютчева» («Наш современник», 1993, № 12), «Благодатный дух соборности» («Москва», 1995, № 10) трактуют соборность не столь точно и содержательно, как Селезнёв, по-разному уходя от доминанты данного понятия – христианской любви, жертвенной любви к другим и Богу. Об этом подробно и доказательно написал Николай Крижановский в статье «Соборность в восприятии В.Кожина и современного литературоведения» (См.: Кожин В. Грех и святость русской истории. – М., 2006). Он справедливо обращает внимание и на то, что в книге Ивана Есаулова «Категория соборности в русской литературе» (Петрозаводск, 1995) работа Юрия Селезнёва не упоминается. Данный факт вызывает у Н.Крижановского такое предположение-объяснение: «То ли И.Есаулов вовсе не имел сведений о книге <...>, то ли он сознательно не обращается к ней, чтобы не идти вслед за чьей бы то ни было концепцией».

Думаю, главная причина умолчания труда Селезнёва в другом: положительно сослаться на исследователя с твёрдо-негативной репутацией в мире космополитической и шабесгойской творческой интеллигенции – вольность непозволительная и непростительная. Видимо, поэтому и Татьяна Касаткина исключила Юрия Селезнёва из огромного числа авторов (от В.Шкловского и Л.Гроссмана до Б.Тарасова и М.Дунаева), цитируемых в её книге «О творящей природе слова. Онтологичность слова в творчестве Ф.М. Достоевского как основа «реализма в высшем смысле» (М., 2004).

Итак, Селезнёв первым возвращает в достоевскоеведение религиозный подход. Напомню, что в 60-70-е годы XX века Достоевский прочитывался исключительно с

атеистических позиций. Так, в один год с книгой Юрия Ивановича выходит сборник статей Кирпотина «Мир Достоевского». Приведу несколько характерных цитат из этого сборника: «Достоевский-художник, хотел он этого или не хотел, вскрыл иллюзорность религиозных обоснований братства»; «Мы не можем и не должны молчать, когда видим в произведениях Достоевского, особенно в его публицистике, мёртвое, хватающее живое»; «Оправдан он (Достоевский. – Ю.П.) и в общей с Белинским убеждённости, что идеал раньше всего восторгается в России – на земле, в реальной действительности, а не в потустороннем мире, о котором лепечет религия»; «Но мы не принимаем христианского смирения, отказа от революционного насилия, проповедуемого Достоевским».

Могут сказать, что Кирпотин – неудачный пример, ибо Валерий Яковлевич является представителем старшего поколения достоевсковедов. Однако возраст в данном случае не имеет никакого значения. Так, в те же годы молодой Юрий Карякин объяснял достижения писателя с аналогичных позиций: «Художник-реалист в Достоевском взял верх над верующим проповедником». Эта версия, приводимая в главе «Возрождение...», убедительно комментируется Селезнёвым: «...Разве же Достоевский как художник-реалист перестаёт быть проповедником? Ведь стоило бы раскрыть, или хотя бы попытаться раскрыть, тайну воплощения его проповеди в реалистически-художественном мире его романов...» И далее критик переводит разговор в теоретическую, методологическую плоскость, так как подобное толкование было общим местом в работах Б.Бурсова, В.Шкловского, В.Кирпотина, А.Мазуркевича и многих других: «Каким это чудом или алхимическим образом «реакционная», «ложная», «беспомощная идеология» <...> рождала бессмертные художественные творения?» Таким образом, Ю.Селезнёв, как и Ю.Лощиц, М.Лобанов, И.Золотусский, В.Кожин, Н.Скатов, популярному подходу «вопреки...» противопоставил версию «благодаря...».

Ещё Владимир Соловьёв в «Трёх речах в память Достоевского» точно определил тот духовный перелом, который произошёл в Достоевском в Омском остроге: каторжане, худшие люди из народа, вернули писателю то, что отняли у него лучшие представители интеллигенции – веру в Бога. Начало этого перелома психологически тонко изображается в книге Селезнёва «Достоевский», в главе с говорящим названием «Воскрешение из мёртвых». Воспоминание о мужике Марее, о случае из детства помогло писателю другими глазами посмотреть на братьев по несчастью, обрести веру в народ, а затем и в его идеал – Христа. Годом раньше в книге «В мире Достоевского» Селезнёв подчёркнуто заострил внимание на последовательности событий, приведших Достоевского к Богу: «Не от религии к народу шёл писатель-мыслитель, а от веры в народ к принятию его – народной, по убеждению Достоевского, – веры».

И в данном случае критик точен. В отличие от многих авторов, которые разводят в противоположные стороны веру народа и Православие или настаивают на ином порядке прихода Достоевского к Богу, Селезнёв следует за высказываниями писателя. В частности, за его ответом Градовскому: «Я его (народ. – Ю.П.) знаю: от него я принял вновь в мою душу Христа, Которого узнал в родительском доме ещё ребёнком и Которого утратил было, когда преобразился в свою очередь в «европейского либерала».

Если в «Достоевском» для Селезнёва было важным запечатлеть начало духовного воскрешения писателя, то в книге «В мире Достоевского» – результаты этого воскрешения. В главе «Лики единого мира (Достоевский и Лев Толстой)» разговор об отношении двух великих современников к Христу имеет вневременной характер: в конце концов, речь идёт о двух типах веры. Христос для Достоевского, по точному определению Селезнёва, это идеал, который нельзя «подправлять, приноравливать к своим целям. Напротив, свои цели необходимо проверять этим вековечно неизменным идеалом». Позиция писателя характеризуется как позиция ученика, ощущающего себя «устаами, произносящими «слово Божье».

Как всегда, Селезнёв стремится к максимальной доказательности, и в подтверждение своей версии приводит цитаты из Достоевского, в том числе такую: «...Если бы кто мне

доказал, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы остаться со Христом, нежели с истиной». В недавней же публикации Василины Орловой «Признанные «большими» («Завтра», 2008, № 49) с удивлением прочитал такой «комплимент» Людмиле Сараскиной: «Её блистательные статьи о Достоевском, о том, например, что он предпочёл бы остаться без истины с Христом, чем с истиной без Христа, запомнились». Остаётся сожалеть, что Орлова не знает более ранних по времени работ Селезнёва. Спишем это на молодость автора. Тем более, что незнание Василины Орловой несравнимо с дремучим невежеством молодого Михаила Бойко. Он в статье «Страдательный залог» («Литературная Россия», 2007, № 1) сделал Аполлинарию Сулову второй женой великого писателя...

Ортодоксальная позиция Достоевского в вопросе веры принципиально отличается от позиции В.Соловьёва, Д.Мережковского, Н.Бердяева, Л.Толстого и других революционеров от религии разных мастей, стремившихся её усовершенствовать, осовременить. Селезнёв, по понятным причинам, говорит только о Льве Толстом, отношение которого к Христу верно определяет как отношение «сотоварища», «соперника Бога по сотворчеству».

И всё же периодически исследователь Достоевского отходит от единственно правильной, православной, позиции, сбиваясь именно на «реформаторские» высказывания. Это происходит, например, в последней главе «Слово воплощённое», в рассуждениях о «ещё «неведомом миру» Христе как о революционно-утопической идее Достоевского. Думаю, в выражении писателя «неведомый миру Христос» смысловое ударение нужно делать не на первом, а на втором слове: Спаситель неведом не потому, что не существует, а потому, что в большей части мира, исповедующей католицизм и протестантство, Его понимание сильно извращено либо вовсе утрачено. Подлинный лик Христов сохранился только в Православии, в русском народе, отсюда тот мессианский пафос Достоевского, о котором справедливо пишет Селезнёв, и не только он.

Оценки, даваемые Библии в книге «В мире Достоевского», – свидетельство того, что её автор не до конца преодолел стереотипы своего времени. Михаил Лобанов в статье «Найти в человеке человека» называет позицию Селезнёва секулярной (Лобанов М. Страницы памятного. – М., 1988). Алексей Татаринов, хотя и говорит: «Сейчас не будем рассматривать вопрос, прав или не прав Селезнёв в богословском плане» («Наш современник», 2008, №7), – но не вызывает сомнений, что краснодарский исследователь не согласен с Юрием Ивановичем в восприятии Ветхого Завета. Знаменателен тот вывод, к которому приходит Татаринов, вывод, с которым трудно не согласиться: «Селезнёв более религиозен (чем Кожинов. – Ю.П.), даже учитывая только что сказанное о его трансформации теологического в народное и национальное».

В целом же позицию Юрия Селезнёва можно определить как непоследовательно религиозную, непоследовательно православную. А различного рода «трансформации», «перегибы» или, наоборот, «лакуны» в книгах Селезнёва порождены не только особенностями его личности, мировоззрения, но и, естественно, временем (невозможностью сказать всё, что думаешь) и самим Достоевским. Например, Юрий Иванович много, последовательно и верно говорит об антибуржуазности творчества писателя. Символом же буржуазности, эгоцентрического сознания является, по Селезнёву, Ротшильд. В главе «Что есть истина?», ссылаясь на «Былое и думы», критик приводит историю, в которой Джеймс Ротшильд оказался сильнее, могущественнее Николая Романова. «Царь иудейский», как называют его Герцен и Достоевский, победил и унизил русского царя.

Ротшильд для Селезнёва – духовный антипод Христа, князь «мира сего», для которого главная ценность – деньги, он – «воплощение апокалиптического зверя». Истоки «религии дьявола», сионизма в том числе, критик видит в тех наставлениях еврейских пророков из Ветхого Завета, в которых утверждается национальный эгоцентризм «избранного народа». Эти наставления, приводимые дословно и через косвенно-прямую

речь, – выражение типа сознания, разрешающего различные преступления по отношению к другим народам, в том числе то, что можно назвать кровью по совести.

Например, применительно к Ротшильду приводится такая цитата в главе «Что есть истина?»: «Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всём, что делается руками твоими, на земле, в которую ты идёшь, чтоб овладеть ею». А в главе «Слово воплощённое» Селезнёв обращает внимание на заключительные слова из псалма «При реках Вавилонских»: «Блажен, кто возьмёт и разобьёт младенцев твоих о камень!»

Те выводы, которые делает в этой связи Юрий Иванович, ожидаемы и неожиданны, вызывают согласие и несогласие. Самый радикальный из них таков: «И эта книга (Ветхий Завет. – Ю.П.), как это ни странно, до сих пор почитается верующими христианами «святой», данной «от Бога»!..

Итак, в основе «священного» библейского мессианства, как видим, лежит политически экспансионистская идеология, провозглашающая один народ хозяином над всеми другими – рабами».

Подобные мысли о Ветхом Завете критик высказывает неоднократно, прежде всего в статьях и книгах, в которых характеризуется «Слово о законе и Благодати» митрополита Илариона. Конечно, Селезнёв не первым так трактует Ветхий Завет, он – один из многих...

На философию национального эгоцентризма делает главный упор и Достоевский в статье «Еврейский вопрос», о чём автор «В мире Достоевского» наверняка знал, но не решался на неё сослаться. Думаю, в первую очередь, потому, что в Советском Союзе, к моменту написания работы Селезнёва, эта глава из «Дневника писателя» не была издана.

В ней Достоевский причину неприязни к евреям и одновременно истоки их редкой силы, живучести видит в вековечно-неизменной идее, которую он называет «государством в государстве» и поясняет её так: «...Отчуждённость и отчуждённость на степени религиозного догмата, неслиянность, вера в то, что существует в мире лишь одна народная личность – еврей, а другие хоть есть, но всё равно надо считать, что как бы их и не существовало» (Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 томах. – Т. 25. – Л., 1983). Этот и другие примеры из Достоевского, по различным причинам отсутствующие в книге Селезнёва, лишь дополнительно подтверждают правоту исследователя, то, что он вполне адекватно передаёт точку зрения писателя по данному вопросу.

Думаю, позиция Селезнёва укрепились бы, если бы он, как и Достоевский, обратился к Талмуду. Трудно не заметить, что цитаты из Ветхого Завета, приводимые Селезнёвым, совпадают по смыслу с примером из Талмуда, на который ссылается автор «Еврейского вопроса»: «Выйди из народов и составь свою особь и знай, что с сих пор ты един у Бога, остальных истреби, или в рабство обрати, или эксплуатируй. Верь в победу над всем миром, верь, что всё покорится тебе. Строго всем гнушайся и ни с кем в быту своём не общайся. И даже когда лишишься земли своей, политической личности своей, даже когда рассеян будешь по лицу всей земли, между всеми народами – всё равно, – верь всему тому, что тебе обещано, раз навсегда верь тому, что всё сбудется, а пока живи, гнушайся, единись и эксплуатируй и ожидай, ожидай...»

И становится вполне понятно, почему А.Чубайс (и ему подобные современные ротшильды) испытывает к Достоевскому «почти физическую ненависть» и желание разорвать писателя на части... И не вызывают удивления новые попытки дискредитировать великого писателя как человека. Смотрите, например, мерзкую главку «О гении и злодействе» в книге Вячеслава Пьецуха «Русская тема» (М., 2005), о которой я уже высказался («Наш современник», 2009, № 2).

Эгоцентрический тип сознания Селезнёв продолжает характеризовать в статье «Глазами народа» (1981), вошедшей в книгу «Мысль чувствующая и живая» (М., 1982). Критик обращается к эпохе Возрождения, которую отличают гуманистическое, антропоцентрическое сознание и эгоцентрический тип личности. Они – результат

массового отпадения человека от Бога и разрыва с традиционными ценностями. Воплощение в жизни антропоцентрической, то есть неоязыческой модели мира сопровождается резким падением нравственности, самыми изуверскими преступлениями, утратой чувства греха, разрешением крови по совести... – всем тем, что мы наблюдаем сегодня в России и большей части мира.

В итоге Селезнёв приходит к закономерному выводу: гуманизм (именуемый критиком по-разному: ренессансный, классический, буржуазный) не есть подлинное человеколюбие, это «общечеловеческий эгоизм, разделяющий мир на две неравноценные половины»: Я – цель и все остальные – средство, с вытекающими отсюда негативными последствиями.

Эти и им подобные мысли критика и через двадцать восемь лет не утратили своей актуальности, ибо очень многие из пишущей братии, учёных мужей пребывают до сих пор в плену нелепых представлений о гуманизме, антропоцентризме, плодя мертворожденные статьи, книги, диссертации...

Проблема личности – ещё одна ключевая проблема, затрагиваемая в данной – программной – статье Селезнёва. Он справедливо уточняет, что эгоцентрическая личность есть не собственно личность, а индивид. Сию простую истину не понимают либеральные авторы, которые, подобно Григорию Померанцу, утверждают: «...Личность выше класса, выше партии, выше государства, выше народа, выше догматов веры. Над личностью только Бог, но и Бог – личность» («Октябрь», 1990, № 11). В противовес такому подходу Юрий Селезнёв заключает: личность «начинается не с самоутверждения, но – самоотдачи. При этом происходит как бы самоотречение, пожертвование своего Я ради другого. Но в том-то и «диалектика»: через такого рода отречение от индивидуалистического, эгоцентрического Я человек из индивидуума перерождается в личность».

Нетрудно заметить, что Селезнёв в понимании личности идёт вслед за православными мыслителями разных эпох, его высказывание «рифмуется», в частности, со следующей дневниковой записью Ф.М. Достоевского: «Высочайшее употребление, которое может сделать человек из своей личности, из полноты развития своего «я» – это как бы уничтожить это «я», отдать его целиком всем и каждому безраздельно и беззаветно».

Эгоцентрической личности – идеалу европейской литературы – Юрий Иванович противопоставляет соборный тип личности – идеал русской литературы, той литературы, необходимо уточнить, которую мы сегодня называем христианским реализмом XIX-XX веков. Например, в очерке «Василий Белов» (М., 1983), в главе «Неведомая сила», критик рассматривает соборный тип личности на примере Ивана Тимофеевича, героя рассказа «Весна». Истоки подвижничества, духовной силы русского крестьянина, потерявшего в войну всё (трёх сыновей и жену), но привязанного к жизни обязанностью перед землёй, людьми, Родиной, Селезнёв видит в особенности народного сознания, эквивалентом которой является мудрость: «Помирать собрался – рожь сей». Особенность, несомненно, жертвенно-христианская.

В статье «Глазами народа» Селезнёв полемизирует и с Кожинным, чьё имя не называется. Данная полемика выводит нас на центральную проблему всего творчества Юрия Ивановича. Напомню – в нашумевшей статье «Русская литература и термин «критический реализм» («Вопросы литературы», 1978, № 9) Кожин в ряду многочисленных неожиданных и «революционных» идей высказывает такую: творчество Пушкина и позднего Гоголя следует относить к ренессансному реализму, типологической чертой которого является «относительное единство, равновесие, нации, личности, государства».

Уже исходя из того, что говорилось выше о понимании Ренессанса автором статьи «Глазами народа», ясно – идея относительного единства для Селезнёва неприемлема. К тому же, он убеждён: ренессансный гуманизм как тип европейского сознания не стал фактором русского народного сознания, высшим, идеальным выражением которого, как



известно, был Пушкин. Отталкиваясь от его творчества как первоосновы «новой русской литературы», критик утверждает, что отечественная классика – «воплощённое преодоление буржуазного гуманизма народностью».

Народность – центральная тема в творчестве Юрия Селезнёва, о чём справедливо писали Владислав Попов, Виктор Калугин, Николай Кузин. Я коснусь одного аспекта этой большой и многогранной темы.

Умение оценить и изобразить человека и мир с позиций народа (того народа, следует уточнить, идеалом которого был Христос) отличает русскую классику XIX–XX веков. Современный же этап в развитии литературы Селезнёв определяет как «возрождение в народности и через народность», связывая его с творчеством В.Белова, Ф.Абрамова, В.Шукшина, В.Астафьева, В.Распутина, В.Лихоносова, В.Личутина... То есть, популярной тогда идее «усталости» «деревенской прозы», транслируемой разными авторами, от Анатолия Бочарова до Виктора Чалмаева, критик противопоставил идею возрождения, при этом предложив называть «деревенскую прозу» нравственно-философской.

Из всех публикаций Селезнёва о писателях данного направления очерк «Василий Белов» – наиболее интересная, содержательная работа. В ней, анализируя «Кануны», «Привычное дело», «Лад», «Весну», цикл «Воспитание по доктору Споку» и другие произведения Белова, Селезнёв выразил своё представление о «крестьянской вселенной», вызвавшее резкое неприятие у «левых». Игорь Клямкин, например, в одной из самых известных статей начала перестройки «Какая улица ведёт к храму?» («Новый мир», 1987, № 11), рассуждая об отечественной истории, вступил в прямую полемику с автором очерка «Василий Белов».

Для Селезнёва главным в крестьянском мире был лад, устоявшиеся формы бытия народной жизни, подчинённые законам христианской нравственности, красоты, экономической целесообразности; деревня определяла сущность и «лицо» России, русского народа, культуры, литературы. Для Клямкина же патриархальное и полупатриархальное крестьянство – источник всех бед в истории XX века, ибо сознание сельских жителей было добуржуазным, доличностным, их интересы дальше околицы не простирались, и вообще они «живут, а не рассуждают о смысле жизни, о том, во имя чего и зачем».

Очерк «Василий Белов» – это, по сути, непрекращающаяся и убедительная полемика Юрия Селезнёва с аналогичными взглядами на русское крестьянство. В целом же можно сказать, что всё творчество критика крестьяноцентрично, народоцентрично. Я понимаю: такие воззрения вызывали и вызывают смех и иронично-уничижительные оценки у либеральномыслящей интеллигенции. Но это, как любят иные выражаться, их проблемы, добавлю – их неизлечимая болезнь.

Селезнёв же в подобных ситуациях всегда обращался «за помощью» к русской классике. Например, в статье «Ответственность (Критика как мировоззрение)» он напоминает: «Более ста лет назад, отвечая на <...> обвинения в идеализации народа, Достоевский писал: «Ведь грустно и смешно в самом деле подумать, что не было б Арины Родионовны... так, может быть, и не было б у нас Пушкина. Ведь это вздор? Неужели же не вздор? А что если и в самом деле не вздор?» Пушкину, мы знаем, было чему учиться у неграмотной женщины, Достоевскому – у мужика Марeya, Толстому – у деревенского паренька Федьки...»

Юрий Селезнёв, в отличие от Клямкина и ему подобных «левых» космополитов, в отличие от части «правых» – советских патриотов, жил в большом времени тысячелетней русской культуры и цивилизации вообще. Критик прекрасно понимал, что русскими не рождаются, а становятся. Становятся через приобщение к русской культуре, литературе, традиционным ценностям. Об этом Селезнёв, в частности, говорит в статье «Подвижники народной культуры», размышляя о судьбе Владимира Даля. Книга «Глазами народа» стала итогом раздумий Юрия Ивановича об отечественной истории, литературе, она при его

жизни была «зарезана» в издательстве, а вышла в свет лишь через два года после смерти критика.

Селезнёв не мог остаться равнодушным ни к глумлению над прахом национальных героев Пересвета и Осляби, ни к тому, что авторы этимологического словаря «забыли» включить в состав его такие слова, как Родина, Россия, Русь, русский, а авторы «Словаря современного русского литературного языка», удостоенные Ленинской премии, внедряли в сознание читателей норманнскую теорию о происхождении русских и русской государственности; в учебнике же для студентов исторических факультетов «История СССР с древнейших времен» из более чем тысячи страниц только четырнадцать уделено истории славянства. Об этих и им подобных явлениях Юрий Иванович с гневом писал в статьях «Подвижники народной культуры», «Златая цепь, или Опыт путешествия к первоисточкам народной памяти».

В «Ответственности (Критика как мировоззрение)» Селезнёв подчёркивает, что назначение критики – созидательное, а «отрицание – лишь необходимый момент критического движения мысли». Юрием Ивановичем последовательно, на протяжении всей его короткой творческой жизни негативно оцениваются различные явления критики, литературоведения, современной поэзии и прозы, детской литературы, кинематографа, науки, жизни, не выдерживающие проверки традиционными народными ценностями, национальной классической словесностью и культурой. Особый резонанс вызвали следующие «отрицательные» статьи Селезнёва: «Душа подвига», «О чём спор? (О кинофильме «Как царь Пётр арапа женил»)», «Ответственность (Критика как мировоззрение)», «Необходимость Достоевского».

Но всё же рамки слова-дела были для Юрия Ивановича узки, ему всегда хотелось и дела-слова, то есть редакторско-издательского дела. И журнал «Наш современник» после «ЖЗЛ», несомненно, был таким делом.

В мемуарах Сергея Викулова «Что написано пером...» («Наш современник», 1996, № 9-12) глава XV посвящена Юрию Селезнёву, его деятельности на посту первого заместителя главного редактора «Нашего современника». Эта глава вызывает большое количество недоуменных вопросов и возражений. Озвучу некоторые из них.

Маловероятным, практически невозможным выглядит то, что Викулов до прихода Селезнёва в журнал не знал о нём «ровным счётом ничего». В сие трудно поверить, ибо Юрий Иванович – не тёмная лошадка, а личность известная: его статьи, книги, деятельность в редакции «ЖЗЛ», как уже говорилось, вызвали бурную реакцию, широко обсуждались в печати, на писательских форумах, в кулуарах. Василий Белов, например, ещё осенью 1974 года, сразу после похорон Василия Шукшина, попросил, чтобы его познакомили с Селезнёвым. Сергей же Васильевич и в 1980 году о Юрии Ивановиче ничего не знал...

Не менее удивляет и то, что Викулов не помнит, кто рекомендовал ему Селезнёва в замы. На такую странность обратили внимание Вячеслав Огрызко («Литературная Россия», 2005, № 47) и Александр Разумихин («Литературная Россия», 2008, № 42). Последний, ссылаясь на личную беседу с Селезнёвым, называет имя рекомендателя – Юрий Бондарев. Думаю, косвенно, от противного, данная версия подтверждается мемуарами Викулова. Не случайно он не говорит о том, что на заседании Секретариата правления СП РСФСР именно председательствующий Юрий Бондарев, как зафиксировано в стенограмме, предложил «укрепить редколлегию» журнала.

Вполне очевидно – Викулов с Бондаревым «играли» против Селезнёва. И желая скрыть эту «игру» и истинные причины её, Сергей Васильевич выдумал в высшей степени неубедительную версию о тайном сговоре Альберта Беляева с Юрием Селезнёвым. На её очевидную нелепость первыми указали Николай Кузин («Наш современник», 1997, № 3) и Вадим Кожин («Москва», 1999, № 11).

Вообще же изучать историю «Нашего современника» по XV-ой главе мемуаров Викулова – занятие бесперспективное: сообщаемые факты и их интерпретация довольно

часто не выдерживают элементарной проверки на прочность. Вот, скажем, Сергей Васильевич сообщает: Селезнёв с Устиновым пришли в журнал в ноябре-декабре 1980 года. Спустя месяц-два Устинов понял, что «редакция не его планида и надо «закругляться»... Подал заявление, ушёл. С Селезнёвым было сложнее...»

Однако я помню, что во время нашей первой встречи с Юрием Ивановичем в его кабинете «Нашего современника» в начале декабря 1981 года к нему заходил Валентин Устинов, ещё работник журнала. Согласно же мемуарам Викулова, Устинов уже с весны не трудился в «Нашем современнике». Тогда почему на второй странице того же одиннадцатого номера Валентин Устинов значится как заместитель главного редактора журнала?..

Такие «провалы» в памяти Викулова вызваны, думаю, только одним: желанием подчеркнуть адекватность самооценки Устинова и неадекватность Селезнёва, который не понимал, что оказался, якобы, не на своём месте.

И своё выступление 7 декабря 1981 года Сергей Васильевич построил так, чтобы участники Секретариата пришли к выводу о некомпетентности Селезнёва-редактора. Викулов полностью отмежевался от одиннадцатого номера, который готовил к печати Юрий Иванович, заострив особое внимание на своём несогласии с Селезнёвым и с теми материалами, которые вызвали наибольшую критику. Викулов закончил своё выступление как главный редактор, полностью полагающийся на коллективную мудрость Секретариата, который разберётся, кто и насколько виноват, как один из режиссёров спектакля, заранее знающий его финал.

Мысль о слабости Селезнёва, редактора одиннадцатого номера «Нашего современника», звучала в подавляющем большинстве выступлений. Но в самой резкой и оскорбительной форме она была высказана Ф.Кузнецовым: «Убей меня Бог, но я никак не могу понять, как можно было подписать этот номер к печати, — не могу! Для этого нужно быть или колоссальным глупцом, или сумасшедшим». И далее, как подобает одному из главных партийных надсмотрщиков от литературы, Феликс Феодосьевич, шабесгой с репутацией русского патриота, расставляет идеологически выверенные акценты: «Думаю, что критика в этом журнале страдает. <...> У меня впечатление, что в редакции не хватает марксистски серьёзно мыслящего критика, критика-профессионала, которому бы доверили публикации. Редакции нужно помочь, и прежде всего подобрать умно мыслящих и марксистски образованных людей».

Понятно, что для изрыгателей такой партийной блевотины, как и для осторожных патриотов, подобных Ю.Бондареву и С.Викулову, Ю.Селезнёв был костью в горле, ибо являл новый тип и русского патриота, и редактора, и критика, и, наконец (а очень часто — в первую очередь), был ярче и талантливее их как личность.

Показателен в этом смысле и одиннадцатый номер «Нашего современника», подготовленный Селезнёвым, и его выступление при обсуждении данного номера на Секретариате Союза писателей РСФСР. В обоих случаях Юрий Иванович проявил себя прежде всего как смелый человек и настоящий профессионал.

Он, поместив в один номер повесть В.Крупина «Сороковой день», статьи В.Кожина, А.Ланщикова, С.Семанова, резко повысил общепринятый градус смелости, допустимую концентрацию взрывоопасных материалов в журнальной книжке. На это первым обратил внимание Александр Казинцев в статье «Наш современник» в борьбе за русское возрождение в 70-80-е годы: «...Долгие годы разумной тактикой легальной печати считалось рассредоточение правдивых публикаций. Специально высчитывали: один номер, второй, третий — теперь снова можно сказать правду. Селезнёв презрел эту унижительную тактику» («Наш современник», 1992, № 2).

Глубоко символично, что в своём выступлении на Секретариате Юрий Иванович, нарушая принятые правила «игры», бросает камень в огород ведущих патриотических журналов: «Молодой гвардии», «Нашего современника», «Москвы». В них повесть

Крупина «Живая вода» пролежала соответственно шесть лет, два года и больше года и была отвергнута как «произведение, социально и идейно незначительное».

Показательно и другое: Селезнёв ставит в пример редакторам названных журналов «Новый мир» – одного из главных оппонентов, – где «не и с п у г а л и с ь (разрядка моя. – Ю.П.) ни новизны этой повести, ни значимости поставленных там проблем».

Нетипичное, точнее, вызывающее поведение Селезнёва было обусловлено не только его смелостью, но и, конечно, тем, что он был редактором новой формации, таких главных редакторов среди «правых» и «левых» не было. Юрия Ивановича отличала широта взглядов, терпимость к инакомыслящим: понимание того, что альтернативная точка зрения должна прозвучать. Например, говоря о своих разногласиях с Вадимом Кожиновым, Селезнёв оценивает их как явление нормальное, необходимое и продуктивное в процессе познания истины. В отличие от Ю.Бондарева, С.Викулова, Ф.Кузнецова, В.Чивилихина, Н.Шундика и других выступавших, требовавших, по сути, единомыслия, Юрий Иванович свою позицию сформулировал принципиально иначе: «... Я целиком не согласен с его (Кожинова. – Ю.П.) статьёй. Это неважно, но почему же я должен был не публиковать эту статью? Почему? Только потому, что я лично с этой статьёй не согласен?»

Такая позиция, неприемлемая и сегодня для большинства редакторов, сотрудников журналов, газет, тогда воспринималась в диапазоне от «безумия» (Ф.Кузнецов) до «хитрой игры» (И.Дедков). О серьёзности разногласий между «правыми», вышедших «наружу» благодаря Селезнёву, свидетельствует следующая дневниковая запись Сергея Семанова: «Споры вокруг Гумилёва и статьи Кожинова вызвали чудовищный раздрызг среди «наших». Чивилихин полчаса задыхался, что Кожинов защищает Гумилёва <...> Естественно, что А.Кузьмин тоже осуждает Кожинова» («Москва», 1999, № 11).

Знаково и то, как достойно вёл себя на Секретариате «казнимый» Юрий Селезнёв. Напомню, что Владимир Крупин публично, на страницах «Литературной газеты», покаялся, признал правоту критики в свой адрес. Более того, и через восемнадцать лет после этих событий он написал: «И перед Юрием Селезнёвым у меня нет ни в чём вины» («Москва», 1999, № 11). Невольно вспоминаются слова Владимира Бондаренко, сказанные по другому поводу: «Вот и идут молодые русские ребята куда угодно, только не в нашу богадельню, где Владимир Крупин кому отмаливает грехи, кому нет, пряча свой партбилет под нательным крестом» («День литературы», 2005, № 8).

В отличие от кающегося Крупина, Юрий Селезнёв не признал правоту критики и ошибочность публикации «Сорокового дня». Он поставил повесть в один ряд с произведениями, которые первоначально вызывают неприятие, а затем оцениваются по достоинству.

О выступлениях большинства участников позорного действия говорить не буду. Они проявили свою бесхребетность, кто слабость, кто истинную сущность, но все – шабесгойство. Уже на этом примере видно, почему в первую очередь потерпела поражение «русская партия».

Трусость, беспринципность, зависть, предательство «своих» на Секретариате и в последние два с половиной года – вот что действовало на сердце Селезнёва гораздо сильнее, разрушительнее, чем удары и «происки» ненавистников России и русских. И это надо признать, хотя, конечно, гораздо спокойнее жить, веря в версию о стимулированном инфаркте, от которого якобы умер Юрий Иванович.

Селезнёв в книге «Достоевский» приводит слова своего любимого писателя, сказанные перед смертью жене: «Помни, Аня, я тебя всегда горячо любил и не изменял тебе никогда даже мысленно...» Думаю, эти слова мог произнести и сам Юрий Иванович, обращаясь к главной своей возлюбленной – русской литературе. Ей, как и России, Селезнёв действительно не изменял никогда. Он, один из самых ярких критиков, литературоведов, редакторов 70-х – первой половины 80-х годов, делал всё возможное и невозможное, чтобы та Третья мировая, о которой Селезнёв говорил, не была проиграна.

Он – герой и жертва этой войны... Юрий Селезнёв – борец за русское дело и всечеловек. Юрий Лощиц очень точно определил его сущность: «...Я немного видел в жизни людей, которые бы всем своим существом так устремлялись – без насилия над собой, легко и радостно – к идеалу человека» (Лощиц Ю. Стоило его увидеть однажды... // Селезнёв Ю. Память созидаящая. – Краснодар, 1987).

\*\*\*

На сегодняшний день последняя публикации о Селезнёве – это воспоминания Александра Разумихина «Юрий Селезнёв: «Вредный цех» («Литературная Россия», 2008, № 42). Воспоминания, написанные с уважением и любовью к Юрию Ивановичу. Однако многие оценки и некоторые факты вызывают возражения. Прокомментирую лишь один фрагмент мемуаров.

По версии Разумихина, приход Селезнёва в «Наш современник» был встречен настороженно сотрудниками журнала, ибо «вносил осложнения в привычную редакторскую (нужно – редакционную. – Ю.П.) жизнь. Начальником становится молодой амбициозный писатель, получивший широкую известность своей книгой «Достоевский». И о реакции одного из работников сказано следующее: «Совсем молодой Саша Казинцев – как я помню, очень боящийся, что у него с Селезнёвым ничего не получится, а вот с Викуловым очень даже».

Но, во-первых, в момент прихода Юрия Ивановича в журнал книга «Достоевский» существовала только в планах издательства «Молодая гвардия». Она была подписана к печати лишь четвёртого декабря 1981 года, то есть за три дня до Секретариата, после которого Селезнёва «ушли» из «Нашего современника».

Во-вторых, Александр Казинцев не мог «очень бояться» Юрия Ивановича уже потому, что в тот момент в журнале не работал, а пришёл в «Наш современник» по приглашению именно Селезнёва.

В-третьих, личная неприязнь мемуариста к Казинцеву – это его право, но чувство Разумихина не должно подчинять себе, искажать реалии жизни и творчества конкретных людей. А одна из них такова: Александр Казинцев в своих публикациях разных лет неоднократно и последовательно, проникновенно и предельно точно, как никто из сотрудников «Нашего современника», писал о Селезнёве. Полюбившимся мне портретом Юрия Ивановича в исполнении Казинцева я и закончу эту статью: «Человек удивительный. Замечательно красивый духовно и внешне. Бывают такие лица – мужество и благородство озаряют их изнутри. Он походил на воина Древней Руси. Высокий, подтянутый, со слегка откинутой назад головой, обрамлённой густой кудрявой волной волос и аккуратной острой бородкой. И глаза – ясные, чуть прикрытые (как от степного солнца – он был родом с Кубани), устремлённые вдаль. Настоящий витязь в дозоре, озирающий рубежи родной земли.

Он и был витязем, русским защитником, заступником» («Наш современник», 1992, № 2).

## НЕОБХОДИМОСТЬ БОНДАРЕНКО

В советское время победителям социалистического соревнования присваивали звание ударника коммунистического труда. Владимира Бондаренко без преувеличения можно назвать ударником критического труда, ибо он за последние 10 лет выдал «на гора» столько статей и книг, как ни один из критиков-современников. «Победителя», мягко говоря, не жалуют «левые». Массово — ещё с «Очерков литературных нравов». «Победитель» под «подозрением» и у многих «правых»: в их восприятии он или не совсем свой, или чужой. Такое отношение «своих» вызвано особенностями личности Бондаренко, человека и критика, особенностями, являющими его лицо, определяющими его место в литературе и жизни России последних 30 лет.

Во-первых, многих смущает идейная, эстетическая широта Владимира Бондаренко. Истоки её в ленинградской молодости критика. Его становление как творческой личности происходило в городе, где Бондаренко, выпускник школы из Петрозаводска, начинающий поэт и студент химического факультета Лесотехнической академии, с 64 по 67 годы дружил с писателями и художниками — «авангардистами». То есть провинциал Бондаренко попал в среду денационализированной молодёжи, среди которой были преимущественно евреи. Но Владимир Григорьевич, как и подавляющее число его современников, о национальности своих друзей не думал. Эта мысль вообще не приходила ему в голову.

Показательно, что самым русским среди окружения Бондаренко оказался Иосиф Бродский, который своим строгим анализом стихотворений Бондаренко «убил» его как поэта. Тем самым будущий Нобелевский лауреат подтолкнул молодого человека к выбору иного пути — критика, к чему тот был уже внутренне готов.

Дружба с ленинградскими «авангардистами» закончилась тем, чем она и должна была закончиться у русского человека, который не утратил национальное «я», — разрывом. По словам самого Бондаренко, однажды он остро ощутил свою духовную инородность в этой среде, он неожиданно понял, что шофер дядя Ваня ему интереснее, ближе (в своём отношении к жизни), чем богемные, «звёздные мальчики».

Но трёхлетний «авангардизм» Бондаренко не прошёл бесследно, он даёт о себе знать в разных проявлениях критика. От отношения к раннему Иосифу Бродскому как к русскому поэту до попыток найти здоровое, русское начало в произведениях тех авторов, на которых большинство «правых» давно и сразу поставили крест, авторов от Алины Витухновской до Владимира Сорокина. В этих попытках Бондаренко можно видеть, и видят, всеядность, а можно — проявление христианского гуманизма, который сродни гоголевскому. Если великий писатель верил в возможность духовного возрождения «чёрненьких» героев своей поэмы, то Владимир Бондаренко не только допускает возможность воскрешения некоторых заблудших и блудящих русскоязычных писателей,

но и это воскрешение своими статьями провоцирует. Мне, как ортодоксу, такая позиция и действия критика не близки (мне по душе «выпороть», «размазать», «убить»), но я прекрасно понимаю необходимость Бондаренко именно в качестве врачевателя любовью...

Итак, в 1967 году несостоявшийся поэт и начинающий критик (а первая газетная статья Владимира Григорьевича была опубликована в 1965 году) начинает «править». С Вадимом Кожинным подобное происходит в 30 лет, с Юрием Селезнёвым – в 31 год. У них этот процесс был вызван, в первую очередь, внешними факторами, неожиданными встречами, общением. У Вадима Кожинного – с Михаилом Бахтиным, у Юрия Селезнёва – с Кожинным. У Владимира Бондаренко, как и у Михаила Лобанова, идейный и духовный перелом происходит в результате внутреннего развития. А оно у Бондаренко, вновь как у Лобанова, обусловлено атмосферой семьи.

По признанию Владимира Григорьевича, характер он унаследовал от отца. К его судьбе, судьбе украинского Макара Нагульнова (своенравного, гордого, убеждённого коммуниста, отсидевшего немало лет в лагере как политзаключённый), критик возвращается неоднократно в своих воспоминаниях, новеллах, интервью. Так, в беседе с Юрием Бондаревым он замечает в скобках: «Это самое важное у человека в жизни – любовь к родителям. Как символ мужества был всегда поведением своим, поступками отец. Он был для меня примером».

Судьба отца, природный ум и независимый характер во многом определили тот факт, что Бондаренко счастливо избежал в своей жизни и творчестве серьёзного увлечения, заболевания марксизмом. Только не надо здесь заикливаться на личном: если бы не репрессированный отец, то... Неприятие критиком советского режима, как и нынешнего – ещё более страшного по силе разрушения национальных и государственных основ – лежит в иной плоскости, в той, которая привела его к разрыву со «звёздными мальчиками» от литературы, живописи.

Бондаренко оценивает человека, явление, политический строй, литературу «глазами народа», с позиций тысячелетнего национального бытия, что собственно и делает его «правым», «контрреволюционером», «пламенным реакционером» или, по другой версии, – шовинистом, фашистом и т.д. Это качество, в первую очередь, отличает критика от «левых» и, думаю, уместно следующее сравнение его с их кумирами.

По словам братьев Стругацких («Огонёк», 1989, № 52), они прозрели в 1963 году, когда им было не мало – 30 и 38 лет. Поводом к этому послужила известная встреча Хрущёва с художниками в Манеже, то есть, по сути, с теми, с кем в следующем году начнёт дружить Бондаренко в Ленинграде. И для Стругацких ругань в адрес группы людей и последствия её оказались событием более значительным, чем страшные преступления власти против собственного народа в годы гражданской войны, в 20-е годы, во время коллективизации и т.д., более значительным, чем судьба миллионов уничтоженных, сосланных... С 1963 года Стругацкие объявили себя защитниками интеллигенции, более того, они считают её «привилегированным классом, единственным спасителем нации, единственным гарантом будущего».

В отличие от братьев и им подобных «левых», Владимир Бондаренко, во-первых, как всякий духовно здоровый русский, ненавидит интеллигенцию за её космополитизм, за её неприятие традиционных ценностей тысячелетней России, за её антинациональную, антигосударственную, разрушительную деятельность... Книга критика «Крах интеллигенции» (М., 1995), куда вошли статьи разных лет, – очередной убедительный приговор этому «племени». И в последующие десять лет Бондаренко продолжает выявлять истинную сущность интеллигенции и её отдельных представителей. Последняя статья из этой серии «Хороним Геббельса» посвящена одному из самых мерзких и страшных интеллигентов XX века Александру Яковлеву («Завтра», 2005, №43).

Во-вторых, Стругацкие и в 1989 году верят в коммунизм, называя его «квинтэссенцией нормального бытия», до которого Россия, как водится у «левых», не

созрела. Владимир Бондаренко же одним из первых выдвигает идею департизации. Он призывает в выступлении на пленуме писателей и в своих статьях, обращаясь к патриотам и не только к ним: «Россия должна играть белыми» («Наш современник», 1990, № 12).

В-третьих, сделав выбор в 1967 году в пользу, как скажет критик позже, «низового» народа, он остаётся верен этому выбору до дня сегодняшнего. Бондаренко являлся и является защитником народа, что определило его творческую судьбу.

Критик рождается тогда, когда его статьи, книги начинают замечать, читать, как-то реагировать на них. С Владимиром Бондаренко это произошло на рубеже 70-80-х годов, когда он из статьи в статью стал проводить мысль не только о существовании «московской школы», прозы «сорокалетних», «новой волны», но и говорил о В.Личутине, В.Маканине, А.Киме и других как о значительных прозаиках современности, писателях «первого ряда».

В то время критики чаще всего слушать Бондаренко не хотели или не могли. Например, даже Игорь Золотусский в статье «Оглянись с любовью», положительно оценив только «Живую воду» В.Крупина, об остальных представителях «новой волны» «оптом» сказал следующее: «Не пишут о ней, не спорят. Не слышат её, наконец. Если бы была «новая словесность», то был бы и шум вокруг неё. Не помню в литературе случая, чтоб кто-то прямо и откровенно говорил времени правду в глаза, а оно в ответ молчало. Не раздражалось, не нападало на эту правду, а заодно и на авторов её. Авторы эти пишут и печатаются, их романы и повести появляются в журналах – но где бум? Где синяки и шишки?.. Где гонения на правду? Нет их» (Золотусский И. Очная ставка с памятью. – М., 1983).

А Сергей Чупринин в статье с говорящим названием «Каждому – своё!» («Литературная учёба», 1981, № 1) оценивает прозу «сорокалетних» явно с жреческих высот. С безрассудной уверенностью в том, что В.Личутин, В.Крупин и другие авторы не смогут незамедлительно ответить на вопрос «Чего недостаёт современной прозе? Что они хотели изменить в ней?», критик восклицает: «Где книги великие – без оговорок – и необходимые обществу, как хлеб, как воздух, как слово правды?» Сергей Чупринин противопоставляет «сорокалетним» как образец «исповедальную», «молодёжную» прозу, представленную «сильными» – необходимыми! – книгами». Либо Сергей Чупринин не в ладу с логикой, либо он сознательно подменяет понятия. Указанные качества критика проявились и по отношению к Владимиру Бондаренко после публикации им «Очерков литературных нравов» и «Разговора с читателем», и затем – неоднократно...

Сегодня вызывает удивление и улыбку позиция некоторых молодых и немолодых авторов, которые ставят под сомнение первенство Владимира Бондаренко в открытии «сорокалетних». Им могу лишь посоветовать: читайте «Столкновение духа с материей» («Литературная газета», 1980, №45), «Найти «голубой» остров» («Литературная учёба», 1981, №2), «Автопортрет поколения» («Вопросы литературы», 1985, № 11) и другие статьи критика.

Из названий, предложенных в начале 80-х годов разными авторами, наиболее прижилось бондаренковское «сорокалетние». Однако первоначальный смысл данного названия постепенно стал выхолащиваться, переиначиваться в статьях многих критиков. И Бондаренко, думаю, было грустно оттого, что в 90-е годы даже самые идейно близкие ему авторы из «Нашего современника» забыли исходное определение, а может быть, никогда внимательно в него не вчитывались. Так, в редакционном поздравлении критика с юбилеем говорилось: «Ужели 50? Кому? Бондаренко? Это что же, пора его вычёркивать из сорокалетних» («Наш современник», 1996, № 2).

Такой – возрастной – подход к названию и явлению в целом преобладал и преобладает в подавляющем большинстве статей авторов разных направлений. Поэтому напомним, что писал сам В.Бондаренко в статье «Автопортрет поколения»: «...Термин «сорокалетние» к ним пришёл не случайно: собственное, незаёмное мироощущение, зрелость мысли и слова, осознание своего пути пришли ко многим из них на пороге



сорокалетия. Поэтому и через десять лет они останутся «сорокалетними» – по времени вхождения в большую литературу» («Вопросы литературы», 1985, № 11).

Сегодня о Бондаренко в связи с «сорокалетними» пишется так, как будто речь идёт о столь далёкой старине, что невозможно найти первоисточники, и поэтому каждый имеет право на домыслы, фантазию. Не перестаю удивляться, насколько ленивы и непрофессиональны многие критики. Так, В.Огрызко в статье «Непредсказуемый скандалист» утверждает следующее: «Бондаренко казалось, что Проханов, Афанасьев, Киреев и некоторые их сверстники обозначали в современной литературе новые тенденции. Бондаренко даже рискнул взять на себя роль идеолога нового течения в русской литературе. Он тогда много рассуждал об амбивалентной московской школе. Но оппоненты не дремали. Игорь Дедков поспешил придуманное Бондаренко явление окрестить «лирическим туманом» («Литературная Россия», 2005, № 31-32).

Во-первых, В.Огрызко нужно определиться и быть последовательным в вопросе: «сорокалетние» – это миф или реальность. Из огрызковских «казалось», «придуманное» следует, что данное течение – бондаренковский миф, из огрызковского же «рискнул взять...» – реальность. Во-вторых, «амбивалентная московская школа» – это странный гибрид или, как выражается в подобных случаях Бондаренко, огрызкок, имеющий к терминологии критика далёкое отношение. В своих статьях Бондаренко писал о «московской школе» и ведущем типе её героя, который он назвал амбивалентным. В-третьих, лирический туман – это выражение из статьи Л.Аннинского о прозе Р.Киреева, которое цитирует И.Дедков и вводит в название статьи «Когда рассеялся лирический туман...» («Литературное обозрение», 1981, № 8). И нужно обладать очень богатой фантазией, чтобы найти в этих словах тот смысл, который привиделся В.Огрызко. В-четвертых, в своей статье И.Дедков оценивает как реальность произведения многих авторов – от А.Курчаткина и В.Мирнева до В.Маканина и В.Гусева, а полемика им ведётся с разными критиками и писателями, среди которых В.Бондаренко называется дважды: один раз – в тексте, другой – в сноске. В-пятых, название и общий смысл статьи В.Огрызко обязывают указать на то, что он почему-то опустил или пропустил. Непредсказуемость В.Бондаренко проявилась в данном случае так: он назвал статью И.Дедкова «очень нужной, хорошо сдетонировавшей» («Вопросы литературы», 1985, № 11).

Сегодня без В.Личутина, А.Проханова, В.Маканина, А.Кима и других «сорокалетних», кого открыл и пропагандировал В.Бондаренко, невозможно представить литературный процесс последних 40 лет. Естественно, что к творчеству многих из них Бондаренко неоднократно обращается в последние 15 лет: к произведениям В.Личутина, А.Проханова, В.Маканина чаще других. Самая последняя публикация в серии статей об этих авторах — «Путь без конца» о романе А.Проханова «Надпись», который называется высшим достижением писателя («Литературная газета», 2005, № 41).

Конечно, что за это время изменилось отношение Бондаренко к некоторым из «сорокалетних». В первую очередь, к В.Маканину, отпавшему от древа русской литературы, ставшему русскоязычным писателем, творческим импотентом. Не требует комментариев и характеристика В.Крупина в статье «Критика – это литература!»: «Вот и идут молодые русские ребята куда угодно, только не в нашу богадельню, где Владимир Крупин кому отмаливает грехи, кому нет, пряча свой партбилет под нательным крестом» («День литературы», 2005, № 8).

Широкую же известность, настоящую славу принесли Владимиру Бондаренко не статьи о «сорокалетних», а «Очерки литературных нравов» («Москва», 1987, № 12). Большинство «левых» выразили своё отношение к этой статье однокрасно-единочёрно. Наиболее откровенно высказался, пожалуй, Бенедикт Сарнов. В статье «Кому улыбался Блок?» («Огонёк», 1988, № 16) он назвал Бондаренко противником перестройки. Сей приговор вызвал удивление не только у «правых». Леонард Лавлинский в «Ритмах

обновлений» («Литературное обозрение», 1988, № 6) оценил его определённо и предельно кратко: «Логика, надо сказать, убийственная и, по-моему, не требующая пояснений». Требуется пояснений, напоминаний другое.

Б.Сарнов следует традициям «левой» мысли XIX-XX веков, идейно и духовно формировавшей тип человека, которому «все позволено». Правда, если один из теоретиков ОПОЯЗа Виктор Шкловский на Первом съезде писателей СССР призвал судить Достоевского как изменника, то Бенедикт Сарнов и его единомышленники с постоянной периодичностью стучали и постукивали на «правых» писателей и критиков. С их лёгкой руки Владимир Бондаренко попал в одну достойную компанию с В.Беловым, В.Распутиным, В.Личутиным, М.Лобановым, В.Кожинным и другими «врагами перестройки», «черносотенцами», «сталинистами» и т.д.

Станислав Рассадин прокомментировал эти обвинения в статье «Кое-что о профессионализме» с одесским юмором: «Утверждаю, что Бондаренко не сталинист (не добрал по очкам), не черносотенец, даже не враг перестройки – врагов у неё вообще нету, не объявляются, есть лишь одни сторонники, в чём и беда...» («Огонёк», 1988, № 48). Для Рассадина В.Бондаренко «просто неумело пишущий человек».

За что люблю наших либералов, так вот за эту простоту, которая хуже воровства, а в отдельных случаях и есть воровство. Тот же Ст.Рассадин в указанной публикации признаётся, что «Очерки литературных нравов» вызвали у него эстетический шок. Однако критик, призывающий к профессионализму и уличающий других в непрофессионализме, поступает, скажу осторожно, как не совсем профессионал. В каком бы шоке не прибывал эстетически утончённый Рассадин, приводить всего лишь одну цитату из «Очерков литературных нравов» для доказательства своей правоты – это непрофессионально и неубедительно.

К тому же Ст. Рассадин сам допускает стилистический ляп, который сродни бондаренковскому. И хотя я не эстет и в шок никогда не впадаю, но следующее предложение Рассадина вызывает у меня недоумение: «То есть вначале я собирался пройтись и по станovým кожинным концепциям...». Однако «становые концепции» – это, в лучшем случае, основные основные мысли, то есть тавтология. В худшем – несколько основных систем взглядов В.Кожина в рамках одной статьи «Правда и истина», то есть здесь без помощи психиатра не обойтись.

Словесные «блохи», при помощи которых «левые», типа Ст. Рассадина, пытались и пытаются дискредитировать Бондаренко, встречаются у многих и многих уважаемых и неуважаемых авторов. Оценивать же критика нужно не по ним, а по качеству анализа текста, глубине и новизне понимания автора, явления и т.д. А вот об идеях Ст. Рассадина и его единомышленники не хотят или не могут говорить, спорить. Идейный сюжет в связи с Бондаренко возникает в статье Рассадина всего один раз, и здесь критик демонстрирует, скажу как всегда мягко, свою нечуткость.

На таком отрицательном «левом» фоне исключением из правил стали статьи Андрея Туркова «Идти не оглядываясь» («Юность», 1988, № 4) и Аллы Латыниной «Колокольный звон – не молитва» («Новый мир», 1988, №8). Оба критика признают справедливость некоторых оценок Владимира Бондаренко. В частности, Турков разделяет отношение автора «Очерков литературных нравов» к групповщине, к борьбе за кормушку, а Латынина согласна с тем, что публикация произведений А.Рыбакова, В.Дудинцева, Д.Гранина и т.д. – событие скорее общественное, чем литературное.

Естественно, что А.Турков и А.Латынина не согласны со многими мыслями В.Бондаренко. Показателен уровень полемики, на который сбивается Турков. Так, у него вызывает возражение проходная мысль статьи Бондаренко о неизбежности пены во время демократизации общества.

Полемика А.Турковым ведётся с привлечением традиционной на протяжении XX века «тяжёлой артиллерии» – цитат из В.Ленина, в данном случае – из «Философских тетрадей». Критик с явным удовольствием сообщает о спрятанном в кустах «рояле»: «Тут

бы и остановиться, не правда ли? Но ленинское перо внезапно добавляет: «Но и пена есть выражение сущности». Всё это сделано для того, чтобы защита А.Турковым публикаций А.Бека, В.Дудинцева и других выглядела стопроцентно убедительной.

Итак, при помощи разных приёмов «Очерки литературных нравов» подверглись критике, как ни одна другая статья В.Бондаренко. В этом отношении с ней в данный период можно сравнить лишь «Правду и истину» В.Кожина и «Послесловие» М.Лобанова.

Такая реакция вызвана тем, что В.Бондаренко одним из первых не только назвал целый комплекс старых и новых проблем общественной и литературной жизни, но и оценил их с русских позиций. К тому же, в этой статье подверглись критике авторитеты самого разного идейно-эстетического уровня и идеологической направленности: А.Розенбаум, Л.Петрушевская, В.Высоцкий, А.Бек, Д.Гранин, А.Рыбаков, М.Шатров, Ст.Рассадин, В.Коротич, Ю.Суровцев, А.Дементьев, А.Вознесенский, Б.Окуджава, Е.Евтушенко, Р.Рождественский, Ю.Черниченко, И.Глазунов, А.Гельман, Ю.Эдлис, О.Ефремов, А.Мальгин, С.Чупринин и т.д.

Скажу лишь о том, что в данной статье наиболее открыто выражало сущность В.Бондаренко, о наиболее «автобиографичном» для него. Это идея Владимира Григорьевича о ставке на сильную личность, идея, которую он высказывал и ранее, и особенно впоследствии неоднократно. Возражения М.Швыдкого (в то время серого критика, политического перевёртыша с западнически-русофобски-животной ориентацией) В.Бондаренко назвал неуместными и на уровне «теории» и «практики» вопроса пояснил свою точку зрения.

Сильная личность – это не просто человек поступка, а поступка общественного, когда личность реализует себя через реальные дела общегосударственного, общенародного содержания. Сильный русский характер не имеет ничего общего с суперменским, американским, эгоцентрическим.

Комплекс суперменства, по Бондаренко, присущ и Тимофееву-Ресовскому, главному герою романа Д.Гранина «Зубр», и лирическому герою ряда циклов песен В.Высоцкого. Так, героя известной альпийской песни последнего критик оценивает с позиций традиционных национальных ценностей, в контексте судеб солдат, штурмовавших Берлин, участников афганской войны, крестьян-тружеников, честных писателей. И герой Высоцкого подобной проверки не выдерживает в силу своей жестокости по отношению к людям, «горной элитарности», избранности.

Как свидетельство глубины понимания сути проблемы, уровня мышления Бондаренко воспринимается то, что многие оценки критика 18-летней давности оказались пророческими, а то, на что обращал внимание Владимир Григорьевич, не утратило своей актуальности сегодня: «Надо отделить великую жажду общества в сильных, пассионарных личностях, общественных по внутренней сути своей от избранных прорабов духа, отбирающих себе подобных по какой-то мало кому доступной способности. Этим исключительным критерием могут быть не обязательно горы (повторю: песня – символ, метафора), могут быть большие деньги, высокий рост, цвет глаз, увлечение тем или иным искусством, сексуальная особенность, даже талант».

Здесь же В.Бондаренко высказал мысль, которая в год 60-летия Победы стала лейтмотивом в статьях некоторых «правых»: войну выиграли не смершевцы, Штирлицы, а рядовые солдаты. В первую очередь, крестьяне – уточнил эту мысль в 2003 году В.Бондаренко в блистательной и во многом неожиданной статье «Курский шлемоносец Евгений Носов», которую можно отнести к вершинным достижениям в творчестве Владимира Григорьевича и русской критики последнего пятидесятилетия вообще.

Большой резонанс вызвала и следующая статья Бондаренко «Разговор с читателем» («Москва», 1988, № 9). В ней автор, пожалуй, первым утверждает, что вся критика 60–70-х годов грешила идеологическими ярлыками, цитированием классиков марксизма-ленинизма, руководителей государства. Правда, и это закономерно, В.Бондаренко чаще

всего ссылается на публикации в «Новом мире» и «Юности», что соответствует частоте и степени греховности «левых», которые по-разному уводили читателя от традиционных национальных ценностей, от истины. Уводили под знаменами «шестидесятничества», космополитизма, русофобии, неоленинизма, социализма с человеческим лицом, конвергенции, диссидентства, нравственного и духовного релятивизма и т.д.

Понятно, что в разговоре о борьбе между «Новым миром» и «Молодой гвардией», который ведётся в данной статье, симпатии В.Бондаренко на стороне «правых». Однако это не мешает критику быть объективным, максимально стремиться или действительно находиться «над схваткой», что даёт возможность видеть слабости всех противоборствующих сторон. В.Бондаренко, в частности, справедливо замечает: «Приёмы, используемые ими: будь то В.Вороновым в «Юности», А.Дементьевым в «Новом мире» или авторами письма одиннадцати, не всегда украшают их биографии...».

В то время практически все «правые», ведя речь о «Новом мире» 60-х годов, противопоставляли «народному» Твардовскому ущербных критиков и сотрудников журнала, Александра Дементьева прежде всего. В.Бондаренко же не просто убийственно точно характеризует статью Дементьева «О традициях и народности» (что в том же году в очередной раз сделал М.Лобанов и в следующем году – В.Кожин), но и утверждает: «Такая идеологически разгромная статья – дело рук не одного критика, а всей тогдашней редколлегии во главе с Твардовским».

Сейчас, когда опубликованы рабочие тетради Александра Трифоновича и дневники Владимира Лакшина, появились дополнительные – документальные – доказательства правоты В.Бондаренко. К тому же, стало очевидным, что позиция Твардовского по отношению к своим оппонентам была ещё более радикально-негативной, оголтело-неистовой, чем позиция Александра Дементьева.

В.Бондаренко, одним из первых преодолев миф о Твардовском-редакторе, остался в плену другого не менее устойчивого, распространённого и ошибочного стереотипа о творчестве поэта. Так, через 10 лет в статье «Дворянин из барака» критик называет Твардовского в ряду писателей, утверждавших русскую идею в своём творчестве. Данный стереотип в последние 15 лет опровергают немногие: Алексей Марков и Михаил Лобанов прежде всего.

Конечно, и Бондаренко – сын своего советского времени, что накладывает идеологический отпечаток (не такой, правда, концентрации, как у большинства современников) на его «ранние» статьи. В них критик периодически «съезжает» на социалистические, ленинские «рельсы». Так, в «Очерках литературных нравов», справедливо говоря о «дубине классового подхода», основном оружии Юрия Суровцева, Петра Николаева и других неорапповцев, об урезанных, подогнанных под себя ленинских цитатах в статьях В.Оскоцкого, В.Бондаренко неожиданно для меня «большевееет»: «Мы знаем ленинскую конкретность, точный посыл в той или иной ситуации»; «становится стыдно перед памятью вождя революции»; «поосторожнее бы нам обращаться с великим ленинским наследием...».

Искренен в данном, как и в подобных случаях, В.Бондаренко, или это своеобразная косметическая дань времени, антураж, необходимый для того, чтобы смягчить детонацию от взрывоопасных статей? Не знаю. Более очевидно другое. Во-первых, эти ленинско-социалистические вкрапления не меняют русской направленности работ критика. Во-вторых, он был одним из первых «правых», кто открыто призвал отказаться и отказался от этого наследия.

С конца 80-х годов Вадим Кожин, Анатолий Ланшиков, Владимир Гусев, Александр Казинцев, Лариса Баранова, Павел Горелов и некоторые другие «правые» по разным причинам почти или полностью уходят из критики. Об этом явлении с 1992 года по 2005 годы неоднократно говорил В.Бондаренко. Оно вызывает у критика тревогу, в первую очередь потому, что в это время всегда активные «левые» выстраивают такую культурологическую модель, пишут такую историю литературы, в которой русские по

духу деятели культуры и писатели либо отсутствуют, либо представлены извращённо-негативно. Примеров, подтверждающих правоту В.Бондаренко, более чем достаточно. «Правые» «отступники» от критики свой уход или молчание аргументируют преимущественно в духе Александра Казинцева: «Когда трупы выносит в море, не до наслаждения красотою природы и литературы тоже» («День», 1992, № 18). Конечно, жаль, когда один из самых талантливых критиков своего поколения уходит в публицистику. Но главное – А.Казинцев продолжает столь же профессионально и ещё более активно отстаивать русские интересы и идеалы. Поэтому к такой «измене» относишься с пониманием.

Совсем другую реакцию вызывают авторы, которые «изменили» критике с властью (как, например, Павел Горелов с Юрием Лужковым) либо практически замолчали. Аргументы последних, Ларисы Барановой, например, сводящиеся к известной формуле «на войне как на войне» («День», 1992, № 18), не убеждают.

Не убеждают прежде всего потому, что «война» началась не во второй половине 80-х годов или в начале 90-х, а гораздо раньше. И если кто-то этого не понимает, пускай обращается к свидетельствам участников не всегда видимой «войны»: славянофилам и Ф.Достоевскому, Н.Страхову и К.Победоносцеву, В.Розанову и М.Меньшикову, А.Блоку и С.Есенину, М.Булгакову и М.Шолохову, Ст.Куняеву и Л.Бородину, М.Лобанову и В.Кожиннову и многим, многим другим. Во-вторых (и здесь правы Бондаренко и поддержавший его В.Личутин), критик, как и писатель, в любое время должен творить.

Неучастие многих достойных критиков в литературном процессе последних 15 лет В.Бондаренко отчасти компенсирует своей пассионарной энергией и энергетикой, уникальной работоспособностью, редакторской деятельностью в «Дне», «Завтра», «Дне литературы», публицистикой и критикой в самых разных изданиях («День», «Завтра», «День литературы», «Наш современник», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Независимая газета», «Труд», «Комсомольская правда» и т.д.), своими книгами: «Крах интеллигенции» (М., 1995), «Дети 1937 года» (М., 2001), «Пламенные реакционеры. Три лика русского патриотизма» (М., 2003), «Александр Солженицын как русское явление» (М., 2003), «Серебряный век простонародья» (М., 2004), «Последние поэты империи» (М., 2005).

Только в эти книги вошли статьи о 74 авторах и 40 интервью. К тому же не меньшее количество писателей, критиков, деятелей искусства характеризуются обзорно. При этом в названные книги не попали десятки интервью и статей, которые не вписались в эти издания тематически или хронологически. В качестве примера назову лишь беседы с Дэвидом Дюком «Продолжайте вашу борьбу» («День», 1992, № 41) и Танкредом Галенпольским «Как обрести национальное достоинство?» («Завтра», 2001, № 35), рецензию на стихотворение Евгения Евтушенко «Школа в Беслане» («Завтра», 2004, № 44) и статью «Цена победы» («День литературы», 2005, № 5) о повести Леонида Бородина «Ушёл отряд». По тем же причинам в книги не вошло огромное количество статей от «Россия должна играть белыми» («Наш современник», 1990, № 12) и «Архипелаг Ди-Пи» («Слово», 1991, № 8) до «Русскости и русскоязычности» («День литературы», 2002, №2) и «Либерального лохотрона» («Завтра», 2002, № 13).

И теперь я задаю назревший вопрос: кто из «правых» критиков по данным «показателям» может хотя бы приблизиться к Владимиру Бондаренко? И сам отвечаю: никто. Поэтому мне странно наблюдать, как яростно сражаются с Бондаренко наши «правые», мною столь уважаемые авторы от Капитолины Кокшенёвой до Николая Дорошенко. Нет, я не против полемики между «своими», обеими руками «за». Бывают случаи, когда она важнее, чем полемика с идейными противниками. И сам я не согласен с некоторыми общетеоретическими высказываниями Владимира Бондаренко и оценками творчества отдельных писателей и произведений. Но не надо пытаться делать из него врага или неполноценного критика, «буревестника пустоты» («Российский писатель», 2005, № 18). Не стоит вешать на Бондаренко всех собак и так неистово «уничтожать» его.

Во-первых, он явно этого не заслужил. Во-вторых, не лучше ли данную энергию направить на борьбу с..., сами знаете, с кем.

В.Курбатов в рецензии на книгу В.Бондаренко «Последние поэты империи» («Литературная Россия», 2005, № 49) утверждает, что она – лучший автопортрет критика. Более того, по мнению В.Курбатова, «все наши суждения о другом – есть только автобиография нашего сердца в разные часы жизни».

Думаю, необходимо уточнить: критика-автобиография продуктивна лишь тогда, когда является, в первую очередь, исследованием о другом. В этом случае Зоил «склоняет голову» перед объектом изучения. Если же «я» критика довлеет над творчеством другого, используя его как материал для иллюстрации своих воззрений, то «объективная» критика умирает и начинается критика «по поводу» либо критика только «автобиография». Статьи В.Бондаренко к ведомству хромающей на одну или обе ноги критики не относятся.

Поэтому трудно согласиться и с общим посылом рецензии В.Курбатова, и с некоторыми вытекающими из него частными утверждениями. Так, критик считает, что в суждениях Бондаренко о Евтушенко, Вознесенском, Окуджаве, Аксёнове, Межирове побеждают не их тексты, а репутации. Неточные или ложные, как следует из контекста. Если бы было наоборот, то, по версии Курбатова, у Бондаренко нашлось бы «если не принимающее, то понимающее и прощающее слово». В этой связи вспоминается признание Бондаренко о том, что «он всегда старался быть конкретным» («Разговор с читателем»). В статьях же о самом Бондаренко, в том числе глубоких и талантливых критиков от В.Курбатова до В.Винникова, не хватает конкретности, опоры на тексты и факты. Например, непонятно, какие произведения А.Вознесенского, по В.Курбатову, должны вызывать у Бондаренко «понимающее и прощающее слово». «Мастера», «Лонжюмо», «Секвойя Ленина», «Авось», «Война», «Похороны Гоголя Николая Васильича», «Фиалки Влада» и многие, многие другие? Неужели можно понять всегдашнее отсутствие в творчестве Вознесенского сострадающего чувства и простить антихристианский пафос известных стихотворений и поэм автора? Как объять любовью его надуманные, мертворожденные образы, его словесную блевотину, похабщину, его всегда сверхпримитивное представление о мире и человеке, его лилипутство ума и духа, его неизбывную человеческую и творческую проституцию?

В своём отношении к А.Вознесенскому В.Бондаренко последователен. Уже в «Очерках литературных нравов» он относит модного стихотворца вместе с Окуджавой, Рождественским, Евтушенко к официальным «левым», которым в человеческом и творческом плане позволялось то, что другим писателям в СССР не разрешалось. Через четыре года в статье «Спасите меня, поэты...» («День», 1991, № 20) В.Бондаренко мудро советует Вознесенскому и его товарищам занять подобающее им место – защитников гомосексуалистов, прав женщин на аборт, свободную «любовь» и т.д.

И всё же даже в пору наиболее жёстких и резких статей В.Бондаренко (а это первая половина 90-х годов) А.Вознесенский не попадает в число авторов, которым достаются наиболее уничижительные и авторитетодробящие характеристики: Е.Евтушенко («Червивое поколение. Оральный пафос Евгения Евтушенко»), Ч.Айтматов («Чингиз, не помнящий родства»), П.Палиевский («Петр Палиевский как символ трусости»). Более того, В.Бондаренко, в отличие от других «правых» (меня в том числе), давно поставивших крест на «деревянном» Вознесенском, в самый пик открытой борьбы находит в нём человека, выделяя стихотворца из многочисленных «учеников Геббельса»: «Андрей Вознесенский не подписал ни одного позорного кровавого воззвания и даже наоборот – послал лекарства жертвам насилия в «Склиф», где лежит немало моих знакомых» («Тяжесть свободы или сытость подневолья»). И в этом видится проявление чуткости, высшей объективности, православности В.Бондаренко.

Правда, в статье «Спасите меня, поэты...» Владимир Григорьевич частично «реабилитирует» раннего Вознесенского. Критик утверждает, что поэма «Лонжюмо» написана с искренней верой в идеалы общества. Так это или нет – не знаю. Искать ответ

на этот вопрос у Вознесенского – бесполезно: всё равно, как всегда, правду не скажет. Но если даже дело обстояло так, как утверждает В.Бондаренко, то в данном случае гораздо больше автора поэмы характеризует не вера, а идейно-художественный уровень её выражения, уровень постижения человека и времени. И здесь Вознесенский является одним из лидеров «эстрадной поэзии», «шестидесятников» и поэзии XX века вообще. Такое человеческое и поэтическое убожество, такая пустота встречаются у редких авторов.

Существует устойчивое мнение о Бондаренко как о баррикадном бойце. Да, он – боец и может одарить «красным словом» так, как никакому Льву Данилкину не снилось. В одном из последних номеров «Афиши» этот наёмный, с позволения сказать, критик обвиняет Владимира Бондаренко в том, что тот «не умеет потрошить стихи в том смысле, как это делали Тынянов и Лотман» («Афиша», 2005, № 22). Так «потрошить» стихи Бондаренко никогда не будет, не потому, что не умеет... «Потрошат» ремесленники и «убийцы» стиха, а Владимир Григорьевич остался поэтом, несмотря на суровый приговор Иосифа Бродского. И лучшие его статьи для меня – это поэзия в критике. Вот первое, что отличает Бондаренко от многих «бойцов» разных направлений.

Второе, Владимир Григорьевич – не типичный баррикадный боец, потому что критерии истины, России, Бога для него всегда или почти всегда более значительны, чем товарищеская «партийная» солидарность. Этого почему-то не видит Валентин Курбатов, и не только он. Бондаренко постоянно нарушал и нарушает правила «баррикадных» сражений как по отношению к «своим» (напомню лишь его прежние выпады против Юрия Бондарева – писателя и руководителя писателей, его нынешние резкие высказывания о многих «наших» писателях, критиках, руководителях Союза писателей России), так и к «чужим».

В.Бондаренко, не сдавая позиций, не поступаясь принципами, чутко реагировал и реагирует на любое проявление здоровых русских начал у «левых». Критик ещё в начале 90-х годов первым и, если не ошибаюсь, единственным среди «правых» в статье «Катастрофка» высоко оценил публикацию Лакшина «Россия и русские на своих похоронах» и со свойственной ему открытостью и добротой призвал: «Ура! Владимир Яковлевич, милости просим в газету «День». С тем же чувством была воспринята в статье с говорящим названием «Апология Латыниной» нашумевшая публикация известной критикессы «Когда поднялся железный занавес». В последние годы Владимир Бондаренко выдал серию статей: «Ахмадулина в возрасте Ахматовой», «Чужая боль на пиру» о Мориц, «Взбунтовавшийся пасынок русской литературы» о Бродском, – написанных с редкой чуткостью и мудрой любовью, что вызвало очередные пересуды среди «своих».

То есть, чем дальше, тем больше становится очевидным, что Владимир Бондаренко – это не «баррикадный боец», а «один в поле воин», русский «правый» сродни Василию Розанову. Если воспользоваться выражением последнего, то Бондаренко можно назвать «человеком-соло». Не случайно в последнее время через статьи и особенно интервью критика проходит мысль: «Каждый писатель по сути одиночка. Особенно к старости... С возрастом потребность общения исчезает, а писатель всё более тянется к одиночеству, не уходя в него совсем».

На протяжении 40 лет творчества Владимир Бондаренко умудряется расти как критик, публицист, мыслитель. Он хорошо знает свои слабые места, признаёт ошибки, корректирует или принципиально меняет отдельные свои оценки, взгляды. Так, в «Разговоре с читателем» Бондаренко, полемизируя с Кикензоном, узревшим в самом названии «русская литература» проявление национализма, называет стадии, через которые проходит русская и все литературы СССР: советская литература, европейская литература, мировая литература. При этом критик оговаривает: «Нет просто советских писателей, как нет и просто советских людей, а есть русские, татары, карелы, евреи, латыши, объединённые социально-политическим понятием – советский народ». Толкование соотношения русского и советского, столь характерное для того времени (мне трудно

сказать, кто из критиков не писал подобное), пересмотрено в дальнейшем. Владимир Бондаренко в статье «200 лет вместе» («День литературы», 2003, № 1) предлагает заменить в рассуждениях Дмитрия Быкова словосочетание «русская культура» иным – «советская культура», ибо все 70 лет эти культуры «развивались как бы параллельно».

Разные авторы от Александра Твардовского до Вадима Кожинова считали, что талант критика более редкий и уникальный, чем талант писателя. По свидетельству В.Кожинова, в библиографическом указателе «История русской литературы XIX века» из почти 300 авторов лишь немногим более 30 критиков. Не знаю, сколько критиков войдёт в аналогичный справочник XX века. Уверен в другом: Владимир Бондаренко, сегодняшний лидер среди критиков, займёт место в ряду лучших зоилов своего времени: Вадима Кожинова и Михаила Лобанова, Игоря Золотусского и Ирины Роднянской, Юрия Селезнёва и Капитолины Кокшенёвой...

2006

АЛЕКСАНДР КАЗИНЦЕВ:  
КРИТИКА – ЭТО ИСКУССТВО  
ПОНИМАНИЯ

Виктор Юхт в статье «Кто он, современный критик?» («Вопросы литературы», 1986, № 5) свои размышления о работе Сергея Чуприна «Критика – это критики» («Вопросы литературы», 1985, № 12) закончил пожеланием: «Хотел бы ещё увидеть статьи о критиках разных годов, направлений, пристрастий – о В. Лакшине и В. Огневе, А. Урбане и А. Марченко, о покойном Ю. Селезнёве и о лучших из поколения «сорокалетних», например о Вл. Новикове, И. Шайтанове, А. Казинцеве». Пожелание харьковского критика естественное, закономерное, только Казинцева он относит к «сорокалетним» ошибочно: Александру Ивановичу на момент публикации статьи Юхта было тридцать два года. Данная неточность, думаю, порождена тем, что за пять лет, прошедших после выхода первых статей Казинцева, он стал не по возрасту популярен, стал критиком, которого читают, на чьи работы активно реагируют коллеги по цеху.

И вполне закономерно, что уже через два года в книге Чуприна появилась глава «Дух боевитости, или Александр Казинцев» (Чуприн С. Критика – это критики. – М., 1988). Выбор Казинцева и Мальгина, чьими портретами завершается книга, Андрей Немзер назвал «выбором одновременно логичным и неудачным» («Новый мир», 1991, № 5). Логичность автору статьи «Конец прекрасной эпохи» видится в том, что эти критики среди «тридцатилетних» выделяются фактурностью, они «слепили свой образ» сами. В то же время Александр Казинцев не обладает, по мысли Немзера, качествами, присущими Александру Агееву, Марку Липовецкому, Владимиру Потапову, Виктору Юхту, Михаилу Золотоносову, – «тридцатилетним», не попавшим в книгу С. Чуприна. И в этом, считает Немзер, неудачность выбора автора «Критика – это критики».

В оценке Казинцева между Сергеем Чуприным и Андреем Немзером нет никаких разногласий. Они оба ставят под сомнение талант критика, что лишний раз подчеркнул Чуприн в интервью, своеобразном комментарии к вышедшей книге («Литературное обозрение», 1988, № 10). Такое отношение к Александру Казинцеву со стороны «левых» вполне естественно, предсказуемо и другим быть не может. Это реакция на идеи,



ценности, которые критик последовательно утверждал в своих статьях и о которых пойдёт речь.

В 1984 году на страницах «Литературной газеты» состоялась дискуссия о критике, в ней принял участие и Александр Казинцев. Современной критике, утверждал тридцатилетний автор в статье «Не драка, а диалог», не хватает «глубины осмысления разбираемых произведений, конкретности наблюдений, аргументированности выводов» («Литературная газета», 1984, № 20). И эти довольно традиционные требования к критике Сергей Чупринин приводит в своей книге как иллюстрацию слога Казинцева, «по-профессорски солидного и по-профессорски вяловатого», напоминающего «то ли публичную лекцию, то ли установочный доклад на писательском совещании».

Предвзятость Чупринина очевидна, поэтому от комментариев воздержусь, но вскользь замечу. Несомненно, Сергей Иванович знает толк в установочных статьях, в которых преуспел, когда трудился в «Литературной газете», но в данном случае он явно перепутал Александра Ивановича с самим собой... Вообще Чупринин принципиально неадекватен в своих оценках Казинцева (подобной тотальной критике в его книге подвергается лишь Вадим Кожинов). Создаётся впечатление, что он даже не читал статью «Не драка, а диалог», откуда приводит примеры. Уже в следующем после процитированного Чуприниным предложении говорится о том главном, чего, на взгляд Казинцева, не хватает многим публикациям – «воли к пониманию другого, его судьбы, его мыслей и чувств, воплотившихся в произведении». Эта и иные принципиальные мысли Казинцева Чуприниным игнорируются.

Автор статьи «Не драка, а диалог» обращает внимание на слабые места в работах Льва Аннинского, Алексея Кондратовича, Владимира Гусева, Ирины Роднянской, Владимира Котельникова. Среди типичных для текущей критики недостатков Казинцев называет следующие: подмена вдумчивого анализа «хлесткими негативными характеристиками» или безудержным восхвалением; игнорирование работ предшественников, отсутствие ссылок на статьи коллег-современников; гипертрофированная самореализация критика в ущерб объекту исследования; отсутствие личностно-творческого начала, когда «зоил» – лишь ретранслятор набивших оскомину общеизвестных мыслей о литературе и жизни.

Идея о том, что есть критика, естественно вытекает из всей статьи Александра Казинцева, логически завершает её. На традиционный вопрос: «Критик – это писатель?» – он отвечает так: «Да, подлинные мастера жанра – художники. Но в отличие от поэта или прозаика они не творят новую эстетическую реальность. Как бы критик ни стремился к независимости, его искусство изначально связано с чужим текстом. Это – искусство понимания». Уже из размышлений Александра Ивановича о назначении критики видно, что в трактовке данного вопроса Казинцев идёт собственным путём, его видение критики отличается от взглядов Льва Аннинского, Владимира Гусева, Вадима Кожинова, Юрия Селезнёва, Владимира Бондаренко...

Разговор о критике Александр Иванович продолжил в статье «От избытка сердца...» («Октябрь», 1986, № 6), приуроченной к 175-летию со дня рождения Виссариона Белинского. В ней вопрос о художественности называется одним из самых насущных. В рецензиях и статьях о современной литературе, по мнению критика, преобладает пересказ содержания произведения. Отталкиваясь от рецензии Евгения Кузьмина, Казинцев затрагивает общетеоретические вопросы: «А ведь Астафьев, несмотря на свою злободневность <...>, художник по преимуществу, один из самых выдающихся современных художников слова. Если и в его произведениях мы, критики, будем видеть только содержание, сводя их в конечном счёте к судебному очерку с приправой из морали и благородного пафоса, то мы начисто исключим само слово «художественность» из лексики литературной критики, отдав его в распоряжение историков и теоретиков литературы».

Не одно десятилетие художественность подменялась социальностью и различными её модификациями. Примером могут служить ответы Петра Николаева и Анатолия Бочарова на анкету «Строка Белинского» («Новый мир», 1986, №6). Так, Бочаров, заведующий кафедрой критики на журфаке МГУ, где Александр Казинцев в 70-е годы был аспирантом, свои размышления завершает следующим образом: «Итак, время и место, обусловленные духовным состоянием общества, – вот что такое поэтическая действительность, которая вкупе с плодотворной идеей и сотворяет великие таланты».

Понятно, что такая вульгарно-социологическая чушь утверждалась с подачи Белинского, у которого подобных высказываний предостаточно. Казинцев же в своей статье отталкивается от суждений критика иной направленности, в частности, из статьи «Взгляд на русскую литературу 1847 года»: «Без всякого сомнения, искусство прежде всего должно быть искусством, а потом уже оно может быть выражением духа и направления общества в известную эпоху. Какими бы прекрасными мыслями ни было наполнено стихотворение, как бы ни сильно отзывалось оно современными вопросами, но если в нём нет поэзии, – в нём не может быть ни прекрасных мыслей и никаких вопросов, и всё, что можно заметить в нём, – это разве прекрасное намерение, дурно выполненное».

Правда, и данное высказывание, как это часто бывает у Белинского, можно толковать по-разному (что и продемонстрировал Леонид Новиченко в своём ответе на анкету «Нового мира»). Думаю, поэтому Александр Казинцев вынужден был домысливать за якобы лучшего якобы русского критика, приписывая ему то, что у «неистового Виссариона» встречается предельно редко: «Произведение для Белинского – живая целостность, всегда индивидуальный сплав идеи и приёмов, с помощью которых она раскрыта, содержания и формы, социальности и художественности. И критик всегда стремился донести до читателя ощущение этой целостности».

Уточню: целостный подход – явление редкое в критике как в 80-90-е годы XX века, так и сегодня. Явление, уверен, далеко не всегда обязательное. Заикленность же на художественности, по-формалистски понимаемой, приводит к убийству живого духа литературы. Об этом с понятным возмущением писала Марина Цветаева в статье «Поэт о критике»: «Часто, читая какую-нибудь рецензию о себе и узнавая из неё, что «формальная задача разрешена прекрасно», я задумывалась: а была ли у меня «формальная задача». <... > Как я, поэт, т.е. человек сути вещей, могу обольститься формой? Обольщусь сутью, форма сама придёт» ( Цветаева М. Собр. соч.: В 7 т. – Т5. – М., 1995).

Не вызывает сомнений, что Александр Казинцев эту опасность обольщения формой, перекося в сторону формальной художественности прекрасно осознаёт. Характерен эпизод из его статьи «Я наблюдал, боготворя...» («Вопросы литературы», 1983, № 9). Критик говорит о неплототворности рассмотрения эволюции Б. Пастернака, А. Ахматовой, Н. Заболоцкого на формальном уровне «как движение от «усложнённости», «заумности» ранних стихов к «ясности», «общедоступности» поздних». Казинцев предлагает вести речь о содержательной художественности или содержательной форме.

Интересна в данном отношении работа о Мандельштаме «Я – русский поэт!» («Москва», 1990, № 12). Неповторимое «я» автора «Камня», первого сборника Осипа Эмильевича, Казинцев определяет не через культуру стиха, а через особую доверчивость и задушевность. Творческая же судьба Мандельштама – это поиск слова, преобразующего «внутренний крик» поэта в художественное явление, связанное с современностью, историей, культурой народа. Иногда поиск такого слова затягивался на долгое время, что Александр Казинцев показывает на примере стихотворения «Не мучнистою бабочкой белой...».

Для критика непонятна и неприемлема ирония Сергея Рудакова, вызванная тем, что Мандельштам целый год искал завершающую строчку произведения. Казинцев справедливо утверждает, что поэт искал не строчку, а выход из плена стереотипов времени. «Мандельштаму удалось найти нужную интонацию – не победно-утвердительную, в духе передовиц, – встревоженную, вопрошающую интонацию,

пронизанную предчувствием катастрофы. Эти нестройно, наперекор воинскому уставу идущие «люди, люди, люди» как бы проваливаются за грань стиха в небытие».

Целостный подход к анализу произведения Казинцев демонстрирует и в экспрессивно-изящной статье «Игра на понижение» («Литературное обозрение», 1983, №10) о повести В. Маканина «Предтеча». Размышления критика о природе таланта писателя – одно из ключевых мест работы. Александр Казинцев полемизирует с Натальей Ивановой, которая трактует анекдот – художественную основу произведения – как вариант притчи, несущей философскую нагрузку. Автор «Игры на понижение» убедительно возражает критикессе: «Анекдот и притча лишь формально близки. Различие же между ними куда существеннее – они выражают прямо противоположное отношение к миру: рассказывая о «вечных» свойствах человеческой натуры, притча возвышает их, просвечивает светом духовности, анекдот снижает, окарικатуривает».

Не менее убедительно Казинцев опровергает версию Ивановой о В. Макаanine и Н. Гоголе как о писателях стилистически родственных, он доказательно говорит о сделанности, сконструированности образа главного героя «Предтечи», о психологической немотивированности его поведения, мастерски разбирает художественные просчёты повести и т. д. И в данном контексте тема «анекдот – притча» получает такое продолжение: «К анекдоту автор подмешивает житие. Но не для статичного их соединения, анекдот сразу же начинает житие профанировать и постепенно поглощать. Это игра на понижение. С высот духа до самых низменных проявлений человеческой природы».

Сей точный диагноз критика применим и к творчеству Владимира Маканина двух последних десятилетий, к периоду, который начался публикациями повестей «Отставший», «Лаз». «Игра на понижение» для Маканина закончилась в конце концов катастрофически. Он, один из самых талантливых «сорокалетних», стал творческим импотентом, полностью порвавшим с традициями отечественной литературы. «Игра на понижение» сделала Владимира Маканина популярнейшим русскоязычным беллетристом...

Историзм мышления – один из заветов Белинского – особенно значим для современной критики, по мнению А. Казинцева, автора статьи «От избытка сердца...». В этой связи он отмечает, что во многих публикациях конкретное произведение рассматривается как «вещь в себе», вне традиций и контекста русской литературы. Обрезанный кругозор мышления приводит к размыванию критериев и оценочному произволу.

Особо подчеркну: в разговоре об историзме Казинцев не вспоминает о необходимости классового подхода, актуальности работ В. Ленина и т.д., то есть он зримо избегает тех общих – обязательных – мест, без которых статьи большинства критиков-современников – от идеологически правоверного Феликса Кузнецова до «эстета» Андрея Немзера – не мыслились. Последний в обзоре работ о Белинском «Диалог продолжается» посчитал необходимым расставить такие идеологические акценты: «Очень существенна мысль о том, что «Письмо к Гоголю», названное В.И. Лениным «лучшим произведением бесцензурной демократической печати», «проникнуто от начала и до конца... «утопиеборчеством»; «одним из самых бесстрашных борцов со всеми формами лжи <...> вошёл Белинский в русскую литературу, в традицию революционной мысли» («Литературное обозрение», 1986, № 6).

Историзм мышления по-разному проявляется в работах Александра Казинцева, наглядно – в статьях, где объект исследования – далёкая и близкая история, запечатлённая в художественном слове. В подобных случаях у Казинцева, как правило, существует дистанция между его позицией и позицией автора анализируемого произведения. А это возможно только при наличии серьёзных знаний и общих представлений об истории.

Эти знания, явленные в работах критика в виде фактов, экскурсов и тому подобное, выполняют разные функции. В статьях «Несвоевременный Катенин» («Литературная

учёба», 1982, №5), «Автор двух поэм» (См.: Н.В. Гоголь: история и современность. – М., 1985) история – фон, иллюстрация к судьбам и произведениям П. Катенина и Н. Гоголя. В статьях «Я наблюдал, боготворя...» («Вопросы литературы», 1983, №9), «Путь на пользу» («Литературное обозрение», 1986, №7), «Очищение или злословие» («Наш современник», 1988, №2), «История – объединяющая или разобщающая» («Наш современник», 1988, №11), «Новая мифология» («Наш современник», 1989, №5), «Четыре процента и наш народ» («Наш современник», 1989, №10), «Жертва вечерняя» («Литературная Россия», 1990, №47), «Я – русский поэт!» («Москва», 1990, №12) история, точнее, историософия, – ключ к пониманию литературы и жизни.

Поэтому закономерно, что размышления Казинцева о близком и далёком прошлом, современности, о творчестве А. Блока, А. Ахматовой, Б. Пастернака, О. Мандельштама, Н. Заболоцкого, В. Гроссмана, Ю. Трифонова, В. Шаламова, Б. Ямпольского, В. Пикуля, Ф. Искандера и многих других писателей сопровождаются обязательными операциями: художественная реальность соотносится с жизненной реальностью, авторский взгляд на мир и человека поверяется системой ценностей, традиционных для отечественной литературы, культуры, истории, философии. И дело не в том, что Казинцев каких-то писателей решил отлучить от русской словесности, как утверждает А. Немзер («Литературная газета», 1989, №1), суть в другом: немало произведений, не выдерживая испытания русской матрицей, выпадают в осадок. Их, о чём не говорит критик, нужно относить к русскоязычной литературе.

Например, в статье «История – объединяющая или разобщающая» Александр Казинцев, подробно анализируя «Жизнь и судьбу» В. Гроссмана (названную «левыми» фантазёрами «Войной и миром» XX века), показывает её инородность отечественной словесности. Я пунктирно воспроизведу размышления критика о проблеме личности – одной из ключевых в романе и русской литературе.

Казинцев утверждает, что Василий Гроссман сводит эту проблему к «формуле «отдельного человека», что означает разрыв с традицией эпического мироощущения, выраженной в «формуле «человек – народ». К безусловно верным суждениям критика, думаю, требуется уточнение. Гроссмановская формула противостоит не просто эпической традиции, а традиции русской литературы, культуры, мысли, согласно которой неусечённая «формула личности» выглядит так: «человек – народ – Бог».

Критик акцентирует внимание на непоследовательности, противоречивости писательской формулы «отдельного человека», утверждаемой через авторские характеристики и речи персонажей: Мадьярова, Каримова, Штрума, Соколова, Павлюкова... С одной стороны, «отдельный человек» – это человек без национальности, «не русский, не татарин», но прежде всего, важнее всего: «не русский, не русский». С другой стороны, данная формула не распространяется на всех героев, на все народы. В избранном положении оказываются евреи, поэтому, и не только поэтому, критик справедливо говорит о национальном эгоцентризме мышления В. Гроссмана. В этой связи Казинцев, в частности, утверждает: «Мне трудно принять жёсткую, нет – жестокую избирательность писателя, видящего в переполненной трагедиями народов историю первой половины XX века только трагедию евреев: «...Первая половина двадцатого века войдёт в историю человечества как эпоха поголовного истребления огромных слоёв еврейского населения, основанного на социальных и расовых теориях». Войдёт, не спору. Но рядом, с убитым евреем войдут в историю человечества и умершие от голода русский хлебопашец и украинский крестьянин <...>. Войдут замученные в фашистских лагерях белорусы, войдут вырезанные в Османской империи миллионы армян, войдут греки, погибшие в сражениях с фашистами, бойцы испанских отрядов, эфиопы, индийцы, палестинские арабы <...>, – десятки и десятки миллионов людей страшным потоком вольются в книгу судеб и скажут: нас убили в XX столетии, в первой его половине».

В суждениях Александра Казинцева о литературе и истории довольно много неожиданных – по оригинальности и глубине мысли, по «партийной» направленности –

оценок. Они опровергают расхожее мнение «левых»: дескать, Казинцев не выдвигает новых идей, повторяет сказанное В. Кожиновым, Т. Глушковой и другими «правыми» старшего поколения (смотрите, например, статью К. Степаняна «Выпавшие из времени, или Чуть-чуть не считается»// «Дружба народов», 1988, №11).

В одних случаях критик ведёт косвенный спор со «своими», высказывая мнение, отличное от взглядов большинства «правых». Например, в статье «Путь на пользу» («Литературное обозрение», 1986, №7) Александр Иванович говорит о серьёзных недостатках романа Валентина Пикуля «Фаворит», а в «Простых истинах» («Наш современник», 1986, №10) критик называет неудачным сборник Юрия Кузнецова «Ни рано, ни поздно» и довольно резко отзывается о заметке поэта, посвящённой стихам Виктора Лапшина.

В других работах Казинцев ведёт «контактную» полемику с «правыми» собратьями по цеху, а в тех случаях, когда имена не называются, они легко угадываются. Так, в статье «Лицом к истории: продолжатели или потребители» («Наш современник», 1987, №11) ставится под сомнение подход к русской и европейской истории, заявленный в одной из самых известных статей Вадима Кожинова «И назовёт меня всяк сущий в ней язык...» («Наш современник», 1981, №11). Размышляя о пушкинском понимании истории, Александр Казинцев мимоходом замечает: «Некоторые публицисты примерно так и пытаются представить дело – подсчитывают, сколько гугенотов было вырезано во Франции за одну только Варфоломеевскую ночь, сравнивают с числом русских людей, истреблённых Иваном Грозным, и на основании результата э л е м е н т а р н о й а р и ф м е т и ч е с к о й о п е р а ц и и провозглашают: мы более человеколюбивы!»

Отдельная страница в творчестве А. Казинцева – большая статья «Надзирающая» («Наш современник», 1995, №2, 3), посвящённая полемике с Татьяной Глушковой. В этой работе проявились интеллектуальная мощь, обширнейшие знания, редкий полемический дар, аналитический ум, логическое мышление критика. Его полемика с Глушковой – тема большого и серьёзного отдельного разговора, поэтому переверну эту страницу творчества Казинцева молча, без комментариев.

Итак, во многих случаях позиция Александра Казинцева отличается от позиции большинства «правых». Поэтому упреки в партийности мышления, периодически звучащие в адрес критика, воспринимаются как голословные. Так, в рубрике «По мнению редакции» («Вопросы литературы», 1987, № 4) был опубликован материал «Об этике литературного спора», часть которого посвящалась Александру Казинцеву. В частности, приводилась цитата из его статьи «Взыскательная критика и её противники» («Наш современник», 1986, № 11), где высказывалось предположение: Андрей Мальгин – лишь «инструмент» «Юности», выразитель позиции журнала.

Это предположение «Вопросы литературы» переадресовали автору его: «...А как бы сам Александр Казинцев отнёсся к суждению в том роде, что он является лишь проводником некоей надличной воли? Вопрос тем более уместный, что выступление критика выдержано в стиле редакционной статьи, а автор является штатным сотрудником журнала «Наш современник». Позже подобные мысли – и не в форме риторического вопроса, а вполне утвердительно – высказывались Кареном Степаняном, Александром Архангельским, Вячеславом Огрызко.

Думаю, когда речь идёт о редакционной политике «Нашего современника», Александр Казинцев – выразитель позиции журнала, что признаётся им самим как единственно правильная модель поведения. Но когда речь идёт об оценке конкретных произведений, Казинцев, конечно, выступает как «частное» лицо, как критик, чья точка зрения нередко не совпадает с мнением авторов и работников журнала.

Например, никто из «правых» не написал об «Исчезновении» Ю.Трифорова так тонко и глубоко, как Александр Казинцев. Из его статьи «Лицом к истории: продолжатели или потребители» («Наш современник», 1987, № 11) я приведу фрагмент, вызвавший наибольшие возражения, нападки со стороны «левых».

Критик акцентирует внимание на том, что герои «Исчезновения» в восприятии Ю. Трифонова делятся на две группы. К первой, наибольшей, заслуживающей оправдания, сострадания, относятся почти все обитатели Дома на набережной – советская элита, повинная в гибели и лишениях миллионов ни в чём не повинных людей. Вторая группа героев – преступников, не вызывающих авторского сочувствия, – представлена Флоринским и безымянным персонажем, НКВДэшником, который проводил обыск на даче любовницы Сергея.

Именно этот безымянный персонаж, первоначально не замеченный критиками разных направлений, вызывает особый интерес у Александра Казинцева. Он подчёркивает простонародное, вероятнее всего, – крестьянское происхождение НКВДэшника. Признавая его вину, критик не скрывает, что ему жаль этого мужика, ибо он – сам жертва. Жертва той ситуации, в которую поставлен волей обитателей Дома на набережной, чьи приказы выполняет.

Естественно, что такие взгляды Казинцева были встречены в штыки нашей либеральной жандармерией. В его адрес посыпались обвинения, цель которых очевидна: дискредитировать критика как человека и профессионала. Вот как, например, характеризуется позиция Александра Ивановича в эпизоде с НКВДэшником в уже называвшейся статье Сергея Чуприна. Казинцев якобы «рассуждает о недемократичности и, может быть, даже антинародности позиции Ю. Трифонова, так как юный герой романа «Исчезновение» (Горик. – Ю.П.) без всякой приязни смотрит на людей в форме НКВД, которые ночью пришли арестовывать и навсегда увести с собой его отца».

Во-первых, об эпизоде ареста отца Горика Казинцев не говорит ни слова. Непонятно, как Сергей Чуприн смог перепутать данный эпизод с обыском на даче, о котором пишет Александр Иванович. Во-вторых, о чувствах «юного героя» в данной статье речь не идёт: Казинцев обращает внимание на позицию Юрия Трифонова... В-третьих, оценки Чуприна, строящиеся на откровенных подтасовках, фантазиях, комментировать нет смысла.

И такая метода сознательного искажения, оглушения взглядов Александра Казинцева характерна для всех «левых». Например, «мягкий» Карен Степанян в произволе оценок недалеко ушёл от «резкого» Сергея Чуприна. Он в статье «Выпавшие из времени, или Чуть-чуть не считается» («Дружба народов», 1988, № 11) суждения критика, порождённые эпизодом на даче, называет неаргументированными и интерпретирует их, в частности, так: «...В противовес эгоистичному писателю Трифонову самому Казинцеву «жаль безымянного мужика», а вот всех остальных обитателей Дома на набережной не жаль вовсе».

Статья К. Степаняна, как и С. Чуприна, оставляет впечатление, будто мы читали разные работы Александра Казинцева с одинаковым названием. Оценка «эгоистичный писатель Трифонов» не встречается у Казинцева ни под каким соусом, но довольно подробно и доказательно (как всегда, доказательно) говорится об эгоцентризме сознания и поведения Горика и жителей Дома правительства, об их «равнодушной отчуждённости» от судеб миллионов соотечественников. Нет в статье критика и слов, что ему не жаль обитателей Дома на набережной, зато есть другое, обойдённое, не замеченное К. Степаняном, С. Чуприным, А. Турковым...

Александр Казинцев на примере безымянного мужика точно предсказал, что именно он станет главным виновником и ответчиком за преступления XX века, за, добавлю от себя, неудавшийся социальный эксперимент. В 1987-1988 годах «левые» дружно завопят, запрокурорствуют: во всём виноват русский народ, русский крестьянин, сознание которого было доличностным, интересы которого дальше околицы не простирались, и он, порождая стукачей и палачей, стал опорой и проводником политики сталинизма, другой бы народ сказал своим правителям – уходите... Весь этот бред – общее место в статьях

Игоря Клямкина и Татьяны Ивановой, Владимира Лакшина и Натальи Ивановой и многих, многих других.

В отличие от «левых» и некоторых «правых», Александр Казинцев оценивает любые явления литературы и жизни с позиций православной народности, то есть, с позиций той малой части русского народа (собственно народа), которая является выразителем традиционных христианских ценностей. Критик (вслед за Михаилом Лобановым и Юрием Селезнёвым) последовательно продолжает отстаивать традицию народности в литературе. Поэтому закономерно, что личность для него – это индивидуальное проявление православной народности («История – объединяющая или разобщающая»), а в явлении «омассовления народа» критик видит гибельный путь. И вполне символично, что именно А. Казинцев сразу после публикации в СССР работы Хосе Ортеги-и-Гассета «Восстание масс» одним из первых дал ей разгромно-блестящую характеристику в статье «Четыре процента и наш народ». Странно только, что Александр Архангельский в своей работе «Между свободой и равенством» («Новый мир», 1991, №2) ни слова не говорит об этом, зато нашёл у Казинцева – не устаёшь удивляться наглости и фантазии «левых» – подведение «логического большевистского итога».

Со второй половины 80-х годов А. Казинцев становится одним из самых активных борцов против «новой мифологии», которая тотально внедряется через СМИ. А. Вознесенский, Е. Евтушенко, А. Рыбаков, В. Войнович, В. Аксёнов, И. Бродский, М. Шатров, Ю. Мориц, М. Жванецкий, А. Лаврин, А. Парщиков, В. Коркия, И. Виноградов, С. Чупринин, А. Янов, А. Синявский, Г. Померанц, В. Кантор, Б. Сарнов, Е. Сидоров, А. Дементьев, Г. Боровик, А. Мальгин, В. Белоцерковецкий, Е. Лосото, Г. Петров, О. Кучкина, Н. Ильина, П. Гутионов – вот только некоторые имена адептов и кумиров этой «новой мифологии», которые становятся объектом сокрушительной критики Александра Казинцева.

Им противопоставляется творчество писателей и критиков, которые последовательно и не всегда последовательно выражали русский взгляд на мир и человека. Перечень имён традиционен: В. Белов, В. Распутин, В. Лихонос, Д. Балашов, К. Воробьёв, В. Астафьев, О. Куваев, Н. Рубцов, М. Лобанов, В. Кожинов, Ю. Селезнёв... Думаю, не случайно среди критиков Александр Казинцев неоднократно выделяет Михаила Лобанова и Юрия Селезнёва, авторов наиболее близких ему творчески и человечески.

Возвращение русской философии конца XIX – начала XX веков было воспринято большинством критиков разных направлений с одобрением, воодушевлением, как давно назревшая необходимость. В статьях, интервью звучали признания, что Владимир Соловьёв, Василий Розанов, Николай Бердяев, Сергей Булгаков и т.д. были прочитаны ещё в 50-60-е годы. Однако уровень восприятия литературы и жизни от этого не повысился, остался, мягко выражаясь, поверхностно-атеистическим, о чём свидетельствуют работы 60-70-х годов. Лишь в статьях и книгах Михаила Лобанова, Юрия Лощица, Игоря Золотусского, Юрия Селезнёва, Ирины Роднянской и некоторых других пульсировала религиозно-духовная мысль...

Возвращение русской философии в конце 80-х годов XX века сопровождалось культовой эйфорией, сущностной путаницей, стремлением сделать отечественных мыслителей своими союзниками в жарких схватках «гражданской войны» периода перестройки. Одним из первых на некоторые странности возвращения философского наследия указал Александр Казинцев в статье «Новая мифология» («Наш современник», 1989, № 5).

Оценивая публикации Льва Шестова и Владимира Соловьёва в «Вопросах философии» и «Новом мире», критик демонстрирует такое знание-понимание вопросов, которое с ходу, в угоду моде, не приобретёшь. Как позже признается Казинцев, во время обучения в аспирантуре он три года просидел в библиотеке МГУ. «Это колоссальное книжное собрание, ненамного менее обширное, чем «Ленинка». Причём, в отличие от неё, фонды университетской библиотеки не были столь ревностно прорежены тогдашними

блюстителем идеологической чистоты. Там я познакомился со 150-томным изданием Святых Отцов, книгами философов и поэтов Серебряного века» («День литературы», 2008, № 10). Этот религиозно-философский «базис» явно чувствуется в большинстве работ критика, в «Новой мифологии» в частности.

Александр Казинцев обращает внимание на то, как Соловьёва и Шестова публикаторы, комментаторы пытаются подстричь под излюбленные либеральные идеи. Критик убедительно полемизирует с доктором философии Н. Мотрошиловой, автором биографического отзыва о Шестове. На её версию происхождения псевдонима Льва Шварцмана Казинцев отреагировал так: «Насчёт противостояния национализму еврейскому – верно. Шестов никогда не ощущал себя еврейским философом. Ему были дороги русские писатели <...>, ему были близки традиции русской мысли, не терпящей философски абстрактных умствований <...>. Что же до борьбы с шовинистическим антисемитизмом, то надо обладать изощрённой в схоластических словопрениях логикой, чтобы увидеть в выборе русского имени «мотив борьбы» с антисемитизмом».

Суждения же критика о Владимире Соловьёве, его публикаторах, Сергее Аверинцеве, авторе эссе «К характеристике русского ума», вызвали возмущённый отклик Владимира Биbihина «Свои и чужие». Суть его сводится к тому, что Казинцев попытался «учредить опеку над Соловьёвым» («Литературное обозрение», 1989, № 12). Думается, речь в статье «Новая мифология» идёт о другом. Соловьёв как мыслитель был очень широк, а публикаторы «Нового мира» его кастрируют. Они знакомят читателя с теми работами, где содержится несправедливая критика русского народа, государства, Церкви, знакомят по фрагментам, а все «лишнее», не соответствующее их взглядам, вырезают. Казинцев считает, что на страницах журнала должны были присутствовать и работы иной направленности. В целом же критик не скрывает своего несогласия с Владимиром Соловьёвым по многим вопросам, часть из которых называет.

Вообще-то Александру Казинцеву повезло, ибо его суждения о философе заметили. В последующие годы ситуация принципиально изменилась: возник культ Соловьёва со всеми вытекающими отсюда последствиями. Одно из них – игнорирование «левыми» критики в адрес философа его и наших современников (Б. Чичерина, Н. Страхова, П. Астафьева, В. Несмелова, Н. Ильина, Н. Калягина и других). Так, Николай Ильин в своём серьёзнейшем исследовании «Трагедия русской философии» (Санкт-Петербург, 2003) утверждает и доказывает, что именно с Владимира Соловьёва начинается деградация русской теоретической философии.

Я, конечно, понимаю, что в восприятии многих В. Соловьёв – это Ленин сегодня, но на мысли, подобные ильинским, придётся когда-то всерьёз реагировать. И чем раньше, тем лучше...

В разное время независимо друг от друга Владимир Бондаренко, Вячеслав Огрызко и автор этих строк с сожалением писали, что Александр Казинцев ушёл из критики в публицистику. Сей факт, конечно, ничего не меняет в нашем представлении о критике 80-90-х годов XX века. Она без Александра Казинцева немыслима, ибо он – один из самых ярких и талантливых «зоилов» этого времени, практически сразу овладевший «искусством понимания».

P.S. Я, как человек наивный, всё же надеюсь, что Александр Казинцев ещё вернётся в критику...



ЕДИНОЖДЫ ПРИСЯГНУВШИЙ,  
ИЛИ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ  
СЕРГЕЯ КУНЯЕВА

Статья Сергея Куняева «Трагедия стихии и стихия трагедии» («Литературная учёба», 1982, № 1) о поэме С. Есенина «Пугачёв» – первая серьёзная публикация литературоведа. Помню своё тогдашнее восприятие её: мой одноклассник, а пишет так хорошо, гораздо лучше меня. Пройдёт время, и я принципиально иначе, нежели Куняев в названной статье и в книге «Сергей Есенин», оценю данное произведение русского гения («Литературная Россия», 2007, № 22)...

Итак, закономерно, что именно «Трагедия стихии и стихия трагедии» открывает книгу критика «Жертвенная чаша» (М., 2007), куда вошли его избранные работы, написанные на протяжении двадцати пяти лет. Данная статья Куняева – своеобразная завязка в его творческой судьбе, в которой тема Есенина станет сквозной, главной.

В одном из интервью Сергей Куняев назвал себя «многолетней «архивной крысой» («День литературы», 2007, № 5) и уточнил, что впервые есенинские подлинники взял в руки в двадцатилетнем возрасте, то есть в 1977 году. Затем последовали многолетняя работа с архивами А. Блока, С. Есенина, Н. Клюева, встречи с оставшимися в живых их современниками: Сергеем Марковым, Анатолием Яр-Кравченко и т.д. Прорывным же для Куняева, думаю, стал период лето – начало осени 1991 года, когда он трудился в архивах КГБ. Здесь критику через «дела» Сергея Есенина и так называемых новокрестьянских поэтов открылось то, о чём он догадывался или не подозревал вообще.

И этими своими открытиями – «делами» С. Есенина, Н. Клюева, А. Ганина, П. Васильева, В. Наседкина, И. Приблудного и т.д., статьями и художественными произведениями уничтоженных русских писателей – Сергей Куняев вместе с отцом спешат поделиться с читателями. Публикуется целая серия сенсационных статей, часть из которых я назову: «Растерзанные тени» («Наш современник», 1992, № 1), «Дело» Ивана Приблудного («Наш современник», 1992, № 3), «Пасынок России» («Наш современник», 1992, № 4), «Мы, русские, потеряли Родину и отечество» («Наш современник», 1992, № 10), «Ты, жгучий отпрыск Аввакума...» («Наш современник», 1993, № 1).

При чтении современных вузовских учебников, книг, статей о поэзии 20-30-х годов XX века создаётся впечатление, что известные авторы либо не знают названных публикаций Куняевых, либо сознательно их игнорируют. Например, в «Истории русской литературы XX века» (М., 2003) В. Баевского имени Павла Васильева, Алексея Ганина, Сергея Клычкова, Петра Орешина, Пимена Карпова, Василия Наседкина и т.д. даже не называются. Николай Клюев дважды лишь упоминается, характеристика же поэзии Сергея Есенина – без его главных произведений – вызывает шок своим непрофессионализмом, произволом, тенденциозностью, многие высказывания Вадима Соломоновича просятся в рубрику «нарочно не придумалось».

Через архивы КГБ Сергею Куняеву по-иному открылись судьбы многих писателей, история литературы и время вообще. В этот период завязываются новые и ту же затягиваются старые узлы творческих интересов Куняева. Например, публикация «Ты, жгучий отпрыск Аввакума...» выросла в книгу о Николае Клюеве с таким же названием, публикуемую в этом году в «Нашем современнике», начиная с первого номера. Дело «сибирской бригады» и статья Сергея Куняева «Уроки одной судьбы» («Москва», 1991, № 3) вылились в документальное повествование о Павле Васильеве «Русский беркут» («Наш современник», 2000, № 4-10, 12). Интересно сравнить, как по-разному представили это «дело» Куняев-старший и Куняев-младший, первый – на страницах «Нашего современника» (1992, № 7), второй – на страницах «Дня» (1992, № 13).

Не менее интересно наблюдать, как творческие импульсы Станислава Куняева передаются Сергею Куняеву и наоборот. Так, в 1984 году Куняев-младший обнаружил в ЦГАЛИ уникальное стихотворение Пимена Карпова «История дурака», датированное 1925 годом. Это произведение рушило старые советские и новые либеральные представления о смелости, прозорливости, правдивости в отечественной поэзии 20-х годов. В нём, напомню, есть такие строки:

Ты страшен. В пику всем Европам  
Став людоедом, эфиопом, –  
На царство впёр ты сгоряча  
Над палачами палача.  
Глупцы с тобой «ура» орали,  
Чекисты с русских скальпы драли,  
Из скальпов завели «экспорт» –  
Того не разберёт сам чёрт!  
В кровавом раже идиотском  
Ты куролесил с Лейбой Троцким...  
<...>

С чекистами устроив давку  
И сто очков вперёд им дав,  
Кавказский вынырнул удав –  
Наркомубийца Джугашвили!

Это стихотворение со своим предисловием и послесловием опубликовал Станислав Куняев («Литературная Россия», 1989, № 17). Отрывок из постскриптума, имеющий прямое отношение к нашей теме, процитирую: «Я предложил «Дню поэзии» 1989 года опубликовать это стихотворение П. Карпова. В ответ получил отказ с резолюциями Т. Жирмунской («Я против»), Т. Бек («Я против»), Д. Сухарева («Я против, т.к. в этой вещи общая трагедия народов страны изображена как исключительно русская трагедия, что несправедливо»)).

Сергей Куняев иначе, чем Дмитрий Сухарев и другие либеральные авторы, издатели, понимает справедливость, поэтому стремится вернуть в лоно отечественной словесности «ненужных» русских писателей, Пимена Карпова, в частности. Так, после публикации «Истории дурака» в «Литературной России» выходит «Последний Лель» (М., 1989), книга прозы Н. Клюева, П. Карпова, С. Клычкова, А. Ганина, С. Есенина. А через два года в серии «Забытая книга» издаётся отдельный том Карпова, куда вошли романы «Пламень», книга стихов «Русский ковчег», отрывки из воспоминаний «Из глубины». В обоих случаях Куняев выступает как составитель, комментатор, автор предисловия. И наконец, через 16 лет Сергей Куняев публикует никогда не издававшийся роман Пимена Карпова «Кожаное небо» («Наш современник», 2007, № 2).

Во вступительной статье к нему «Глухой, заколдованный плач...» приводится немало фактов, дающих богатую пищу для размышлений, для уточнений наших представлений о 20-х годах XX века. Например, в современных учебниках по истории литературы ничего не говорится об антиленинской, антибольшевистской направленности мировоззрения части «писателей из народа», и понятно, почему. В первую очередь, потому, что в невыгодном свете будут выглядеть сегодняшние кумиры. Например, Борис Пастернак с его «905 годом», «Лейтенантом Шмидтом», «Высокой болезнью» и другими типично соцреалистическими произведениями. В отличие от таких, многих и многих, современников, П. Карпов ещё в 1922 году писал: «Николай Кровавый – мальчишка и щенок перед Владимиром Кровавым. Чуть кто заикнётся о гнёте – «бандит», и к ногтю»; «Борьбу с крестьянами они называют «борьбой с эпидемией рогатого скота». Крестьяне для них – не больше, чем рогатые скоты. Отряды ЧК так и называются – «отрядами по борьбе с чумой рогатого скота»; «Что такое РСФСР? Тот же великий мастер Адонирама <...> в котором могут выступать за свою настоящую идею представители... народа –

только не русского. Русским даже говорить о русской нации запрещено»; «Что такое ВЦИК Советов? Корпорация половых, обслуживающих трактир «Совнаркома». Вместо всеобщего, прямого, равного и тайного голосования всеобщее воровство...».

Оценки П. Карпова – не исключение, не единичное явление, они совпадают, рифмуются с тезисами «Мир и свободный труд – народам» А. Ганина, с пафосом «Страны негодяев» и «Россиян» С. Есенина, с позицией Н. Клюева, автора «Каина» и «Погорельщины», с мировоззрением и творчеством членов «сибирской бригады»... Вновь напомним, что тезисы «Мир и свободный труд – народам» Алексея Ганина, написанные в 1924 году (их в 1990-м году обнаружил всё тот же Сергей Куняев), стали для ЧК, Агранова, Славатинского и компании одним из главных обвинений в деле «ордена русских фашистов». Как известно, по этому делу было расстреляно шесть человек, А. Ганин в том числе, и ещё пятеро были отправлены на Соловки.

На протяжении последних десятилетий либеральные авторы твердят о себе и о своих учителях, единомышленниках: искренне верили..., не знали..., заблуждались и т.д. Но почему «заблуждавшиеся» в 20-30-е годы пастернаки, воспевавшие преступления и отдельных личностей, и власти, говорившие неправду о времени, процветавшие, вдруг стали жертвами «тоталитарного режима», героями сопротивления, правдошечателями, провидцами... Жертвы и герои – совсем другие люди, другие писатели, и Алексей Ганин в их числе.

Его тезисы «Мир и свободный труд – народам» – это, как справедливо утверждает Станислав Куняев, «великий документ русского народного сопротивления ленинско-троцкистско-коммунистической банде, плод народного низового сопротивления» («Наш современник», 1992, № 1). И те, добавлю от себя, кто транслирует мерзкие мифы о русском народе как опоре преступного режима, кто не замечает его (режима) главной жертвы – русских, могут и дальше делать вид, что документов, подобных ганинскому, не существует. Мы же эти источники, найденные и опубликованные Куняевым (и не только, конечно, эти), будем стремиться донести до читателя, будем цитировать, как следующий отрывок из тезисов Ганина: «...В лице ныне господствующей в России РКП мы имеем не столько политическую партию, сколько воинствующую секту изуверов-человеконенавистников, напоминающую если не по форме своих ритуалов, то по сути своей этики и губительной деятельности средневековые секты сатанистов и дьяволопоклонников. За всеми словами о коммунизме, о свободе, о равенстве и братстве народов таится смерть и разрушения, разрушения и смерть. Достаточно вспомнить те события, от которых всё ещё не высохла кровь многострадального русского народа, когда по приказу этих сектантов-комиссаров оголтелые, вооружённые с ног до головы, воодушевляемые еврейскими вырожденками банды латышей беспощадно терроризировали беззащитное сельское население, всех, кто здоров, угоняли на братоубийственную бойню, когда при малейшем намёке на отказ всякий убивался на месте, а у осиротевшей семьи отбиралось положительно всё <...> когда за отказ от погромничества поместий и городов выжигались целые сёла, вырезались целые семьи» («Наш современник», 1992, № 1).

Все публикации Куняевых первой половины 90-х годов о репрессированных русских писателях были изданы одной книгой «Растерзанные тени», которая вышла в один год, 1995-ый, с их «Сергеем Есениным», ранее опубликованным в «Нашем современнике» под названием «Божья дудка». «Растерзанные тени» стали воздухом «Сергея Есенина», воздухом исторического и литературного времени, воздухом судьбы главного героя книги. Она, выдержавшая пять изданий, – лучшее на сегодняшний день не только жизнеописание Сергея Есенина, но и исследование его творчества.

Эта книга создавалась Станиславом и Сергеем Куняевыми с «разных сторон» по взаимной договорённости, то есть заранее было определено, кто над какой частью работает. Из пяти глав, написанных Куняевым-младшим, я остановлюсь на двух – «Последние дни», «Роковой вопрос». Эти главы дают наилучшее представление о

Куняеве-исследователе литературы, и в них наглядно видно, как развенчиваются Сергеем Станиславовичем старые и новые мифы о Есенине. При этом я буду наступать «на горло собственной песне» в той степени, в какой уже высказался о современном есениноведении («Родная Кубань», 2004, № 2).

Вполне естественно, что центральная тема главы «Последние дни» – гибель Сергея Есенина. Для многих авторов (в подавляющем большинстве «левых», либеральных) она – не проблема для обсуждения, тем более дискуссии. Уже само сомнение в самоубийстве Есенина, по мнению Валерия Шубинского («Новое литературное обозрение», 2008, № 1), свидетельствует о неадекватности исследователя. А Павел Басинский в рецензии на книгу Аллы Марченко «Сергей Есенин» (М., 2005) назвал её версию смерти поэта «любопытной» («Новый мир», 2006, № 10).

Трудно понять, что в данной версии любопытного, ибо она в изложении рецензента выглядит вполне тривиально: «Так сложилось. Временное одиночество, пустота вокруг, денег нет, друзья не поспешили». И далее Басинский заключает: «На самом деле, скорее всего, так и было. Во всяком случае, это объяснение более *р а з у м н о* (здесь и далее в цитате разрядка моя. – Ю.П.), чем *б е з у м и е* версии с убийством, где ни концов, ни начал».

Показательно, что все противники версии убийства Есенина не «опускаются» до аргументированной полемики с её сторонниками, ограничиваясь оценками типа «безумие»... Сергей Куняев в главе «Последние дни» приводит многочисленные факты, доказательства (отмечу по ходу его удивительную эрудицию и глубокие знания), свидетельствующие об убийстве поэта. Я, по понятным причинам, озвучу только некоторые из них и в кратком изложении.

Сергей Куняев называет «странности», не вписывающиеся в версию самоубийства Есенина. Так, поэт, не планировавший вообще селиться в гостинице, оказался в режимном «Англетере», «ведомственной гостинице для ответственных работников». К тому же в списке жильцов за декабрь 1925 года имя Сергея Есенина не значится... Очень сильно расходится время смерти поэта, указанное в первом некрологе (23 часа 27 декабря) и принятое официально (5 часов 28 декабря). К тому же Куняев приводит свидетельство жены управляющего гостиницей, подтверждающее справедливость версии первого некролога.

Не менее странными выглядят другие факты, называемые исследователем. Исчезнувшие пиджак, револьвер, рукописи двух поэм и повести Есенина; не зафиксированное время смерти в акте судебно-медицинской экспертизы; в высшей степени непрофессионально составленный протокол; отсутствие подписи санитаря Дубровского на всех документах; фотографии, сделанные не фотографом-криминалистом, а фотохудожником; свидетели, среди которых было немало агентов ОГПУ, масса противоречий и откровенной лжи в их показаниях; петля, на которой нельзя было повеситься; сгустки крови на полу, разгром в номере, клочья рукописей, следы борьбы и явного обыска; «свежая рана на правом предплечье, синяк под глазом и большая рана на переносице...» и т.д.

Приведённые факты уже, думаю, дают основание согласиться с одним из выводов Сергея Куняева: «В нашу эпоху всеобщего копания в кровавых сгустках прошлых десятилетий абсолютное доверие многих к официальной версии гибели Есенина просто смехотворно. Косвенных данных, свидетельствующих о том, что поэт не по своей воле ушёл из жизни, куда больше, чем тех же данных, говорящих об убийстве Соломона Михоэлса. И однако, Михоэлс считается убитым злодейской волей Сталина без единого документального тому подтверждения».

Авторы разных направлений и до выхода, и после выхода книги Куняевых утверждали и утверждают, что у власти не было причин убивать поэта, тем более что многие из её видных представителей относились к Есенину заинтересованно-внимательно

либо по-доброму. «Письмо наркому (Есенин и Дзержинский)» Юрия Юшкина – одна из последних публикаций подобной направленности, появившаяся через десять лет после выхода первого издания книги Куняевых. В данной публикации сообщается: «По-новому на всё это (отношения Есенина и наркома. – Ю.П.) позволяет взглянуть письмо к Ф.Э. Дзержинскому, которое мне удалось найти недавно в Российском государственном архиве социальной политики и истории». Речь у Юшкина идёт о письме Христиана Раковского к Дзержинскому от 25 октября 1925 года, при этом автор публикации утверждает, что «имя Х.К. Раковского в связи с именем поэта упоминается впервые» («Литературная учёба», 2005, № 2).

Если бы сие написал, например, Дмитрий Быков, я бы не удивился. Но когда подобное выходит из-под пера Юрия Юшкина, серьёзного исследователя и знатока творчества Есенина, то это выглядит, по меньшей мере, странно. В главе «Последние дни» Сергей Куняев вышеупомянутое письмо Раковского и реакцию на него Дзержинского приводит, полностью публикует эти документы, и оценивает их куда более убедительно, чем Юшкин. Так, по мнению последнего, «можно ей (дочери А. Воронского. – Ю.П.) верить, что п о - д о - б р о м у (разрядка моя. – Ю.П.) за поступками и стихами Есенина пристально следили члены правительства...» И далее Юшкин заключает: «Свидетельство тому – письмо Х.Г. Раковского к Ф.Э. Дзержинскому».

Сергей Куняев так комментирует письмо Раковского и резолюцию Дзержинского: «Поистине замечательное письмо! Каждая строчка на вес золота!

Во-первых, как хорошо видно, к изоляции Есенина подключился и Воронский. Всё это, естественно, из самых лучших побуждений – заставить лечиться талантливого поэта.

Во-вторых, никакого туберкулёза у Есенина не было. Он простудился на Кавказе и заработал катар правого лёгкого, который там же и вылечили в больнице водников. Про чахотку, а потом и про туберкулёз болтал сам поэт. Так что предлог нашёлся великолепный.

В-третьих, при чём тут Дзержинский? Какое ему дело до поэта? Мало ли других ответственных лиц, знакомых с Есениным?

И наконец, великолепна просьба отправить Есенина в санаторий в сопровождении «товарища из ГПУ». Якобы с целью удержать поэта от пьянства».

В контексте разговора «поэт и власть», как правило, появляется имя Льва Троцкого. В книге же Куняевых наибольшее внимание теме «Есенин – Троцкий» уделяется в главе «Роковой вопрос», написанной Сергеем Куняевым. Валерий Шубинский так оценил страницы, посвящённые данной, по его выражению, «болезненной теме»: «...Куняевы (отдадим им должное) не скрывают и не отрицают симпатии Есенина к тому, кто, по их доктрине, должен был бы быть его злейшим врагом и губителем» («Новое литературное обозрение», 2008, № 1). О «доктрине» скажем позже, сейчас же рассмотрим версию Сергея Куняева об отношении «первого» поэта страны к её «первому» политику.

Позиция критика передана Шубинским явно неточно. Куняев показывает и доказывает, что оценки и чувства Троцкий вызывал у Есенина противоречивые, они менялись не раз на протяжении относительно небольшого промежутка времени. Крайние точки проявления этого отношения – следующие берлинское и московское высказывания поэта: «Не поеду в Москву... Не поеду, пока Россией правит Лейба Бронштейн...»; «Мне нравится гений этого человека, но видите ли? Видите ли?..»

Конечно, в такой кажущейся изменчивости взглядов Есенина можно увидеть желание приспособиться к ситуации, проявление политической конъюнктуры. Сергей Куняев «прочитывает» данную ситуацию иначе, единственно правильно: он рассматривает второе высказывание – цитату из «Железного Миргорода» – в контексте различных событий, в контексте времени (а этот контекст критик знает всегда досконально-точно).

Сергей Куняев, в частности, обращает внимание на то, что статья писалась в «один присест» вскоре после возвращения из-за границы. К тому же он комментирует

вышеприведённые строчки из «Железного Миргорода» не столь однозначно, как это делают многие авторы. Оценка Куняева, думаю, более адекватна тексту поэта и ситуации: «Так он начал писать статью об Америке <...>, лукавя, иронизируя, как бы проявляя уважение к партийному деятелю и в то же время не соглашаясь с ним».

А ещё через месяц отношение Есенина к Троцкому сильно изменилось. К этому, по Куняеву, привели разные субъективно-объективные причины, в частности, следующая. После публикации «Железного Миргорода» выходит статья Троцкого «Искусство революции и социалистическое искусство», пафос которой – «исправление природы» и человеческого рода – вызывает неприятие поэта. То есть, как справедливо утверждает Сергей Куняев, конфликт поэта с политиком «был неизбежен. Он объективно следовал из всего происходящего, с какой бы ласковой улыбкой нарком не приглядывался к Есенину и какие бы похвалы ни расточал поэт Троцкому в устных разговорах». При этом чувство, которое критик определяет как «влечение по контрасту», у Есенина не исчезает, периодически проявляется, о чём Куняев и повествует: «Подчас поэт не мог не испытать странного ощущения смеси восторга с ужасом и отвращения при мысли о наркомвоенморе – символе и олицетворении революции».

«Перебивка» темы Троцкого темой Родины, России представляется удачным, оправданным сюжетным ходом данной главы, позволяющим найти ответы на главные вопросы. И вполне естественно, что Сергей Куняев приводит два самых известных, характерных высказывания Есенина на эту тему: «Чувство Родины – основное в моём творчестве»; «Основная тема моей поэзии – Россия! Без этой темы я не был бы поэтом. Мои стихи национальны».

Но именно чувство России и любовь к Родине поэта ставятся под сомнение – здесь я позволю себе небольшое отступление – многими авторами. Ещё в 1926 году Вл. Ходасевич в «Есенине» писал, что ключ к судьбе поэта – это отсутствие у него чувства России. «...Он воспевал и бревенчатую Русь, и мужицкую Россию, и социалистическую Инонию, и азиатскую Расею, пытался принять даже СССР – одно лишь верное имя не пришло ему на уста: Россия. В том и было его главное заблуждение, не злая воля, а горькая ошибка. Тут и завязка, и развязка его трагедии» (Ходасевич Вл. Перед зеркалом. – М., 2002).

С точки зрения формально-лексической Владислав Ходасевич явно неправ. Слово «Россия», «российский», по подсчётам В. Николаева, употребляется в творчестве С. Есенина чаще, чем у А. Пушкина, Н. Некрасова, А. Кольцова, А. Блока (Николаев В. Великий ученик великих учителей: опыт математического исследования поэтической лексики С.А. Есенина // Творчество С.А. Есенина: Вопросы изучения и преподавания. – Рязань, 2003). Однако главное, конечно, не в этом. При таком математическом подходе, на него, по сути, сбивается и Ходасевич, игнорируется основополагающее начало в мире Есенина – по-разному выраженное духовное, онтологическое, сакральное чувство, пространство России.

Этого не могут понять – вслед за Вл. Ходасевичем, В. Шершеневичем, А. Мариенгофом и т.д. – современные «отлучатели» Есенина от России и народа: А. Марченко, К. Азадовский, И. Макарова, М. Пьяных, О. Лекманов, М. Свердлов и многие другие. Технологию «отлучения» я показал («Кубань», 1990, № 10) на примере новомировской статьи Аллы Марченко, которая затем вошла в её книгу о Есенине, неоднократно переиздававшуюся.

В отличие от таких есенинских, Сергей Куняев видит и подчёркивает в личности и творчестве поэта всеопределяющую национальную составляющую: «Есенин, выйдя за рамки каких бы то ни было конкретных школ, течений и направлений, осознав себя в родстве с классиками, берёг, лелеял и нёс в себе то исконное русское начало, без которого его стихи просто не могли бы существовать».

Ещё и поэтому конфликт Есенина с Троцким и советской властью вообще был неизбежен и, более того, неразрешим, ибо это был конфликт русского человека, поэта с

антирусской властью. И в лучшем случае наивно выглядит Константин Азадовский, исследователь-антипод Сергея Куняева, когда утверждает: «Ведь Есенин ни в малейшей мере не был политической фигурой – кому же могло понадобиться убивать поэта, да ещё столь замысловатым образом» («Звезда», 1995, № 9).

Действительно, Есенин не был политической фигурой, к тому же, как справедливо пишет Куняев, «любая политика неизбежно сопрягалась в его сознании с вопросом: «А что будет с Россией?» И русский поэт в его представлении не мог не разделить с Россией её судьбы, какой бы горькой она ни была». И добавлю, Сергей Есенин эту горькую судьбу с Россией и своим народом разделил: с ним произошло то, что рано или поздно должно было произойти. Антирусская, сатанинская власть убила Есенина потому, что он, как русский человек и поэт, представлял для неё опасность. А была ли ещё дополнительная причина убийства – телеграмма Каменева, о которой подробно говорит Куняев в последней главе книги – это, думаю, вторично...

В разговоре о Троцком, советской власти и Есенине не миновать, естественно, «еврейского вопроса». Не миновать по разным причинам, и их Сергей Куняев называет, подробно характеризует. Не знаю, что даёт основание либеральным авторам прямо или косвенно обвинять Куняева-младшего, как и Куняева-старшего, в антисемитизме. «Доктрина», о которой говорит В. Шубинский, – это миф, порождённый необъективными, злонамеренными толкователями взглядов Куняевых.

Если мы обратимся к главе, символично названной «Роковой вопрос», где данная тема наиболее часто – в книге – возникает, то роковым окажется не столько еврейский, сколько «русский вопрос», который, как уже говорилось, и стал главной причиной гибели Есенина.

Еврейский же вопрос поднимается Сергеем Куняевым на разном уровне: декрета об антисемитизме, государственной политики, «дела четырёх поэтов», отношений Есенина с различными писателями, возлюбленными и «подругами» поэта и т.д. Во всех случаях Куняев, на мой взгляд, корректен, объективен, в оценке событий и человеческих судеб исходит из того, что руководители страны, среди которых было много евреев-выродков, хотя и наносили главный карательный удар по имперскому, великодержавному русскому народу, досталось и остальным... И главным «антисемитом» в данной главе является не Есенин или Куняев, а Бикерман, которому принадлежат наиболее резкие высказывания по данной теме, такое, например: «Теперь еврей – во всех углах и на всех ступенях власти. Русский человек видит его и во главе первопрестольной Москвы, и во главе Невской столицы, и во главе Красной Армии <...> Русский человек видит теперь еврея и судьёй и палачом <...> Неудивительно, что русский человек, сравнивая прошлое с настоящим, утверждает в мысли, что нынешняя власть – еврейская, и что потому именно она такая осатанелая. Что она для евреев и существует, что она делает еврейское дело, в этом укрепляет его сама власть».

А вообще, господа В. Шубинский, Д. Быков, К. Азадовский и многие другие, надоели вы с искусственной проблемой антисемитизма и «еврейским вопросом»...

Тема Есенина не отпускает Сергея Куняева и после выхода книги «Сергей Есенин». Критик периодически обращается к данной теме по разным поводам. В уже упоминавшийся сборник избранных статей «Жертвенная чаша», в его есенинский раздел, состоящий из четырёх работ, вошли две, написанные уже после «Сергея Есенина». Это «Сто лет и вечность» и «Страна негодяев. Год 2005-й».

Последняя статья – реакция Куняева на фильм «Есенин» с Безруковым в главной роли. У нас немало учёных-есениноведов, но подавляющая часть их на сей фильм никак не откликнулась, видимо, считая, что «не барское это дело». Сергей Куняев, конечно же, не смог стерпеть это надругательство над поэтом и отечественной историей... И в данной статье его творческая личность проявилась довольно выпукло, проявилось, прежде всего, горячее сердце русского патриота и высочайший профессионализм. Я, не любитель цитат, в данном случае не могу отказать себе в удовольствии и приведу следующее

высказывание Сергея Куняева, в котором весь он: «Исторических нелепостей в фильме с перебором – начиная с чтения Есениным стихов в Царском Селе. Пирожные в виде яиц Фаберже на столе – это из области представлений нынешних новых русских о тогдашней красивой жизни. Есенин, сначала робеющий, как мальчик, а через несколько секунд самолично предлагающий прочесть стихи, стоя к императрице спиной, – из области дурного анекдота. Пребывание Есенина в клинике Ганнушкина снято в стиле некоего фильма ужасов. Особенно запоминаются порошки и уколы современными шприцами, после чего Есенин впадает в галлюциногенный транс и пишет «Чёрного человека» (?). Надо ли специально говорить, что ничего подобного не было в реальности, как и выступления Троцкого над гробом Есенина в присутствии членов правительства, которые стоят на кладбище попеременно с поэтами.

Авторы фильма не остановились и перед тем, чтобы заново реанимировать старую сплетню, пущенную Владиславом Ходасевичем, об участии Есенина в расстрелах – в качестве зрителя. В конце 80-х достаточное количество околολитературной сволочи тыкало пальцем в ходасевические мемуары с причитаниями по поводу есенинской «моральной небезупречности». Но сценарист Валущкий и режиссёр Зайцев пошли дальше: заставили Есенина самого стрелять в приговорённых – даром, что револьвер был заряжен холостыми (якобы Блюмкин постарался). Очевидно, перепутали Есенина с Бабелем».

Параллельно с «Сергеем Есениным» Куняев вынашивал книгу о Николае Клюеве, начальные подступы к ней были сделаны более 20 лет назад. В первую тоненькую книжку критика «Огнепалый стих» (М., 1990) вошли пять статей, четыре – о Есенине, одна – о Клюеве. Книжка вышла с предисловием Вадима Кожинова тиражом в 75 тысяч экземпляров. Правда, вскоре власть захватили демократы, либералы, а ещё через время мы стали цивилизованной страной, и теперь у нас книги по критике выходят (если, конечно, выходят) тиражом в 500 экземпляров, как в США и Европе...

Клюев, человек и поэт, личность для исследователя, думаю, ещё более сложная, неподъёмная, чем Есенин. И нужно обладать недюжинным творческим мужеством и большими, разносторонними знаниями (прежде всего в области, условно говоря, старообрядчества), чтобы взяться за эту тему. Сергей Куняев взялся, и своё обращение к ней объяснил так: «В результате получается целый триптих – Клюев, Есенин, Васильев. Он вырос самым естественным образом. Клюев благословил Есенина, был его поводырём и учителем и успел благословить и Павла Васильева. Жизнь Клюева охватывает предреволюционное, послереволюционное время и почти полностью 30-е годы, время, уже описанное в книгах о Есенине и Васильеве. Но Клюев – это ещё и начало века. 10-е годы. Именно в этом отрезке времени завязывались все те узлы, многие из которых приходилось потом развязывать или рубить, а некоторые так и остались неразвязанными и неразрубленными» («День литературы», 2007, № 5).

На сегодняшний день опубликована часть работы Куняева «Ты, жгучий отпрыск Аввакума...», но уже вполне определённое впечатление сложилось.

Константин Кедров в рецензии на книгу Константина Азадовского «Жизнь Николая Клюева» (М., 2002) утверждает: «Религиозность менее всего доступна исследователю, как бы ни был он пытливым и достоверным в своих гипотезах. И всё-таки кое-какие черты религиозного самосознания поэта читатель может дорисовать на основании фактов, содержащихся в книге Азадовского» («Вопросы литературы», 2003, № 3). Кедров прав в отношении религиозности как проблемы, но с ним трудно согласиться в отношении фактов и гипотез в книге Азадовского, которую, уверен, держал в уме Куняев при работе над «Ты, жгучий отпрыск Аввакума...».

Небольшая главка, посвящённая названной проблеме, написана Азадовским на уровне светского ликбеза, со всеми вытекающими отсюда последствиями. На некоторые просчёты общего плана указали Э. Райс и Р. Вроон. Последний в статье «Старообрядчество, сектантство и «сакральная речь» в поэзии Николая Клюева» утверждает: «В книге Азадовского (имеется в виду первое издание книги автора. – Ю.П.)



дано неточное определение хлыстовства «как одного из ответвлений беспоповщины». Любопытно, что этот индифферентизм к отличительным чертам конкретных сект и согласий как бы сближает современных исследователей с миссионерами официальной церкви XIX в.» (Николай Клюев: Исследования и материалы. – М., 1997).

Сергей Куняев учёл стратегические ошибки своих предшественников (В. Базанова, К. Азадовского и др.), о чём свидетельствует первая глава его книги. В ней подробно характеризуется старообрядчество и различные секты с опорой преимущественно на исследователей XIX – начала XX веков. Характеризуются и применительно к роду, семье, судьбе Николая Клюева. И акценты в трактовке этих вопросов Куняев расставляет иные, нежели его предшественники.

В первой главе, как и в других, неоднократно затрагивается проблема (предмет отдельного разговора), о которой ранее в интервью Куняев сказал так: «В разговоре о Клюеве <...> невольно возникает огромная, невероятная по сложности и боли тема состояния русского православия в начале XX века. Это разговор тяжелейший, наталкивающий на выводы, которые придутся не ко двору очень многим людям совершенно разных воззрений, умонастроений <...> Считаю, что он крайне назрел и даже перезрел» («День литературы», 2007, № 5).

Закономерно, что в книге «Ты, жгучий отпрыск Аввакума...» особое место занимает вопрос человеческих и творческих взаимоотношений Н. Клюева и А. Блока. Он рассматривается во многих исследованиях, в том числе Василия Базанова «С родного берега: о поэзии Николая Клюева» (М., 1990) и Константина Азадовского «Жизнь Николая Клюева» (С.-Пб., 2002). Сергей Куняев, следуя давней традиции, обильно цитирует первые два письма Клюева Блоку, но его комментарии принципиально отличаются от оценок того же К. Азадовского, одного из самых известных клюевоведов. Разногласия этих авторов в значительной степени определяются восприятием проблемы «Клюев и народ».

Азадовский называет поэта «страстным народолюбом» и утверждает, что тот «возвеличивает русский народ». Куняев же не ставит под сомнение «правду» клюевского народолюбия и с позиций этой «правды» трактует отношения поэтов: «И не стал бы писать Клюев подобного письма, если бы не почувствовал в Блоке человека, радеющего за народ, не понял бы, что Блоку нужна помощь в познании духовных поисков народа». Своё восприятие данной многосоставной проблемы, отличное от видения и Сергея Куняева, и Константина Азадовского, я выразил в статье «Подземный рост души» («Литературная Россия», 2007, № 16), поэтому скажу предельно кратко. Николай Клюев был выразителем идеалов той части народа, которая собственно народом, то есть православным народом, не являлась. Отсюда и мотив разрешения крови по совести у Клюева и Блока, и «сектантство» обоих поэтов, роднящее их с Мережковским и другими символистами, при наличии явных разногласий по иным вопросам. И если Азадовский обходит стороной эти разногласия, то Куняев акцентирует на них внимание читателя.

Он, характеризуя блоковские статьи «Реалисты» (она у Азадовского даже не упоминается), «Литературные итоги 1907 года», «Религиозные искания и народ», в частности, утверждает: «Блок не питал никаких иллюзий в отношении своих недавних друзей – Андрея Белого, Сергея Соловьёва, Эллиса, не говоря уже о Дмитрии Мережковском и Зинаиде Гиппиус. Черта была подведена, о чём он со свойственной ему предельной честностью написал 20 апреля 1907 года: «Реалисты исходят из думы, что мир огромен и что в нём цветёт лицо человека – маленького и могучего... Они считаются с первой (наивной) реальностью, с психологией и т.д. Мистики и символисты не любят этого – они плюют на «проклятые вопросы», к сожалению. Им нипочём, что столько нищих, что земля кругла. Они под крылышком собственного «я».

Клюев для Блока, по Куняеву, – выразитель правды народной, по Азадовскому, – «эталон честности и гражданственности». И в качестве иллюстрации Азадовским приводится следующая дневниковая запись Блока: «Дважды приходил студент,

собирающий подписи на воззвании о ритуальных убийствах (составленном Короленкой). Я подписал. После этого – скребёт, на душе тяжёлое (у Блока запятая стоит не после «скребёт», а после «на душе». – Ю.П.). Да, Клюев бы подписал, и я подписал – вот последнее».

Ранее Станислав Куняев уже прокомментировал этот эпизод в «Ритуальных играх»: «Достали Блока. Дважды приходили. «Скребёт на душе», оглядка за помощью на Клюева... Не выдержал великий поэт давления «либерального террора» и признался сам себе в своей слабости...» («Наш современник», 2005, № 8).

Естественно, что практически все исследователи творчества Н.Клюева обращают внимание на его внешний вид, которым начинающий поэт шокировал публику в Петербурге. В. Базанов в так называемом «ряжении» Клюева видит прежде всего манифестацию своей духовной родословной, своей связи с национальными традициями, уходящими корнями в Древнюю Русь. То есть о ряжении как таковом в понимании одного из первых исследователей Клюева речи не может идти. Л. Киселёва в необычности поэта предлагает видеть «своеобразный культурный подвиг юродства» («Наш современник», 2005, № 8). Стилизация – вот, с точки зрения К. Азадовского, ключ к жизни и творчеству Н. Клюева (Азадовский К. Жизнь Николая Клюева. – С.-Пб., 2002). Эту идею подхватывает и развивает К. Кедров в рецензии на книгу К. Азадовского («Вопросы литературы», 2003, № 3).

Подобную версию применительно к Клюеву, Есенину, Клычкову, Шириевцу одним из первых озвучил Вл. Ходасевич в письме к Александру Шириевцу. Сие письмо, как и реакцию Сергея Есенина на него, Куняев приводит в рецензии «Чем Русь издревле дышит...» («Наш современник», 2008, № 8). Естественно, что и сам критик высказывает свою точку зрения по данному вопросу. Процитировав Шириевца, «Дыши всем тем, чем Русь издревле дышит...», он заключает: «Поверить подобным строчкам и её автору в начале XX века для многих не представлялось возможным – отсюда и толки о «стилизации» и «маскараде», не утихшие по сей день».

Одна из самых обсуждаемых тем в последние годы – это нетрадиционная ориентация Н. Клюева. Трудно понять и невозможно принять нередкие попытки облагородить недуг поэта: мужеложество в трактовке исследователей получает божественное опыление или даже наполнение. Так, Н. Солнцева в книге «Странный эрос: Интимные мотивы поэзии Николая Клюева» (М., 2000) выдвигает следующую версию: «В первом послании апостола Петра среди похотей указано мужеложество, однако там же сказано: «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов» [4: 8]. Покрывает, может искупить... Это же слово – в Первом соборном послании апостола Павла к Коринфянам: любовь «всё покрывает» [13: 7]. Похоже Клюев, поэтизируя любовь, придавал эросу силу духовного братства, превозмогая ту самую эротику, о которой обмолвился Ходасевич, стремился к спасению души, к прощению греха...».

Нужно очень хотеть, чтобы увидеть в Библии то, чего в ней нет, и так произвольно толковать слова апостолов Петра и Павла. Например, вполне очевидно, что в послании апостола Петра разводятся в разные стороны усердная, молитвенная любовь, жизнь во Христе и жизнь «по воле языческой» с её «нечистотами, похотями», мужеложеством в том числе. А о любви, которая «покрывает множество грехов» (это всё же стих 4: 9, а не 4: 8, как говорится у Н. Солнцевой), в послании сказано определённо: «Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь тою же мыслью; ибо страдающий плотию перестаёт грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией».

Вполне очевидно, что Н. Солнцева идёт вслед за представителями «серебряного века» с их тупиковыми экуменистически-языческими исканиями... Отсюда в её книге многочисленные высказывания типа следующего: «Клюев становится посредником между своим избранником и Богом».

Насколько сия интеллигентская ересь заразительна, свидетельствует и статья Л. Киселёвой «Греховным миром не разгадан...» («Наш современник», 2005, № 8). Даже эта исследовательница, много и точно писавшая о Клюеве, поддаётся модному соблазну и утверждает: «По справедливому замечанию К.М. Азадовского, «...Клюев напряжённо искал – как в жизни, так и в творчестве – единства, «слиянности» духовного с телесным».

Сергей Куняев свою точку зрения по данному вопросу ещё не обнародовал, лишь дважды оговорив, что разговор на сию тему ещё впереди. Исходя из того, что говорилось в этой связи в книге о С. Есенине, нетрудно предположить, с каких позиций данный разговор будет вестись.

Итак, публикация глав книги «Ты, жгучий отпрыск Аввакума...» в очередной раз подтвердила очевидное: подавляющее большинство работ Сергея Куняева посвящено поэзии XX века, а самые объёмные среди них – это исследования о писателях первой трети столетия. Об объёме проделанной работы и масштабе творческой личности Куняева дают представление уже называвшиеся работы и те, которые ещё не звучали. Это такие статьи, как «Городу и миру» (1989) об А. Ахматовой, «Поэт возмездия» (1997) об А. Блоке, «Жизнь и поэзия Михаила Кузмина» (1988), «Этот воздух пусть будет свидетелем...» (1993) об О. Мандельштаме, «Голос в серебряном просторе» (1986, 2006) о С. Маркове, «Сражений и славы искатель» (1990) о Б. Корнилове, «Победивший косноязычье мира» (2003) о Н. Заболоцком, «Мой неизбывный вертоград...» (1982, 2002) о Н. Тряпкине, «Между миром и Богом» (1986) и «Путь к Христу» (2001) о Ю. Кузнецове и др.

Названные и неназванные работы позволяют утверждать, что Сергей Куняев анализирует творчество авторов, принадлежащих к, если перефразировать название его рецензии, «основному стволу» отечественной поэзии XX века. Другие же якобы русские стихотворцы (как, впрочем, и прозаики), все эти русскоязычные посредственности и таланты, возведённые в ранг гениев либеральной клоакой, Куняева мало интересуют. Как правило, о них критик говорит походя – и это очередной его творческий принцип – как о сорняках либо паразите омёле, опутавшей «основной ствол» русской литературы.

Поэтов и прозаиков, попавших в поле зрения С. Куняева, можно условно разделить на три группы. Первая – это авторы, чьё творчество частично или полностью выпало из истории отечественной словесности (о них достаточно много уже говорилось). Вторая группа – писатели, которых можно назвать «трудными классиками», к коим я отношу авторов, чьё значение признано многими исследователями и читателями, а творчество вызывает непрекращающиеся бурные споры, взаимоисключающие оценки. Юрий Кузнецов из этой группы писателей, и не случайно о его поэзии появилось две статьи Куняева (уверен, будут ещё). Третья группа – «пока не классики», то есть авторы явно первого ряда, чьё творчество по разным причинам не стало общепризнанной классикой, но таковой, безусловно, является. Среди данной группы писателей у Куняева есть очевидные фавориты – Николай Тряпкин, Леонид Бородин, Вера Галактионова. Произведения двух последних прозаиков анализируются в статьях «Дон Кихоты» и «третья правда» (1990), «Беззаконная комета» (2001), «Умрёт Толстой. Что тогда?» (2003).

Немало у Сергея Куняева и статей – откликов на разножанровые публикации последних двух десятилетий, которые есть критика в «чистом виде», контактный «бой» с объектом эмоционального, живого, детального, убедительного анализа. Среди них, в первую очередь, следует назвать такие блестящие статьи, как «Исповедь примадонны» (1993) о мемуарах Галины Вишневской, «Женщина без мифа» (1998) о книге А. Ваксберга, посвящённой Лиле Брик, «И свет, и тьма» (2004) о статье К. Азадовского «Переписка из двух углов империи», где речь идёт о Викторе Астафьеве, Натане Эйдельмане, и не только о них, «Ахматова в зазеркалье Чуковской» (2007) о мемуарах Лидии Чуковской.

В силу дефицита газетно-журнальных площадей я остановлюсь только на одной из семнадцати названных работ, которая представляется мне актуально-принципиальной в нескольких отношениях.

У части «правых» авторов в последние лет 15 проявилась тенденция критического переосмысления классической реалистической традиции, явленной в 60-80-е годы XX века в «деревенской прозе». Если Вячеслав Дёгтев призывал усилить занимательную составляющую литературы, то Николай Переяслов выступил с идеей «осовременить», «оплодотворить» реализм постмодернизмом. Он в статье с говорящим названием «Оправдание постмодернизма» утверждает: «Одной из главных традиций русской литературы как раз всегда и было её постоянное обновление, и – кто знает? – может быть, именно постмодернизму суждено сегодня стать тем первым мостиком, который поможет снова сблизиться экспериментаторству с традиционностью, занимательности с духовностью, формотворчеству с поисками «истины», эстетству с публицистичностью, западничеству с русофильством».

Эта идея была подвергнута критике в статье Сергея Куняева «Умрёт Толстой. Что тогда?» («Наш современник», 2004, № 1). Он на уровне «теории» и «практики» убедительно показал уязвимость позиции Н. Переяслова, используя при этом больший, чем обычно, заряд экспрессивности, иронии, образности. Вот как, например, комментируется вышеприведённая мысль Переяслова и идея, с ней тесно связанная: «Это уже не просто коктейль из стилей. Это попытка совмещения органически чуждых друг другу идеологий, под которую создаётся мощная идейная база <...> Отсюда остаётся один шаг до объявления «постмодернистами» Святых Отцов».

Явления, идейно-эстетически предшествовавшие постмодернизму, Куняев характеризует через высказывания Льва Толстого и Александра Блока. Тема же постмодернизма для автора статьи и повод для серьёзного разговора о разных путях развития современного реализма. Анализ книг Леонида Бородина, Владимира Крупина, Веры Галактионовой, сам по себе ценный, анализ глубокий, содержательный, концептуальный, подводит к мысли, что нет и не может быть никаких «мостов» между традиционным реализмом и постмодернизмом с его, по словам Куняева, «зловонным болотом мата, сексуальных сцен», с постмодернизмом, который «не в состоянии вобрать в себя глубину и многомерность жизни».

Приведу примечательный итог размышлений критика о произведениях В. Галактионовой, напрямую выводящий разговор о её творчестве на тему «литературных уродов» постмодернизма. Отталкиваясь от высказывания С. Есенина о С. Клычкове, С. Куняев утверждает: «Это и есть воплощение того народного духовного реализма, который, казалось, был навсегда утрачен нашим художественным словом, и, как свершение чуда, ожил в поэзии Николая Тряпкина и в произведениях Галактионовой, чей художественный мир не нуждается ни в каких подпорках, определяемых как «пост» и «нео».

Назову попутно две характерные особенности Куняева-критика. Во-первых, это литературоведческая оснащённость его статей. Она, как правило, к месту, органически-естественна, как в данном случае с понятием «духовный реализм». Правда, уточнение «народный» кажется мне излишним, ненужным... Во-вторых, постоянство его профессиональных привязанностей, последовательность в оценке одного и того же автора на протяжении длительного времени, о чём есть смысл сказать подробнее.

Сергей Куняев одним из первых откликнулся на прозу Леонида Бородина статьёй «Дон Кихоты» и «третья правда» («Литература в школе», 1990, № 2). Через тринадцать лет в работе «Умрёт Толстой. Что тогда?» он не просто характеризует произведения Л. Бородина, вошедшие в книгу «Посещение» (М., 2003), но и определяет вектор движения прозы автора. Этот вектор, по мнению критика, выглядит так: «Жёсткость, с которой он (Л. Бородин. – Ю.П.) берёт на излом своих героев, не производя над ними никаких устрашающих «вживисекций», не сопоставима в нашей прозе ни с чем, и его книга

«Посещение» <...> композиционно выстроена точно в соответствии с этой доминантой»; «Проблема выбора всегда была для Леонида Бородина определяющей, и символическое название одной из лучших его повестей – «Третья правда» – говорит само за себя. Долог путь был от «Третьей правды» к отчужденному недавно – «Без выбора» – так называется книга воспоминаний. И одна из вех на этом пути – рассказ «Коровий разведчик...». Отсюда и то деление прозы Бородина, которое, на первый взгляд, выглядит неожиданным в следующем предложении: «На образе носителя третьей, народной правды, которая лежит в основе творчества и Михаила Шолохова, и Леонида Леонова, и р а н н е г о (разрядка моя. – Ю.П.) Леонида Бородина».

Статью о гениальной Вере Галактионовой «Беззаконная комета» Сергей Куняев заканчивает показательно для себя: «Ветер опустевшего века разносит слова, что заклинаят людей помнить себя лучшими. Слова, повествующие о любви, участии, милосердии, о детском простодушии.

И ни одно из этих слов не может пропасть бесследно, не дав нужного всхода.

Потому что мы будем жить. Мы будем любить. Вопреки всему».

В этих словах – весь Сергей Куняев, с его редкой для нашего времени верой в Слово и Человека. Критик представляется мне однолюбом, человеком чести, единожды присягнувшим на верность русской литературе, России, и эту клятву не нарушившим ни разу. Несмотря ни на что, вопреки всему.

А всходы от его слов – есть и будут.

2009

## ЕСЕНИНОВЕДЕНИЕ СЕГОДНЯ

С.Есенин предвидел не только то, что после его смерти о нём будут писать, но и то, как это будут делать: «любил, целовал, пьянствовал». На протяжении более 70 лет взгляд, отвергаемый Есениным («не то... не то... не то»), был доминирующим у мемуаристов и у тех, кому такая версия казалась убедительной.

Без труда можно выявить противоречивость, предвзятость, заданность многочисленных воспоминаний и концепций, которые строились и строятся по предсказанному поэтом сценарию, по формуле, наиболее ёмко и кратко выраженной З.Гиппиус: «Пил, дрался – заскучал – повесился». Так, в мемуарах И.Евдокимова, опубликованных в преддверии столетия гения, одной из ключевых является фраза: «И все мои дальнейшие встречи с Есениным происходили именно в этих двух закономерно чередовавшихся состояниях: он был или пьян, или навеселе. Чаще всего он был пьян, точнее – выпивши». Однако далее в воспоминаниях встречаются неоднократные свидетельства, опровергающие или ставящие под сомнение приведённое суждение И.Евдокимова: «Перед отъездом... зашёл Есенин, трезвый, весёлый, свежий», «Наблюдая в этот месяц Есенина, – а приходил он неизменно трезвый...» («Литературная Россия», 1994, № 40).

Создаётся впечатление, что И.Евдокимов и многие из современников великого поэта выполняли (осознанно или неосознанно) определённый заказ: они знали, как нужно писать. Например, в воспоминаниях М.Юрина находим такую обобщающую характеристику: «В трезвом состоянии был исключительно мягким, добрым, несколько застенчивым и прекрасным собеседником, но в пьяном виде он был невыносим» («Литературная Россия», 1994, № 40). Смущает не сама характеристика, напоминающая

многие и многие свидетельства современников, а то, что она дана на второй день после знакомства с поэтом. Смущает и другое: история с «жидами» в «Комсомолии», проявление «крестьянской философии» Есенина, сомнительный эпизод с «большим графином водки» (он – рюмками – был ополовинен поэтом, когда ещё Юрин «не успел... окончить первое») – всё это сказано как будто для иллюстрации того образа, который усиленно создавался при жизни и особенно после смерти писателя. Сказано человеком, который видел Есенина четырежды...

В любые времена дискредитация всего русского есть неотъемлемое качество «левой», русскоязычной мысли, идеологии, и подобные мемуары являются необходимым подспорьем, ценными свидетельствами. Когда же таковых не хватает, современные «мариенгофы» с успехом используют опыт предшественников, оставивших килограммы «романов без вранья». Так, завершая тему пьянства, одну из самых популярных в 20-е – 90-е годы, отметим «особый» вклад в её разработку Вл. Корнилова, который в статье «Победа над мифом» без доли сомнения утверждает: «Усугубляло его душевную болезнь и пьянство, а пить он начал рано, ещё юношей, и уже вскоре не мог обходиться без спиртного» («Литературное обозрение», 1996, №1). Для подтверждения этой версии автор приводит ни о чём не свидетельствующий факт и опускает высказывания современников (см.: Жизнь Есенина. Рассказывают современники. – М., 1988), смысл которых сводится к тому, что долгое время Есенин спиртным не злоупотреблял: «...Под праздник или после получения гонорара Сергей приносил иногда бутылку-другую вина... Но от пьянства он был совершенно далёк и выпивал только «ради случая» (в воспоминаниях В.Чернявского речь идёт о петербургском периоде жизни 1917 – 1918 годов); «...В ту пору (Р.Ивнев имеет в виду январь 1919 года. – Ю.П.) он был равнодушен к вину, то есть у него совершенно не было болезненной потребности пить, как это было у большинства наших гостей... Он мало пил и много веселился, тогда как другие много пили и под конец впадали в уныние и засыпали»; «Помину не было у нас о вине, кутежах и всяких излишествах» (о пребывании в Харькове Есенина и Мариенгофа летом 1920 года повествует Л.Повицкий – Ю.П.); «В эту зиму (И.Старцев говорит о зиме 1922 года. – Ю.П.) он начал проявлять склонность к вину».

Естественно, в этой связи возникает более общий вопрос: как быть с первоисточниками, каким образом использовать свидетельства мемуаристов? Показательно, как работает с ними С.Шумихин, кандидат исторических наук, заведующий отделом публикаций Российского государственного архива литературы и искусства. Он, как и многие «левые», стремится при помощи мемуаров утвердить версию о Есенине – эгоисте, «безлюбом нарциссе», цинике. С.Шумихин в предисловии к публикации писем С.Толстой-Есениной как бы между делом, как факт сам собою разумеющийся, приводит якобы признание великого поэта в передаче А.Тарасова-Родионова: «Только двух женщин любил в жизни. Это Зинаида Райх и Дункан. А остальные... Ну, что ж, нужно было удовлетворять потребность, и удовлетворял...» («Новый мир», 1995, № 9).

Об отношении С.Есенина к З.Райх и Дункан имеются свидетельства иной направленности, о чём, конечно же, С.Шумихин знает и, видимо, не считает нужным говорить. Приведём только два высказывания С.Есенина о Дункан в передаче Г.Бениславской и М.Горького: «Была страсть, и большая страсть. Целый год это продолжалось, а потом всё прошло и ничего, ничего нет...» (см.: Жизнь Есенина. Рассказывают современники. – М., 1988); «Эта знаменитая женщина, прославленная тысячами эстетов Европы, тонких ценителей пластики, рядом с маленьким, как подросток, изумительным рязанским поэтом, являлась совершеннейшим олицетворением всего, что ему было не нужно...

И можно было подумать, что он смотрит на свою подругу, как на кошмар, который уже привычен, не пугает, но всё-таки давит» (Горький М. Сергей Есенин // Горький М. Литературные портреты. – М., 1967).

К тому же из признаний подруг и возлюбленных поэта следует, что отношения С.Есенина с женщинами не сводились к формуле «потреблять – удовлетворять». Вот, например, сравнительно недавно опубликованные свидетельства Мины Свирской и Екатерины Эйгес: «Всё связанное с Есениным в тот период осталось в моей памяти, как очень светлое и чистое. В наших отношениях не было ничего развязного. В нём была какая-то робость и застенчивость» (Свирская М. Знакомство с Есениным // «Наш современник», 1990, № 10); «Он (Мариенгоф. – Ю.П.) и его друзья учили Есенина той лёгкости отношений с женщинами, которая считалась тогда каким-то ухарством, почти подвигом. Самому Есенину не нравились те артисточки и певички, которые вертелись около Мариенгофа и льнули к нему. Они были ему не по вкусу. Он любил более скромных и серьёзных» (Эйгес С. Воспоминания о Сергее Есенине // «Новый мир», 1995, № 9).

Несмотря на то, что за последние 15 лет значительно расширился круг авторов, пишущих о С.Есенине, ответственность и компетентность многих из них оставляют желать лучшего. Так, хотя тот же С.Шумихин в беседе с корреспондентом «Литературного обозрения» оговаривается: «...Не считаю себя литературоведом... Меня заботит прежде всего «эмпирика», издание источников с комментариями, где фактографически всё было бы точно» («Литературное обозрение», 1996, № 1), – в своих суждениях он всё равно выходит за обозначенные рамки. Это, конечно, никому не возбраняется, это явление естественное, но, думается, и «эмпирик»-издатель, и литературовед-профессионал должны аргументировать, а не предлагать в качестве аксиомы суждения, подобные следующему: «Есенин – на фоне Мандельштама или Клюева – в смысле мастерства, поэтической техники не совершенен».

Читая работы представителей русскоязычной мысли последнего десятилетия, невольно вспоминаешь известное высказывание 20-х годов, которое, с поправкой на современность, выглядит так: 90-е годы должны стать временем развенчания славы С.Есенина. Славы, уточним, как национального поэта прежде всего.

Создаётся впечатление, что нынешние «первооткрыватели» реанимируют старые схемы, растаскивают на мелкие части известные, но, видимо, многими забытые высказывания прежних лет. Например, С.Городецкий, современник великого поэта, назвал имажинизм не только своеобразным университетом, который С.Есенин сам себе устроил, но и «противоядием против деревни..., против уменьшающих личность поэта сторон деревенской жизни» (Жизнь Есенина. Рассказывают современники. – М., 1988). И как результат такого подхода – высшая похвала автора: «российский поэт». (Закономерно и показательно, что в «левом» журнале «Нева» материалы о С.Есенине в год его столетия публиковались в рубрике «Пантеон российской словесности».)

Понятно, что ни о чём новом в рамках русскоязычного денационализированного сознания С.Городецкий не говорит. Как не говорят сегодня и некоторые исследователи, которые явно задались целью, во-первых, реабилитировать имажинизм, во-вторых, сделать из С.Есенина поэта-имажиниста, одного из многих. Так, корреспондент «Литературного обозрения», видимо, несколько подавленный напором С.Шумихина, защищает С.Есенина, говоря правильные, ставшие общим местом слова: «Но всё-таки (выделено мною. – Ю.П.) Есенин создавал необыкновенную лирику русских пейзажей, так никому не удавалось – настолько эти стихотворения пронзительны, настолько хватают за сердце. Да и образы необыкновенные» («Литературное обозрение», 1996, № 1). На что С.Шумихин, подаваемый как авторитетный специалист, отвечает: «Образы, мне кажется, вполне имажинистские, то есть характерные для всей этой поэтической школы...». Более того, Есенин, по мнению С.Шумихина, «порой впадал в комическую избыточность образов...». Однако комментатор, видимо, осознавая ущербность своей позиции, походя замечает: «Скажем, у Мариенгофа можно найти какие угодно образы, и нанизываются они сходно, однако Мариенгоф – слабый поэт, и образы эти не складываются в целое».

Верно уловив внешнее формальное отличие Мариенгофа от Есенина, С.Шумихин, как следует из всего интервью, не может объяснить, почему так происходит. Он

игнорирует главную – национальную – составляющую творчества Есенина и не случайно проходит мимо общеизвестных высказываний поэта, таких, например: «Знаешь, почему я – поэт, а Маяковский так себе – непонятная профессия? У меня родина есть!»; «У собратьев моих нет чувства родины во всём широком смысле этого слова, поэтому у них так и несогласованно всё. Поэтому они так и любят тот диссонанс, который впитали в себя с удушающими парами шутовского кривляния ради самого кривляния». Неприятие Шумихиным, как и большинством русскоязычных авторов 20-х – 90-х годов, «русскости» Есенина приводит к тому, что сущность творчества поэта определяется через оппозицию «советский – белогвардейский», и в результате получается старо-советско-заветное: Есенин – советский поэт.

Итак, одни авторы по-разному игнорируют «русскость» С.Есенина, чаще всего неоправданно подменяя её «советскостью», другие, принимая «русскость», говоря о «русскости», трактуют её произвольно. Так, А.Лысов, рассуждая о С.Есенине и Л.Леонове, справедливо утверждает, что их «единственной общей любовью и совместной болью... всегда оставалась Россия» («Литературная учёба», 1996, № 3). Однако её сущность автор определяет через язычество, о сохранении корней которого якобы заботились поэт и прозаик. А Н.Шубникова-Гусева почему-то считает, что «ряжение как обряд» составляло «ядро русской традиции», которой поэт следовал («Литературная учёба», 1998, № 4-6).

Наиболее продуктивный и глубокий подход проявляется в работах и воспоминаниях, авторы которых рассматривают творчество С.Есенина с философско-метафизических, православных позиций. Назовём некоторые из них: «Философия русской патристической лирики» Ю.Мамлеева («Советская литература», 1990, № 1), «Поэт тишины и буйства» М.Никё («Звезда», 1995, № 9), «Душа грустит о небесах...». Религиозные мотивы в лирике С.Есенина» Ю.Сохрякова («Литературная Россия», 1995, № 39), «Божья дудка» Ст. и С.Куняевых («Наш современник», 1995, № 4), «Народные истоки поэзии Сергея Есенина» Н.Зуева («Литература в школе», 1995, № 5), «В сердце светит Русь...» Духовный путь Сергея Есенина» А.Гулина («Литература в школе», 2001, № 6). Эти исследователи, конечно, не закрывают глаза на произведения поэта, наполненные нехристианским и богоборческим пафосом. Они трактуют их, по сути, так же, как это делали представители «правой» мысли в своих более ранних статьях о Пушкине. Митрополит Анастасий писал о произведениях гения, принёсших ему репутацию безбожника: «...Они были, скорее, случайной вспышкой озлобленного ума или просто легкомысленной игрой воображения юного поэта, чем его внутренним сознательным убеждением: они скользили по поверхности его души и никогда не имели характера ожесточённого богоборчества» («Москва», 1991, № 6).

Подобный христианский подход позволяет избежать и одного из самых распространённых заблуждений о тождестве верха и низа, тождестве противоположных начал в творчестве С.Есенина (смотрите, например, статью А.Лысова «Леонид Леонов о Сергее Есенине (Из бесед с писателем) // «Литературная учёба», 1996, № 3). Борьба этих начал происходит в системе координат с неизменной шкалой ценностей, уходящих своими корнями в христианство.

В качестве иллюстрации этого тезиса приведём содержательные наблюдения Мишеля Никё: «В контексте... обыденный смысл «тишины» (а выше исследователь утверждал, что тишина – это идеал, к которому стремится поэт. – Ю.П.) стушёвывается, наполняется нездешними оттенками, походит на мистическое безмолвие <...>: из тишины <...> рождается Божий глагол <...>. Вся тихая природа есенинской Руси не что иное, как восприятие мира в красоте <...>. В тишине просвечивает божественность мира, происходит прорыв из мира сего к «нездешним нивам». <...> Не дидактически, не побогословски, а интуитивно Есенин воспринимал глубокое духовное значение тишины» («Звезда», 1995, № 9).



С этих же позиций, думается, необходимо рассматривать и известные поступки С.Есенина: роспись стен Страстного монастыря, использование иконы на лучину и т.д. «Бесовство» поэта носило характер временного затмения, помрачения, о чём свидетельствуют творчество (высший результат жизни поэта) и определённые моменты в поведении С.Есенина, как, например, те, о которых поведала в своих воспоминаниях Лола Кинел.

Показательны и реакция на требование редактора заменить в стихотворениях слово «Бог» другими словами, и спор с Дункан, в ходе которого поэт, утверждая, что всё от Бога, полемизировал не только с женщиной, но и с большевиками. Не нуждается в комментариях и следующий отрывок – своеобразный апогей в споре: «И вдруг она распростёрла руки и, указывая на постель, сказала по-русски с какой-то необыкновенной силой:

– Вот Бог!

<...> Есенин сидел на стуле, бледный, молчаливый, уничтоженный» («Звезда», 1995, № 9).

В то же время наметилась всеоправдательная тенденция в трактовке данной проблемы в творчестве поэта. Она лишь на руку тем многочисленным авторам, которые не признают христианского духа лучших произведений С.Есенина. С наименьшей неприязнью и большей частотой они пишут о крестьянской составляющей русской традиции и творчества поэта.

В 90-е годы русскоязычными авторами предпринимаются активные попытки разными способами отлучить Есенина от крестьянского мира, нередко путём дискредитации последнего, что демонстрирует М.Пьяных: «Этой чуткости к прекрасному Есенин чаще всего не находил у крестьян, в том числе у своего отца и деда» («Нева», 1995, № 10). При этом используется хорошо знакомая аргументация, порождённая материалистическим, «левым», плоским, примитивным видением деревенского мира: «Крестьяне, обременённые тяжёлым трудом и житейскими заботами, чаще всего не замечают красоты природы, среди которой они живут. Её чувствуют и ценят лишь немногие, эстетически чуткие люди, свободные, как правило, от крестьянских тягот...». Поэтому талант Есенина рассматривается как порождение «книжной духовной культуры города», «интеллектуального, то есть профессионального сознания».

Если руководствоваться логикой «за» – «против», то в противовес суждению В.Шершеневича о нелюбви С.Есенина к деревне, которое используется И.Макаровой («Нева», 1995, № 10) и другими в качестве важнейшего аргумента, можно привести высказывания прямо противоположной направленности. Однако главное в данном случае не то, сколько свидетельств, подтверждающих или опровергающих сию версию, предъявляется, а то, что своим творчеством поэт полностью опровергает диагноз В.Шершеневича-И.Макаровой.

Ю.Мамлеев, говоря о патриотической лирике М.Лермонтова, А.Блока, С.Есенина, верно заметил: «Чтобы понять это, надо иметь такой ток» («Советская литература», 1990, № 1). К сожалению, многие из писавших и пишущих о певце «берёзового ситца», крестьянского, как и русского, «тока» не имели и не имеют. В подтверждение приведём высказывания И.Макаровой, нашей современницы, и Н.Гариной, современницы С.Есенина, чьи взгляды сочла необходимым довести до читателя редакция «Звезды» в год столетия поэта: «Его герои (речь идёт о поэме «Пугачёв». – Ю.П.) – крестьяне-растения (выделено мною. – Ю.П.) не могут включиться в социальную борьбу – как и комнатное растение-цветочек не могло бы бороться за своё существование, требуя, чтоб его поливали» («Нева», 1995, № 10); «Есенин унёс из деревни память о покосившейся избушке... рваном зипуне. Унёс память о вечной нужде, темноте и косности» («Звезда», 1995, №9).

В 1985 году А.Марченко одной из первых реанимировала тезис о себялюбии, эгоизме С.Есенина («Новый мир», 1985, № 9), тезис, который через 10 лет стал

сверхпопулярным в работах «левых» авторов. Наиболее исчерпывающе-формулообразно высказался А.Петров: «А вообще он не мог любить никого и ничего – кроме своей поэзии» («Нева», 1995, № 10).

Приведу контрдоводы разных уровней. Во-первых, свидетельства М.Бабенчикова, С.Соколова, И.Евдокимова, Е.Шарова, Г.Бениславской, И.Грузинова из книги «Жизнь Есенина. Рассказывают современники» (М., 1988): «Родину он любил сыновней любовью, восторженно и болезненно воспринимал всё, что касалось её»; «Мне приходилось неоднократно быть свидетелем трогательной заботы С.Есенина о своих родителях и сёстрах»; «Несколько раз... рассказывал мне о младшей сестре Шуре всегда с неизменной любовью и словно бы с каким-то удивлением»; «Есенин, видимо, очень любил детей...»; «Как-то по-особенному любил он детей»; «Исключительные нежность, любовь и восхищение были у Сергея Александровича к беспризорникам»; «Есенин буквально с какой-то нежностью любил коров». Во-вторых, версию о поэте-эгоисте опровергает всё его творчество. Эгоист не создал бы шедевры, как «Кобыльи корабли», «Страна негодяев», «Письмо к женщине», «Персидские мотивы» и многие другие.

Конечно, наиболее трезвомыслящие или интуитивно чувствующие «левые» понимают, что версия, которая ими навязывается, вступает в противоречие с творчеством. Отсюда такое своеобразное решение проблемы: «В поэзии – вопреки слабостям натуры – он черпал фактические силы, там был стержень, единый, цельный. Стихов не мог ни бросить, ни пропить никогда, а всё остальное, похоже, не удерживал» («Литературное обозрение», 1996, № 1). Здесь всё поставлено с ног на голову. М.Пришвин, прекрасно понимавший творческую природу любого русского художника, исходя из собственного опыта, так ответил на интересующий нас вопрос: «Я веду себя так, чтобы выходили из меня прочные вещи <...>. ...Настоящее искусство диктуется внутренним глубоким поведением, и это поведение состоит в устремлённости человека к бессмертию» (Пришвин М. Дорога к другу. – М., 1959).

Что же касается оригинальности в трактовке самых разных вопросов, то, конечно, нельзя пройти мимо попыток Н.Шубниковой-Гусевой прочитать отдельные факты жизни и творчества С.Есенина сквозь призму масонства. В статьях автора «Чёрный человек» Есенина, или Диалог с масонством» («Российский литературоведческий журнал», 1997, № 11), «Тайна «Чёрного человека» в творчестве С.Есенина» («Литературная учёба», 1995, № 5,6), проникнутых духом некой посвящённости, сообщаются, несомненно, интересные – частные – факты. Нередко они остаются без оценки, комментариев. Так, приводится мнение израильского литературоведа О.Ронена, который считает, что в первой строке предсмертного стихотворения «До свиданья, друг мой, до свиданья...» «Есенин памятно прочёл немецкую похоронную масонскую песню в переводе Ап. Григорьева». Видимо, для Н.Шубниковой-Гусевой не имеет значения то, что есенинское авторство данного произведения ставится под сомнение, и версия О.Ронена вряд ли может быть доказана, главное для неё – сообщить факт, высказать предположение (как в случае с названием «Орден имажинистов» – по аналогии с масонским), задать риторический вопрос. То есть автор внешне ненавязчиво пытается подтолкнуть читателя к выводам, от которых Н.Шубникова-Гусева почти уходит: «Пока ответить на эти вопросы сложно. Несомненно одно: Есенин был знаком с философией масонства и интересовался ею...».

Однако заикленность исследовательницы на масонстве, её желание если не прописать С.Есенина в ордене вольных каменщиков, то сделать его хотя бы человеком, близким им по духу, философии, проявляется внутренне навязчиво, порой грубо. Так, в сопоставлении белого с чёрным в «Чёрном человеке» Н.Шубникова-Гусева видит проявление поэтической символики масонов. Тогда и «Двенадцать» А.Блока, и «Лебединый стан» М.Цветаевой и многое другое нужно поставить в один – масонский – ряд. Не менее оригинально исследовательница отвечает на вопрос: «Почему же сам Есенин неоднократно говорил о влиянии на свою поэму лишь пушкинского «Моцарта и Сальери»? – Может быть, потому, что Пушкин и Моцарт были масонами».

В работах о творчестве С.Есенина проявляется и филологическая «изошрённость», формально-формалистский подход, который не в традициях русской мысли и который даёт определённое представление об исследователе и практически нулевое – о поэте. Так, по версии Л.Трубиной, оказывается, что трагическая тональность стихотворения «Устал я жить в родном краю» «с максимальной силой выражена в самом начале путём инверсии, вынесения на первый план глагола (устал)» («Литература в школе», 1998, № 7). А своеобразное кольцевое обрамление в поэме «Анна Снегина» одновременно «снимает социальную остроту изображаемого, подчёркивает мотив любви к родной земле, к женщине, мотив памяти, неисчерпаемости жизни». Когда же, как в книге В.Баевского «История русской поэзии» (Смоленск, 1994), помимо того, что «рядом с пятистопным хореем у Есенина появляется трёхударный дольник, рядом с напевной интонацией – говорная», исследователь пишет об ином, на наш взгляд, главном, то проявляет полную беспомощность: «Есенин уже не предпринимал серьёзных попыток представить в поэзии сколько-нибудь цельное крестьянское мирозерцание. Напротив, он основал свою лирику на конфликте между любовью к старой «избяной» Руси и неизбежным наступлением города, машин, социализма».

И как результат всего сказанного, результат непонимания или неприятия многими авторами «русскости» и других особенностей личности и творчества С.Есенина – восприятие в штыки версии об убийстве поэта. Она называется современными «левыми», русскоязычными «новенькой уткой» (Западалов И. «И ни по моей, ни по чьей вине...» // «Нева», 1992, № 9), легендой, противоречащей фактам и здравому смыслу, крайне опасным мифом (Корнилов Вл. Победа над мифом // «Литературное обозрение», 1996, № 1). Какими же доводами оперируют сторонники версии о самоубийстве?

Опираясь на свидетельства некоторых современников С.Есенина, они говорят о его дружбе, связях с видными чекистами и политиками и делают вывод, что оснований для убийства не было. Но, как известно, те люди, на которых традиционно ссылаются, чьи суждения, в частности, приводят К.Азадовский («Звезда», 1995, № 9), И.Западалов («Нева», 1992, № 9) (А.Тарасов-Родионов и А.Мариенгоф, как и другие, традиционно стоящие в этом ряду), были корыстными и бескорыстными служителями органов и советской системы в целом. И понятно, что в своих воспоминаниях они являлись проводниками официальной версии.

К тому же есть и свидетельства иной направленности, свидетельства людей независимых, Р.Гуля, например. Он так передаёт отзыв С.Есенина о Л.Троцком: «Не поеду я в Москву... Не поеду туда, пока Россией правит Лейба Бронштейн <...>. Он правит Россией, а он не должен ей править...».

Практика, применяемая исследователями разных направлений, практика выдёргивания из контекста высказываний, поступков, попытки делать обобщающие выводы из сиюминутных настроений, оценок, даёт прямо противоположные результаты. Если мы, с учётом многих факторов, попытаемся найти доминанту в отношениях С.Есенина и с отдельными лицами: А.Мариенгофом, Я.Блюмкиным, Л.Троцким (называю тех, на кого чаще всего ссылаются в этих случаях), и с системой, то таковой явится несовместимость с друзьями, покровителями, антирусской властью. Несовместимость, осознаваемая и неосознаваемая поэтом, и вне зависимости от этого обязательно проявляющаяся в жизни и творчестве.

Нелогичная реакция власти на смерть С.Есенина (взятые на свой счёт расходы на похороны, беспрецедентная надпись на полотнище: «Тело великого русского поэта Сергея Есенина покоится здесь» – и т.д.) видится Ю.Чехонадскому ещё одним доказательством причастности власти к гибели поэта, попыткой «заткнуть» рот друзьям и родственникам, «которые знали (или догадывались), что никакого самоубийства не было» («Литературная Россия», 1990, № 9).

Самоубийство было, утверждают нынешние «левые» и видят в нём явление естественно-закономерное: «И знали, знали все: свершится неизбежное: он вынынчит

свою гибель» («Нева», 1995, № 10). Гибель, порождённую психическим заболеванием, в первую очередь. При этом авторы ссылаются на красно-фрейдистскую профессию 20-х годов как на авторитетный источник, который убедительно ставит под сомнение Е.Черносвитов. Приведу только один его довод: «Гений» – для того, чтобы его нести на своих плечах, – требует идеального психического здоровья. Какой самодисциплиной, внутренней сосредоточенностью и работоспособностью должен обладать человек, создавший за два последних года, перед своей смертью такие шедевры, как «Персидские мотивы», «Письмо к женщине», «Письмо к матери», «Письмо к деду», «Метель», «Весна», «Цветы», «Анна Снегина!» («Ветеран», 1990, № 12).

Однако «левые» либо «не замечают» подобных суждений, либо отмахиваются от них, не вступая в споры по существу. Они предпочитают идти по проторённой колее, по-разному осовременивая трактовки 20-х годов. Так, Вл. Корнилов, видимо, для того, чтобы укрепить позиции И.Галанта, П.Ганнушкина, В.Кринева, профессоров, зачисливших поэта в «сумасшедшие», решил поставить последнюю точку в этом вопросе: «И в психиатрических отделениях Есенин лежал не раз... Недаром ещё в 1913 году он писал своему другу из Москвы в Спас-Клепики: «Меня считают сумасшедшим и уже хотели везти к психиатру, но я послал всех к сатане и живу, хотя некоторые опасаются моего приближения» (Есенин С. Собр. соч.: В 5 т. – Т.5. – М., 1962).

Конечно, Вл. Корнилов поступил некорректно, ибо любой, познакомившийся с текстом письма к Грише Панфилову от 23 августа 1913 года, поймёт, что причина «сумасшествия» – пламенная вера юноши в Христа, отличавшая его от многих окружающих. Конечно же, нужно делать обязательную поправку на то, что перед нами не только молодой человек, но и начинающий писатель, со всеми вытекающими последствиями.

В канун 100-летия С.Есенина появилась ещё одна сверхоригинальная версия К.Азадовского: поэт умер случайно, желая поиграть со смертью. «Можно живо себе представить, как в состоянии обиды или отчаяния, действительно «близком к умопомешательству», Есенин заперся у себя в номере, изрезал в кровь себе руки, «обернул вокруг своей шеи два раза верёвку..., выбил из-под ног тумбочку <...>.

Да, так оно, пожалуй, и было» («Звезда», 1995, № 9).

Было по-другому, было убийство, – утверждают Э.Хлысталов, Ст. и С.Куняевы, Ю.Чехонадский, Е.Черносвитов и другие «правые» авторы. Об этом, в частности, свидетельствуют повреждённые переносы, вытекший левый и выпуклый правый глаз, отёки век и щеки, «вдавленная борозда». По мнению Ф.Морохова, даже «если предположить невероятное, что Есенин даже с такими травмами сумел залезть под самый потолок, высотой не менее четырёх метров, и самостоятельно привязать себя верёвкой к вертикальной трубе, приняв при этом описанное положение, то при наступающем умирании и общем расслаблении мышц (релаксации) тело его выскользнуло бы из полупетли, держащей его за подбородок, и упало бы на пол.

Есенин был жестоко убит и при наступающем окоченении, начинающемся через 1 – 2 часа, был привязан к трубе с целью имитации самоповешения» («Литературная Россия», 1994, № 46).

Эти и другие факты, доводы «правых» исследователей до сих пор остаются без ответа «левым». Они ограничиваются иронично-гневными выпадами, где нет ничего по существу спора. Так происходит во многом потому, что «левые» рассматривают смерть поэта в политической плоскости: «Ведь Есенин ни в малейшей мере не был политической фигурой – кому же могло понадобиться убивать поэта, да ещё столь замысловатым образом» («Звезда», 1995, № 9).

Действительно, Есенин не был политической фигурой, но с ним произошло то, что рано или поздно должно было произойти. Антинациональная, сатанинская власть убила Есенина потому, что он, как русский человек и поэт, представлял для неё большую опасность.

P.S.

В последние годы появились содержательные работы А.Захарова и Т.Савченко, И.Кондакова, Н.Солнцевой, Н.Шубниковой-Гусевой и некоторые другие. Правда, часть из них производит противоречивое впечатление. Так, в работе И.Кондакова «Адова пасть (Русская литература XX века как единый текст)» («Вопросы литературы», 2002, № 1) немало точных, глубоких наблюдений о творчестве поэта, о такой, например, казалось бы, филологически выпитой и «измызганной» поэме, как «Анна Снегина». Интересны и оригинальны сопоставление взглядов Н.Бухарина и И.Бунина на творчество С.Есенина и тот вывод, который делается в итоге: «Бунинская и бухаринская характеристики Есенина и «есенинщины» по смыслу совпадают; они выражены в одних и тех же представлениях и словах: матерщина, хулиганство, пьяные слёзы, кабак, распушенность, псевдонародный национализм, некультурность, варварство, свинство...».

В то же время не раз возникает мысль о «сыроватости», «неотстоянности» работы И.Кондакова, что проявляется по-разному. Во-первых, на уровне языка, стиля: «Троцкому не приходит на мысль предположить»; «похоронный плач по безвременно погибшем поэте»; «чутьё не обманывает в самых худших предчувствиях»; абзац начинается предложением, где есть слова: «слышавший в большевистских кругах «трибуном революции», – и заканчивается – «ещё недавно славившийся как «пламенный трибун революции».

Во-вторых, на уровне мысли. Некоторые утверждения И.Кондакова опровергаются цитатами из текстов, которые им приводятся. Так, исследователь не раз говорит о взглядах И.Бунина как о точке зрения эмиграции и сам же ссылается на такие слова писателя: «...Если, например, этот самый Есенин со всеми его качествами есть и в самом деле «наш национальный поэт» (как уже с т о р а з (разрядка моя. – Ю.П.) писалось в эмигрантских газетах) <...>». Или авторская мысль об открытой присяге советской власти подтверждается известной строфой из «Стансов», начинающейся словом «Хочу». Думается, между «хочу»-желанием и «обязуюсь»-присягой – дистанция немалого размера.

И.Кондаков не до конца освободился от левых – социалистических и либеральных – стереотипов восприятия отечественной истории, о чём, в частности, свидетельствуют его следующие высказывания: «Особую трагичность предчувствиям поэта придавало понимание того, что этот перелом (коллективизация. – Ю.П.) ещё и неизбежен, н е о т в р а т и м (разрядка моя. – Ю.П.), что за ним встаёт роковая историческая необходимость»; «Есенин выразил собой и своим творчеством страну, вышедшую из своих берегов, стронувшуюся с в е к о в о й м е л и (разрядка моя. – Ю.П.)...»; «Есенин <...> лишь приветствовал конец старого мира, преодоление м е р т в я щ е г о з а с т о я (разрядка моя. – Ю.П.), ж и в о т в о р н ы х (разрядка моя. – Ю.П.) исканий народа».

Вызывает удивление и мнение И.Кондакова о том, что А.Платонов и О.Мандельштам изначально числились среди контрреволюционных и антисоветских авторов, и оценки исследователя, вступающие в резус-конфликт с общей направленностью работы: «Есенин, как истый маргинал <...>»; «В той же «Песни», с о д о б р е н и я (разрядка моя. – Ю.П.) поэта, на мотив «Яблочка» молодой матрос залихватски распевает кровожадные куплеты» – и некоторые другие.

Естественно и закономерно стремление исследователей в трактовке разных тем в творчестве С.Есенина «подключить» его к определённой традиции. И в этом случае нередко наблюдается такая картина: авторы, произведения, которые должны указывать на идейно-эстетическую общность, создающую традицию, свидетельствуют об обратном. Так, например, Н.Солнцева в книге, адресованной преподавателям, старшеклассникам, абитуриентам, утверждает: «В смиренном, кротком, по сути православном отношении к смерти в лирике Есенина нашла продолжение традиция русской классической поэзии – это и «Вечер» Жуковского, и «Дар напрасный, дар случайный...», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» Пушкина <...>» (Солнцева Н. Сергей Есенин. – М., 2000). Пример из Пушкина

– более чем неудачный пример: в стихотворении «Дар напрасный, дар случайный...» нет православного отношения к жизни-смерти, на что первым обратил внимание поэта митрополит Филарет (Дроздов), с которым Пушкин согласился и исправил свою «ошибку» творением «В часы забав иль праздной скуки...». На целительное влияние владыки указывали и указывают митрополит Анастасий, В.Непомнящий, М.Дунаев и другие авторы.

Самыми же отрадными явлениями в есениноведении в последние годы, на мой взгляд, были, во-первых, выход академического полного собрания сочинений поэта с прекрасными комментариями и примечаниями; во-вторых, наконец-то дождались содержательной главы о С.Есенине в учебнике (Басинский П., Федякин С. Русская литература конца XIX – начала XX века и первой эмиграции. – М., 1998); в-третьих, журнальный вариант новаторского, местами небесспорного исследования Ст. и С. Куняевых вылился в книгу «Жизнь Есенина. Снова выплыли годы из мрака...» (М., 2001); в-четвёртых, опубликована статья А.Гулина «В сердце светит Русь...» Духовный путь Сергея Есенина» («Литература в школе», 2001, № 6), написанная в лучших традициях русской исследовательской мысли.

1997, 2007

ДМИТРИЙ БЫКОВ:  
ЧИЧИКОВ И КОРОБОЧКА  
В ОДНОМ ФЛАКОНЕ

В рецензии Никиты Елисеева на книгу Д.Быкова «Пастернак» («Новый мир», 2006, № 4) говорится: «Всё, что излагает в своей книге Быков, уже было изложено в разных статьях, книгах, воспоминаниях, нужно было всё это собрать в книгу. Так собрать, чтобы это было не скучной грудой фактов, а сюжетным повествованием». Думается, явным преувеличением рецензента является мысль о том, что все всё знают о Пастернаке, и главное – суть не в сюжетном повествовании, а в компоновке фактов, событий, системе оценок, характеристик, авторской позиции и т.д., то есть в том, что делает жизнеописание правдивым, а картину творческого пути поэта объективной.

Суть быковского подхода к фактам, известным и неизвестным, выясним на примере главы «В зеркалах: Цветаева». Выбор, в частности, обусловлен тем, что эту главу Никита Елисеев называет одной из лучших. В ней любовные отношения поэтов-современников Быковым представлены так: «В Пастернаке её постоянно начинает раздражать многое: вот он пишет, что отправил семью на лето в Германию, и сам остался и боится соблазнов: «Боюсь влюбиться, боюсь свободы. Сейчас мне нельзя».

Цитата приведена из письма от 5 июня 1926 года, в котором нет ни слова об отправке семьи в Германию, так как это произошло 22 июня. В письме же говорится следующее: «Очень хочется всё поскорее устроить с семьёй, остаться одному и опять приняться за работу».

Далее Быков так моделирует переживания и поведение Цветаевой: «Как смеет он бояться влюбиться, когда только что был так маниакально сосредоточен на ней? И она отвечает ему: «Я бы не могла с тобой жить (обрываю большую часть длинной цитаты. – Ю.П.)... Пойми меня: ненасытная исконная ненависть Психеи к Еве, от которой во мне нет ничего». Так подействовала на неё сама мысль, что он может кем-то прельститься». Однако эта цитата взята из письма от 10 июля, которое является ответом на послание от 1 июля, а не 5 июня, как у Быкова. Таким образом, подлинный «раздражитель» оказывается вне поля зрения жизнеописателя.

Слова же Цветаевой, трактуемые Быковым как проявление ревности, уязвлённого самолюбия, звучали и раньше, до июньско-июльских событий 1926 года. Например, в письмах двадцать пятого года к Черновой и Пастернаку: «С Б<орисом> П<астернаком> мне вместе не жить»; «Борис, а нам с тобой не жить». К тому же неоднократно в посланиях к разным адресатам до и после цитируемого Быковым письма Цветаева высказывала мысль о ненависти Психеи к Еве. То есть в обоих случаях ревность ни при чём или почти ни при чём: отношения с Пастернаком – лишь очередной повод сказать о своём, сокровенном.

По Быкову, инициатором замораживания чувств поэтов является Борис Пастернак. Однако если бы жизнеописатель внимательнее прочитал переписку Цветаевой, Пастернака, Рильке в книге, на которую он уважительно ссылается (Райнер Мария Рильке. Борис Пастернак. Марина Цветаева. Письма 1926 года. – М., 1990), то ему стало бы ясно, что именно Марина Ивановна, «заболев» Рильке, отдаляет советского поэта, как

«сообщника», как третьего лишнего. Об этом она писала не только Рильке, но и самому Пастернаку. К тому же ускорило охлаждение Цветаевой к Пастернаку его признание о «воле», о чём она говорит в письме к Рильке от 14 августа 1926 года.

Версия поэтессы подтверждается свидетельством самого Бориса Леонидовича в послании к жене Евгении: «Марина попросила перестать ей писать, после того как оказалось, что я ей пишу о тебе и о своём чувстве к тебе». Итак, согласно Цветаевой – Пастернаку и вопреки утверждению Быкова, именно поэтесса стала инициатором охлаждения отношений с Борисом Леонидовичем.

В данном эпистолярно-любовном контексте возникает быковская версия о полярной природе Пастернака и Цветаевой. Она в интерпретации Никиты Елисеева выглядит так: «Сознательно или бессознательно, вольно или невольно, но он (Д.Быков. – Ю.П.) великолепно растолковывает разную природу двух поэтов. Один – футурист, делатель слов и речи, тамада «на пире Платона во время чумы», другая – романтический поэт. Пастернак произносит тосты в письмах к Цветаевой <...>. А дама и впрямь полагает, что она – императрица, королева, повелительница».

Однако с не меньшим успехом и Марину Ивановну можно назвать тамадой, ведь большинство её любовных романов (например, с Бахрахом, Пастернаком, Рильке) – это прежде всего красивые тосты, это слова, только слова... Невольно вспоминается цветаевско-заветное: «Любовь живёт в словах и умирает в поступках».

В свою очередь, Пастернак был не менее падким на слова, чем Цветаева, был таким же чутко-чувствительным, как и она. В письме к Марине Ивановне от 11 июня 1926 года он говорит о «пропасти женских черт» в себе и уточняет, что в определённой ситуации они «достигают силы девичества, превосходят даже степень того, что можно назвать женскостью». И, видимо, зря Пастернак задаёт следующий вопрос: «Но ты, может быть, не знаешь, о чём я говорю». То, что последовало далее как разъяснение, как самохарактеристика поэта, по сути, совпадает с тем, что говорила о себе Цветаева. Оба поэта признавали над собой власть видимости, химеры, настроения, вымысла. И что это, как не вымысел или почти вымысел, – признание Пастернака о своём чувстве к жене из того же письма («В основе я её люблю больше всего на свете») или слова, обращённые к Цветаевой в послании от 31 июля 1926 года: «Успокойся, моя безмерно любимая, я тебя люблю совершенно безумно <...>». Аналогичных примеров не десятки, сотни в письмах самой поэтессы.

Сопоставляя судьбы Пастернака и Цветаевой, Дмитрий Быков на разном материале стремится показать их постоянное несовпадение, их разнонаправленность. Страсть к броским формулировкам, власть схемы, хлестаковское отношение к фактам приводят к натяжкам, неточностям, очевидным несуразностям. Например, в третьей части этой главы уже в первом абзаце утверждается: «В сорок первом, когда немцы стояли под Москвой, Пастернак испытывал невероятный подъём – а Цветаева покончила с собой».

Однако, когда поэтесса ушла из жизни, немцев под Москвой не было, они были на расстоянии 400 километров от столицы. 19 октября фашисты занимают Можайск, их отделяет от Москвы всего 110 километров, – Пастернак же пятью днями раньше отбыл в эвакуацию. А подъём, о котором говорит Быков, начался ещё весной, «после Гамлета», с написания, по словам Бориса Леонидовича, лучшего из того, что им когда-либо было создано.

Или рассуждения о причинах самоубийства М.Цветаевой Дмитрий Быков заканчивает так: «Дело было в апокалипсических предчувствиях, в атмосфере конца времён». То есть автором книги высказана точка зрения, которой вслед за Л.Чуковской придерживаются многие исследователи. И, думаю, по-человечески и профессионально было бы правильно сослаться на родословную данной версии, а не претендовать на роль первооткрывателя. Комментировать эту гипотезу самоубийства Цветаевой не буду, своё – иное – мнение о причинах гибели поэтессы я уже высказал («День литературы», 2004, № 11).



Хотелось бы, чтобы быковская точка зрения на цветаевское восприятие революции и Гражданской войны как на «великое испытание, посланное народу (и красным, и белым, временами для неё неразделимым) для великого же духовного преображения» хотя бы минимально аргументировалась творчеством поэтессы. Эта точка зрения легко опровергается «Лебединым станом», циклом стихотворений 1917-1920 годов, вершинным в творчестве Цветаевой.

«Лебединый стан» не оставляет камня на камне и от быковской характеристики позиции Цветаевой как «соглядатая великого перелома, романтического поэта, которому предложили единственно достойное его зрелище». Не случайно данный цикл в книге Д.Быкова даже не упоминается.

Возражат: нельзя по одной главе в 16 страниц, составляющих около двух процентов книги, делать выводы о её качестве. Отвечу: конечно, нельзя. Однако ситуация принципиально не меняется на протяжении всей книги. Так, в главе «В зеркалах: Маяковский» проявляются те же фактографически-математические проблемы. Д.Быков называет 30 декабря 1929 года последней попыткой примирения Пастернака, лефовцев с Маяковским, во время которой выступал Н.Асеев. Далее в книге сообщается: «Автор речи даже не догадывался, что вступление Маяковского в РАПП – дело решённое, до него меньше месяца». Но, как известно, в РАПП Маяковский вступил 6 февраля 1930 года, то есть до этого события оставалось более месяца. Или четырнадцатью страницами раньше утверждается: «Маяковский десять месяцев проводит в тюрьме при царизме <...>». Чем при этом руководствуется Быков – непонятно, ибо суммарный срок пребывания Маяковского в заключении во время трех арестов составляет почти восемь месяцев. Конечно, Быков не столь неточен, как Маяковский, который из 4 месяцев 20 дней, проведённых в Бутырках, сделал 11 месяцев («Я сам»).

Показательно, что в шестёрку первых поэтов XX века у Быкова попадает Маяковский и не попадает Есенин. Автор книги по-разному пытается обелить, облагородить, очеловечить во многом созвучного ему поэта-космополита, одного из самых первых в истории отечественной литературы химически чистого русскоязычного писателя. Быков, в отличие от многих, находит высокую поэзию в творчестве Маяковского и послереволюционного периода.

Уже в самом начале главы в шедевры зачисляются «Про это», «Юбилейное», «Разговор с фининспектором о поэзии». Через семь страниц Быков говорит на эту тему более загадочно, говорит о «многих отличных стихах первой половины двадцатых». А заканчивается данная тема так: «Даже и в самые безнадежные, глухие годы для поэзии <...>, – у него случались проблески истинной, великолепной лирики, какие есть и в «Хорошо», и в посвящении «Товарищу Нетте – пароходу и человеку», и в стихотворном послании Горькому, и в мексиканских, и в парижских стихах <...>».

Конечно, хотелось бы, чтобы список «многих» не ограничивался только тремя произведениями. К тому же далеко не всем (например, мне) понятно, почему «Юбилейное», «Разговор с фининспектором о поэзии» – шедевры. И где проблески истинной лирики в названных произведениях второй половины двадцатых годов: неужели в таких «любовных» декларациях, агитках, как «Я не сам, / а я / ревную / за Советскую Россию», или в мертворождённой – потому что только головой рождённой, рассчитанной на внешний эффект – «формуле» любви: «Любить – / это с простынь, / бессонницей рваных, / срываться, / ревнуя к Копернику, / его, / а не мужа Марьи Ивановны, / считая / своим / соперником».

Вызывает удивление тезис о затравленности Маяковского к двадцать седьмому году. Правда, через десять страниц утверждается прямо противоположное: «обрушиться на позднего (Маяковского. – Ю.П.) значило бы впасть уже в прямую антисоветчину». А еще через страницу сообщается, что уже в конце двадцатых годов поэт и его единомышленники впадают в немилость власти.

Травля – это когда не печатают, когда из 301 отзыва только 3 положительных, когда навешивают идеологические ярлыки: «русский фашист», «кулацкий писатель» и т.д. Ничего подобного в жизни Маяковского не было и быть не могло. Сам же он в травле других явно преуспел... И говорить, как Быков, что «страна его не понимала и понимать не желала – видать, он не ошибся, когда выкрикнул истерически: «Я не твой, снеговая уродина!» – это значит окончательно утратить чувство литературной реальности, способность логически мыслить.

Во-первых, оперировать такими огромными категориями, как «страна», пусть и с подачи Маяковского, непродуктивно. Во-вторых, большая часть читателей поэта не только понимала, но и боготворила. В-третьих, оскорбительные слова, адресованные тысячелетней, традиционной России, слова, сказанные в 1916 году, вводить в контекст конца 20-х годов как реальность данного времени, как проклятие СССР – это и откровенный подлог, шулерство, и подмена понятий, и изнасилование Маяковского. В первую очередь потому, что «стране-подростку», «моей» стране, которую он любил, «вынынчил» и т.д., таких слов он адресовать не мог ни при каких обстоятельствах. И ещё – в оригинале в приведённой строке из стихотворения «России» восклицательный знак отсутствует. Я, конечно, понимаю, что Быков, как говорят, поэт, но всё же...

Итак, почти каждое суждение Д.Быкова о Маяковском в этой большой главе в 33 страницы требует комментариев-возражений, что я по понятным причинам делать не буду. Приведу ещё одно, которое напрямую – ситуативно – связано с Б.Пастернаком: «Страшно становится, как подумаешь о его постоянстве: с 1915 года – любовь к Лиле, странная тройная жизнь с Бриками, длившаяся до гибели». Чтобы Быкову не было страшно, напому ему, что постоянства не было с 1922 года, начиная с увлечения Зинаидой Гинзбург. Далее последовали многочисленные романы, последний из которых, с Вероникой Полонской, закончился трагически.

Я понимаю, по каким причинам Быков игнорирует содержательные работы В.Дядичева о Л.Брик («Прошлых дней изучая потёмки» // «Москва», 1991, № 4; «Маяковский. Жизнь после смерти: продолжение трагедии» // «Наш собеседник», 1993, № 12; «Маяковский: стихи, поэмы, книги, цензура... Фрагменты посмертной судьбы поэта» // «Литературное обозрение», 1993, № 9, 10). Кстати, они пафосно и документально подтверждают и развивают точную характеристику Брик, данной Ахматовой 25 июня 1960 года: «Я её видела впервые в театре на «Продавцах славы», когда ей было едва 30 лет. Лицо несвежее, волосы крашенные, а на истасканном лице – наглые глаза» (Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. Т.2. – СПб., 1996).

Что же касается «тройной жизни», то, если Быков верит Лиле Брик, могу привести её слова: «С 1915 года мои отношения с О.М. перешли в чисто дружеские...». Совместная же жизнь Брик с Маяковским, по её свидетельству, началась в 1918 году. Несмотря на эти и другие уточнения, которые опускаю, согласен с Д.Быковым в главном – странная жизнь, мягко говоря. При этом не могу не спросить: а чем она отличается от жизни Пастернака, когда в неё вошла Ольга Ивинская? Жизни, о которой с пониманием пишет Д.Быков. «Двоежёнец» Пастернак, живущий на два дома, бегаящий через мостик и т.д., – это не меньший вывих в отношениях, не меньшее нравственное уродство, чем «странность» Маяковского.

Остаётся верен себе Д.Быков и в главе о Блоке и Пастернаке. Приведу лишь некоторые «вершинные» суждения, «открытия» жизнеописателя-исследователя. Происхождением – дворянским у Блока и интеллигентски-еврейским у Пастернака – Быков объясняет их позиции в 17 году и последующий период. Именно происхождением была «предопределена некоторая второсортность пастернаковской позиции». И далее, что ни строчка, то «шедевр», то верх фантазии и нелепости. Например, быковский тезис о призыве Блока наслаждаться величием гибели развивается и иллюстрируется так: «И потому в блоковском отчаянии – да, гибель, но гибель от стихии, в великий час и от

великих причин, – есть истинное благородство: «Я знаю – то Бог меня снегом занёс, то вьюга меня целовала!»

Не комментируя версию Быкова, обращаю внимание только на то, как она аргументируется. Автор «Пастернака» восприятие Блоком революции иллюстрирует цитатой из стихотворения «Поэты». А оно опубликовано в 1908 году, первая черновая редакция появилась в 1903 году. В этом стихотворении выражена символистски-модернистская идея противопоставления поэта всем остальным, обывательскому болоту, к которому относятся и читатель, и критик. То есть утверждается идея избранничества, небожительства, которую Блок не раз резко и справедливо критиковал. Показательна и его поздняя реакция на это стихотворение: «Отвратительный анархизм несчастного пьяницы».

То есть идейно данное стихотворение и цитируемые Быковым строки никакого отношения к блоковскому мироощущению в 1918 году не имеют и иметь не могут. К тому же, как следует из сказанного, здесь допускается Быковым недопустимая хронологическая инверсия. К этому приёму автор книги прибегает неоднократно. В частности, страницей ранее, где рассуждает о «железнодорожном» познании России у Блока и Пастернака. Если принять на вооружение логику Быкова, то тогда можно утверждать, что прототипом Хлестакова был сам Дмитрий Быков, автор «Пастернака».

И последнее: в очередной раз в цитате допущены ошибки, сразу три. У Блока приведённые Быковым строки выглядят так: «Я верю: то Бог меня снегом занёс, / То вьюга меня целовала».

Дмитрий Быков – любитель сравнений. Он постоянно скрещивает писательские судьбы, творчество. Видимо, именно в такие моменты автор особенно не контролирует себя, даёт волю своей богатейшей фантазии. В результате рождаются многочисленные пассажи, один умильнее другого. Приведу только один: «И если бы «Двенадцать» – поэму о патруле – задумал писать Пастернак, – Петруха не убивал бы Катьку, а спасал её от жадной, грубой любви юнкера, возрождал к новой жизни... в общем, погиб бы Ванька, тот самый, который «с Катькой в кабаке». А к двенадцати прибавилась бы тринадцатая – Катька-Магдалина, которая шла бы во главе всей честной компании об руку с Христом, оба в белых венчиках из роз».

Сначала о реальном, о чём говорить неудобно, настолько всё очевидно. Оригинальна сама трактовка «Двенадцати» – «поэма о патруле». Умри Дмитрий, но, действительно, лучше не скажешь. Смело можно включать этот «шедевр» в школьные и вузовские учебники, в тесты и им подобные источники для дебилов. Во-вторых, Петруха убивает Катьку случайно, а не преднамеренно, что следует из быковского текста. В-третьих, о жадной, грубой любви юнкера – в поэме ни слова. В-четвёртых, на чём основывается быковская версия о пастернаковском варианте «Двенадцати»? Ни одно из произведений Бориса Леонидовича о революции, включая роман «Доктор Живаго», который возникает у Быкова в данном контексте, оснований для таких предположений не даёт. Даже самый созвучный Пастернаку герой Юрий Живаго – это не человек поступка. Он не то что убить Ваньку или возродить Катьку не может, он спасти себя не в состоянии.

Комментировать же фантазии на тему Катьки-Магдалины – это не по моей части.

Самая же хлестаковская глава в книге Д.Быкова – это «В зеркалах: Вознесенский». В адрес Блока, Пастернака и многих других писателей звучат негативные, порой резко-грубые оценки, подобные следующим: «При всей блоковской романсовой пошлости, при всех его срывах, невнятности формулировок, при десятках откровенно плохих стихов <...>»; «На этом фоне Пастернак <...> компромиссен и даже порой дурновкусен». Ситуация меняется тогда, когда речь заходит об Андрее Вознесенском. Он, по Быкову, единственный ученик Пастернака, который не запятнал звание поэта. Вознесенский «открыл для российской поэзии множество новых возможностей», «содержание его поэзии неизменно оставалось христианским, молитвенным».

Трудно по-розановски просто замолчать и отойти в сторону, невольно хочется развести руками, плюнуть и посоветовать Быкову печатать подобное на шестнадцатой странице «Литературной газеты». О настоящем, а не мифическом Вознесенском справедливо писали Вадим Кожин, Михаил Лобанов, Юрий Селезнёв, Александр Казинцев и другие авторы. Кратко высказался и я («День литературы», 2006, № 3). Поэтому не вижу смысла опровергать очевидно абсурдные быковские утверждения.

В целом же система оценок, позиция Дмитрия Быкова во всей книге даёт основание говорить о его «шестидесятничестве». Автор жизнеописания не подвергает сомнению отношение Пастернака к революции как к неизбежности, необходимости, благу. Например, реакция поэта на постановление ЦК РКП(б) «О политике партии в области художественной литературы» 1925 года предваряется таким комментарием Быкова: в этом документе Пастернак увидел «предательство всего, что он в русской революции любил». Несомненно, с точки зрения автора книги, есть в революции то, за что её можно любить. За что её любил Пастернак, Быковым либо констатируется, либо оценивается с солидарностью. Приведу только те слова Бориса Леонидовича, которые коробят меня и вызывают созвучие у автора жизнеописания: «Я забыл о своём племени, о мессианизме России, о мужике...».

Не раз в книге лояльность Пастернака к революции и советской власти объясняется его еврейским происхождением (если бы подобное прозвучало из уст Ст.Куняева или М.Лобанова, представляю, какой бы крик поднялся). Так, при цитировании письма поэта к жене от 27 августа 1926 года в скобках уточняется: «революцию он воспринимал отчасти как еврейский реванш, как стремление вырваться из черты оседлости». А послание к М.Горькому 1928 года вызывает у Д.Быкова такую мысль: «Возможно, одним из факторов, заставивших его позитивно отнестись ко многому в советской жизни, был как раз ранний советский интернационализм, когда не обязательно стало принадлежать к титульной нации, чтобы чувствовать себя полноценным гражданином страны...».

Последняя часть высказывания – ещё одно свидетельство «шестидесятничества» Быкова. Все те мифы, вся та чушь, которую транслировали и транслируют «шестидесятники» «первой волны», закономерна и объяснима: ну, не может, скажем, Василий Аксёнов уйти от своего воспитания, родословной и т.д. Но когда о преимуществах титульной нации говорит Дмитрий Быков, «сын» «шестидесятников», говорит уже в XXI веке, то невольно напрашивается сравнение его с Коробочкой...

О «преимуществах», об ущемлённости, мягко говоря, русских в Российской империи и особенно в СССР доказательно писали многие авторы. И хотелось бы, чтобы Дмитрий Быков руководствовался фактами, а не мифами, фактами, которые приводятся ранними славянофилами, Ф.Достоевским, К.Победоносцевым, В.Розановым, В.Кожинным, А.Панариным, А.Ланщиковым, А.Зиновьевым (взять хотя бы его точное определение СССР – «империя наоборот») и многими другими авторами.

Вера в «пламенных революционеров» – ещё один комплекс «шестидесятников» – представлена у Быкова в трансформированном виде. У него, в отличие от «отцов», из разряда «приличных людей» выпадают Ленин и «ленинцы», которые стоят в одном ряду со Сталиным и «сталинцами». К «приличным людям», «рыцарям идеи» Быков относит Петра Шмидта, героя поэмы Пастернака «Лейтенант Шмидт», Пестеля и Робеспьера, о которых выпустили книги Б.Окуджава и А.Гладилин в серии «Пламенные революционеры». С явной симпатией Д.Быков пишет о Троцком как о революционном романтике. Все это свидетельствует об исторической дремучести автора жизнеописания.

Я предполагаю, чем руководствовался Быков, выстраивая такой ряд: достойные, с его точки зрения, авторы не могли героизировать людей ничтожных, негодяев, злодеев и т.п. Однако смогли... И «литературным грехом» Пастернака в поэме «Лейтенант Шмидт» является не одна строфа, как утверждает Быков, а всё произведение в целом.

Поэмы Пастернака 20-х годов – типичные образчики социалистического реализма, в них художественно выражена официальная точка зрения на нашу историю, а это – суть

определяюще. Более того, нелюбимый мной Владимир Маяковский с его откровенным «людоедством» выглядит более «благородно», чем Борис Пастернак с его «интимным» оправданием террористов, разрушителей русской государственности. И все рассуждения Быкова о «двойной оптике», музыкальности, «большой удаче в рискованном деле поэтизации прозы» и т.д. – лишь попытки уйти от сути проблемы, попытки при помощи освежителя воздуха устранить дурной запах в комнате, в которой пел по утрам герой «Зависти» Юрия Олеши.

Нет ничего удивительного и в том, что для Быкова зима 1929-1930 года относительно благополучное время, а «первый всплеск Большого Террора случился в 1935 году». Нет ничего удивительного потому, что данный период, как и русскую историю вообще, автор жизнеописания оценивает с точки зрения самоценной денационализированной личности. Поэтому и миллионы уничтоженных во время коллективизации крестьян – не в счёт. Поэтому и неприемлем Быкову народолюбивый пафос пастернаковских «На ранних поездах», а наиболее созвучны мысли Юрия Живаго, обращённые к друзьям: «Единственное живое и яркое в вас то, что вы жили в одно время со мной и меня знали».

Эти слова Д.Быков трактует как свидетельство выпрямления Б.Пастернака, как обретение им правды, доступной единицам. С этим невозможно согласиться, как и принять характеристику того произведения писателя, которому посвящена отдельная глава. Следующие высказывания Быкова о «Докторе Живаго» являются наиболее характерными: «Юрий Живаго – олицетворение русского христианства, главными чертами которого Пастернак считал жертвенность и щедрость»; «Масштаб его личности, как и бытие Божие, «не доказывается, а показывается».

Прокомментирую идеи главы, в которых выражен и основной пафос книги Д.Быкова. Ещё со второй половины 80-х годов XX века «левые» авторы высказывали мысль, что в «Докторе Живаго» Б.Пастернак оценивает человека с христианских позиций. Данный тезис иллюстрируется прежде всего образом главного героя, выразителем авторского «я» в произведении, выбором им третьего пути в годы гражданской войны, о чём, как о явном достоинстве Юрия Живаго, писали Е.Евтушенко, Д.Лихачев, В.Воздвиженский и другие исследователи. Об этом говорит и Д.Быков.

Выбор Живаго обусловлен философией исторического фатализма, которая к христианству никакого отношения не имеет. Эта удобная философия позволяет герою плыть по течению социального времени и одновременно находиться в скрытой, непоследовательной оппозиции к нему. Своеобразной иллюстрацией этому служит эпизод участия Живаго в бою во время пребывания его в партизанском отряде.

В молодых колчаковцах герой на расстоянии чувствует «своих», однако его человеческая бесхребетность, желание идти в ногу с партизанами оказываются сильнее. Живаго никто не заставляет брать в руки винтовку – он это делает сам...

Е.Старикова так прокомментировала данный эпизод: «Когда русский врач стреляет в русского гимназиста – это прежде всего беда» («Литературная газета», 1988, № 24). В такой социальнопроисхожденческой заикленности проявляется интеллигентски ограниченное сознание критика. Если бы врач стрелял в крестьянина, «попа», офицера и т.д., «беды» бы не было или она была бы качественно иной? «Беда» видится в том, что Юрий Живаго «подумал»: он не способен страдать и через страдание осознавать и собственное грехопадение, и трагедию происходящего.

Именно желанием спасти своё драгоценное «я» обусловлен уход героя в частную семейную жизнь. Однако эта семейная жизнь, если ввести её в традиционную систему ценностей, оказывается совсем не честной (мимо греха прелюбодеяния Живаго прошли Д.Быков и подавляющее число авторов, писавших о романе), совсем не семейной. Показательно, что все участники «круглого стола» во время одного из первых обсуждений на страницах «Литературной газеты» (1988, № 24), как и позже Д.Быков, не попытались

критерием ребёнка оценить жизнь главных героев произведения, более того, они ни разу не упомянули слово «ребёнок».

Юрий Живаго и его возлюбленные – на уровне сознания – при живых детях бездетны по своей сути. Живаго, два года находившийся в партизанском отряде, много, красиво, напыщенно-плоско рассуждающий о разном, практически не вспоминает о ребёнке. Личность определяющими являются и следующие признания Тони и Лары: «У меня два самых дорогих человека – ты и отец»; «Я пожертвовала бы самым дорогим – тобой». Таким образом, дети в разряд «самых дорогих» людей у обеих женщин-матерей не попадают, как, впрочем, и у Живаго.

Естественно, что герои романа так же бездетны в поступках. Юрий Живаго, когда заболел его сын в Москве, всю ночь беседует с друзьями о «высоком», даже не пытаясь достать ребёнку необходимое для лечения молоко. Конечно, вспомнят свидетельство-оправдание Б.Пастернака о непрерывной стрельбе на улице. Однако если ты настоящий мужчина, отец, то стрельба тебя не должна останавливать, ну а если ты трус или трусоват, эгоист или эгоистичен и не можешь (или не хочешь) подвергать свою жизнь опасности, то гораздо человечнее, родственнее находиться рядом с ребёнком или хотя бы не заниматься в данный момент «плетением словес», словоблудием. В этой связи надуманной видится версия разных авторов от Г.Гачева до Д.Быкова о жертвенности, христианской составляющей личности Живаго. Сколько бы раз Быков не уподоблял масштаб личности героя «бытию Божию», необходимый результат от этого не «покажется».

Христианская символика – символика (на что делают упор многие авторы), а поступки, наполняющие её реальным содержанием, существуют, как правило, отдельно от неё. То есть в моменты истины, когда Живаго требуется совершить поступок, как в случае с сыном или «двоежёнством», поступок, который и выявил бы его сущность, Б.Пастернак этой возможности героя ходульно, искусственно лишает. Из-за приёмов «художественного обрезания» многие авторские и персонажные характеристики Живаго мы вынуждены принимать к сведению, так как романная действительность свидетельства о талантливости, гениальности, душе, чувствах и т.д. героя опровергает, либо они повисают в воздухе.

Конечно, страсть Юрия Живаго и Лары – это не христианское служение, как уверяет нас Д.Быков. Думается, люди с таким мироотношением, с такими ценностями ведут человечество только и неминуемо к гибели, к вырождению, самоистреблению. Юрий Живаго являет классический образчик эгоцентрической личности, тот тип интеллигента, о котором так исчерпывающе точно сказал Иван Солоневич в «Народной монархии»: «Эта интеллигенция – книжная, философствующая и блудливая <...> отравляла наше сознание сто лет подряд, продолжает отравлять и сейчас. Она ничего не понимала сто лет назад, ничего не понимает и сейчас. Она есть исторический результат полного разрыва между образованным слоем нации и народной массой. И полной потери какого бы то ни было исторического чутья».

Эти слова в полной мере применимы и к Д.Быкову, автору книги «Пастернак».

## СЛОВЕСНАЯ ДИАРЕЯ ДМИТРИЯ БЫКОВА

Недавнее интервью с Дмитрием Быковым называлось «Манифест трудоголика» («Новая газета», 2009, № 65). Трудоголик – это не только самооценка писателя, но и широко распространённое мнение о нём. А многочисленные разножанровые книги Быкова, казалось бы, данный диагноз убедительно подтверждают. Однако если трудоголик публикует, мягко говоря, некачественную продукцию, то он должен называться иначе...

О низком качестве книги Быкова «Пастернак» я уже писал («День литературы», 2006, № 6). Новая работа Дмитрия Львовича «Окуджава» (М., 2009) ничем не лучше предыдущей. Вопросы к автору и несогласие с ним возникают практически на каждой странице. Озвучу мизерную часть из них, те, которые помогают понять природу феномена Дмитрия Быкова.

В главе «В опале» автор книги сообщает, что «Окуджава вместе с Юрием Трифоновым и Борисом Можаяевым инициирует письмо в ЦК с требованием прекратить преследование Твардовского, Трифонов вспоминает об этом в «Записках соседа». Однако в указанном источнике говорится, что инициатором письма был Юрий Буртин, подготовивший «болванку». Он через Асю Берзер вышел на Трифонову, тот – на Можаяева, затем к написанию подключились Анатолий Рыбаков и Вениамин Каверин.

То есть имя Окуджавы в данном контексте не возникает вообще. И конечно, «требование» в письме к Леониду Брежневу (а не в ЦК) отсутствует, и пафос послания передан Быковым предельно вольно.

Если бы автор книги не спешил, не фантазировал, а стремился к точности, то он, наверняка, проверил бы информацию Ю. Трифонову по другим источникам: «Исповеди шестидесятника» Ю. Буртина, «Новомировскому дневнику» А. Кондратовича, «Рабочим тетрадям» А. Твардовского и комментариям к ним его дочерей, публикациям В. Лакшина, его дневникам, комментариям к ним С. Кайдаш-Лакшиной и т.д. Из них наш трудоголик узнал бы, что существуют разные версии авторства письма, но во всех случаях называются Ю. Буртин и Ю. Трифонов, а Окуджава отсутствует. Кстати, нет Булата Шалвовича и среди подписантов этого послания к Л. Брежневу.

То, как Дмитрий Быков интерпретирует известные литературные события, рассмотрим на примере «Метрополя». В главе «Свидание с Бонапартом» автор, ссылаясь на В. Аксёнова, одну из причин неучастия Окуджавы в альманахе определяет так: его просто не пригласили к сотрудничеству, потому что берегли. Данная версия никак Быковым не комментируется, хотя вопросы возникают сами собой. Почему всех участников «Метрополя» (а их было двадцать три) не берегли? Чем вызвано такое отношение к Окуджава: особой ценностью его дара, слабостью или силой его характера, а может, чем-то иным?

Если Быков пишет, что неучастие поэта объяснялось по-разному, то разность эту, думается, следовало проиллюстрировать соответствующими мнениями. Можно было, например, привести точку зрения Юлиу Эдлisa, чьи мемуары «Четверо в дублёрках и

другие фигуранты» (М., 2003) автор книги не раз цитирует. В названных мемуарах об интересующем нас событии говорится: «Не все из приглашённых к участию в альманахе согласились на это, те же Трифонов и Окуджава, к слову, их удерживала, надо полагать, естественная опаска, они понимали, что участие в таком рискованном предприятии чревато неизбежными неприятностями».

Сие высказывание Быков не приводит, видимо, потому, что подобную версию озвучивает сам, слегка видоизменяя, подрывая её.

Вызывает удивление и уход жизнеописателя от оценок произведений, изданных в «Метрополе». Он лишь сообщает, что – это альманах «неподцензурной литературы».

Не могу не заметить, что в «Метрополь» были включены и произведения, ранее издававшиеся в СССР, одобренные советской цензурой, на что обратили внимание Яков Козловский и Евгений Сидоров ещё при обсуждении альманаха на Секретариате Московской писательской организации в 1979 году.

Но главное, конечно, в другом, умалчиваемом Быковым и его литературными собратьями: художественный и духовный уровень многих материалов был запредельно низок. Это в своих выступлениях отметили писатели разных идейно-эстетических пристрастий: Сергей Залыгин и Римма Казакова, Григорий Бакланов и Юрий Бондарев, Олег Волков и Яков Козловский, Евгений Сидоров и Виктор Розов, Леонард Лавлинский и Сергей Михалков, Владимир Амлинский и Владимир Гусев, Александр Борщаговский и Николай Старшинов... Ограничусь цитатами из выступлений будущих главных редакторов «перестроечных» «Знамени» и «Нового мира» Бакланова и Залыгина: «Художественный уровень большинства произведений оставляет желать лучшего. Я уже не говорю о рассказах, например, Ерофеева, которые вообще не имеют никакого отношения к литературе»; «Я думаю, что целый ряд авторов этого альманаха, которых я прочитал, просто не являются писателями и не могут делать профессионально литературу. Если бы мне, когда я руководил семинаром в Литературном институте, положили на стол эти произведения, их было бы невозможно обсудить даже в семинаре, потому что это не литература, это нечто иное».

«Иное» точно уловил и определил Давид Самойлов, выражая своё отношение к «Ожогу» В. Аксёнова, роману, который продолжил одну из главных линий «Метрополя». Приведу дневниковые записи поэта от 9 и 17 июня 1981 года: «Читаю отвратный «Ожог» Аксёнова. Стоит ли добиваться свободы печати, чтобы писать матом?»; «Ожог» Аксёнова – бунт пьяных сперматозоидов» (Самойлов Д. Подённые записи: В 2 т. – Т. 2. – М., 2002).

Д. Самойлова, оценки которого применимы ко многим «шедеврам» «Метрополя», к «охранительному лагерю», как обзывает Быков критиков альманаха, не отнесёшь. Лишь некоторые либералы смогли в два последние десятилетия объективно высказаться о «Метрополе», не поддавшись конъюнктуре, моде, не испугались террора среды и времени. Юлиу Эдлис, друг Булата Окуджавы, многих «метропольцев», – один из них. В своих мемуарах он справедливо пишет, что «на поверку он (альманах. – Ю.П.) был составлен, за немногими исключениями, из сочинений вполне ординарных в художественном отношении, разве что претенциозных либо попросту эпатажных».

Не знаю, почему Быков не называет в числе организаторов «Метрополя» А. Битова и Ф. Искандера. Не знаю, но догадываюсь, почему наш трудоголик путает хронологию событий в данной истории: зарубежные голоса в защиту альманаха и «бездомной литературы» прозвучали раньше, чем состоялось обсуждение на Секретариате Московской писательской организации. Явным преувеличением, вызывающим улыбку, является утверждение Быкова, что Андрею Вознесенскому из-за «Метрополя» «перекрыли публикации».

Тот же Эдлис в мемуарах точно свидетельствует: «Вознесенский же и вовсе в день, когда над альманахом должна была разразиться державная кара, каким-то чудом оказался не более и не менее как на Северном полюсе, о чём тут же напечатал целую полосу патриотических стихов в «Комсомольской правде».



Помнится, что ещё в книге «Пастернак» Быков назвал Вознесенского учеником Бориса Леонидовича, который «гордого этого звания никак не запятнал». И многочисленные факты из творческой биографии Вознесенского, подобные приведенному, факты, свидетельствующие о политической проституции поэта, Дмитрий Львович умудряется в упор не видеть. И это ещё одна особенность феномена Быкова.

В наиболее концентрированном виде сущность Быкова, литературоведа и жизнеописателя, проявилась в первой главе «На той единственной Гражданской...». В ней заявлены основные идеи (за исключением одной), намечены главные сюжетные линии книги. Эта глава – своеобразный конспект следующих семисот страниц, перенасыщенных многочисленными повторами и длиннотами.

В первой главе задаётся и уровень отношения Быкова к своему герою, обусловленный тем местом, которое Окуджава якобы занимает в поэзии XX века. Для выявления этого места автору понадобился А. Блок, с личностью и творчеством коего проводятся различные параллели. В итоге делается вывод, что оба поэта выполняли одну и ту же роль. В её определении, формулировании – весь Быков.

Сразу же, с места в карьер, заявляется главное: «Блок и Окуджава считались святыми». Естественно, что нужны доказательства (кто считал, почему святые), а их нет, поэтому тут же включается задняя скорость – начинается игра на понижение. Из быковского уточнения становится ясно, что святость – это «высокая репутация». Но даже если мы примем такую подмену понятий как сознательную авторскую провокацию, то ясности в понимании проблемы не прибавится.

Суждения Быкова, его логика и система доказательств имеют фантазийную основу. Например, если он утверждает: «Их выводы не подвергались сомнению», – то сие должно соответствовать реальности. А в случае и с Блоком, и с Окуджавой можно привести многочисленные факты, когда «выводы» «подвергались сомнению». Проиллюстрирую это на примере Александра Блока.

Поэт неоднократно критиковался своими бывшими и настоящими друзьями-символистами. Так, на одно из самых уязвимых мест в мистико-философских настроениях и построениях Блока указал Андрей Белый в письме от 13 октября 1905 года: «Тут или я идиот, или – Ты играешь мистикой, а играть с собой она не позволяет никому <...>. Пока же Ты не раскроешь скобок, мне всё будет казаться, что Ты или бесцельно кощунствуешь <...>, или говоришь «только так». Но тогда это будет, так сказать, кейфование за чашкой чая <...>. Нельзя быть одновременно и с Богом, и с чёртом».

Не менее серьёзная критика раздавалась в адрес Блока с другой стороны, от «поэта из народа» Николая Клюева. Он, думается, оказал на Блока большее влияние, чем кто-либо из современников поэта. Подчеркну: Блок неоднократно признавал правоту Клюева, о чём он, в частности, сообщает матери в письмах от 27 ноября 1907 года и 2 ноября 1908 года. Более того, при переиздании «Земли в снегу» Блок внял клюевской критике и изъясил строки, которые дали повод упрекать его в «интеллигентской порнографии».

Но и это ещё не всё. «Правда» Клюева стала неотъемлемой частью мировоззрения А. Блока, что нашло выражение в «Стихии и культуре», в восприятии Октября, в «Двенадцати» и многом другом.

Вообще же суждения Быкова о личности Блока, его отношении к войне и революции, о «Возмездии» и «Двенадцати», об отце поэта и прочем удивляют своим ПТУшным уровнем. Для полемики с Быковым по этим вопросам нет места и смысла, тем более что своё понимание их я уже изложил ранее («День литературы», 2005, № 6, «Литературная Россия», 2006, № 28, «Литературная Россия», 2007, № 16, «Литературная Россия», 2008, № 27).

В блоковской части книги Быкова не удивляет лишь одно: ни слова не говорится о теме России, которая, как известно, была главной для Александра Александровича. Сия лакуна объясняется просто: если с таких позиций характеризовать личность и творчество

Блока, то сразу рухнут фантазийно-умозрительные схемы Быкова, в частности, идея об однотипности поэтических миров Блока и Окуджавы.

Но вернёмся к идее святости поэтов. Продолжая далее размышлять на эту тему, Быков вновь напускает туману, то ли валяя дурака, то ли таковым являясь. Трудно иначе воспринимать его следующие понятийные кульбиты: «Да и не было в его личности ничего с в е р х ь е с т е с т в е н н о г о (разрядка моя. – Ю.П.). В русской литературе полно куда более о б а я т е л ь н ы х (разрядка моя. – Ю.П.) людей».

И, наконец, фонтанирование словесной диареи неожиданно прекращается, и Быков раскрывает секрет святости: через Блока и Окуджаву «транслировались звуки небес». Уже с учётом атеизма обоих поэтов эта идея и сопутствующие ей мысли Быкова воспринимаются, вспомним слова А. Белого, как «кейфование за чашкой чая» или, говоря проще, мягче, без эпитетов – как словоблудие. Я, конечно, помню, что Быков пишет о вере Окуджавы в главе «Молитва», но меня эти интеллигентские экзерсисы-экскременты, подобные следующему, не убеждают: «Бог – не абсолютный командир всего сущего, но лишь один из участников бесконечной войны, в которой каждый из нас – солдат на добровольно избранной стороне; именно поэтому просить Бога о чём-либо – вещь почти безнадежная: ты сам здесь для того, чтобы осуществить его планы. Просить стоит Природу, всю совокупность сущего...».

Попутно замечу, что Окуджава – идеальный ретранслятор небес из первой главы явно не стыкуется с Окуджавой, поэтом, лирика которого зависит от градуса политической атмосферы, из главы «Окуджава и Светлов».

Естественно, что в своей книге Быков обращается к близкой и далёкой истории, ею просвечивая судьбу главного героя. И в трактовке вопросов истории автор «Окуджавы» остаётся верен себе, демонстрируя минимум знаний и максимум произвола, сочетая убогие современные либеральные стереотипы с не менее убогими старыми.

Характерен комментарий Быкова к фильму «Нас венчали не в церкви...» в главе «Свидание с Бонапартом». Фильм навеял автору книги следующие исторические параллели и оценки: «конец застоя заставлял вспомнить о народовольцах»; «всё напоминало о временах Победоносцева»; «победа народовольцев не в том, что они «против власти», а в том, что они человечнее этой власти».

Итак, следуя давней лево-большевистско-либеральной традиции, Быков возводит напраслину на Константина Победоносцева, одного из самых достойных государственных мужей России XIX века. Чем руководствовался либеральный летописец в данном случае?

Может быть, ему не нравится, что за время обер-прокурорства Победоносцева число церковных школ в России увеличилось с 73-х до 43 696-ти, а количество обучающихся в них выросло в 136 раз?

А может быть, господина Быкова возмутило то, как Победоносцев в своей гениальной статье определил сущность либеральной демократии? Да уж, припечатал её, так припечатал, не в бровь, как говорится, а в глаз. И сегодня многие оценки из этой статьи звучат сверхактуально. Судите сами: «Либеральная демократия, водворяя беспорядок и насилие в обществе, вместе с началами безверия и материализма, провозглашает свободу, равенство и братство – там, где нет уже места ни свободе, ни равенству» (Победоносцев К. Великая лож нашего времени. – М., 1993).

Но, может быть, Дмитрий Быков обиделся на Победоносцева за грузин? Ведь аристократизм Окуджавы, о котором многократно говорится в книге, автор выводит из национального происхождения Булата Шалвовича, а Победоносцев в письме к Александру III «некорректно» высказался об «аристократическом» народе: «Грузины едва не молились на нас, когда грозила ещё опасность от персов. Когда гроза стала проходить ещё при Ермолове, уже появились признаки отчуждения. Потом, когда появился Шамиль, все опять притихли. Прошла и эта опасность – грузины снова стали безумствовать, по мере того, как мы с ними благодумствовали, баловали их и приучали к щедрым милостям за счёт казны и казённых имуществ».

Да и полноте, господин Быков, в своём ли уме Вы были, когда писали «о новых победоносцевых» в начале 80-х годов XX века? Где Вы их увидели? Их не было, к сожалению, тогда, нет их и сейчас.

Что же касается быковской оценки народовольцев, которые якобы были «человечней власти», то это, хоть убейте, я понять не в силах. И сие говорится о террористах, устроивших охоту на Александра II, организовавших 9 покушений на него, в результате которых погибли безвинные люди и сам «царь-освободитель»? И такой же набор хорошо узнаваемых, примитивных, мерзких клише, отдающих людоедским душком, содержится в рассуждениях Быкова обо всей русской истории XIX века.

На столь же «высоком» уровне, профессиональном и человеческом, говорится в книге и о XX веке. Покажу это на примере двух глав, в которых затрагивается тема сопротивления Советской власти. В главе «Окуджава и диссиденты» политическая оппозиция представлена лишь детьми советской элиты, «чьи убеждения вполне укладывались в большевистскую парадигму» с небольшими отклонениями, и теми, «кого репрессии тридцатых-сороковых не затронули», кто ориентировался на западные идеалы, конвергенцию и т.д. То есть инакомыслящие, по Быкову, это только две волны диссидентов леволиберального толка.

Системным же противникам режима, ставившим цель свержения существующего строя, в книге нет места. И потому, что Быков утверждает: «Максимум отваги – «Хроника текущих событий». И потому, что наличие таких борцов, в первую очередь, русских патриотов, не вписывается в либеральную историческую концепцию автора, о которой скажу позже.

Итак, Дмитрий Быков, пишущий об инакомыслящих, обладающий, по словам В. Босенко, «феноменальной эрудицией» («Литературная газета», 2009, № 24), должен был сказать хотя бы о следующих партиях и движениях 50-60-х годов: «Народно-демократической партии», «Российской национально-социалистической партии», группе «Фетисова», ВСХСОНе.

Вполне очевидно, что автор «Окуджавы» последователен в своём замалчивании «правых» борцов с режимом. Так, в другой главе, «В опале», он, характеризуя 1970 год, пишет: «Сидят Синявский, Даниэль, Гинзбург, Григоренко, Богораз, Литвинов, Горбаневская, через год в четвёртый раз возьмут Буковского». В таком подборе имён видна преднамеренная, мировоззренчески мотивированная односторонность, тенденциозность.

Как известно, одновременно и вместе

с частью из названных сидельцев в тюрьмах и лагерях в 1970 году находились «правые», «русисты»: Игорь Огурцов, Евгений Вагин, Леонид Бородин, Николай Иванов, Владимир Платонов и другие ВСХСОНовцы. И сроки у них были не меньшие (с Огурцовым, отсидевшим 20 лет, не сравнится ни один из леволиберальных диссидентов), и досрочно их (как, например, А. Синявского и А. Гинзбурга) не выпускали, и Окуджава с «шестидесятниками», и мировая общественность в их защиту не выступали. Вот и Быков, следуя за своими старшими товарищами, не хочет их замечать.

Думаю, автору книги не следовало смешивать лагерь, тюрьму со ссылкой, в которой находились Павел Литвинов и Лариса Богораз. Подобная вольность допускается и в главе, где говорится об отсидевшем Иосифе Бродском.

Историческая и литературно-культурологическая линии «Окуджавы» подчинены утверждению главной идеи книги, в первой главе не заявленной. Думаю, отношение Быкова к своему герою, в первую очередь, обусловлено тем, что Окуджава, как говорится в главе «В опале», «воевал не только с современниками, а со всем русским имперским архетипом». В другой же главе – «Окуджава и диссиденты» – утверждается, что Россия неизменна «в сущностных своих чертах». И эта мысль повторяется неоднократно на протяжении всей книги.

То есть, понятно, какой смысл вкладывает Быков в понятие «имперский архетип» – тысячелетняя историческая Россия. Её черты – рабство, холопство, неумение уважать личность, бессмысленное и беспощадное подавление живого человека и тому подобное – «подсказаны» Быкову прозой, поэзией, публицистикой Окуджавы, и об этом идёт речь в главах «Путешествие дилетантов», «Свидание с Бонапартом», «Звезда пленительного счастья», «Упразднённый театр» и других.

Окуджавско-быковская модель истории России – это хорошо знакомая либеральная, русофобская модель, многократно раскритикованная, в том числе А. Солженицыным и В. Максимовым, коих автор книги «не трогает». И вполне естественно, что Быкову близки разных мастей разрушители государственности, «имперского архетипа»: декабристы, народовольцы, террористы, ленинская гвардия, «шестидесятники», диссиденты, либералы; народы и отдельные личности, охваченные русофобией, сепаратизмом. Проиллюстрирую это на двух примерах из главы «Упразднённый театр».

Быков никак не комментирует (нужно полагать, соглашается) высказывание Окуджавы о действиях Шамиля Басаева и его банды в Будённовске, а также предположение Булата Шалвовича, «совести интеллигенции», что Басаеву «когда-нибудь <...> памятник поставят». Захар Прилепин (восторгающийся Быковым и в новой своей книге этого года «Terra Tartarara: Это касается лично меня») уверен, знает, что в таких случаях должны делать нормальные – то есть не интеллигентные – русские люди...

Аналогичную позицию занимает Дмитрий Львович в трактовке поведения Окуджавы в октябре 1993-го года. Как всегда, руководствуясь странной логикой и ещё более странной, ущербной, либерально-интеллигентской моралью, он оправдывает Булата Шалвовича и как подписанта позорного письма 42-х, и как человека, который получал наслаждение при виде расстрела Белого дома.

Многие, в том числе русские патриоты, с сочувственным удивлением задавались вопросом: как такое могло произойти с Булатом Окуджавой, автором «Полуночного троллейбуса», «Здесь птицы не поют...», «Молитвы», «До свидания, мальчики», «По смоленской дороге», других любимых народом песен.

Первым на возможность такой метаморфозы указал Михаил Лобанов. Он в статье «Просвещённое мещанство» («Молодая гвардия», 1968, № 4), ссылаясь на реакцию Окуджавы на критику в адрес фильма «Женя, Женечка и Катюша», справедливо писал: «Но дело ли стихотворца – ни за что ни про что угрожать судом» – и пророчески предостерегал: «Даже как-то страшновато: попадись-ка под власть такой прогрессистской руки...».

Уже в 1987 году Лобанов в статье «История и её литературные варианты» (Лобанов М. Страницы памятного. – М., 1988) точно определил «болевы́е точки» исторической прозы Окуджавы. Это, прежде всего, русофобия и несовместимость идеалов, утверждаемых писателем, с традиционными ценностями отечественной литературы и русского народа. И наконец, уже в своих мемуарах, имея в виду поведение Окуджавы в октябре 93-го, Михаил Петрович подводит итог: «К этому вели его давние принюхивания к крови в графоманских «исторических» опусах, где маниакально повторяется одно и то же: «кровь», «чужая кровь», «затхлая кровь», «я вижу, как загорелись ваши глаза при слове «кровь», «а одна ли у нас кровь?», «нет слов, способных подняться выше крови» и т.д.» (Лобанов М. В сражении и любви. – М., 2003).

Да и в известных песнях Окуджавы, думаю, немало строк вызывают вопросы. Например, в «гимне» «шестидесятников» есть слова, которые не одно десятилетие меня смущают: «Поднявший меч на наш союз // достоин будет худшей кары, // и я за жизнь его тогда // не дам и ломаной гитары».

Если это не разрешение крови по совести, то что это? О каком союзе идет речь, можно не уточнять, и так ясно...

Таким образом, в последнем десятилетии жизни Окуджавы нет ничего неожиданного, все его поступки, оценки логически вытекают из особенностей его

личности, мировоззрения, творчества, и, прежде всего, – из ненависти к исторической России. Поэтому Окуджава всегда оказывался с теми, кто поднимал «меч» на Советский Союз, Россию, народ, вместе с Горбачёвым, Ельциным, Чубайсом, Гайдаром... По признанию двух последних людоедов-«реформаторов», свои деяния они поверяли по Булату Шалвовичу, который был для них высшим судьёй.

И не будет преувеличением сказать, что гибель миллионов россиян, раньше времени ушедших из жизни, смерть этих жертв либерального ГУЛАГа и на совести Окуджавы.

Ещё одна бросающаяся в глаза особенность книги Быкова – это резусконфликтность глав: то, что утверждается в одной части, противоречит тому, что сообщается в другой. Так, в главе «Упразднённый театр» читаем: «В последние годы (жизни. – Ю.П.) Окуджава думал, что виной всему было не советское, а русское: советское лишь попало в наиболее болезненные точки народа, сыграло на его худших инстинктах. Об этом он говорит в последнем интервью». Но из другой главы – «Окуджава и диссиденты» – следует, что к таким убеждениям Булат Шалвович пришёл почти на 30 лет раньше. Я понимаю, что трудоголик Быков мог забыть о том, что написал на странице 476-ой, поэтому осмелюсь напомнить ему: «Самым страшным пониманием <...> было твёрдо сложившееся к концу ш е с т и д е - с я т ы х (разрядка моя. – Ю.П.) осознание, что его отец, мать, дядья были винтиками в той самой машине, которая их уничтожила в конце концов; и машина эта называется не столько советской властью, сколько р у с с к о й и с т о р и е й (разрядка моя. – Ю.П.)».

Однако неувязочка вышла не только со сроками, но и с самим действием, с самой русской историей. В главе «Ольга. Ленинградский перелом», на странице 437-ой читаем: «...Комиссары в пыльных шлемах вдруг догадались, что вместе со старой Россией – в которой отвратительного хватало, что и говорить! – они уничтожили нечто невозвратимое и, быть может, самое главное».

Итак, если признаётся, что «комиссары» уничтожили невозвратимое, тем более, главное, то, во-первых, о какой неизменной русской имперской парадигме может идти речь (а мы помним, что это сквозная идея книги), и, во-вторых, при чём тут русская история. Нет, господа хорошие, окуджавы, аксёновы, трифоновы, литвиновы, радеки, якиры и им подобные, не надо всё валить на «русскую парадигму», перекладывая на русских и Россию груз ответственности со своих родителей и с тех народов, которые они представляют и которые вместе с русскими «поучаствовали» в революции, Гражданской войне... Поучаствовали в уничтожении исторической России.

Многое ещё, конечно, хотелось и следовало прокомментировать: и то, как характеризуются грузины и армяне в главе «Родители», и то, как якобы Россия захватила Грузию, и то, что говорится в книге о С. Есенине, М. Цветаевой, М. Светлове, Ю. Казакове, В. Высоцком, С. Кирсанове, Д. Самойлове, А. Битове, В. Аксёнове, А. Синявском и других писателях. Хотелось бы показать, как безбожно перевирается история литературы в случаях с «Нашим современником» и дискуссией «Классика и мы», как нагло оболганы (в духе РАППовских погромщиков 20-х годов) Станислав Куняев, «День» и «русская партия»... Всего не перечислишь.

Но я понимаю: газета не безразмерная, не серия «ЖЗЛ», которую дважды ошастливил своими «кирпичами», своей словесной диареей Дмитрий Быков. Уверен, впереди новая книга в этой серии и новые премии. То, чем занимается Быков, востребовано современной космополитической, русофобской интеллигенцией.

Всё сказанное заставляет меня скорректировать прежнее своё отношение к Быкову. В статье о его книге «Пастернак» я назвал Дмитрия Львовича Коробочкой и Хлестаковым в одном флаконе. Теперь, после прочтения «Окуджавы», понимаю, что с Коробочкой погорячился. Всё-таки до уровня Коробочки Дмитрию Львовичу ещё нужно дорасти...

## ДИСКУССИЯ «КЛАССИКА И МЫ»: ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Дискуссия «Классика и мы» проходила 21 декабря 1977 года в ЦДЛ. Совпадение с днём рождения Иосифа Сталина – в чём увидели символическую заданность некоторые участники дискуссии и зарубежные СМИ – чистая случайность. Сегодня, тридцать лет спустя, самыми значительными, глубокими выступлениями мне представляются выступления Станислава Куняева, Михаила Лобанова, Серго Ломинадзе, Ирины Роднянской.

Наибольший же резонанс, в том числе негативный, вызвала речь Ст.Куняева. Такая реакция объясняется тем, что Станислав Юрьевич затронул проблему сущности отечественной классики и русской литературы вообще (именно это до сих пор не оценено в полной мере) на примере творчества Э.Багрицкого, которого друзья и почитатели записали в классики. Оппоненты Куняева заметили в его выступлении лишь ссылки на еврейские реалии из произведений Багрицкого и то, что поэт отлучён от русской литературы. Уже это стало основанием для обвинений Станислава Юрьевича в антисемитизме. Показательно, что и через тринадцать лет после дискуссии Н.Иванова в статье «Возвращение к настоящему» продолжала утверждать: «Но не ради анализа содержания поэм Багрицкого вышел Куняев. Главное – разоблачить «ущемлённость своим происхождением» (разумеется, неполноценным), «преодоление своих комплексов» (опять-таки национальных)» («Знамя», 1990, № 8).

Я ещё вернусь к бездоказательным обвинениям Натальи Ивановой, сейчас же отмечу, что не только она и оппоненты Куняева, но и его сторонники, реальные и мнимые, слишком вольно толковали данное выступление. Татьяна Глушкова, например, ознакомившись со статьей Станислава Юрьевича (через год ставшей текстом его

выступления на дискуссии), в письме к нему от 20 декабря 1976 года высказала свои соображения, имеющие, в лучшем случае, лишь косвенное отношение к статье.

Нетрудно заметить, что мысли Т.Глушковой – это «левые» мысли разной чистоты, как, в частности, следующая, взятая будто из переписки Михаила Гершензона с Василием Розановым: «Не боясь утратить свою <...> самобытность, помнить, сколь необходимы были евреи нам: для становления нашего национального характера, имея в виду культуру духа, русскую культуру вообще...» («Наш современник», 2005, № 12).

Из содержательного ответа Ст. Куняева приведу рассуждение, выводящее на тему выступления. Станислав Юрьевич (с подачи Глушковой), говоря об отличии нынешних «победителей» (с уверенностью можно конкретизировать – евреев) от норманнов, мавров, турок, татар, русских, обращает внимание на то, что они боятся, как чёрт ладана, когда вещи называются своими именами. «Инстинкт слабых всё время заставлял их скрывать свои победы, маскировать их, делать их якобы анонимными. Один Багрицкий проговорился...» («Наш современник», 2005, № 12).

Итак, что бы ни писала Н.Иванова о выступлении Ст. Куняева, что бы ни приносили в него сторонники и противники Станислава Юрьевича, реальный пафос его выступлений иной, не утративший своей актуальности и сегодня. По Куняеву, поэзия Багрицкого направлена против всего, «что поддерживает на земле основы жизни». И как следствие, неприязнь и ненависть поэта к человеку, который создаёт традиционные ценности, материальные и духовные. Таким образом происходит разрыв с гуманистической традицией (тогда невозможно было сказать точнее – христианским гуманизмом) русской литературы, которую Куняев характеризует, в частности, так: «Наши классики могли увидеть в этой заурядной человеческой особи всегда нечто значительное». Как известно, по-другому об этом говорил Фёдор Достоевский, определяя своё кредо: «Найти человеческое в человеке».

Ст. Куняев справедливо считал: полный разрыв Багрицкого с русской литературой состоит и в том, что он в своём творчестве оправдывает разрешение крови по совести. И Станиславу Юрьевичу не нужно было ничего выискивать, выдёргивать отдельные строки из текстов, в чём его упрекали Е.Евтушенко, Н.Иванова и другие «левые». Пафосом кровавого человеконенавистничества пропитаны «Дума про Опанаса», «ТВС», «Смерть пионерки», «Февраль» и т.д. Правда, при всём своём «людоедстве», при всей своей нравственной аномальности Эдуард Багрицкий не достигает той точки падения, которая характерна для фантазий лирического героя в «Песне» Михаила Светлова:

В такие дни таков закон:

Со мной, товарищ, рядом

Родную мать встречай штыком,

Глуши её прикладом.

Нам баловаться сотни лет

Любовью надоело.

Пусть штык проложит новый след

Сквозь маленькое тело...

Думаю, вполне закономерно, что Ст. Куняев через десять лет после дискуссии в статье «Ради жизни на земле» («Молодая гвардия», 1987, № 8) приводит слова Ю.Кузнецова «Забудь про Светлова с Багрицким» и делает соответствующий вывод: «... Это означало, что поэт другого поколения бесстрашно и точно сформулировал суть нового мышления, нового гуманизма...». Е.Евтушенко, вечный оппонент Ст.Куняева, в этих словах увидел «оскорбительные обобщения, на которые не решались даже в худшие времена» («Литературная газета», 1988, № 2). И в своём письме-кляузе «Премированное недоброжелательство» привёл такие трескучие, примитивно-пустые контраргументы: «Нет, не может быть нового мышления, частью которого не стала светловская «Гренада», ибо новое мышление зиждется не на узком национализме, исторически переходящем в шовинизм, а на великих идеях интернационального братства».

Собственно национальная, еврейская, тема, на которой заикнулись многие, появилась только во второй половине выступления Ст. Куняева, и акценты в трактовке её расставлены совсем по-иному, чем это привиделось Е.Евтушенко, Н.Ивановой и другим. Станислав Юрьевич обращает внимание на то, что Э.Багрицкий отрешается не только от быта, чуждого ему по происхождению и воспитанию, но и от «родной ему <...> местечковости. Он произносит по её адресу такие проклятия, до которых, пожалуй, ни один мракобес бы не додумался». На разных примерах из поэзии Багрицкого Ст. Куняев показывает бессердечность, жестокость, физиологическую злобу героя к своему родному – еврейскому – миру. И это отношение, с точки зрения русского поэта, удручающе, противоестественно, оно – волчье.

Обвинения или подозрения Ст. Куняева в антисемитизме разбиваются и о сравнение поэзии Э.Багрицкого с творчеством А.Фета и О.Мандельштама. Станислав Юрьевич приводит высказывания мемуаристов, ставящих Э.Багрицкого – по чувству природы – в один ряд с классиками русской литературы – от автора «Слова о полку Игореве» до А.Фета и И.Бунина. Опровергая эту точку зрения, Ст. Куняев убедительно показывает, что автору «Папиросного коробка» природа чужда и враждебна. В основе такого отношения лежит мироощущение поэта, принципиально отличное от традиционного русского. Ст. Куняев так, в частности, мотивирует данное утверждение: «У Афанасия Фета была та же болезнь, что у Багрицкого, – астма. Но физические страдания не заставили его ненавидеть «всё, что душу облекает в плоть». Наоборот, обострённое чувство скоротечности жизни рождало и питало весь пантеизм Фета. Всё его творчество как бы молитва прекрасному земному бытию и благодарность за радость жизни».

Ясно, что национальное происхождение Фета, еврея по отцу, для Ст.Куняева не играет никакой роли, ибо поэт по-русски ощущает природу и мир. Русскость А.Фета за истекшие тридцать лет неоднократно подтверждалась разной аргументацией и с разных позиций, в том числе взглядом «со стороны». Яков Рабинович в книге «Быть евреем в России: спасибо Солженицыну» (М., 2005) приводит такую говорящую параллель: Юрий Нагибин, сын русских родителей, «был гораздо больше евреем», чем «композитор Рихтер Вагнер и поэт Афанасий Фет, хотя оба, живя сегодня, имели бы право по Закону о возвращении стать гражданами Израиля как дети отцов-евреев».

Другое сравнение Ст. Куняева (О.Мандельштам, в отличие от Э.Багрицкого, продолжил гуманистическую традицию русской классики) было замечено многими, и «левыми» оценено негативно. Скорее всего, Е.Евтушенко лукавил, когда на той же дискуссии заявил: «Я не знаю, кто из них лучше, но оба они прекрасные поэты». Что же касается другого довода Евгения Александровича: «Но зачем же Мандельштамом бить Багрицкого», – то у Станислава Юрьевича, уверен, не было желания искусственно поднимать одного поэта за счёт другого: без таких оценок по «гамбургскому счёту», без подобных параллелей невозможно объективно определить значение и место любого писателя в истории литературы.

На протяжении последних тридцати лет отношение Ст.Куняева к Э.Багрицкому осталось неизменным, о чём, в частности, свидетельствует следующая чеканная характеристика: «Апологет коммунистической русофобии и революционного палачества» («Наш современник», 1994, № 2). Взгляд Ст. Куняева на О.Мандельштама не раз корректировался.

В интервью 1989 года «Идея и стихия» он говорил, что Мандельштам «вольтовой дугой своего таланта» соединяет два мира: ветхозаветный, мифический и русский, реальный. В данном интервью чётко не сказано, к какой литературе Куняев относит поэта. Но с учётом того, что говорится о делении на русскую и русскоязычную литературу и с каким пониманием цитируется Лион Фейхтвангер («По убеждению я интернационалист, по чувству я еврей, по языку я немец»), Мандельштама можно отнести, если использовать мою классификацию, к амбивалентнорусским писателям.



Ещё через четыре года в «Прогулках с Мандельштамом» («Наш современник», 1994, № 2) Ст. Куняев признаётся, что по истечении времени ему стала очевидной поверхностность его мысли, высказанной в ходе дискуссии «Классика и мы»: Мандельштам – продолжатель гуманистической традиции русской классики. В 1990-ом году Станислав Юрьевич, по его признанию, казалось бы, готов был согласиться с логикой устроителей мирового этнографического центра в США, для которых Мандельштам – олицетворение еврейства, Израиля. Однако в конце «Прогулок...», он высказывает сомнения в правильности такой прописки поэта: «Так что не усидит Осип Эмильевич в маленькой еврейской этнографической комнатухе»; «А может быть, не столько Осип Мандельштам «наплывал на русскую поэзию», сколько она «наплывала» на него, преобразовав, насколько это возможно, иудейский хаос в частичку того тёплого и человеческого душевного мира, который мы называем «русским космосом».

В последней на сегодняшний день работе Ст. Куняева о О.Мандельштаме «Крупнозернистая жизнь» («Наш современник», 2004, №3) показывается, как меняется мировоззрение и творчество поэта на протяжении 30-х годов. Об этих изменениях применительно к муссируемой «левыми» теме происхождения сказано так: «Жизнь без наживы! Подобное состояние для Осипа Эмильевича, порвавшего ещё в юности с «хаосом иудейским», с культом золотого тельца, ушедшего в русскую бескорыстную литературную жизнь, было вполне естественным». И, продолжая тему, Ст. Куняев уточняет: «Жизнь без наживы», русско-советское бессребреничество было по душе Мандельштаму». Или о другом стихотворении, с позиций того же происхождения, говорится: «...В поистине сказочном финале <...> гордец Мандельштам <...>, смирив свою иудейскую жестоковыйность, приносит покаяние вождю <...>, о котором написал неправду».

В отличие от многих авторов, Ст.Куняев считает, что воронежские стихи, о И.Сталине в частности, написаны искренне, в здравом уме, они – вершина в творчестве поэта. Хотя вопрос о «прописке» О.Мандельштама в данной статье не поднимается, но по тому, что говорится, с уверенностью можно утверждать: Осип Эмильевич для Куняева, как и во времена дискуссии «Классика и мы», — русский поэт.

Возвращаясь к дискуссии, отмечу, что в ней, как бы ни представляли данное событие западные СМИ, принимали активное участие идейные противники П.Палиевского, В.Кожина, Ст. Куняева, М.Лобанова и других русских патриотов. Назову тех, кто открыто осудил выступление Ст. Куняева. Это А.Борщаговский, А.Эфрос, Е.Сидоров, Е.Евтушенко и примкнувший к ним Ф.Кузнецов. Они по-разному избегали полемики как аргументированного отстаивания своей точки зрения через опровержение доводов оппонента, ограничиваясь констатацией личного отношения, как А.Борщаговский («Ну, Багрицкий – это, так сказать, частный выпад. Для меня неприятный, я бы сказал более того – гадкий»), либо оценками общей, аксиоматической направленности, как Е.Евтушенко (О.Мандельштам и Э.Багрицкий – «оба прекрасные поэты»).

Через одиннадцать лет Е.Евтушенко в своей поэтической антологии «Русская муза XX века» написал о Э.Багрицком с явным оглядом на выступление Ст. Куняева, имя которого не было названо. Евгений Александрович привёл одну из цитат, звучавших в речи Станислава Юрьевича. Привёл одну из самых «мягких» цитат на еврейскую тему:

Любовь?

Но съеденные вшами косы;

Ключица, выпирающая косо;

Прыщи; обмазанный селёдкой рот

Да шеи лошадиный поворот.

Если у Ст. Куняева о таком отношении сказано как о противоестественном, злобном, волчьем, то у Е.Евтушенко – принципиально иначе, щадяще мягко. Вышеприведенные строки он предваряет словами: «Багрицкий умел писать не только красиво, а иногда и жёстко, почти жестоко» («Огонек», 1988, № 35).

Проповеди же человеконенавистничества, утверждению философии разрешения крови по совести Е.Евтушенко находит удобное объяснение. Он в духе известной традиции кивает на время и реанимирует мифы из биографии поэта: «Багрицкий безоговорочно принял революцию, сражался в особых отрядах и, принимая время, желая быть вместе с ним, впадал вместе с временем в его ошибки».

Во-первых, ещё в 1974 году вышла книга Олега Михайлова «Верность», в которой объективно и трезво – с подачи самого Багрицкого, при помощи цитаты из его стихотворения «Рассыпанной цепью» – определено творческое кредо поэта в тот период:

<...> Друзья,  
Облава близится к концу! Ударит  
Рука рабочья в сердце роковое,  
И захрипит, и упадёт тяжёлый  
Свирепый мир – в промёрзшие кусты...  
А мы, поэты, что во время боя  
Стояли молча, мы сбежимся дружно,  
И над огромным и косматым трупом  
Мы славу победителю споём!

В контексте этих строк и умения Багрицкого писать на любые заданные темы свидетельство Максимилиана Волошина, приводимое Иваном Буниным, не выглядит неожиданным: «Поэт Багрицкий уехал в Харьков, поступил в какой-то отряд. Я попросил у него стихотворение для 1 мая, он заявил, смеясь: «У меня свободных только два, но оба монархические» (Устами Буниных. Дневники. В 2-х т. - Т.1. – М., 2005).

Во-вторых, я не знаю, что имеет в виду Евгений Евтушенко, когда пишет, что Багрицкий «сражался в особых отрядах»... Быть может, краткосрочную службу при агитпоезде?

В-третьих, философией исторического фатализма можно оправдать всё, в том числе и фашизм. При этом ошибки пусть останутся ошибками, а преступления – преступлениями...

Известные же строки из «ТВС», приводимые Ст. Куняевым, Е.Евтушенко называет срывом «в попытках философского осмысления мира». И далее, защищая Э.Багрицкого, он выдвигает такую в высшей степени неубедительную версию: «Но нельзя выдавать эти строки, написанные в 29-ом году, видимо, во время депрессии, за философское кредо всей поэзии Багрицкого, как пытались это делать недобросовестные интерпретаторы».

Конечно, доказательства депрессии отсутствуют, но если бы они и были, всё равно это ничего не объясняет. Поэт морально, духовно здоровый, в какой бы депрессии он ни находился, такое не придумает. К тому же «депрессия» у Э.Багрицкого была затяжная, многолетняя, как минимум, начиная с 1926 года, с «Думы про Опанаса» (которую Е.Евтушенко называет лучшим творением поэта) и заканчивая «Февралём» (1933-1934), годом смерти. Эти и другие программные, как уверяют, лучшие произведения Багрицкого проникнуты пафосом человеконенавистничества, «людоедства». Напомню лишь тот факт, который у Е.Евтушенко и И.Волгина, автора предисловия к сборнику поэта «Стихотворения и поэмы» (М., 1987), отсутствует. Э.Багрицкий так решает до суда судьбу несчастных, невинных, проходивших по шахтинскому делу:

Семь в обойме  
Восьмой в стволе –  
Должны быть нашим ответом!

В своём выступлении Ст. Куняев точно передаёт основной мотив поэмы «Февраль»: еврейский юноша насилует русскую девушку, используя своё новое чекистское положение, и видит в этом своеобразную месть за себя и своих предков. Через тридцать лет в «Лейтенантах и маркитантах» («Наш современник», 2007, № 9) Станислав Юрьевич обращает внимание на эпизод из жизни Давида Самойлова, который, на мой взгляд, стоит

в одном ряду с «мстью» из «Февраля». Куняев не проводит параллелей с Багрицким, он видит в случае с Дезиком проявление давней, ветхозаветной традиции.

Итак, Давид Самойлов после «первой ночи» со Светланой Аллилуевой говорит своему другу Грибанову: «Боря, мы его трахнули». Замечу, что у друга Дезика возмущение вызывает не слово «его», а «мы». На реплику Грибанова: «А я-то тут причём?» – Самойлов ответил: «Нет, нет, не спорь, я это сделал от имени нас обоих!» Станислав Куняев так, в частности, комментирует этот мерзопакостный диалог двух интеллигентных литераторов: «Дезик мог бы ещё добавить – и от имени всего нашего еврейского народа, поскольку ситуация зеркально копировала ветхозаветную историю о том, как еврейская девушка Эсфирь соблазняет персидского тирана Артаксеркса <...>. Но в этом сюжете роль соблазнительницы Эсфирь играет поэт Дезик Кауфман, роль соблазнённого царя <...> – принцесса Светлана Сталина. А роль грозного Антисемита – врага еврейского народа – сам Сталин, уже лежащий в могиле, или тень его... Мствь свершилась. <...> Не просто её соблазнили, но через неё – ему отомстили».

Станислав Юрьевич сообщает о том, как по-разному реагирует ифлиец Давид Самойлов, воспитанный на первой волне русскоязычных авторов (В.Маяковский, Э.Багрицкий, М.Светлов и т.д.), на его – Куняева – выступление. В дневнике Дезик делает вполне предсказуемую запись: «Палиевский, Куняев и Кожин выкинули фортель на обсуждении темы «Классика и современность». Честолюбцы предлагают товар лицом. Люди они мелкие. Хотят куска власти. Интеллигенты негодуют и ждут конца света». В письме же к Ст. Куняеву его «наставник» был терпимо-корректен: о том, что у него действительно было на душе и в мыслях, сказано так: «Я думаю, что между нами ничего дурного не происходит. Просто по российской привычке всё путать мы путаем мировоззрение и нравственность»; «Призываю и тебя быть терпимее и не возбуждать себя до крайностей».

В размышлениях Ст. Куняева о письме и дневниковой записи Д.Самойлова вновь, вполне естественно, возникает Э.Багрицкий: «Я-то думал, что он, «гуманист и философ», поймёт мой бунт против Багрицкого, осудит вместе со мной страшные идеи местечковых чекистов <...>. Нет, Дезик ничего не сказал о кровопролитии, которое воспел и прославлял Багрицкий-Дзюба <...>. Дезик промолчал о той крови, как будто её и не было. Но осудил меня за то, что якобы моё выступление на дискуссии призывает к кровопролитию».

В этой очередной главе из мемуаров Ст. Куняева вскользь говорится об «одесской школе», о русскоязычных литераторах, перекочевавших в столицу. Во-первых, Станислав Юрьевич через тридцать лет совершенно точно прописывает статус Багрицкого и «компаний» – русскоязычные. Раньше это понятие Куняев не использовал и не относился к нему критически, о чём говорил в интервью «Идея и стихия» («Литературная Россия», 1989, № 33). Во-вторых, данное переключёвание напрямую связано с реализацией того заветного, что Эдуард Багрицкий выразил в «Феврале» и что, если не ошибаюсь, никем не комментировалось. В поэме показательна и символична надежда героя, в которой – мечта автора: «Может быть, моё ночное семя // Оплодотворит твою пустыню».

Несомненно, Эдуард Багрицкий стремился «оплодотворить» «пустыню» классической литературы и русского сознания. С этой целью он и все известные писатели-одесситы перебрались в Москву и вскоре, по словам В.Катаева, её завоевали. «Победе» способствовало многое, но в первую очередь власть и еврейско-одесская солидарность, о которой Э.Багрицкий говорит открыто в своих письмах.

В 1926 году он, уже москвич, даёт такой дельный совет Н.Харджиеву: «Я слышал, что вы написали хороший сценарий. В Одессе, городе рыжего пива и чёрных евреев, вам, конечно, этот сценарий устроить будет трудно. Здесь же, в Москве, городе рыжего пива и русских кацапов, это сделать легче... Я постараюсь его устроить через Шкловского или Гехта» (Багрицкий Э. Письма. // Литературное наследство. – Т.74. – М., 1965). Двумя годами позже Э.Багрицкий в письме к Т.Тэсс делает знаменательное признание: «Как

честный представитель одесской нации <...>, я посылаю вам привет через полярный круг...». Уточню: привет отправлен из Кунцева в Одессу, то есть не вызывает сомнения, что для «честного представителя одесской нации» вся Россия – это ледник...

Да, опасения Василия Розанова, выраженные в письме к Михаилу Гершензону ещё в 1909 году («Боюсь, что евреи заберут историю русской литературы и русскую критику ещё прочнее, чем банки»), оправдались через десять с небольшим лет. Только необходимо уточнить, что помимо евреев «победителями» стали и денационализированные русские типа В.Маяковского.

И как одно из последствий этого «завоевания», нравственность миллионов несчастных советских школьников не одно десятилетие воспитывали на «Смерти пионерки» Э.Багрицкого, где среди многочисленных чудовищных строк есть такие:

Возникай содружество  
Ворона с бойцом, –  
Укрепляйся мужество  
Сталью и свинцом.  
Чтоб земля суровая  
Кровью истекла,  
Чтобы юность новая  
Из костей взошла.

Выступление Станислава Куняева стало первым публичным «нет» такой поэзии, таким ценностям, не совместимым с ценностями русской литературы.

Среди критиков Ст. Куняева и «правых» вообще особняком стоит выступление Феликса Кузнецова. Станислав Юрьевич в своих мемуарах, со слов самого Кузнецова, так объясняет его поведение. Феликс Феодосьевич только возглавил Московскую писательскую организацию и выступления П.Палиевского, Ст. Куняева, В.Кожина воспринял как подкоп под него, руководителя этой организации.

Даже если принять на веру эту неубедительную версию Кузнецова, то она ничего не объясняет, ибо выступление Феликса Феодосьевича не отличалось от того, что он писал за, скажем, десять лет до дискуссии и столько же лет после неё. Все идеи, вся аргументация в выступлении Кузнецова выдержаны в привычном для него духе марксизма-ленинизма, «реальной критики» и т.д. Нет смысла приводить примеры этой идейно-выверенной пустопорожней трескотни. Пр процитирую одно характерное высказывание, которое звучало в унисон с оценками «левых»: «Я не могу понять, почему мы должны отсекал Багрицкого, прекрасного советского поэта, творчество которого наполнено гуманистическим смыслом, который работает на добро и на свет? <...> Багрицкий – это наше достояние».

Другая мысль Ф.Кузнецова: «Но, откровенно говоря, немножко неправильно вступать в драку Станиславу Куняеву <...> с поэтом, который ответить тебе не может», – была подхвачена Е.Евтушенко. Он, отталкиваясь от выступлений П.Палиевского и особенно Ст. Куняева, назвал их «ретроспективной склочностью». В своём заключительном слове Станислав Юрьевич ответил на упрёк шуткой, в которой точно подметил безответность любого творческого контакта с писателем, ушедшим в мир иной: «Но ведь Чехов тоже помер и ничего не может возразить Эфросу по поводу постановки им «Вишнёвого сада» или «Трёх сестёр».

Через тридцать лет в «Лейтенантах и маркитантах» Ст. Куняев вновь вернулся к этой теме. Он говорит об обвинениях, которые звучали в статьях О.Кучкиной, Е.Евтушенко, А.Туркова и других авторов в связи с публикацией его статьи «Ради жизни на земле» («Молодая гвардия», 1987, № 8). Отвечая защитникам П.Когана, М.Кульчицкого, Б.Слуцкого и т.д., защитникам, повторяющим аргументы «адвокатов» Э.Багрицкого, Станислав Куняев сказал исчерпывающе точно: «Но житейская мудрость – «о мёртвых или хорошо или ничего» – годится только на гражданских панихидах, тем более что я не говорил ничего плохого о личностях, а не соглашался лишь с идеями. Идеи переживают

людей, и, когда изнашиваются, время сбрасывает их. Такое всегда происходит в истории культуры. Вспомним, какие споры бушевали, да и еще бушуют вокруг имён Достоевского, Маяковского, Есенина...» («Наш современник», 2007, № 9).

Симптоматично, закономерно выглядит и защита Ф.Кузнецовым Вс.Мейерхольда, авангарда. Вновь его голос звучал в унисон с А.Борщаговским, А.Эфросом, Е.Евтушенко. Последний вполне определённо высказался о месте авангарда в истории нашей литературы: «...Лучшая часть того, что создано нашим авангардом революционным и авангардом двадцатых годов, неотъемлемо стало частью нашей классики, на которой мы воспитываемся и на которой будут воспитываться наши дети».

Это был ответ, в первую очередь, Петру Палиевскому, который своим выступлением открыл дискуссию, полностью посвятив его проблемам авангарда и интерпретаторства. Петр Васильевич справедливо говорил об авангарде как о левом искусстве, полярном, противоположном классической культуре, как о противнике, который в лице своих представителей вёл борьбу на уничтожение классики. В этом контексте оценок закономерным видится определение авангарда как «передового мракобесия» (Римский-Корсаков), приводимое П.Палиевским. И всё же в разносторонних характеристиках Петра Васильевича, на мой взгляд, не хватает главного: какими предстают человек, природа, мир у авангардистов. То есть не хватает того подхода, который использовал Ст. Куняев в своём блистательном анализе поэзии Э.Багрицкого как явления авангарда.

Некоторые «левые» отметили в выступлении П.Палиевского некую зашифрованность, недоговорённость. И действительно, такое впечатление периодически возникает прежде всего из-за минимального количества примеров, фамилий. Не избежать вопросов, которые, в частности, озвучил Ф.Кузнецов: «Потому что если идти этим путём, то как быть с Маяковским? Куда мы денем Маяковского? Если идти этим путём, то, так сказать, мы должны полностью отказаться, скажем, от Мейерхольда». Феликс Феодосьевич чётко уловил, куда ведёт неприемлемая для него логика выступления П.Палиевского: к отказу от В.Маяковского и Вс.Мейерхольда как от русских поэта и режиссёра. Только в случае с Мейерхольдом у него хватило решимости договорить до конца, а с Маяковским – нет.

Эту логику уловил не только Ф.Кузнецов. Евгений Евтушенко начал свою речь с защиты Маяковского от Петра Палиевского. Правда, его защита свелась к сожалению о том, что в зале не было В.Маяковского, который бы ответил Палиевскому (более чем странное желание), к воспоминаниям о беседе с матерью поэта, к пересказу известных фактов и версий. В том числе такой: «Как же Маяковский мог «продаваться большевикам», если он был убеждённым человеком, он с ранней своей юности был большевиком».

Позиция Е.Евтушенко понятна, закономерна. Для «левых» В.Маяковский всегда будет «своим», одним из лучших поэтов XX века. За три десятилетия в восприятии В.Маяковского внешне изменилось многое, но по сути – ничего. «Левые» ценили и ценят поэта за его космополитизм и русофобство, за полный разрыв со всем традиционно-русским миром (Богом, духовностью, нравственностью, литературой, культурой, бытом и т.д.), за любовь к Лиле Брик и евреям, за словотворчество и т.д.

Нет ничего удивительного в том, что в популярных и провальных книгах «левых» авторов: Д.Быкова «Пастернак» (М., 2006), Б.Сарнова «Маяковский. Самоубийство» (М., 2006) – В.Маяковский характеризуется как достойнейший человек и гениальный поэт. Вызывает недоумение, что до сих пор для многих «правых» В.Маяковский – русский поэт. Нежелание или боязнь назвать поэта своим именем – русскоязычным автором – проявились и во время дискуссии «Классика и мы».

Думаю, точнее других в оценке В.Маяковского был Серго Ломинадзе, хотя и он не прошёл путь до логического конца. Возражая А.Борщаговскому и Е.Евтушенко, С.Ломинадзе заявил: «Линия Маяковского, как мне представляется, конечно, не может быть совместима в русской литературе с линией, допустим, Есенина. Это две разные

линии, и линии, борющиеся между собой». И после дважды приведённых блоков цитат из произведений обоих поэтов Серго Ломинадзе продолжил уточнять свою точку зрения: «Это принципиально иные позиции. И их совместить в евклидовом мире почти невозможно»; «Это линии в пределах искусства враждующие».

Евгений Сидоров (посредственный критик, достигший известных высот при новой власти) в своём вступительном слове перед началом дискуссии пытался направить её в «правильное», идеологически выверенное русло. Об этом свидетельствуют формулировки вопросов, которые Евгений Юрьевич предлагал обсудить: «...Что есть наша духовная классика и всякое ли прошлое плодотворяще. От какого наследства мы отказываемся и что мы берём с собой в коммунистическое далеко». То есть дискуссию предлагалось вести с атеистических, классовых, марксистско-ленинских позиций, что снимало вопрос о духовности как таковой. И всё же призывы Е.Сидорова, которые я приводить не буду, свидетельствовали о некоторой его озабоченности тем, что дискуссия может пойти в ином направлении.

Как известно, в 60-70-е годы в творчестве многих поэтов, прозаиков, критиков утверждается последовательный и непоследовательный религиозно-православный подход к человеку и миру, к русской классике в частности. Например, до дискуссии, в один год с дискуссией вышла уникальная для своего времени книга Ю.Лощица «Гончаров», которая сразу вызвала переполох у официальных и либеральных авторов. Так что у Е.Сидорова, и не только у него, были основания для опасений, и они оправдались.

Скажу кратко только об одном примечательном явлении. В ходе дискуссии немало авторов характеризовало русскую классику прежде всего как духовную (не в сидоровском, конечно, понимании) реальность. Так, Михаил Лобанов в пику устоявшемуся подходу к классике XIX века как критическому – критикующему – реализму, справедливо утверждал, «что главное в ней – не обличение, а <...> глубина духовно-нравственных исканий, жажда истины и вечных ценностей». Михаил Петрович, пожалуй, единственный из участников дискуссии, трактовал литературу через категорию тайны как высшую потребность души. Нашим русскоязычным ерофеевым не мешало бы читать такое перед эфиром или сном, быть может, излечились бы или хотя бы поумнели. Итак, литература, по Лобанову, «гибнет, когда нет никаких загадок, ничего сокрытого, есть только то, что лежит на поверхности, что целиком исчерпывается видимым и наглядным. Литература гибнет, если она погружена в этот внешне застывший материал, в пестроту сиюминутного, не соединяется с высшими потребностями человеческого духа. Это не литература, а гроб эмпирический».

В содержательных и разносторонних характеристиках классики, данных Игорем Золотусским и Ириной Роднянской, для меня наиболее важным является то, что русская литература определяется через идеал, абсолют, который по понятным причинам до конца не идентифицирован. Например: «Они нам оставили это некое идеальное отношение к миру, которое идёт как бы поверх действительности, хотя и не теряет с нею связей»; «но вместе с тем они всегда умели парить над действительностью и ощущать идеальное существо человеческой жизни» (И.Золотусский).

Закономерно, что многие авторы XX века испытания высокими идеалами классики не выдерживают. Из негативных оценок, данных участниками дискуссии, приведу высказывание Ирины Роднянской, на которое никто не отреагировал. Она, говоря об интерпретаторах разного рода, в желании «во всём узнавать только своё, всё адаптировать, приспособливать к «своему» видит «некоторое предательство минувших поколений».

Итак, ход дискуссии «Классика и мы» и все последующие события подтвердили правоту С.Ломинадзе, который утверждал, что «мира в искусстве не будет, конечно, и призывы к миру, они, в общем, не имеют под собой почвы». И «третья мировая война», о которой так хорошо сказал Ю.Селезнёв, идёт, и по-прежнему она не стала отечественной.

И «победители» те же, и задачи, стоящие перед русскими писателями и критиками, перед русским человеком, те же.

2007

АЛЕКСАНДР ТВАРДОВСКИЙ:  
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ, ИЛИ ЗАМЕТКИ О ЗАМЕТКАХ В.А. И О.А.  
ТВАРДОВСКИХ

Совсем недавно в печати («Литературная Россия», 2008, № 9) появилась очередная публикация дочерей Твардовского, которые, полемизируя со статьёй В. Огрызко («Литературная Россия», 2007, № 18-19), предлагают своё видение жизни и творчества Александра Трифоновича. Я понимаю и уважаю их чувства, но в данной публикации (как и в другой – «Вопросы литературы», 2005, № 1) создаётся представление о Твардовском, его соратниках и противниках, не соответствующее реалиям жизни, творчества писателя и эпохе в целом. Это я и попытаюсь доказать в своих «рванных» заметках, построенных как ответы на основные вопросы, обвинения, прозвучавшие в данной публикации. Учитывая пожелание дочерей Твардовского, выраженное в форме упрёка в адрес В.Огрызко, буду цитировать «Рабочие тетради» их отца. В целях экономии газетной площади в скобках указываются только даты записей в этих тетрадях.

В.А. и О.А. Твардовские упрекают В.Огрызко в том, что он называет «Страну Муравию» сталинистской поэмой. Основными контраргументами сестёр являются следующие: «Почему её (поэму. – Ю.П.) обличали как кулацкую?»; «Никто из современников не посмел поставить перед Сталиным такие вопросы, какие поставлены в поэме от лица крестьянина <...>».

Для меня очевидно, что поэма «Страна Муравия» – талантливое художественное отображение официального советского мифа о коллективизации. Отображение – подчеркну – не однолинейное, чёрно-белое, примитивное, а объёмное и цветное в идеологически дозволенных пределах. Вопрос героя поэмы Сталину, который приводят Твардовские, ни о чём не свидетельствует.

Во-первых, он именно и всего лишь вопрос. Во-вторых, сомнения, опасения, страхи Никиты Моргунка, звучащие в этом вопросе, развеиваются – идейно, сюжетно, образно. К изначальному пониманию героем «хорошести» общего пути (строчки, венчающие вопрос Моргунка, дочерью писателя, думаю, сознательно опускаются) добавляется главное «открытие», сделанное в ходе странствия: колхоз для крестьянина-труженика – естественная необходимость, благо, «страна Муравия». Реальное осуществление мечты о крестьянском счастье герой видит в колхозе Мирона Фролова. И в итоге он жалеет только об одном: о зря потраченном времени, о потерянной «уйме трудодней».

Образы кулаков Ильи Бугрова и Стёпки Грача, о которых также «забыли» Твардовские, вполне соответствуют советским стереотипам о представителях этого, как сказано в поэме, «подлого класса». Сцена же раскулачивания, на которую традиционно ссылаются, ничего не доказывает. Раскулачивание в поэме изображается как жестокая необходимость, без которой достичь общего счастья невозможно.

Важно то, что А. Твардовский в конце жизни признал несоответствие между тем, что было в реальности, и тем, как коллективизация изображена в «Стране Муравии». Запись от 22 марта 1970 года, свидетельствующую о данном факте, В.Огрызко приводит в своей статье, и показательно, что дочери писателя её никак не комментируют.

Их же аргумент (обличение поэмы как кулацкой) кажется странным. Это всё равно, что упрёки в идеализации белого движения, звучавшие в адрес М.Шолохова и М.Булгакова, воспринимать как доказательство их белогвардейской позиции в «Тихом Доне» и «Белой гвардии».

И, конечно, явно горячатся авторы заметок, когда всерьёз утверждают: «Н и к т о (разрядка моя. – Ю.П.) из современников не п о с м е л (разрядка моя. – Ю.П.) поставить перед Сталиным такие вопросы». Думаю, В.А. и О.А. Твардовским нужно не подобные риторические вопросы задавать, а сравнивать поэму отца, например, с «Погорельщиной» Н.Клюева и «Котлованом» А.Платонова. И тогда всё встанет на свои места, а утверждения о смелости не покажутся столь очевидными. Даже зрелый Твардовский, человек, освободившийся от некоторых догм и новые догмы приобретший, в критике Сталина так и не поднялся до уровня, например, Пимена Карпова. Тот ещё в 1925 году в «Истории дурака» назвал Джугашвили «наркомубийцей»...

Естественно, что большое внимание в заметках уделено журналу «Новый мир». Но многие суждения на эту тему вызывают возражения. Прежде чем озвучить некоторые из них, замечу следующее. В статье В.Огрызко немало характеристик А.Твардовского (главного редактора «Нового мира»), в той или иной степени совпадающих с оценками столь разных (вплоть до идейной несовместимости) авторов, как А.Солженицын, В.Лакшин, В.Кожин, М.Лобанов, В.Смирнов, А.Марков и т.д. Конечно, проще всего устойчивые идеи, транслируемые В.Огрызко, назвать «мутью» и признаться, что в ней «сил нет до конца разобраться». Но всё же гораздо сложнее и продуктивнее разобраться в этой «мути» объективно и беспристрастно.

Итак, авторы заметок утверждают, что «Новый мир» «был несовместим с политикой и идеологией власти». Эта популярная у части «левых» точка зрения ничем не подтверждается, а аргументы, конечно, необходимы. Непонятно, как у А.Твардовского и его соратников – В.Лакшина, А.Кондратовича, А.Дементьева, Б.Закса и других (людей в высшей степени советских) – могла появиться эта «несовместимость».

Сам Александр Трифонович неоднократно подчёркивал и свою советскость, и верность линии партии, вместе с которой менялся и он. Из многих его высказываний на эту тему приведу одно: «Оно (историческое время в поэме «По праву памяти». – Ю.П.) отразилось в полном согласии с решением партийных съездов и документов, определяющих линию партии в этом вопросе – вплоть до последних из них – статьи в «Правде» к 90-летию И.В.Сталина» (1.2.1970).

Конечно, могут сказать, что всё это вынужденная игра, которую не стоит воспринимать всерьёз. Подобное утверждает в своих мемуарах «Омут памяти» (М., 2000) А.Яковлев: ссылки на «марксистские банальности» были «лукавством», необходимым атрибутом времени. Ему справедливо возражает В.Твардовская в статье «А.Г.Дементьев против «Молодой гвардии» (Эпизод из идейной борьбы 60-х годов)». Она упрекает Яковлева в двуличии и противопоставляет ему А.Твардовского и А.Дементьева, для которых марксистская фразеология была наполнена «глубоким смыслом» («Вопросы литературы», 2005, № 1).



У Твардовского и его соратников, примерных сыновей своего советского времени, идеологически несовместимые идеи явиться не могли. Советскость А.Твардовского я показал в статье «Русский критик на «передовой» («Наш современник», 2005, № 11).

Авторы заметок не согласны и с тем, как характеризуется В.Огрызко «критический отдел журнала» и известная полемика между «Новым миром» и «Молодой гвардией». Свою версию полемики В.Твардовская подробно изложила ранее в названной выше статье («Вопросы литературы», 2005, № 1). Несогласие с этой статьёй я уже выразил («Наш современник», 2005, № 11), и мои оценки и аргументы во многом созвучны с тем, что пишет В.Огрызко.

В статье В. Твардовской А. Дементьев предстаёт как личность достойная, даже образцовая во многих отношениях. В частности, он называется «литературоведом, ценным в научной среде» («Вопросы литературы», 2005, № 1).

Конечно, требуется уточнение: во-первых, А.Дементьев – автор каких значительных публикаций; во-вторых, литературовед, ценимый в какой именно научной среде и кем конкретно? Когда же нечего сказать или факты опровергают концепцию, как в данном случае, тогда остаётся высокая скороговорка. Но если бы В.Твардовская остановилась и ответила на приведённые вопросы, то стало бы очевидным: А.Дементьев – автор вульгарно-социологических, коммуно-ортодоксальных статей, не имеющих никакой ценности.

К тому же, объективности ради, можно и нужно было сказать об отношении А.Твардовского к своему заму. Наиболее открыто оно проявилось, на мой взгляд, в истории с А.Синявским и Ю.Даниэлем.

А.Твардовский в феврале 1966 года, узнав о готовности А.Дементьева выступить на процессе в качестве общественного обвинителя, называет его признание – опасным, согласие – чудовищным и характеризует своего соратника как хитреца и труса. А в апреле 1969 года Александр Твардовский объясняет реакцию Дементьева ( «себе на уме» ) на чтение по «Праву памяти» плохой «наследственностью»: «А в сущности, вся его школа, начиная (или продолжая) с секретариатства в Ленинграде после исторического постановления, укоренила в нём этот рабий дух» («Знамя», 2004, № 5).

Через семь месяцев после очередного «проступка» А.Дементьева Александр Трифонович повторяет первоначальный диагноз: в бывшем зама периодически пробуждается начало, которое определяется как «позиция члена горкома». И далее с нехорошим намёком уточняется: «как говорят, единственно уцелевшего в пору «ленинградского дела» («Знамя», 2004, №11).

Твардовские, поэт и дочь, не вспоминают о показательном факте из биографии А.Дементьева. Свою «карьеру» он сделал, как уточняют Ст. Куняев и В.Кожин в статьях «Клевета всё потрясает...» («Молодая гвардия», 1988, № 7), «Самая большая опасность...» («Наш современник», 1989, № 1), на речах и публикациях против космополитов на рубеже 1940–1950-х годов. Эти навыки оказались востребованными и в «Новом мире». Его главный редактор называет склонность к манипуляциям характерной чертой А.Дементьева. При помощи в том числе манипуляций разного рода проводилась линия журнала, велась борьба с М.Лобановым, «Молодой гвардией» и «русской партией» вообще. Программная статья А.Дементьева «О традициях и народности (Литературные заметки)» – известный и лучший тому пример.

В ней, в частности, комментируется одна из зарождающихся тенденций: «Нельзя не удивляться тому, что целый хор критиков и поэтов с таким усердием разрабатывает тему об уважении к старине именно как «церковную тему», – и в лучших новомировских традициях выносятся приговор с опорой на «единственно верное учение»: «Программа КПСС обязывает нас вести непримиримую борьбу против тенденций к национальной ограниченности и исключительности, к идеализации прошлого и затушёвыванию социальных противоречий в истории народов, против обычаев и нравов, мешающих коммунистическому строительству» («Новый мир», 1969, № 4).

В публикации сестёр Твардовских о статье В.Огрызко поражает упорство, с каким они пытаются доказать недоказуемое. Удивление вызывают пассажи, наподобие следующего: «Статья Дементьева, вопреки оценке В.Огрызко, на «крик» совсем не походила – сдержанно (??? – Ю.П.), академично (??? – Ю.П.) он спорил с авторами «Молодой гвардии», позволив себе лишь мягкую иронию».

Ещё один упрёк, связанный с деятельностью Твардовского-редактора, звучит так: «Нужно совсем не знать А.Т., как не знает его В.Огрызко, чтобы предположить, что за него мог кто-то решать. А.Т. принимал решение после коллегиального обсуждения, но принимал самостоятельно, беря на себя ответственность».

В.Огрызко не первый (о чём авторы заметок, наверняка, знают), кто говорит об управляемости Твардовского-редактора при принятии некоторых решений. Об этом писали многие, начиная с А.Солженицына. Я не склонен трактовать проблему так, как некоторые наиболее радикально настроенные авторы: дескать, за Твардовского различные вопросы решали другие сотрудники «Нового мира», его замы, прежде всего, он подолгу отсутствовал в редакции по известной причине и т.д.

По «Рабочим тетрадям» Твардовского видно, как он сверхдобросовестно выполнял свои обязанности редактора, как переделывал, например, два проекта, предложенных ему В.Лакшиным, И.Виноградовым, А.Дементьевым, Ю.Буртиным (8.2.1970). Но всё это, думаю, не исключает возможности, что в каких-то ситуациях он не принимал решения сам или был управляем. Не секрет, что в редакции были сотрудники, которые вели двойную игру, и иногда они могли обыгрывать А.Твардовского. Поясню.

В.Твардовская в примечании к записи отца от 8 февраля 1970 года сообщает информацию, которая косвенно подтверждает вышеприведённую версию: «Но А.Т. уже давно не доверял Солженицыну, и с документами, исходящими из редакции, его не знакомили. Александр Исаевич узнавал об их содержании своими путями. В воспоминаниях он не скрывает, что письмо А.Т. Брежневу было уже ему известно и без испрашиваемого на это разрешения у автора» («Знамя», 2005, № 9).

В вышедших в этом году мемуарах «Улица генералов» А.Гладилин рассказывает, как А.Дементьев и А.Кондратович хотели в обход главного редактора «Нового мира» опубликовать его повесть «Вечная командировка». «Надо подождать, пока Твардовский уйдёт в отпуск, и тогда они всунут повесть в ближайший номер». Этот план только случайно не сработал: на день задержавшемуся с отъездом Александру Трифоновичу успел «наябедничать» Борис Закс.

Следующий упрёк в адрес В.Огрызко из «новомировского блока» заметок В.А. и О.А. Твардовских уязвим очевиднее, чем предыдущий: «Бездоказательно утверждение о консервативных взглядах на поэзию редактора «Нового мира», якобы «равнявшегося на свои собственные поэтические опыты». А смог бы В.Огрызко назвать кого-либо из крупных поэтов 60-х годов, кого А.Т. отказался печатать?»

Так и хочется вслед за героем С.Есенина воскликнуть: «Дорогие мои... Хорошие...». Ведь на этот вопрос столько раз уже отвечали. И тот же Гладилин в этой связи пишет: «Твардовский на километр не подпустил к «Новому миру» Ахмадулину, Вознесенского, Евтушенко, Окуджаву, Рождественского. Это можно объяснить профессиональной ревностью – по популярности с нашими поэтами никто не мог сравниться». Семён Липкин в своих воспоминаниях «Встречи с Твардовским» называет ещё двух поэтов, отвергнутых редактором «Нового мира», – это Мария Петровых и Иосиф Бродский. Стихи последнего были названы «некудышними» («Вопросы литературы», 2002, № 2).

И этот список отвергнутых можно продолжить, но суть не в нём. Твардовский, думаю, исходил из того, что журнал – это не безразмерные идейно-эстетические колготки. Поэтому публиковал тех писателей, которые были ему творчески созвучны. И это нормально. Хотя, возможны, конечно, и другие варианты редакторской политики.

С.Наровчатова, например, ещё во время преподавания в Литинституте проявил себя как «широкий человек», который «принимал все течения и манеры и давал студентам полную свободу» (Кузнецов Ю. Очарованный институт // Кузнецов Ю. Прозрение во тьме. – Краснодар, 2007). Эта широта, думаю, проявилась позже в деятельности С.Наровчатова на посту главного редактора «Нового мира», в той, в частности, истории, которую рассказал в мемуарах «Пятьдесят лет в раю» Руслан Киреев. Она во многом, за исключением финала, напоминает случай с повестью А.Гладилина.

Во время отсутствия отпускника С.Наровчатова Диана Тевекелян опубликовала в «Новом мире» роман Р.Киреева «Победитель». И в первом, и во втором чтении вещь Киреева Сергею Сергеевичу не понравилась. Однако его вердикт был таков: «... Публиковать её надо было непременно» («Знамя», 2006, №10).

В случаях отказа или одобрения рукописи немаловажно уяснить логику редактора, ибо она – свидетельство идейно-эстетических принципов руководителя журнала. Так, А.Гладилину непонятно, почему А.Твардовский «не взял рассказы Казакова». Вопрос интересный, но ответ на него лежит на поверхности. Если бы Анатолий Тихонович поменьше трудился на разных «голосах», то у него, видимо, было бы больше времени для чтения, – и тогда А.Гладилин смог бы узнать ответ на интересующий его вопрос в собрании сочинений А.Твардовского. Но, прежде чем привести его, необходимо сказать о следующем.

Авторов заметок возмутила характеристика, данная В.Огрызко Вс.Кочетову как смелому и дерзкому человеку. Но, по сути, то же говорит о редакторе «Октября» в своих мемуарах А.Гладилин, «шестидесятник», диссидент и т.д. И не только он. Время таких выпадов, думаю, прошло: «Надо хотя бы в самых общих чертах знать тех, о ком пишешь, господин редактор!» Прошло, ибо за ними стоит узкое, партийное, чёрно-белое представление о литературе. Согласно ему Вс.Кочетов и его «Октябрь», А.Никонов и его «Молодая гвардия», А.Сафронов и его «Огонёк», В.Кожевников и его «Знамя» и т.д. могут быть только «чёрными», а А.Твардовский и его «Новый мир» – только «белыми». И А.Гладилин не может ответить на вопрос о Ю.Казакове в том числе потому, что в значительной степени руководствуется такой логикой.

Юрий Казаков печатался в «Октябре», «Знамени», «Молодой гвардии», «Огоньке», «Москве», «Нашем современнике», «Крестьянке», «Комсомольской правде»... В «Новом мире» А.Твардовского он не опубликовал ничего. Один из лучших рассказчиков XX века не пришёлся к новомировскому «двору» с его заикленностью на социальном, с его известным требованием «Против чего...». И в отзыве А.Твардовского на рассказы Ю.Казакова эти и другие изъяны социологического подхода, «реальной критики» наглядно проявились. Главный редактор «Нового мира» пишет как самый обычный советский критик-ортодокс из «Октября», «Знамени», «Нового мира» (см.: Твардовский А. Юрий Казаков. Рассказы. Собр. соч.: В 6 т. – Т.5. – М., 1980).

Однако и это естественно. Ошибки, неудачи – неизбежное явление в работе любого редактора. Не стоит придавать им глобальный смысл или обходить стороной, что делают сёстры Твардовские во многих случаях. Назову ещё один.

Их возмущает, что Огрызко говорит об интересе А.Твардовского к таким «мелочам», как место в президиуме, «дадут ли ему какую-нибудь побрякушку» и тому подобному. Но В.Огрызко прав, об этом свидетельствуют записи из «Рабочих тетрадей» Твардовского: «Думали-гадали, брать «стыдный паёк» (70 р.). К чести Маши, она при всей своей хозяйственности решительно склоняется к тому, чтобы не брать. Принимаю решение: брать. А не брать – тогда уже не брать и лечебное обслуживание (кстати, паёк называется лечебным), Барвиху и т.д. Тем более, что гордыня моя будет заложена. И лишнее против себя раздражение – ни к чему» (26.3.1970); «Автомобиль в июне обещан министром» (11.4.1970); «Воронков сказал, что «надо бы нам поговорить о 21 июня. Не устроить ли вечеров» (так и сказал) и т.п. Условились на понедельник. А о чём говорить и до чего можно договориться? Дадут ли Звезду – об этом не сможет сказать, а так – «вечерок»

устраивать – нет подъёма духа» (23.5.1970); «Звезда – не просто вид на жительство для меня одного. Если звезда, то ещё не всё прахом после «Н.М.», есть какое-то торможение при спуске, какая-то совесть и необходимость считаться с чем-то»; «Что означает «вечерок» <...>, – собственно в каком помещении. Если ЦДЛ, то спасибо в шапку, если зал Чайковского, в котором Тихонов, Сурков, Исаковский подряд были причислены к лику, – другое дело. По одному этому можно будет судить о серьёзности намерений. <...> Если Звезда, то можно отложить на потом вопрос о поэме, решить его задним ходом, так сказать» (25.5.1970) и т.д., и т.п.

Да, в статье В.Огрызко о Твардовском имеются фактические и оценочные неточности. На некоторые из них справедливо указали В.А. и О.А. Твардовские. Но их заметки, как и другие публикации, выиграли бы значительно, если бы авторы освободились от партийного плена. В.Огрызко, в отличие от сестер Твардовских, – свободный человек, критик, редактор. Авторы же заметок до сих пор находятся в «окопе» «Нового мира» 60-х годов и с этих позиций оценивают всех и вся.

6 февраля 1970 года А.Твардовский приводит в тетрадах список новых членов редколлегии «Нового мира», который ещё нигде не публиковался. Как показали дальнейшие события, список был точен («разведка» «Нового мира» работала хорошо). Однако Сергей Наровчатов внёс коррективы в этот список. Он, единственный из предлагаемых «сверху» кандидатов, отказался войти в новую редколлегию журнала.

Этот поступок никак не комментируется ни самим Александром Трифоновичем, ни его дочерью. В коротком послесловии к публикации «Рабочих тетрадей» А. Твардовского («Знамя», 2005, № 10) дважды с горечью говорится о поведении известных писателей, «своих», которые «дружно и поспешно» стали сотрудничать с новым «Новым миром». И в примечании к записям В.Твардовская находит объяснение, по сути, предательству А.Бека, А.Рыбакова, Б.Можаева. Данное объяснение начинается так: «У каждого были свои серьёзные мотивы для этого» («Знамя», 2005, № 9).

О поступке С.Наровчатова в комментариях и послесловии – ни звука. Это и понятно: партийная дисциплина есть сверхдисциплина. Если бы такой поступок совершил «свой» («шестидесятник», «либерал», «левый»), то о нём бы широко раструбили «свои» газеты, журналы, мемуаристы, авторы учебников... В таком поступке увидели бы проявление мужества, достоинства, порядочности. Но С.Наровчатов – не «свой». О его демарше лишь вскользь упомянул в мемуарах Р. Киреев («Знамя», 2006, № 10). История с Наровчатовым по-иному подтверждает версию А.Маркова о кастовости журнала Твардовского: «Приди ты окровавленный, упади на лестницу «Нового мира», – но ты чужой, не свой – тебя и не заметят» («Москва», 1992, № 5-6).

И всё же почти всегда находятся в любом «лагере» нарушители партийных границ, люди, способные подняться над «схваткой» и объективно оценить человека, событие. Таковым в тот период массового бегства с тонущего «Нового мира» оказался В.Лакшин. В своём дневнике он записал: «Рассказывают, что Наровчатов отказался работать в редколлегии без согласия Твардовского. Его утвердили прежде, чем поговорили с ним. Будто бы он отказался решительно, а выходя из кабинета Воронкова – плюнул и сказал: «Бляди». Хоть какое-то человеческое приобретение в эти дни. Рыжий <...> Рекемчук, конечно, на это не способен...» («Дружба народов», 2003, № 6).

Александр Солженицын был во многом прав, когда утверждал, что «Новый мир» умирал некрасиво, «на коленях» («Новый мир», 1991, № 7). И эта оценка применима в какой-то степени и к А.Твардовскому, который долгое время держался мужественнее и достойнее большинства соратников. Его дочь, полемизируя с приведённой оценкой А.Солженицына, в примечании к записи отца от 12 февраля 1970 года, в частности, утверждает: для Твардовского было невозможно «предать изгнанных из журнала соратников и объединиться с людьми, идейно и нравственно ему чуждыми» («Знамя», 2005, № 9). Однако, находясь в плену дочерних чувств и партийности, В. Твардовская не замечает, что предательство уже произошло пятью днями раньше.

За три дня до официального, окончательного решения судьбы «Нового мира» А. Твардовский с подачи А.Дементьева осознает, что В. Косолапов займёт его место. И Александр Трифонович делает вывод, не характерный для «новомировцев»: «Что ж, пожалуй, это наименее неприятный вариант» (7.2.1970). Последние мысли Твардовского подчинены только одному: как издать 5-ый том и поэму «По праву памяти». И здесь он готов идти на ранее немыслимые компромиссы, например, отказаться от А.Солженицына. Оправдывая себя, А.Твардовский цепляется за формальности: «Отказаться от Солженицына сейчас не так зазорно, поскольку формально он уже не есть коллега, на чём я всегда стоял».

Мысля в формате «коллега» – «неколлега», Твардовский упускает или делает только вид, что упускает, куда более важное, можно сказать, суть. «Отказаться», а если без эвфемизмов, – предать в любой ситуации «зазорно». Забота же Александра Трифоновича о степени «зазорности» вызывает горечь и сожаление...

Не первый год обуреваемый идеей опубликовать «По праву памяти», Твардовский теряет представление о реальности, живёт мифами. Он надеется, что если выражение «будто бы запрещена» пройдёт в письме в «Литгазету», «читатели з а с т а в я т (разрядка моя. – Ю.П.) опубликовать её» (7.2.1970). Какая наивность, какая вера в силу читателя и в то, что власть предержащие учитывают фактор читателя вообще. Письмо, появившееся 18 февраля 1970 года в «Литературной газете», естественно, желаемого эффекта не вызвало.

Ощущение значимости журнала и его мирового признания у Твардовского останется навсегда. Чего стоит следующая пафосная запись от 21 марта 1970 года: «И весь мир (!!! – Ю.П.) понял, что «Н.М.» тянул до последнего часа свой непомерной тяжести воз». С этой убеждённостью, с этим мифом о мировом признании журнала контрастирует эпизод, зафиксированный В. Лакшиным в дневнике 22 ноября 1970 года, где приводится разговор в электричке, переданный ему В. Двое попутчиков В., «на вид люди интеллигентные», совершенно не разбирались в современной литературе, путали Твардовского с Евтушенко и т.п. И этот частный, безобидный, нормальный эпизод даёт главному идеологу «Нового мира» Лакшину основание для глобального вывода: «Вот она Расея, верящая, что «Литва с неба упала», – и ради неё Твардовский растрачивал кровь и нервы, жёг жизнь свою. Тоска» («Дружба народов», 2004, № 9).

Это всё равно, что поносить Россию за то, что, по свидетельству Твардовского, В.Жданов пересадку черёмухи назвал выкорчёвкой и не разобрался в породе деревьев. Не обязаны все интеллигентные люди иметь представление о перипетиях литературной борьбы, знать Твардовского, Евтушенко, Дудинцева. Но обязаны знать те, кто об этом пишет, кто занимается литературой профессионально. И полемика В.А. и О.А. Твардовских с В.Огрызко хороша тем, что позволяет уточнить позиции, выявить слабости обеих сторон.

## «РУССКАЯ ТЕМА» В. ПЬЕЦУХА: СБОРНИК МЕРЗКИХ АНЕКДОТОВ

Во второй половине 80-х годов XX века началась очередная – теперь либеральная – кампания по дискредитации классиков русской литературы. Кампания, которая в XXI веке набрала ещё большую силу. Книга В. Пьецуха «Русская тема», вышедшая 10-тысячным тиражом, огромным, по нынешнему времени, – типичный образец продукции такого рода.

В аннотации к книге говорится, что в ней собраны «очень личностные и зачастую эпатажные эссе». Акцент на эти особенности «Русской темы» не объясняет ничего: жанр, форма выражения мыслей Пьецуха не раскрывает сути главной проблемы, с которой сталкивается читатель. А она, думается, заключается в том, насколько авторская версия литературной биографии героев книги соответствует реальным фактам жизни и творчества русских классиков. И с этим – добросовестным, объективным, профессиональным отношением к фактам – у Вячеслава Пьецуха большие проблемы, наиболее явные там, где он говорит о нелюбимых им писателях.

Эссе «О гении и злодействе» буквально фонтанирует неприязнью к Ф.М. Достоевскому, что для единомышленников Пьецуха – давняя традиция. Особенность позиции автора данного эссе проявляется иначе: он приписывает отношение ненавистников великого писателя всем его современникам. «О гении и злодействе» начинается утверждением, которое станет ключевым, лейтмотивным: «Достоевского не любили.

Его не любили женщины, каторжники, западники, студенты, III отделение, демократы, аристократы, славянофилы, наборщики, домовладельцы, издатели и писатели».

В этом суждении Пьецуха вызывает возражение и само деление на группы, границы между которыми условны, подвижны либо вообще отсутствуют (как в случае с западниками и демократами), и единодушие внутри каждой группы, и то, как определяется всеобщее отношение к Достоевскому. Говорить о всех группах «нелюбителей» писателя нет места и смысла, приведу несколько примеров, свидетельствующих об ином – о любви к Достоевскому.

Лев Толстой, как известно, не жаловал многих своих предшественников и современников. К Фёдору же Михайловичу он испытывал любовь, в чём признавался в письме к Николаю Страхову. Подтверждением искренней приязни стала и реакция Льва Николаевича на смерть Достоевского: «...И вдруг, когда он умер, я понял, что он был самый близкий, дорогой, нужный мне человек»; «Опора какая-то отскочила от меня. Я растерялся, а потом стало ясно, как он мне дорог, и я плакал и теперь плачу».

Каторжане не любили Достоевского до тех пор, пока он не видел в них людей, когда же писатель стал смотреть на собратьев по несчастью «марейскими» глазами, научился находить человека в человеке, неприязнь к нему исчезла.

Об отношении читателей к Достоевскому говорят и тиражи тех журналов, которые он редактировал и где был основным автором. В первый год издания «Времени» подписчиков было 2300; а уже в следующем году их стало 4302 человека. Ситуация повторилась через десять лет в «Гражданине». В 1871 году тираж умирающего журнала с «плохой» репутацией с приходом Достоевского сразу увеличился в два раза.

О любви к писателю людей разного происхождения, положения, мировоззрения свидетельствует их реакция на его смерть. Достоевского провожали в последний путь великие князья, кабинет министров во главе с Лорис-Меликовым, Владимир Соловьёв, Константин Победоносцев, Николай Страхов и многие другие известные и неизвестные люди России. Более 10 тысяч человек заполнили Кузнечный переулочек и Владимирскую площадь, одних венков было шестьдесят семь, пятнадцать певчих хоров... По свидетельству Н. Страхова, «похороны Достоевского представляли явление, которое всех поразило. Такого огромного стечения народа, таких многочисленных и усердных заявлений уважения и сожаления не могли ожидать самые горячие поклонники покойного писателя. Можно смело сказать, что до того времени никогда ещё не бывало на Руси таких похорон».

И в других главах «Русской темы», в первую очередь таких, как «Товарищ Пушкин», «Нос», «Тяжёлые люди, или Проведение и поэт», «Одна, но пламенная страсть», «Последний гений», Пьецух стремится принизить, опошлить, осмеять всё то высокое в жизни и литературе, что собственно и делает человека личностью духовной, а литературу – национальной, русской. Главная цель автора книги – представить жизнь-трагедию как жизнь-анекдот, христоцентричную отечественную словесность как порождение «тяжёлых людей», «злодеев», по-разному ущербных, отпавших от Бога писателей. Например, в эссе о Сергее Есенине «Одна, но пламенная страсть» утверждается, что главной страстью поэта была не его любовь к России, а страсть к самоубийству, самоуничтожению, якобы присущая русским.

В отличие от многих и многих, «правых» и «левых», Вячеслав Пьецух версию об убийстве Сергея Есенина обходит стороной, даже не упоминая о ней. Обходит по понятным причинам. С Э. Хлыстовым, Ф. Мороховым, С. Куняевым, Е. Черносвитовым и другими исследователями, убедительно доказывающими факт убийства поэта, Пьецух спорить не решается. Версия же о самоубийстве органично вписывается в миф о страсти к самоуничтожению.

Произведения Есенина Пьецухом не анализируются. Не анализируются, уверен, потому, что сие занятие явно не по силам Вячеславу Алексеевичу. К тому же, видимо, он понимает, что к текстам Есенина ему лучше не прикасаться... Они сами по себе – опровержение сверхнесправедливых, убогих, мертворожденных оценок Пьецуха. Цитировать автора «Русской темы» мерзко, но приходится: «...Он (Есенин. –Ю.П.)

постоянно сбивался с истинного пути. Отсюда все эти пьяные клёны и тополя, буйные головушки, бесконечные синтаксические ошибки, невозможные конструкции, вроде «И мечтаю только лишь о том», сусальности и прочие «спинжаки»; «...Он наиболее живо отразил нашу национальную наклонность к самоуничтожению, улестил русака разнузданностью и надрывом своей поэтики».

Когда же Пьецух «развенчивает» Есенина на материале фактов его биографии, то наглядно демонстрирует свои «знания», свою редкую «учённость». Особенно меня умиляет следующее утверждение: «Частенько ночевал по милицейским пикетам, но без последствий, поскольку Каменев приказал уголовных дел на Есенина ни под каким видом не заводить».

Про пикет – это, конечно, сильно сказано, как иностранцем... Спишем сей казус на особую возбуждённость Пьецуха, вызванную «спинджаками» и «бесконечными синтаксическими ошибками». Зададим риторический вопрос по биографии Есенина: суд над поэтом и многочисленные уголовные дела, заведённые на него, – это не последствия? Знает об этих фактах Пьецух или нет, сказать затрудняюсь, хотя знать обязан. По свидетельству Сергея Куняева, на сегодняшний день удалось обнаружить 8 уголовных дел (три оригинала и пять копий), заведённых на Сергея Есенина в период с 1920 по 1925 годы. Эдуард Хлысталов выдвигает иную версию в своей книге с говорящим названием «13 уголовных дел Сергея Есенина» (М., 2006).

И ещё... Во-первых, Есенин был женат трижды, а не пять раз, как утверждает Пьецух. Во-вторых, в предложении «он как-то пробился на приём к императрице Александре Фёдоровне» – туман, загадочность, неточность неуместны, ибо уже, как минимум, сорок лет назад этот эпизод из жизни Есенина был прояснён В. Вдовиным и П. Юшиным. И наконец, если последнее стихотворение поэта «До свиданья, друг мой, до свиданья...», написанное кровью, есть, по Пьецуху, проявление «дурного вкуса», то впору ставить вопрос о душевном здоровье, нравственной вменяемости эстета-оценщика...

В начале каждой главы Пьецух транслирует идею, которая далее развивается, обыгрывается на все лады. Чаще всего эта идея вынесена в заглавие, как, например, в эссе «Колобок» о Михаиле Пришвине. Сказочный персонаж – это, по Пьецуху, образ, выражающий сущность писателя, который «всех улестил, всех обманул, избежал кары за абстрактный гуманизм, оставил по себе (так у Пьецуха. – Ю.П.) чудесную прозу, которая вроде бы никак не могла появиться в царстве большевиков».

Показательно, что данное утверждение подаётся как аксиома: отсутствует не только анализ произведений Пришвина советского периода, но даже их упоминание; не цитируется, не комментируется и «главная книга» писателя – его уникальные дневники... «Повезло» только сборнику «За волшебным колобком», на материале которого Пьецух стряпает свой анекдот о Пришвине. Однако и в данном случае название книги утаивается от читателя. Утаивается потому, что вслед за названием автоматически должен всплыть год публикации – 1908, и тогда возникнут неудобные вопросы, ответы на которые в «Русской теме» отсутствуют.

И вообще – чем в очередной раз повторять мерзости в адрес России и русских, доставляющие вам, Вячеслав Алексеевич, явное наслаждение, потрудились бы лучше подтвердить свою «колобковую» версию конкретными фактами жизни и творчества Михаила Пришвина. И, пожалуйста, не забудьте о «Журавлиной родине», «Осударевой дороге», «Корабельной чаше», дневнике... Вы, конечно, можете делать вид, что не существует этих просоветских и однозначно советских книг, не существует многочисленных записей Пришвина разных лет подобной направленности. Вот только некоторые высказывания писателя, «съедающие» вашего «колобка», Вячеслав Алексеевич: «Большевики оказались правыми. Власть надо было брать, иначе всё вернулось бы к старому»; «В новой вещи своей я хочу дать путь к коммунизму, не тот, каким дают его доктринёры, а каким я иду к нему, моя работа «коммунистическая по содержанию и моя собственная по форме», и такая моя, чтобы умный человек справа не



подозревал меня в подхалимстве»; «Я – коммунист, и как все мы: солдат красной армии, выступающий на бой за мир»; «Слова Белинского сами по себе ещё ничего не значат, и нужен к этому плюс: коммунизм. Значит, Белинский предчувствовал слово, но не знал его, а Ленин это слово сказал для всего мира: это слово – коммунизм».

Я, конечно, не свожу всё разнонаправленное, противоречивое мировоззрение и творчество Михаила Пришвина к идеологически окрашенным произведениям и высказываниям, а лишь настаиваю на том, что игнорировать их глупо, бесчестно, непрофессионально...

В тех же случаях, когда Пьецух снисходит до передачи реалий биографии Пришвина и других героев своей книги, то оперирует преимущественно общеизвестными – на уровне школы – фактами, сдабривая их приправами собственного изготовления. Например, в главе о Пришвине сообщается: «Из 3-го класса елецкой гимназии его исключили как грубияна по доносу учителя географии Василия Васильевича Розанова, будущего мыслителя, известного на всю Русь, который, в частности, очень гордился тем, что женат на любовнице Достоевского».

Следует уточнить: Пришвина исключили не из 3-го, а из 4-го класса. А то, что Пьецух мягко называет грубиянством, было угрозой Розанову лишить его жизни, о чём Василий Васильевич и сообщил директору гимназии. Донос же – это другое, господин писатель. К тому же, зачем сообщать об Аполлинарии Суловой в елецкий период жизни Розанова, если он расстался с ней ещё в Брянске. Более того, узнав, что Сулова хочет вернуться, Розанов, по сути, бежал от неё в Елец.

Одна из самых показательных глав книги «Русская тема» – «Товарищ Пушкин». Панибратское, похлопывающее по плечу отношение к русской классике проявляется в данном случае и в названии, и в характерных ёрнических интонациях, и в специфической лексике, и в авторском видении судьбы Пушкина. Судите сами: «...Почему именно он велик, – нипочём не растолкуешь, ум расступается, как говорили в старину, знаешь только про себя, что Пушкин велик, и ша.

А почему действительно он велик? Ну, сочинил человек триста четырнадцать стихотворений <...>.

Ну, сказки складывал на манер народных, только русского человека сказкой не удивишь. Ну, написал остросюжетную повесть «Пиковая дама» и приключенческий роман «Капитанская дочка», но в чём их всемирно-историческое значение – не понять».

Первая реакция, которая возникает после прочтения таких «открытий» – это желание оспорить конкретные оценки, не говоря уже о «мелочах»: жанре «Капитанской дочки», высказываниях типа «и рифмой пользовался удручающей, вроде «ободрял – размышлял» и т.д. Но невольно одёргиваешь себя: быть может, это игра (любят наши «левые» всякие игры, шутки, балаган), и приведённые строки – голос «тёмного» народа... Тогда почему в других суждениях о Пушкине и литературе вообще, где голос автора звучит серьёзно, без примеси «придурковатости», разницы между условным «убогим» собеседником и «просвещённым» автором не чувствуется? Сие, думаю, происходит потому, что и в маске, и без маски Вячеслав Пьецух демонстрирует исключительно поверхностно-примитивный взгляд на личность и творчество Пушкина. Все его размышления о поэзии и «допоэзии», художественной прозе, «нерве нашего способа бытия», русской истории и человеку «гроша ломаного не стоят», как выражался один литературный персонаж. Разбирать, комментировать суждения В. Пьецуха – это значит принять правила игры «дурака», претендующего на роль мыслителя, и всерьёз обсуждать его «шедевры», от которых можно задохнуться без противогаза, да к тому же возникает вполне определённое желание «экстремистского» толка...

Видимо, издателям сего труда не жалко ни читателей, ни Пушкина, ни бумаги, и такой уровень разговора о судьбе, творчестве русского гения их устраивает. Приведу самые «безобидные» суждения Пьецуха: «...Пал <...> в результате жестокой склоки, в которой были замешаны женщины, гомосексуалисты и дураки»; «Да только по существу

все его повести и рассказы суть раскрашенные картинки, дающие плоскостное изображение, и относятся к жанру изящного анекдота»; «Взять, к примеру, «Сказку о рыбаке и рыбке» – ведь это же исчерпывающая и едкая копия нашей жизни...».

Непонятно, какую ценность представляют фантазии Пьецуха на тему, что было бы, если бы Пушкин жил в советское время, что сказали бы о нём с трибуны съезда и что поэт подумал бы в ответ... И подобных несуразностей в книге предостаточно, как, например, воображаемая беседа Фёдора Достоевского с Вячеславом Пьецухом на званом вечере у Корвин-Круковских («О гении и злодействе»). Эти выверты – один из вариантов проявления творческой неполноценности Пьецуха.

В целом же очевидно, что стоит за такими «выпуклениями», фантазиями, произволом, что движет автором «Русской темы». Ненависть к России и русским. Невольно вспоминается «Лицо ненависти», название книги справедливо забытого литератора Виталия Коротича. Именно такое лицо у «Русской темы» В. Пьецуха.

Символично, что эпиграфом её является следующая неточная цитата из Пушкина: «Догадал меня чёрт родиться в России с душою и талантом». Она явно проецируется Пьецухом на самого себя, воспринимается как автопортрет. Однако пушкинское высказывание и в эпиграфе, и в тексте книги приведено в усечённом виде и без указывающего на это многоточия. К тому же в главе «Товарищ Пушкин» цитате предшествует такая авторская подводка: «...И грустно смотрит на пьяных михайловских парней, которые поют и играют песни. Думает...».

Данная сцена сочинена Пьецухом для того, чтобы в очередной раз (после цитаты, так сказать, с опорой на авторитет Пушкина) врезать по ненавистным русским: «И то верно, добавим от себя, отчасти досадно обретаться среди народа, который даже веселиться не умеет без того, чтобы до краёв не залить глаза».

Поясню: весь этот сюжет к Пушкину не имеет никакого отношения. Цитата взята из письма поэта к жене от 18 мая 1836 года, где говорится о предстоящих родах Наталии Николаевны, финансовых вопросах, петербургских и московских новостях, о проблемах Пушкина-журналиста. Именно порядки, царящие в журналистике, вызывают опасения и возмущение Пушкина, почему и появляются следующие слова: «Мордвинов будет на меня смотреть, как на Фаддея Булгарина и Николая Полевого, как на шпиона: чёрт догадал меня родиться в России с душою и с талантом!»

Шулерские приёмы Пьецуха в комментариях не нуждаются, но есть смысл напомнить другое. Пушкинские слова, полюбоившиеся автору «Русской темы» и его единомышленникам, сказаны в сердцах. Они не являются выражением мировоззрения писателя, не прорастают в его разножанровом творчестве. Позиция Пушкина по данному вопросу выражается в письме к П. Чаадаеву от 19 октября 1836 года: «Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора – меня раздражают, как человек с предрассудками – я оскорблён, – но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог её дал».

Бессмысленно, конечно, искать подобное отношение к России в книге Пьецуха. И потому, что его испепеляет ненависть, и потому, что наличие у него души, таланта вызывает большие сомнения. Литература для автора «Русской темы» – лишь материал для выражения своего восприятия России и русских. Не случайно и показательно, что собственно «литературные биографии» в книге уступают по объёму размышлениям Пьецуха о жизни.

Казалось бы, у него, историка по образованию, «нелитературная» часть каждого эссе должна быть содержательнее, профессиональнее, наконец, умнее «литературной» части. Однако Пьецух-историк равен Пьецуху-литератору...

Представление о «Русской теме» будет неполным, если не сказать, что далеко не все писатели вызывают у автора неприязнь. Единомышленниками, союзниками Пьецуха по его воле – обоснованно, а чаще всего необоснованно – являются В. Белинский («Вечный

Виссарион»), А. Герцен («Былое и думы»), Н. Лесков («Наваждение»), А. Чехов («Уважаемый Антон Павлович!»), И. Бабель («Всем правдам правда»), М. Зощенко («Курская аномалия»). Уровень суждений о личностях и творчестве названных авторов ничем не отличается от уровня литературных биографий писателей, о которых уже шла речь. Например, с Виссарионом Белинским Пьецух солидарен практически во всём. В том числе его явно греет следующая мысль критика: «...Творчество есть удел немногих избранных».

Нет сомнений, что к избранным Пьецух относит и себя. Показательно, как в главе «Вечный Виссарион» Пьецух в присущей ему манере ветхозаветного пророка вещает: «Если бы мы читали Белинского, у нас вряд ли затеяли спор о том, хорошо делают те писатели, которые строят свои тексты на основе синтаксиса районного значения, или нехорошо? <...> Потому что захолустный вокабуляр созидает не народность, а простонародность, и всякими «кабыть» и «мабуть» читателя за нос не проведёшь, потому что литература – это не этнография, а литература».

Во-первых, «кабыть» и «мабуть» – это не синтаксис, а лексика, что должно быть известно самому посредственному ученику. Районного же синтаксиса нет и быть не может по определению.

Во-вторых, простонародность, по Белинскому, создаёт не «захолустный вокабуляр», а изображение жизни «черни», социальных низов, о чём критик говорит в известной статье «Сочинения Александра Пушкина», и не только в ней. Пьецуху вместо того, чтобы фантазировать на пустом месте, не мешало бы перечитать Белинского.

В-третьих, определение автора «Русской темы» «литература – это <...> литература» квалифицируется вполне однозначно, и те, кому адресована книга (учителя, преподаватели, студенты и т.д.), уверен, по достоинству оценят сей «шедевр».

Очевидно и другое: у писателя Пьецуха серьёзные проблемы с русским языком, о чём свидетельствуют следующие цитаты из «Русской темы»: «очень невысокого роста», «прямо дворянских поступков Есенин не совершал», «налаживая спасательные дорожки», «огромное большинство стихотворений», «страна-то его породила отъявленная», «снесёмся со случайно подвернувшимся историческим примером» и т.д.

Ещё одна отличительная особенность книги Пьецуха – многочисленные тёмные места, когда писатель выражается столь туманно или «неординарно», что приходится гадать и о смысле, и о том, чем «затемнённость» вызвана: проблемами с русским языком или с логикой мышления. Вот, скажем, об отце Белинского в главе «Вечный Виссарион» сказано, что он, «хотя и попивал, но не ходил в церковь и читал Вольтера». То есть синтаксическая конструкция предложения и его смысл позволяют говорить о следующем огороднобузинокиевскодядьковском открытии писателя: выпивающий человек ходит в церковь и не читает Вольтера.

«Русская тема» Пьецуха отличается от многих других плохих книг не просто редчайшим непрофессионализмом и наплевательским отношением к читателю, но и тем, что в своём мовизме-плохизме автор близок к совершенству или периодически его достигает. Например, в главе «Колобок» Пьецух утверждает: «...Мы тысячелетия живём бок о бок с норвежцами на задворках Европы, прямо в одних и тех же геополитических условиях».

Мягко выражаясь, гипергипербола о тысячах годах кажется верхом точности на фоне «одних и тех же геополитических условий» двух стран...

В. Пьецух очень часто и с явным удовольствием пишет в своей книге о русских дураках, но если впредь он будет мыслить на уровне «Русской темы», то равных ему среди дураков в России не будет...

Александр Разумихин:  
ЧАС СЕРОСТИ

В 2008 году в «Литературной России», в номерах 42-51, было опубликовано большое по объёму сочинение А. Разумихина «Трое из сумы». Это редкая за последние 20 лет попытка дать в одном «флаконе» портреты Ю. Селезнёва, А. Ланщикова, М. Лобанова, В. Бондаренко, А. Казинцева, С. Куняева, Н. Машовца, С. Боровикова, И. Шайтанова, А. Неверова, В. Калугина, Л. Барановой-Гонченко, В. Коробова, В. Куницына, А. Михайлова и других критиков. Всех их Разумихин знал лично, отсюда столь большой, на мой взгляд, чрезмерно большой мемуарный крен в подаче материала. Более того, «личный фактор» негативно повлиял на достоверность изображаемого, на адекватность многих и многих оценок. В итоге получился чёткий, узнаваемый автопортрет Разумихина и смазанные, в разной степени отличные от оригинала портреты критиков. Это наиболее наглядно проявилось там, где речь идёт о Михаиле Лобанове, Владимире Бондаренко, Александре Казинцеве.

Важную роль у Разумихина играют эпизоды, в которых действующие лица – сам Александр Михайлович и один из критиков, то есть эпизоды, когда не было свидетелей. Поэтому трудно, а иногда невозможно понять: рассказанное Разумихиным – это правда или вымысел. Сам же повествователь стремится создать иллюзию достоверности, сообщая многочисленные подробности происходящего.

Например, разговор о Лобанове предваряет эпизод встречи Разумихина с критиком около Литинститута. По версии автора сочинения, Михаил Петрович приехал на собственной машине, напоминавшей авто Труса, Балбеса и Бывалого в фильме «Самогонщики». Лобанов, которому Александр Михайлович хотел помочь опубликоваться в журнале «Литература в школе» в период очередных гонений на критика, повёл себя странным образом. Он, по сути, не захотел разговаривать с Разумихиным, сославшись на отсутствие времени из-за проблем с мотором машины. Но читателям следует знать, что собственной машины у Михаила Петровича никогда не было...

Тон, заданный этим эпизодом, доминирует в оценке Лобанова, человека и критика, на протяжении всего повествования. Например, говорится о богатой фантазии Лобанова и в качестве иллюстрации приводится его книга «Островский» (М., 1979), где Михаил Петрович якобы «доказывает народность положительной Кабановой, которая по-своему любит Катерину». Несчастную же героиню Лобанов «не пожалел», «потому как Катерина посмела пойти вразрез с его точкой зрения, с его «Надеждой исканий».

Разумихинское толкование очень напоминает то шельмование, те бездоказательные обвинения, которым М. Лобанов подвергся в конце 70-х – начале 80-х годов со стороны партийных ортодоксов и либеральных овчарок. Понятно, почему не приводятся цитаты из книги «Островский», ибо их, подтверждающих правоту Разумихина, нет.

У Лобанова же об отношении Кабановой к Катерине говорится следующее: «Она «уму-разуму учит» сноху не потому, что ей дороже сын. Можно не сомневаться, что в случае замужества Варвары она будет брать сторону не дочери, а зятя». В книге «Островский» вообще отсутствует акцент «любит – не любит», в ней лишь справедливо утверждается, что нельзя упрощать характер Кабановой. Сие не означает «народность положительной Кабановой», на чём настаивает Разумихин. У Лобанова в этой связи сказано принципиально иное: «Нравственно нетерпимая Кабаниха – при всех её благих помыслах – ни в коей мере не может быть поставлена в один ряд с такими просветлёнными носителями народной нравственности, как Русаков».

При характеристике же Катерины критик делает постоянное ударение на её трагедии, смысл которой видится ему в «нравственной катастрофе» героини, в нарушении «извечных в глазах Катерины моральных установлений», в «невозможности найти себя», во «внутренней бесперспективности». У Лобанова нет даже намёков на то, что ему не жаль героиню, тем более потому, что она «посмела пойти вразрез с его точкой зрения, с его «Надеждой исканий» (так называется книга критика, опубликованная на год раньше «Островского»). Этот разумихинский бред – с точки зрения фактов, логики, русского языка – нет смысла комментировать.

Другие суждения автора сочинения «Трое из сумы» о Михаиле Лобанове качественно ничем не отличаются от приведённых, можно лишь констатировать разную степень произвола, человеческой и профессиональной непорядочности. Вообще же Разумихин не утруждает себя ссылками на первоисточники, или хотя бы названием тех работ, откуда он берёт «строительный материал» для своих фантазий, подобных следующей: «И Ноздрёв для него (Лобанова. – Ю.П.) был вполне симпатичным героем, образцом национального характера, потому что сказал Чичикову, что тот подлец!»

Я не знаю, о какой статье или книге критика идёт речь, но понимаю: сие – очередная грубая фальшивка, что проявляется уже на уровне подмены понятий. Между «симпатичным героем» и «образцом национального характера» – дистанция огромного размера, и не видеть это может лишь тот, у кого полное затмение ума и совести.

Показательно и другое: Разумихин, характеризуя себя, не замечает, что сей стриптиз – убийственное саморазоблачение. Так, Александр Михайлович иронично отзывается о Дмитрие Устюжанине, в то время главном редакторе журнала «Литература в школе», который «не шибко ориентировался в литературной ситуации». Сам Разумихин, следует думать, разбирался в данном вопросе гораздо лучше своего шефа. Однако в том же абзаце и далее Александр Михайлович сообщает, что не был знаком «с тематическими пристрастиями Лобанова» и знал, со слов Юрия Лощица, о нём как о специалисте «в вопросах происхождения русских фамилий».

Уточню: на дворе стояла весна 1980 года, и Разумихину, 1946 года рождения, выпускнику филфака Саратовского университета, давно практикующему критику и редактору, о Лобанове было известно только это. В каком безвоздушном литературном пространстве находился Разумихин примерно 15 лет, как ухитрился сохранить такое абсолютное незнание? Ведь речь идёт об одном из идеологов «русской партии», который со второй половины 60-х годов, со времени публикаций известных статей в «Молодой гвардии», постоянно находился в эпицентре событий. И его книга «Островский» вызвала целую бурю...

Литературный инопланетянин Александр Разумихин может рассказывать какие угодно истории – реальные или вымышленные – из жизни Михаила Лобанова, но главным опровержением этих «историй» являются работы критика. И без лучших из них невозможно представить русскую мысль второй половины XX века. Разумихин эту уже

аксиому пытается по-разному игнорировать, отрицать. Он всё переврал во взглядах Лобанова, умолчал о самой известной его статье «Освобождение» и вынес критику такой итоговый приговор: «А я, поверьте, так и не разобрался по сию пору, хоть и дожил до седины, что хуже: «неправильный Борев», с его всемогущим «критическим инструментарием», или «правильный» Лобанов, с его «иезуитским характером»? В чьих словах опасной демагогии больше? И может ли русский народ на самом деле победить, постичь истину хоть с одним, хоть с другим «учителем», пусть даже в сфере литературы и литературной критики?»

Трудно сдержаться, комментируя сей «шедевр». Не буду гадать, чего в нём больше – хитрости, глупости, подлости, незнания... Скажу об очевидном: Юрий Борев никогда не был и быть не мог учителем русского народа; альтернатива Борев – Лобанов может возникнуть в голове либо провокатора, либо, мягко выражаясь, невежды. Уверен, только с такими учителями, как Михаил Петрович Лобанов, русский народ может победить.

По свидетельству Разумихина, он в конце 80-х годов задумал книгу о литературе уходящего десятилетия, но после распада СССР отказался от этого замысла и уже написанных глав, уничтожив их. Свои действия Александр Михайлович объясняет следующим образом: в новых условиях издать такую книгу было делом нереальным, да и «читать о литературе ушедшей в небытие страны, – думал он, – никто не станет». И нигде далее в тексте не говорится, что сие решение и видение вопроса было ошибочным, наоборот, приводятся различные подтверждения справедливости авторской позиции.

Видимо, правильно сделал Разумихин, выбросив в мусоропровод главы книги, которую он планировал как «а н а л и т и ч е с к и й (разрядка моя. – Ю.П.) обзор прозы», ибо с логикой, с адекватным представлением о мире и литературе у него явные проблемы. Книги о словесности уже не существующих стран – от Римской империи до СССР – выходили, выходят и будут выходить. Тот же Владимир Бондаренко, один из самых нелюбимых критиков Разумихина, в 90-е годы публикует множество газетно-журнальных статей подобной тематики, которые впоследствии вошли в книги «Крах интеллигенции» (М., 1995), «Дети 1937-го года» (М., 2001). То есть, такая критическая продукция оказалась востребована и издателями, и, несомненно, читателями. И вообще, суть не в том, о чём книга, а в том, кто её автор.

Через сочинение Разумихина лейтмотивом проходит мысль о ненужности критики и критиков в последние два десятилетия. Эта мысль, в частности, иллюстрируется судьбами Леонида Асанова, Владимира Коробова, Виктора Калугина. Например, автор «Трое из суммы» сочувственно перечисляет занятия Асанова после его ухода из критики и вспоминает встречу с ним на книжной выставке в 2005 году: «Я слушал рассуждения Лёни (о повести В. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана». – Ю.П.), и мне было грустно, горько оттого, что нет у Асанова-критика возможности выплеснуть эти свои мысли на страницы журнала, книги».

Итак, в несостоявшейся судьбе Асанова виноваты обстоятельства, время... Такой знакомый диагноз, такая наезженная колей мысли. За её пределами остаётся более вероятная версия: расставание Асанова (и не только его) с критикой – это закономерный шаг, вызванный либо осознанием того, что он – не критик, либо истощенностью его таланта, наступившей творческой импотенцией.

В очередной раз не могу не отметить инопланетянское представление Разумихина о литературном процессе, теперь уже современном. Вынужден напомнить, что о повести Валентина Распутина первым написал Владимир Бондаренко («День литературы», 2003, № 10), затем последовали публикации Дмитрия Быкова («Огонёк», 2003, № 44), Алексея Шорохова («День литературы», 2004, № 1), Александра Ананичева («Литературная Россия», 2004, № 4), Романа Сенчина («Литературная Россия», 2004, № 8), Капитолины Кокшенёвой («Москва», 2004, № 2), Валентина Курбатова («Литературная учёба», 2004, № 3), Виктора Чалмаева («Литература в школе», 2004, № 6), Ирины Андреевой («Уроки

литературы», 2004, № 9), Николая Переяслова («Наш современник», 2005, № 1) и многих других. К тому же, вскоре после выхода повести была проведена конференция по этому произведению, на которой выступили 15 критиков и писателей («Российский писатель», 2004, № 2). Таким образом, версия Разумихина – у Асанова не было возможности «выплеснуть свои мысли» – не срабатывает.

Автор «Трое из сумы» признаётся, что не читает «День литературы». Для оценщика современной критики сие, по меньшей мере, непрофессионально. Правда, создаётся впечатление, что Разумихин вообще не читает литературно-художественные издания. Его миф о невостребованности сегодня «серьёзных» критиков разрушается, в том числе, густыми «всходами» новых «зоилов», которые заявили о себе в последнее десятилетие на страницах прежде всего «Дня литературы» и «Литературной России». Назову некоторых из них: Алексей Татаринов, Алиса Ганиева, Алексей Шорохов, Роман Сенчин, Андрей Рудалёв, Ольга Рычкова, Василина Орлова, Ирина Гречаник, Кирилл Анкудинов, Николай Крижановский, Дмитрий Колесников, Сергей Буров, Дмитрий Ковальчук, Наталья Федченко.

Ещё одна особенность Разумихина – это отсутствие у него единых критериев в оценке критиков, схожие поступки которых трактуются им по-разному. Так, Владимир Коробов характеризуется сочувственно-осуждающе как жертва обстоятельств: «Именно в пору своего пребывания в «Нашем современнике» Володя, человек от природы сильный и крупный, а потому (??? – Ю.П.) очень добрый, стал очень мягкий и податливый. Он стал таким, каким хотели, чтобы он стал. Он научился обслуживать. Есть такой жанр не только в критике. Он написал оду собственному руководителю – С. Викулову. Он писал о большом начальнике – Ю. Бондареве».

Однако подобный факт из биографии Татьяны Ивановой («ода» С. Викулову) интерпретируется Разумихиным куда мягче, и главное – под его пером Иванова, человек-флюгер и бездарная критикесса, неузнаваемо преобразается: «Серьёзная и правильная, ничуть не ангажированная и не идеологизированная Татьяна Иванова, разве что излишне восторженная, когда доводилось писать комплементарные статьи о поэте Сергее Викулове». Как правило, Разумихин «прописывает» судьбы своих героев, сообщая о том, что было «дальше», «после»... Для «правильной» Ивановой он делает исключение, ибо пришлось бы рассказывать о её оголтело-безумных, русофобских статьях в «Огоньке», «Книжном обозрении», и не только об этом...

Интересно и то, каким самооправданием Разумихин подпирает свою оценку Владимира Коробова: «Наверное, сегодня я имею право на подобные слова в адрес Володи, потому что ещё тогда в одном из разговоров сказал ему напрямую: «Володя, мне кажется, что это неэтично – писать о собственном главном редакторе».

Я помню статьи, книги М. Лобанова, В. Кожина, Ю. Селезнёва, А. Ланщикова, В. Бондаренко, А. Казинцева, В. Коробова, В. Васильева, С. Боровикова, Н. Машовца и других критиков, портретируемых или называемых в сочинении «Трое из сумы». Работ А. Разумихина не помню, ибо не случилось прочитать, но помню, что Александр Михайлович – редактор мерзопакостнейшей книжонки В. Пьецуха «Русская тема», отношение к которой я выразил ранее («Наш современник», 2009, № 2). Уже сам факт этого позорного редакторства, не сравнимого с «одами» Викулову или Бондареву, не даёт Разумихину права предъявлять счёт как В. Коробову, так и М. Лобанову, А. Казинцеву, В. Бондаренко. Тем более что при характеристике двух последних критиков многое остаётся за «кадром» либо получает гиперпроизвольную трактовку.

Вот в каком контексте возникает имя Александра Казинцева в первой главе «Юрий Селезнёв: «Вредный цех». По версии Разумихина, приход Селезнёва в «Наш современник» был встречен настороженно сотрудниками журнала, ибо «вносил осложнения в привычную редакторскую (нужно – редакционную. – Ю.П.) жизнь. Начальником становится молодой амбициозный писатель, получивший широкую известность своей книгой «Достоевский». И о реакции одного из работников сказано

следующее: «Совсем молодой Саша Казинцев – как я помню, очень боящийся, что у него с Селезнёвым ничего не получится, а вот с Викуловым очень даже».

Но, во-первых, в момент прихода Юрия Ивановича в журнал книга «Достоевский» существовала только в планах издательства «Молодая гвардия». Она была подписана к печати лишь четвёртого декабря 1981 года, то есть за три дня до Секретариата, после которого Селезнёва «ушли» из «Нашего современника».

Во-вторых, Александр Казинцев не мог «очень бояться» Юрия Ивановича уже потому, что в тот момент в журнале не работал, а пришёл в «Наш современник» по приглашению именно Селезнёва.

В-третьих, личная неприязнь мемуариста к Казинцеву – это его право, но чувство Разумихина не должно подчинять себе, искажать реалии жизни и творчества конкретных людей. А одна из них такова: Александр Казинцев в своих публикациях разных лет неоднократно и последовательно, проникновенно и предельно точно, как никто из сотрудников «Нашего современника», писал о Селезнёве.

Не менее уязвимо и всё то, что звучит в адрес Казинцева далее. Так, в качестве одной из причин его ухода в публицистику называется следующая: «Литературный критик в журнале «Наш современник» уже был, по стечению обстоятельств Сергей Куняев – сын главного редактора. Вступить с ним в конкурирующие отношения – может добром не кончиться. Саша всё же по натуре человек осторожный...». В этой трактовке событий всё вызывает возражение.

Во-первых, сам подход – номенклатурно-нелепый. Как будто «Наш современник» – ЦК КПСС, а критик – то ли член Политбюро, то ли Генеральный Секретарь.

Во-вторых, Станислав Куняев, могущий убрать из журнала «конкурента» сына, – это, батенька, такая ахинея...

В-третьих, непонятно, почему Сергей Куняев «уже был». Он как сотрудник пришёл в «Наш современник» на 11 лет позже Казинцева, а одним из ведущих критиков журнала стал уже после того, как Александр Иванович с критикой «завязал». И когда в другой главе своего сочинения Разумихин с иронией пишет: «В. Бондаренко, С. Куняев и примкнувший к ним А. Казинцев», – он дважды уподобляется печально известной офицерской вдове – и как человек, и как профессионал.

И наконец, Казинцев никогда не был осторожным. Он – один из самых резких, бесстрашных, талантливых, высокопрофессиональных критиков 80-х – начала 90-х годов. В этом легко убедиться, обратившись хотя бы к таким его статьям, как «Простые истины» («Наш современник», 1986, № 10), «Лицом к истории: продолжатели или потребители» («Наш современник», 1987, № 11), «Очищение или злословие» («Наш современник», 1988, № 5), «История – объединяющая или разобщающая» («Наш современник», 1988, № 11), «Новая мифология» («Наш современник», 1989, № 5).

Странно, что Александр Разумихин, называющий себя критиком, совсем ничего не говорит об этих и других критических статьях Казинцева, предпочитая общие рассуждения вперемежку с фантазиями, сплетничаньем об авторе. А ведь работы Александра Ивановича выдержали проверку временем, не утратили своей актуальности, а некоторые оценки оказались пророческими. Приведу пример, ибо только через анализ отдельных статей можно получить реальное представление о любом критике.

Думаю, что публикация Казинцева двадцатидесятилетней давности «Лицом к истории: продолжатели или потребители» («Наш современник», 1987, № 11) является до сих пор одной из лучших работ о романе Юрия Трифонова «Исчезновение». Остановлюсь лишь на фрагменте, который вызвал наибольшие возражения, нападки со стороны «левых».

Казинцев акцентирует внимание на том, что герои «Исчезновения» в восприятии Ю. Трифонова делятся на две группы. К первой, наибольшей, заслуживающей оправдания, сострадания, относятся почти все обитатели Дома на набережной – советская элита, повинная в гибели и лишениях миллионов ни в чём не повинных людей. Вторая группа героев – преступники, не вызывающие авторского сочувствия, – представлена



Флоринским и безымянным персонажем, НКВДэшником, который проводил обыск на даче любовницы Сергея.

Именно этот безымянный персонаж, первоначально не замеченный критиками разных направлений, вызывает особый интерес у Александра Казинцева. Он подчёркивает простонародное, вероятнее всего, – крестьянское происхождение НКВДэшника. Признавая его вину, критик не скрывает, что ему жаль этого мужика, ибо он – сам жертва. Жертва той ситуации, в которую поставлен волей обитателей Дома на набережной, чьи приказы выполняет.

Естественно, что такие взгляды Казинцева были встречены в штыки нашей либеральной жандармерией. Вот как, например, характеризуется позиция критика Сергеем Чуприниным: Казинцев якобы «рассуждает о недемократичности и, может быть, даже антинародности позиции Ю. Трифонова, так как юный герой романа «Исчезновение» (Горик. – Ю.П.) без всякой приязни смотрит на людей в форме НКВД, которые ночью пришли арестовывать и навсегда увести с собой его отца» (Чупринин С. Критика – это критики. – М., 1988).

Во-первых, об эпизоде ареста отца Горика Казинцев не говорит ни слова. Непонятно, как Сергей Чупринин смог перепутать данный эпизод с обыском на даче, о котором пишет Александр Иванович. Во-вторых, о чувствах «юного героя» в данной статье речь не идёт: Казинцев обращает внимание на позицию Юрия Трифонова...

И такая метода сознательного искажения, оглуления взглядов Казинцева характерна для всех «левых». Например, «мягкий» Карен Степанян в произволе оценок недалеко ушёл от «резкого» Сергея Чупринина. Он в статье «Выпавшие из времени, или Чуть-чуть не считается» («Дружба народов», 1988, № 11) суждения Александра Ивановича об эпизоде на даче называет неаргументированными и интерпретирует их, в частности, так: «В противовес эгоистичному писателю Трифонову самому Казинцеву «жаль безымянного мужика», а вот всех остальных обитателей Дома на набережной не жаль вовсе».

Статья К. Степаняна, как и С. Чупринина, оставляет впечатление, будто мы читали разные работы Александра Казинцева с одинаковым названием. Оценка «эгоистичный писатель Трифонов» не встречается у Казинцева ни под каким соусом, но довольно подробно и доказательно (как всегда, доказательно) говорится об эгоцентризме сознания и поведения Горика и жителей Дома правительства, об их «равнодушной отчуждённости» от судеб миллионов соотечественников. Нет в статье критика и слов, что ему не жаль обитателей Дома на набережной, зато есть другое, обойдённое, не замеченное К. Степаняном, С. Чуприниным, А. Турковым...

Александр Казинцев на примере безымянного мужика точно предсказал, что именно он станет главным виновником и ответчиком за преступления XX века, за, добавлю от себя, неудавшийся социальный эксперимент. В 1987-1988 годах «левые» дружно завопят, запрокурорствуют: во всём виноват русский народ, русский крестьянин, сознание которого было доличностным, интересы дальше околицы не простирались, и он, порождая стукачей и палачей, стал опорой и проводником политики сталинизма; другой бы народ сказал своим правителям – уходите... Весь этот бред – общее место в статьях Игоря Клямкина, Татьяны Ивановой, Натальи Ивановой и многих, многих других.

Итак, хотя и говорит Разумихин, что помнит Казинцева-критика «давешнего», никаких подтверждений этому в его сочинении нет. Реально Александр Михайлович помнит другое: он обращает внимание на несущественные мелочи, как то: Казинцев – «академик Петровской академии наук и искусств», его называют «одним из ведущих публицистов России» и т.д.

Вообще у Разумихина явная «статусная» страсть, болезнь. Он обязательно отмечает, стал его герой кандидатом или доктором наук или нет, какие должности занимал... Правда, и здесь – не знаю, почему, – Александр Михайлович периодически «хлестаковствует». Так, Игорь Шайтанов – не главный редактор «Вопросов литературы», а первый заместитель главного редактора, а главный редактор, что не есть военная тайна,

Лазарь Лазарев. Утверждение Разумихина: «Практически завершил работу над докторской по Лермонтову Юра Селезнёв», – абсолютная чушь. Во-первых, потому, что, по свидетельству Юрия Лощица, в начале июня 1984 года, то есть за несколько дней до смерти, Юрий Иванович только успел прочитать «почти всё, что он хотел прочитать о Лермонтове» (Лощиц Ю. Стоило его увидеть однажды... // Селезнёв Ю. Память созидаящая. – Краснодар, 1987). Во-вторых, Селезнёв планировал написать книгу о Лермонтове, а не докторскую диссертацию. К тому времени Юрий Иванович, как и ранее его учитель Вадим Кожинов, понял, что все эти кандидатские, докторские – одна суета, ни о чём не свидетельствующие условности. Помните, Александр Михайлович, как не кандидат наук Игорь Золотусский в своей восхитительной статье «Доколе? О микрофинале, протосюжете, о Базарове, резавшем кошек, и ещё кое о чём» громил всех этих знаменитых докторов, член-коров, академиков?..

О следующем своём герое, Владимире Бондаренко, Разумихин, держа в уме Казинцева, говорит: «Он тоже из когорты тех, чья судьба удалась». Эта оговорка даёт многое для понимания автора «Трое из сумы». Зависть «неудачника» – одна из главных причин его, мягко говоря, явной предвзятости к Казинцеву и Бондаренко, что наглядно проявилось в «портрете» последнего.

Ведя речь о Бондаренко, Разумихин последователен в своём совершенно неадекватном толковании и отдельных статей, и творческого пути, и человеческой сути критика. Вот как, например, передаётся пафос одной из «свежих» публикаций Бондаренко «Незамеченный юбилей»: «Важен результат – в очередной раз предстать на публике «с учёным видом знатока». К тому же прекрасный повод поведать миру, что сподобился перечитать публицистику Льва Толстого, из которой сделал вывод, что тот тоже был экстремистом. Так что не обессудьте».

Про «учёный вид» сказано явно не по адресу. Ни в данной статье, ни в других у Бондаренко нет и намёка на это: сие ему претит, сие ему не надо. Бондаренко-критик самодостаточен, распространёнейший же тип учёного-филолога он оценивает по заслугам – иронично-отрицательно. Так, характеризуя выступления московской профессуры в Китае, Владимир Григорьевич замечает: «Научилось же племя наших самых именитых литературоведов говорить о хронотипических модификациях синхронального типа в полифонической прозе Владимира Сорокина, ни разу не цитируя текст!» («Завтра», 2008, № 2).

В статье Бондаренко нет ничего такого, что привиделось Разумихину. Прочитирую отрывок, который имеет в виду автор «Трое из сумы»: «Опубликуй хотя бы одну из его (Толстого. – Ю.П.) статей в сегодняшней газете анонимно или без подписи – «Патриотизм или мир» или «Не могу молчать!», того и гляди, угодишь в экстремисты». Как из этих слов можно было сделать столь неожиданный вывод: Толстой «тоже был экстремист». Где, в каких школах, университетах обучают таким навыкам анализа текста? Или всё дело в разумихинском уме?..

Автор «Трое из сумы» с иронией утверждает, что «если подвернулся бы юбилей, например, Тургенева или Чехова, Иван Сергеевич и Антон Павлович оказались ему (Бондаренко. – Ю.П.) удобны ничуть не меньше. Бондаренко и их смог бы приспособить к своему выступлению».

Если бы Разумихин не был предвзят и больше читал, то он без труда установил бы, что Бондаренко каждый год – вне зависимости от юбилеев – принимает участие в «яснополянских встречах» и публикует свои размышления о Толстом в «Дне литературы» и «Завтра». К тому же, в минувшем году был, как известно, и юбилей Тургенева, но его, вопреки прогнозам Разумихина, Владимир Григорьевич не «приспособил» к своим выступлениям и статьям. А одна из главных идей «Незамеченного юбилея» – Лев Толстой и, добавлю от себя, русская классика в целом нынешней власти не нужны, по сути, враждебны – настолько очевидно справедлива, что отрицать её может либо либерал, либо дурак, либо Разумихин. И, конечно, следует помнить: Бондаренко в таком видении

проблемы не одинок. Тот же Игорь Золотусский неоднократно высказывал подобные мысли, например, в статье «Приоритет Толстого» и в беседе «Российская культура: возрождение или перерождение?» («Литературная газета», 2004, № 20-21).

И вот такими «мазками» Разумихин пишет портрет Бондаренко. Поэтому нет смысла оценивать аналогичные «штрихи», подробности. Тем более что своё отношение к Бондаренко, во всём отличное от автора «Трое из сумы», я высказал («День литературы», 2006, № 2-3; «День литературы», 2008, № 5). Но, думаю, необходимо уточнить следующее.

Конечно, у Бондаренко, как и у любого критика, есть уязвимые места, с ним можно и нужно полемизировать. Но полемика должна вестись с реальным критиком, а не с фантомом, как у Разумихина. При этом она не должна затмевать главного. На протяжении уже 30 лет статьи Бондаренко вызывают постоянный, особенный читательский и профессиональный интерес, жаркие споры, долгое эхо. Среди современников Владимира Григорьевича я затрудняюсь назвать автора, который бы так долго находился на гребне критической волны и который своими публикациями «увековечил» столько писателей. Разумихин же ни одну из десятков самых известных статей Бондаренко даже не называет.

И вообще – не завидовать Владимиру Григорьевичу нужно, а быть благодарным за его титанический труд, за его подвижничество (в том числе, в «Слове», «Дне», «Дне литературы», «Завтра»), за то, что он не сломался, выстоял как человек, критик, редактор. И не помешает при этом помнить, что сделал ты, всё равно кто, Разумихин или Павлов...

И последнее. Александр Разумихин неоднократно подчёркивает, что долгие годы, в ущерб творчеству, зарабатывал на жизнь редактированием в различных изданиях и издательствах. Однако то, как написаны «Трое из сумы» и как отредактирована книга В. Пьецуха «Русская тема», вызывает вопросы к Разумихину, автору и редактору. Ибо и там, и там, скажем так, явные проблемы с русским языком. Что выглядит особенно комично на фоне таких заявлений Александра Михайловича в адрес Бондаренко: «...Володя не эстет и изящным стилистом никогда не слыл»; «...Однако среди обладателей гамбургского чутья на художественно-литературное слово замечать Володю не доводилось» (даже если захочешь так – ради смеха – написать, не получится. А здесь наш великий стилист на полном серьёзе выдаёт сей шедевр).

Итак, приведу некоторые примеры языковых увечий из сочинения Разумихина «Трое из сумы»: «Впрочем, для моих воспоминаний Лариса мне не интересна»; «Так что Коробов, как это ни грустно, был прав: его книжка о С. Викулове – совершенно типичный в этом отношении был случай»; «Он критик, не знающий границ простору своего творческого воображения»; «...Качание на весах «литературная критика – литературоведение» так или иначе проделывали многие из молодых критиков»; «Но именно в пору немного до семинара, во время его, немного позже они постоянно лезли в голову»; «Стыдливо (сами не справились) прикрыть ясные очи?»; «При всех издержках он сохраняется в моей памяти как добрый человек и интересный литератор».

\*\*\*

Я дважды принимался за ответ Александру Разумихину и дважды бросал – скучно, неинтересно, малопродуктивно писать об очевидном. Дураку проще сказать, что он дурак, завистнику – завистник, но неправоту сочинителя всё же нужно доказывать. Тем более, сейчас, когда многие и многие даже филологи не обладают самыми элементарными знаниями по истории русской литературы и критики последнего пятидесятилетия. Большая часть наших вузовских преподавателей – западники, космополиты. Поэтому их студенты знают только русскоязычных авторов, постмодернистов прежде всего, и пропагандирующих их критиков и литературоведов; о русских писателях и критиках они, вероятно, лишь слышали. Но слышали так, что лучше бы вовсе не слышать. Этим вузовским преподавателям и их студентам «Трое из сумы» должны понравиться, ибо в толковании многих фактов, событий, судеб Разумихин им созвучен.

В конце своего повествования Александр Разумихин отвечает на вопрос: «Почему русские патриоты всегда проигрывают?» Часть же моего ответа на этот вопрос такова: потому что среди называющих себя «русскими патриотами» и русскими людьми вообще слишком много разумихиных.

2009

Михаил Голубков:  
УДАЧНАЯ НЕУДАЧА

В 2008 году в издательстве «Академия» вышла в свет книга профессора МГУ М. Голубкова «История русской литературной критики XX века (1920-1990-е годы)» тиражом в 2000 экземпляров. На её обложке значится: «Рекомендовано Учебно-методическим объединением по классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений по специальности «Филология» направления подготовки «Филология».

Эта книга уже получила положительные оценки в печати и наверняка получит ещё. У меня учебное пособие Михаила Голубкова вызвало противоречивое отношение, его я попытался сформулировать в данной рецензии. Разговор о книге начну со второй части (а их всего две), с тех глав, которые, на мой взгляд, свидетельствуют о качестве работы профессора МГУ.

«Новый мир» в 1960-е годы – это, думаю, лучшая глава в пособии М. Голубкова. В ней автор, не разделяя многие популярные ныне представления о «Новом мире», не раз точно определяет идейную концепцию журнала, её наиболее уязвимые места. Так, Голубков справедливо утверждает, что Твардовский «проводил политику, заявленную Хрущёвым на XX съезде КПСС, – проводил точно и решительно, но ни в коем случае не позволяя выходить за границы идеологической и литературной свободы, очерченной выше» (с. 244).

И в характеристике «шестидесятников» автором учитываются, называются все ключевые составляющие их системы ценностей, как то: «верность коммунистической идее, отстаивание «идеалов 1917 года» и их мифологизация, вера в революцию как форму преобразования мира, безусловный ленинизм. Всё это сопровождалось резкой и даже бескомпромиссной критикой «культы личности И.В. Сталина» и уверенностью в его случайном и нетипичном для социалистического строя характере» (с. 244).

Точен автор пособия и тогда, когда, оценивая публикацию Юрия Буртина о Твардовском «Вам, из другого поколения...», говорит о склонности критика к героизации главного редактора «Нового мира», самого журнала и видит в этом проявление общественного настроения второй половины 80-х годов XX века. Но, думаю, далее следовало уточнить: об общественном настроении какой части критики и читателей идёт речь.

Далеко не все воспринимали А. Твардовского и его журнал как Ю. Буртин. И для того, чтобы изображение данного явления было всесторонним, объёмным, думаю, следовало бы сказать о тех статьях «правых» критиков, в которых «Новый мир» характеризовался принципиально иначе. Назову самые первые из них: «Послесловие» М. Лобанова («Наш современник», 1988, № 4), «Самая большая опасность...» В. Кожина («Наш современник», 1989, № 1).

То, что эта тема – «Твардовский и «Новый мир» – далеко не исчерпана, свидетельствуют публикации последних лет, следов которых ни в самом тексте, ни в списке литературы я не обнаружил. Вот только некоторые из них: В. Твардовская «А.Г. Дементьев против «Молодой гвардии» («Вопросы литературы», 2005, № 1); Р. Романова «Александр Твардовский. Труды и дни». – М., 2006; В. Огрызко «Отмечен долей бедовой: Александр Твардовский» («Литературная Россия», 2007, № 18-19); В. и О. Твардовские «Заметки на полях статьи В. Огрызко об А. Твардовском»; Ю. Павлов «Александр Твардовский: мифы и реальность, или Заметки о заметках В.А. и О.А. Твардовских» («Литературная Россия», 2008, № 12).

Естественно, принципиальное значение в этой главе имеют оценки и характеристики критики «Нового мира», с которыми далеко не всегда соглашаешься. М. Голубков прав, когда утверждает давно аксиоматичное: критики журнала продолжали традиции «реальной критики». Но вызывает возражение вывод, который далее следует: «Отдел

литературной критики был, может быть, самым сильным и интересным в журнале» (с. 248).

Уверен: традиции «реальной критики», традиции Добролюбова уже по определению не могут дать положительный результат. Об этом, в частности, свидетельствует творчество критиков-новомировцев, упомянутых и не упомянутых М. Голубковым. Ю. Буртин попал в число авторов, фигурирующих в этом списке. Не знаю, какие интересные, содержательные статьи он написал в 60-е годы (М. Голубков их не называет). Не стали открытием, откровением и статьи других «зоилов» журнала, действительно следовавших традициям «реальной критики». Достаточно назвать имя «главного» критика «Нового мира» Владимира Лакшина. Его статьи об А. Солженицыне, М. Булгакове, А. Островском и иных писателях страдают вульгарным социологизмом разной концентрации и явно уступают работам таких критиков-современников, как И. Золотусский, И. Роднянская, М. Лобанов, В. Кожин, А. Ланшиков, И. Дедков...

Странно и то, что М. Голубковым не была замечена статья С. Чуприна «Позиция. Литературная критика в журнале «Новый мир» времён А.Т. Твардовского: 1958-1970 гг.» («Вопросы литературы», 1988, № 4). Она до сих пор остаётся самой фактологически и концептуально насыщенной.

Глава «1970-е годы и журнал «Наш современник» в пособии М. Голубкова – одна из ключевых. В ней расставлены долгоиграющие акценты весом в десятилетия. И то, как это сделано, будет программно влиять на восприятие многих студентов и читателей вообще.

Большая часть принципиальных утверждений главы возражений не вызывает. Думаю, прав М. Голубков, когда утверждает, что положение «Нашего современника» в 70-е годы как лидера национальной литературно-критической мысли «было схоже с тем, которое занял десятилетием раньше «Новый мир». Оба журнала оказались в эпицентре литературной жизни и оба стали объектом резкой критики – как со стороны литературных оппонентов, так и официальной партийной периодики» (с. 266-267).

Попытка «русской национальной самоидентификации» – так верно определяет Голубков направление журнала и во многом убедительно характеризует его. И главные «фигуранты» критики 70-х – В. Чалмаев, М. Лобанов, В. Кожин – выбраны автором удачно, и работы двух последних «зоилов» представлены самые известные и значительные: «Освобождение», «И назовёт меня всяк сущий в ней язык...». Точно определено место «Гончарова» Ю. Ложица, «Державина» О. Михайлова, «Гоголя» И. Золотусского, «Островского» М. Лобанова – книг, подчеркну, ставших уникальным явлением в литературно-критической мысли не только 70-х годов, но и всей советской эпохи.

В отличие от И. Дементьевой, В. Лакшина, Ю. Буртина, Ю. Трифонова, Ст. Рассадина, В. Твардовской, Д. Быкова и многих других, М. Голубков объективно оценивает полемику «Нового мира» с «Молодой гвардией», и, в частности, справедливо утверждает: «Главную опасность нового (неопочвеннического. – Ю.П.) направления и его представителей, мужиковствующих, как назвал их автор (А. Дементьев. – Ю.П.), он видел в «проникновении к ним идеалистических» и «вульгарно-материалистических», «ревизионистских», «догматических извращений марксизма-ленинизма». Ничего кроме догматического использования подобных терминов, <...> ничего кроме дискурсивного арсенала выхолощенной официозной критики 1960-х годов ни Дементьеву, ни редакции «Нового мира» нечего было противопоставить новому направлению» (с. 271).

В разных частях главы на примерах печально известных статей А. Дементьева, П. Николаева, В. Кулешова точно определяется и убедительно характеризуется тип комиссара от литературоведения и критики, который в 60-80-е годы задавал тон в травле с двух сторон – официальной и либеральной – «русской партии», в том числе В. Кожина и М. Лобанова.

Беспорен и вывод в конце главы – критики «Нашего современника» и неопочвеннического направления в целом «выглядели более убедительно», чем авторы «Нового мира», «шестидесятники» (с. 285).

Итак, есть все основания утверждать, что в книге Михаила Голубкова очевиден прогресс по сравнению с тем, как данное десятилетие, «правая» критика и журнал «Наш современник» характеризовались, если характеризовались вообще, в учебниках, монографиях и других изданиях. Но всё же у Голубкова немало фактов и оценок, требующих либо уточнения, либо опровержения.

Невозможно понять, как в список критиков «Нашего современника» (с. 266) попал В. Ганичев, который критиком никогда не был. С большой-большой натяжкой критиками можно назвать С. Семанова и Ю. Прокушева, также оказавшихся в данном списке.

Явно недостаёт в упомянутом перечне книг «ЖЗЛ» (с. 278) блестящей работы Ю. Селезнёва «Достоевский».

Думаю, ошибается М. Голубков и там, где говорит о статьях В. Чалмаева как о «первой в советской открытой печати попытке заявить» русское мировоззрение, русскую систему ценностей (с. 267). Всё-таки «пальма первенства» в названном вопросе принадлежит Михаилу Лобанову, который в данном контексте и в этой главе, и в предыдущей (где речь идёт о журнале «Молодая гвардия») почему-то отсутствует. «Первенство» Лобанова, в чьих статьях, опубликованных раньше чалмаевских, начала формироваться идеология «русской партии», признано многими авторами – от В. Кожинова до А. Янова. И «просвещённое мещанство» – ноу-хау не Чалмаева, как утверждает Голубковым (с. 268), а Лобанова: так называлась его статья («Молодая гвардия», 1968, № 4).

Очень вольно трактует М. Голубков взгляды И. Золотусского и Ю. Лощица в их книгах из серии «ЖЗЛ». Профессор МГУ явно приписывает Золотусскому мысль о том, что Собакевич, Плюшкин – носители «положительных черт» (с. 277). К тому же, дважды Голубков называет Игоря Золотусского автором «Гончарова» (с. 273), а затем утверждает: «В пафосе бездеятельности и сне Лощиц видел идеал целостного человека» (с. 273). О том, что это не так, свидетельствует уже название главы о романе «Обломов» «Несовершенный человек».

В подобных случаях возникает недоумённый вопрос: как читал и читал ли вообще профессор МГУ те источники, которые пытается анализировать? Недоумение усиливает следующий абзац главы, где говорится о статье В. Кожинова «Русская литература и термин «критический реализм». Главная идея данной статьи сформулирована М. Голубковым так: «...Логичнее было бы говорить не о критическом, а о ренессансном реализме, в основе которого лежит понимание единства нации, личности и государства» (с. 272). Трудно сказать, чем руководствовался Голубков в данном случае, но любой человек, прочитавший указанную выше статью Кожинова, убедится в том, что, к ренессансному реализму Вадим Валерианович относил только Пушкина и Гоголя, всех же остальных писателей XIX века он предлагал «прописать» в таких направлениях, как реализм барокко, просветительский реализм, критический реализм, романтизм.

Не меньше, чем фактические ошибки и интерпретационные вольности, режет слух своей абсолютной немотивированностью утверждение заключительного абзаца главы: в трудах Аллы Большаковой «получили углублённое развитие» идеи неопочвеннической (я её называю «правой») критики 70-80-х годов (с. 285-286).

В книге Большаковой «Нация и менталитет: феномен «деревенской прозы» XX века» (М., 2000), к которой нам предлагается обратиться, уже на уровне цитат, ссылок прослеживается очевидная закономерность. Ведущие «правые» критики (М. Лобанов, В. Кожинов, Ю. Селезнёв, Ю. Лощиц, А. Ланщиков и т.д.), много и продуктивно писавшие по данной проблеме, отсутствуют вообще. Феномен же «деревенской прозы» постигается преимущественно при помощи иностранных исследователей, среди которых явно лидирует американка К. Парте, цитируемая раз двадцать. И. Золотусский, упоминаемый

один раз (при этом его имя называется неправильно на странице 59), на фоне Г. Морсона, Дж. Хоскинга, Р. Марш и им подобных браунов выглядит бедным родственником, случайно попавшим на «интеллектуальный» пир западных учёных с Аллой Большаковой во главе. Мне кажется, что ему и всем «правым» критикам было бы, мягко выражаясь, неуютно среди исследователей, которые любят рассуждать о «полюсах рецептивного колебания, меж которых до сих пор пребывает образ солженицынской Матрёны...» (Большакова А. Нация и менталитет: феномен «деревенской прозы» XX века).

Глава «Сорокалетние»: полемика о новом писательском поколении» – одна из самых уязвимых в учебном пособии. М. Голубков оказался заложником мифа о «московской школе», или «сорокалетних», как об идейно-эстетической общности писателей.

Среди «сорокалетних» были авторы, которые продолжали традиции и «деревенской прозы» (В. Личутин, В. Крупин), и «исповедальной прозы» (А. Курчаткин, Р. Киреев) либо стояли «особняком», не примыкая ни к одному из направлений, появившихся в 50-60-е годы (А. Ким, В. Маканин, В. Михальский). Естественно, что общие художественные принципы у них отсутствовали.

Однако М. Голубков, как и многие до него, эту общность увидел и попытался её охарактеризовать. Одной из отличительных черт «сорокалетних» называется «принципиальное отсутствие самой идеи исторического времени, замена его частным временем» (с. 290). Через три страницы данная идея так рифмуется с мнением И. Дедкова: «Говоря о сиюминутном времени, критик точно определил главную, онтологическую, потерю поколения «сорокалетних»: соотносённость частного времени человека и исторического времени» (с. 293).

Точка зрения Голубкова-Дедкова легко опровергается такими произведениями «сорокалетних», как «Катенька» и «Семнадцать левых сапог» В. Михальского, «Фармазон» и повести «поморской хроники» В. Личутина, «Звено нежности» и «Луковое поле» А. Кима и т.д., произведениями, герои которых живут в историческом времени и в разной степени укоренены в национальной почве.

Не является продуктивным и то, что «сорокалетние» оцениваются преимущественно через статьи и дневники И. Дедкова, одного из самых резких и постоянных критиков этого поколения писателей. Суть, конечно, не в том, что Дедков – оппонент, а в том, что его так много в маленькой главе пособия, гораздо больше, чем, скажем, Владимира Бондаренко, главного идеолога и пропагандиста «сорокалетних».

Хотя в оглавлении и есть такой раздел – «Сорокалетние» и критик В. Бондаренко» – в самом тексте о Бондаренко только абзац и одна ссылка на его статью (для сравнения – Дедков в данной главе цитируется девять раз). И в списке литературы книга Бондаренко «Московская школа, или Эпоха безвременья» (М., 1990) не названа, как не названы и мемуары Р. Киреева «Пятьдесят лет в раю».

Если в главе «Сорокалетние»: полемика о новом писательском поколении» приоритеты М. Голубкова проявляются на уровне имён, то в главе «Критика на рубеже 1980-1990-х годов» – на уровне общих подходов к литературе, критике. Основополагающим является следующее утверждение автора пособия: «Русская литература XIX и XX веков приняла на себя функции, вовсе не свойственные словесности. Она формировала общенациональный взгляд на мир, систему бытийных ориентиров и онтологических ценностей, национальную мифологию, создала образы культурных (? – Ю.П.) героев» (с. 299).

Сие утверждение, как и блок идей, с ним связанный, практически без изменений перешедший в учебник из более ранней книги Голубкова «Русская литература XX в.: После раскола» (М., 2002), – общее место в рассуждениях на данную тему у И. Бродского и С. Довлатова, Б. Хазанова и В. Ерофеева, С. Чупринина и Н. Ивановой и многих других «левых» авторов.

Не могу не спросить профессора МГУ и его единомышленников: кто и в каких лабораториях определил те функции словесности, которые она должна и не должна



выполнять; в результате скрещивания каких национальных литератур эта абстрактная среднестатистическая словесность появилась на свет; можно ли говорить о литературе XIX, XX веков через запятую, как о явлениях однородных, однокачественных?

Не секрет, что в литературе обоих веков можно выделить направления, где утверждаются взаимоисключающие представления о мире и человеке, прямо противоположные идейно-эстетические, онтологические ценности... И, конечно, Голубков это понимает, о чём свидетельствует его книга «Русская литература XX в.: После раскола». Но в данном пособии профессор МГУ об этом забывает и, по сути, уподобляется А. Синявскому, который в своей статье «Что такое социалистический реализм?» отнёс всех писателей, живших в СССР, к литературе социалистического реализма.

Латентно и непоследовательно такой направленческий дальтонизм Голубкова проявляется и в других главах, например, в главе «1970-е годы и журнал «Наш современник». Одна из главных идей статьи М. Лобанова «Освобождение» определяется так: «Традиция нигилистического отношения к крестьянству, проявившаяся в «Поднятой целине» Шолохова, является, по мысли критика, характерной чертой всей советской литературы: советский писатель просто не знает своего народа» (с. 282).

Не вызывает сомнений, что взгляды М. Лобанова переданы Голубковым неточно. Автор «Освобождения» говорит о принципиальной разнице позиции М. Шолохова в его романах: «Если в «Тихом Доне» <...> гражданская война нашла выражение глубоко драматическое, то равные ей по значению события коллективизации в «Поднятой целине» звучат уже совершенно по-иному, на иной бодрой ноте. Различие между этими двумя книгами одного и того же автора знаменательно» («Волга», 1982, № 10). Да и сам Голубков в уже названной работе позицию Шолохова в «Тихом Доне» оценивает в принципе верно.

Главу «Критика на рубеже 1980-1990-х годов», думаю, можно отнести к одной из самых слабых, «сырых», не доведённых до необходимой научной кондиции. В этой главе М. Голубков проявляет односторонность в изложении и трактовке фактов, событий, точек зрения критиков. Приведу некоторые разноуровневые примеры недостаточного профессионализма и «левизны» автора учебного пособия.

В список самых заметных произведений середины 1980-х годов (с. 301), вокруг которых велись жаркие споры, почему-то не попали «Всё впереди» В. Белова, «Зубр» Д. Гранина, «Ловля пескарей в Грузии» В. Астафьева. А в большом перечне «возвращённой литературы» (с. 304) отсутствуют «Мужики и бабы» Б. Можая и «Погружение во тьму» О. Волкова.

Непонятна логика М. Голубкова и в той части главы, где речь идёт о резком увеличении тиражей толстых журналов, и в качестве примера приводятся «Новый мир», «Дружба народов», «Знамя», «Октябрь», «Нева». Напомню, что названные издания значительно превосходила «Юность», тираж которой превысил 3 миллиона экземпляров. На это, в частности, обратил внимание практичный В. Аксёнов («Собеседник», 1989, № 50). Он, ратовавший за снятие табу со сленга, брани, эротики, признался, что готов идти на некоторые уступки при подготовке к печати «Острова Крыма», учитывая именно фантастический тираж «Юности». Выпала из поля зрения Голубкова и «Литературная учёба», которая – как никакой другой журнал – совершила невероятный тиражный скачок: с 25 000 экземпляров в 1989-ом году до 900 000 в 1990-ом. И, конечно, объективности, многоцветности ради в список многотиражных изданий нужно было включить хотя бы несколько «правых» журналов. Например, «Наш современник», чей тираж в 1990 году достиг 500 000. А «Молодая гвардия», о которой говорится как о «не самом популярном» (с. 311) журнале, в том же году на 115 тысяч экземпляров превосходила тираж популярной, по версии Голубкова, «Невы».

Автор пособия явно не точен и не договаривает до конца, когда пишет о «невероятно громком успехе романа «Дети Арбата» в 1986-1987 годах и почти полном его забвении

буквально через год» (с. 307). Во-первых, в 1986 году никакого успеха не было и быть не могло, ибо роман появился в свет только в 1987 году («Дружба народов», № 4-6). Во-вторых, именно через год после публикации «Детей Арбата» интерес к роману, споры вокруг него достигли своего апогея. Волна либерального восхваления схлынула не сама собой. Её остановили, «успокоили», в первую очередь, «правые» критики, которые показали и доказали историческую и художественную несостоятельность «Детей Арбата». Думаю, следовало бы назвать хотя бы такие – самые первые и резонансные – статьи, как «Правда и истина» В. Кожина («Наш современник», 1988, № 4), «Мы все глядим в Наполеоны...» А. Ланщикова («Наш современник», 1988, № 7).

Интересно было бы обратить внимание и на то, что в унисон с «правыми», раньше многих из них, по одному из самых обсуждаемых вопросов высказался Лев Аннинский: «Рыбаков считает, что Сталин «создал в стране обстановку, при помощи которой стали возможны произвол и беззакония». Я же считаю, что и сама обстановка создавала Сталина...» («Октябрь», 1987, № 10). Эта оценка удивительна и показательна вдвойне, ибо ранее в письме к А. Рыбакову Лев Александрович расставил принципиально иные (типично леволиберальные) акценты: «Так я предпочитаю, чтобы о Сталине была сказана такая правда, как у Вас. Я не колеблюсь сказать, что эта правда – ш е к с п и р о в с к а я, и только прошу судьбу об одном: чтобы у нас сейчас хватило сил выслушать эту правду» («Огонёк», 1987, № 27).

М. Голубков вместо того, чтобы говорить об оценке «Детей Арбата» в критике, выявлять определённые закономерности и неожиданности в позициях авторов разных направлений, сам характеризует роман Рыбакова и «Белые одежды» В. Дудинцева (с. 307-309). Убеждён, что данный фрагмент текста проходит по другому «ведомству» – истории литературы. В истории же критики произведения, авторы, проблемы и т.д. характеризуются, прежде всего, через «взгляды» других.

«Других» Голубков нередко подменяет либо собой, либо одним из критиков. Так происходит в этой главе далее, где разговор о «Детях Арбата» и литературном процессе ведётся с опорой преимущественно на статьи «левой» Натальи Ивановой. Правда, возникают имена и других представителей данного направления, именуемого Голубковым демократическим. Однако перечень этих представителей предельно мал. Считаю, что малопродуктивно характеризовать «левую» критику, не ссылаясь, как это делает М. Голубков, на работы С. Чупринина, Б. Сарнова, Т. Ивановой, Г. Белой, А. Марченко, Вл. Новикова, А. Архангельского, А. Немзера, А. Агеева, А. Мальгина, А. Лаврина, Е. Добренко, М. Липовецкого...

Однако «правым» не повезло гораздо больше. Они и название получили предельно неточное, не передающее сути их взглядов, – «охранительная» критика (с. 311). Они представлены и более неудачным набором имён: Вл. Гусев, В. Росляков, В. Баранов, В. Горбачёв.

Вадим Баранов никогда к данному направлению не принадлежал, он – по ведомству официальной критики. Василий Росляков и Вячеслав Горбачёв – во всех отношениях не те авторы, через статьи которых можно было характеризовать всё направление. Владимир Гусев – не типичный «правый», амбивалентно правый. Критика же данного направления в указанный период явлена статьями В. Кожина, М. Лобанова, А. Ланщикова, В. Курбатова, В. Бондаренко, Т. Глушковой, Ст. Куняева, О. Михайлова, М. Любомудрова, А. Казинцева, С. Куняева, П. Паламарчука, П. Горелова и т.д.

Не нашлось места в этой главе и критикам, не примыкавшим ни к одному из названных направлений. Назову некоторых из них: И. Золотусский, И. Роднянская, И. Ростовцева, Д. Урнов, Ал. Михайлов, А. Василевский, П. Басинский, Вс. Сахаров, Вл. Славецкий, С. Боровиков.

Названные недостатки проявляются в главе неоднократно. Роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба» увиден только глазами А. Бочарова (с. 316). Объективнее,

профессиональнее было бы назвать статьи, авторы коих с разных позиций оценивают роман, такие, например: «История – объединяющая или разобщающая» А. Казинцева («Наш современник», 1988, № 11), «Мирозданье Василия Гроссмана» Л. Аннинского («Дружба народов», 1988, № 10), «Война и свобода» И. Золотусского («Литературная газета», 1988, № 23).

Вновь как инородное тело, как подмена жанра воспринимаются рассуждения М. Голубкова о «Всё течёт...» В. Гроссмана, «При свете дня» В. Солоухина и судьбе А. Солженицына (с. 317-318). Более нелогичное завершение главы о критике рубежа 1980-1990-х годов трудно придумать.

Имеются в этой главе и досадные неточности. Роман Ю. Трифонова «Исчезновение» не мог быть создан в середине 60-х годов, как утверждает на 307-ой странице. Неточно называется жанр «Котлована» А. Платонова: это не роман (с. 303), а повесть. Критика А. Бондаренко (с. 315) нет, есть Владимир Бондаренко, чья статья «Очерки литературных нравов», одна из самых громких, обсуждаемых в данный период, даже не упоминается М. Голубковым. И, конечно, участник диалога о «Детях Арбата» – Анатолий, а не Сергей Бочаров (с. 310).

Но всё-таки, несмотря на сказанное, в данной главе есть и утверждения М. Голубкова, с которыми нельзя не согласиться. Он, характеризуя неошестидесятические тенденции в литературном процессе второй половины 80-х годов (с. 306-307, 313-315), точно определяет уязвимые места этой очень популярной тогда идеологии. Например, отталкиваясь от статей Ю. Буртина 1987 года «Вам, из другого поколения...», «Реальная критика» вчера и сегодня» (отметим удачный выбор), справедливо утверждает: «По сути дела, в <...> высказывании Ю. Буртина содержались важнейшие элементы демократической идеологии 1987 года: идеализация общественной ситуации 60-х годов; восприятие своего времени как возвращение к идеалу; представление о демократии и эстетических принципах «Нового мира» времён Твардовского как о конечной цели политического и художественного развития; суждение о собственной позиции как о единственно возможной («и никакой другой»)).».

В данном контексте закономерно возникает статья Аллы Латыниной «Колокольный звон – не молитва. К вопросу о литературных полемиках» («Новый мир», 1988, № 8), одна из самых интересных и глубоких работ того времени. И «диалог» М. Голубкова с А. Латыниной (с. 314-316) получился продуктивным, во многом проясняющим позиции противоборствующих сторон.

При характеристике «правой», или, как её называет автор пособия, «охранительной» критики он не выделяет течения внутри этого направления. Поэтому оценки М. Голубкова применимы только к одной группе критиков, которую, вслед за В. Бондаренко, условно можно назвать «красными патриотами». И суждения, подобные следующему, точно передают позицию этой группы: «Представители «охранительной» критики пытались сказать, что на глазах у всех, открыто и вполне легально происходит, в сущности, тотальное разрушение государственной и национальной идеологии, основанной на утверждении позитивных свершений и завоеваний советского времени, имеющих неотменяемое историческое значение. И правота их тревог, совершенно неочевидная тогда, проявилась уже в другую историческую эпоху: ни литература, ни общество не обладают сейчас, два десятилетия спустя, даже намёком на государственную идеологию, национальную идею, литературу, которая смогла бы быть выразителем народной жизни, критику, способную её интерпретировать и «договаривать» за писателя, формулируя общие бытийные ценности и формируя национальный взгляд на мир».

Последняя глава «Постмодернизм как завершение литературной истории XX века» (с. 320-345) – это глава из учебника по истории литературы, не имеющая никакого отношения к критике, поэтому и комментировать её нет смысла.

Думаю, нет смысла разбирать и первую часть пособия М. Голубкова во многом по той же причине. Больше половины этой части – точная копия или слегка изменённый

вариант (с вкраплениями о критике) текста из четырёх глав предыдущей, упоминавшейся уже книги М. Голубкова по истории литературы. Попытка автора пособия по критике переформатировать старый материал, на мой взгляд, не удалась, она чаще всего выглядит искусственной, как операция по изменению пола. Новая же по материалу глава «Группировки и литературные организации» (с. 66-120) к истории критики имеет очень отдалённое отношение. Только одна глава первой части – «От полифонизма к монизму» (с. 164-205) – соответствует заявленному формату пособия.

Лев Оборин в рецензии на книгу Михаила Голубкова даёт ей высокую оценку, называя, в частности, «важным и интересным трудом» («Знамя», 2009, № 5). В отзыве также утверждается, что учебников по истории критики «почти нет; до М. Голубкова – только программа (материалы к курсу) С.И. Кормилова и Е.Б. Скороспеловой и пособие А.П. Казаркина».

Видимо, Л. Оборин читал книгу М. Голубкова не очень внимательно, ибо на странице пятой автором пособия даётся высокая оценка учебнику «История русской литературной критики» под редакцией профессора В.В. Прозорова, подготовленному в Саратовском госуниверситете. На меня этот учебник произвёл угнетающее впечатление своим предельно низким уровнем. И объективно его оценил только Михаил Лобанов («Российский писатель», 2003, № 19). Так вот, если сравнивать пособие М. Голубкова с учебником под редакцией В. Прозорова и ему подобными преобладающими в академической науке трудами, то его можно назвать удачной неудачей.

## СОДЕРЖАНИЕ

Василий Розанов: «человек–соло»

Вадим Кожин: штрихи к портрету на фоне эпохи

Михаил Лобанов: русский критик «на передовой»

Бенедикт Сарнов: случай эстетствующего интеллигента

Игорь Золотусский: путь критика

Владимир Лакшин: привычный и неожиданный...

Игорь Дедков как русско-советско-либеральный феномен

Юрий Селезнёв: русский витязь на Третьей мировой

Необходимость Бондаренко

Александр Казинцев: критика – это искусство понимания

Единожды присягнувший,  
или Штрихи к портрету Сергея Куняева

Есениноведение сегодня

Дмитрий Быков: Чичиков и Коробочка в одном флаконе

Словесная диарея Дмитрия Быкова

Дискуссия «Классика и мы»: тридцать лет спустя

Александр Твардовский: мифы и реальность,  
или Заметки о заметках В.А. и О.А. Твардовских

«Русская тема» В. Пьецуха: сборник мерзких анекдотов

Александр Разумихин: час серости

Михаил Голубков: удачная неудача

ЮРИЙ ПАВЛОВ

КРИТИКА  
XX – XXI ВЕКОВ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ,  
СТАТЬИ, РЕЦЕНЗИИ

Директор издательства – Виктор КАШЛЕВ  
Дизайн и вёрстка – Александр КАШЛЕВ  
Корректор – Дарья МЕЛЬНИК

Лицензия на издательскую деятельность  
ИД № 04220 выдана 12 марта 2001 года

Подписано в печать 15 ноября 2009 г.  
Формат 60х90 1/16. Печать офсетная. Бумага офс.  
Печ. л. 19. Тираж 1000 экз. Заказ №

Концерн «Литературная Россия»  
127051, Москва, Цветной бульвар, 32, стр.3.  
Тел.: 694-23-24

Отпечатано в ФГУП «Производственно-издательский  
комбинат ВИНТИ»,  
140010, г. Люберцы, Московская обл.,  
Октябрьский пр-т, 403.  
Тел.: 554-21-86.